12.1971

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

12 ДЕКАБРЬ 1971

СОДЕРЖАНИЕ

САВАКО АРИЁСИ — Дважды рожденный *(Повесть)* 3

ЖАН ТАРДЬЕ — Стихи *(Вступление Самария Великовского)* 29

Из югославской прозы. АНТОНИЕ ИСАКОВИЧ — Наш Лисенок. Вверх и вниз. ВЬЕКОСЛАВ КАЛЕБ — Трость на прогулке. ДАНИЛО КИШ — Собака и мальчик 41

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК — Тени в раю *(Роман. Окончание. Послесловие Е. Книпович)* 64

«Новая поэзия» хинди. АГЬЕЙЯ. ШРИКАНТ ВАРМА. САРВЕШВАР ДАЯЛ САКСЕНА. РАГХУВИР САХАЙ. КАЙЛАШ ВАДЖПЕЙИ *(Вступление М. Салганик)* 183

Критика

В. ЖДАНОВ — Некрасов и зарубежная литература (К 150-летию со дня рождения Н. А. Некрасова) 194

Публицистика

ЭДУАРД ПАРА, ЛЮДВИК НАПРАВА — Михал Панек свидетельствует... *(Главы из книги)* 201

Экран и время

БОРИС ГАЛАНОВ — Герои и антигерои (Заметки о современном западном кино) 235

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Нодар Джинджихашвили — Кризис книги или кризис общества? К. Мялло — Судьбы «негритюда» и историческая реальность 248

Среди книг

Издано в СССР

Александр Исбах — В труде и бою. ◇ В. Макаренко — Суд совести 255

Издано за рубежом

С. Ильинская — «Пусть наша память правильно живет...». ◇ Е. Умнякова — Испытание правдой. ◇ Ф. Наркирьер — Воспоминания Андре Моруа 259

Наши гости

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Рауль Гонсалес Туньон: на службе своего времени 265

Е. КАЦЕВА — После переоценки ценностей (Гость редакции — Гюнтер де Бройн) 268

Из месяца в месяц (Хроника) 270

Авторы этого номера 283

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1971 ГОД (№№ 1—12) 284

На обложке: АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР (К 500-летию со дня рождения). Портрет Эразма Роттердамкого, гравюра.

САВАКО АРИЁСИ

Дважды рожденный

ПОВЕСТЬ

Перевод с японского В. ЛОГУНОВОЙ

Услыхал, что у вас малярия, и очень удивился. Звоню по телефону, говорят — в больнице. Что случилось? Малярия? Обычная или тропическая? — спрашиваю.

Хотите знать, откуда у меня такая осведомленность? Так ведь я сам болел малярией и дизентерией тоже. Да, когда в солдатах служил. Воевать мне пришлось на Южном фронте, до самой Новой Гвинеи добрался. А там, к вашему сведению, настоящий рассадник всяких тропических болезней.

Понять не могу — что вас туда потянуло? Из любознательности, говорите. Хм... Просто захотелось с друзьями развлечься? Нет, я вовсе не шучу. Уверяю вас, эти места не для увеселительных прогулок. У нас другое дело было. Война, армия, приказ, хоть плачь, а отправляйся. Но ехать туда по доброй воле в такое отличное время, когда Япония не желает больше воевать...

На аэродроме «Ханэда», когда я провожал вас, я и минуты не сомневался, что вы летите за границу. Только не в Новую Гвинею. Конечно, и Новая Гвинея — заграница, но мне представлялись места все же более обжитые. Знай я тогда правду, непременно отговорил бы вас.

Теперь сами изволили увидеть, что за жизнь в тех краях. Да там вообще человеку делать нечего. Не спорю, и туземцы люди. Но что может быть общего с ними или даже с колонизаторами, понаехавшими туда из Европы? У японцев во всяком случае...

Счастье ваше, что заболели дома, а не в дороге. Противная штука хинин, правда? Что? Теперь другие лекарства? Впрочем, чему удивляться, ведь прошло двадцать четыре года. И здорово вас трясло? Как? Совсем не трясло? Подумать только, даже малярия не та стала. Около месяца держалась температура 41,5? Благодарите судьбу. Значит, это была не тропическая малярия. Та за десять дней приканчивала. Вы совершенно правы — и от обычной малярии можно умереть. Но что знают о ней люди, просидевшие всю жизнь в Японии? Они впервые увидели малярию, когда она вспыхнула среди фронтовиков.

Я подцепил ее на юге. Вот где люди гибли как мухи. Подскочит температура до последней точки— и конец. Только что был жив человек, смотришь — у него уже лицо вытянулось. А сам лежишь, словно в огне, и думаешь: еще один отмучился. Зато когда проходит кризис и температура

начинает падать, такая наступает благодать, что просто и не верится. Правда. И тут же берешься за работу: мертвецов надо было раздеть, облить бензином и сжечь. Да. Все это мы делали собственными руками... Ведь самолеты давно вышли из строя, один бензин остался, а врачи и санитары боялись заразы. Поэтому мертвых хоронили те, кому посчастливилось выжить.

Вы скажете, тропики? Быстрое разложение? Но мы тогда ничего не боялись, какими-то бесчувственными сделались.

Смотришь, бывало, как обугливается и исчезает в огне тело твоего боевого товарища, а у тебя в мыслях нет, что завтра, возможно, ты сам перевоплотишься в будду.

Как обстояло дело с лекарствами? Хинин весь вышел, снабжение прекратилось, в это время как раз вспыхнула эпидемия. Заставили нас пить отвар из листьев папайи, вонючий до невозможности. Была ли польза, не знаю. Но пили все — кому охота умирать? Вряд ли сыщешь на свете что-нибудь более противное.

Было нас тогда, наверно, сотни две. Солнце палит нещадно, а мы сидим у костров и варим свою папайю. Но все равно в живых осталось всего половина. Когда подошло австралийское судно и нас взяли в плен, только один с собой покончил, а мне уже безразлично было, кто свои, кто враги. Стали нас отпаивать лекарствами, жар спал, и что бы вы думали, вдруг вспомнил лицо моей возлюбленной и даже прослезился. Говоря откровенно, я ее ни разу за руку не держал, за всю войну толком ни разу о ней не подумал. А тут на́ тебе! Не иначе как духом ослаб. Да и как не ослабнуть! Вокруг австралийские солдаты по-английски лопочут, уколы тебе делают, лекарствами пичкают. Удивительное дело, у меня ведь привычки нет о женщинах думать.

Да, с тех пор двадцать четыре года минуло. Выходит, и там теперь все по-другому. Только ни за что бы я сейчас туда не поехал. Что ни говорите, это вам не Япония, и за два десятка лет там, пожалуй, никаких особых перемен не произошло. Одни джунгли чего стоят, пока сам их не увидишь, не поймешь, что это такое. Довелось ли мне там побывать, спрашиваешь? А как же, целых четыре года в джунглях прожил, куда от них денешься!

Помню, есть там красное дерево. Плоды на нем величиной с ноготь большого пальца, а съесть их можно за день всего два. Съешь три — всю ночь животом будешь маяться, несколько наших товарищей так в корчах и скончались.

Интересно, а в тех местах, где вы изволили побывать, эти плоды... Ах, вот как, вы одними консервами питались? Да, это вам не война. А как насчет черной курицы, водится она еще? Что? Сорной курицей зовут? Понятно. Яйца у нее как у страуса. Солдаты, разумеется, их не пробовали. Зато офицеры, говорят, омлетом баловались. Солдаты только слюнки глотали и ходили за этой курицей следом, все высматривали, что она клюет. Ведь корм для птицы сгодится и человеку. Мы даже червяками из земли не брезговали. Не знаю, как они называются, но ничего были червяки, вкусные...

Ах, вот как, вы отведали змеиное мясо? Змеи и ящерицы для нас лакомством были. Вот что я вам скажу, змеиное мясо на куриное филе похоже. А если ящерицу испечь с солью, так ее не отличишь от камасу[1] ни по вкусу, ни по запаху. Встречались и большие ящерицы, но маленькие все же вкуснее.

На днях приходит жена очень довольная: сумочку купила из кожи ящерицы. Посмотрел я и говорю: «Нет, сумочка эта из несъедобной ящерицы». Ух, как это ей не понравилось! Понять не могу, почему эти

[1] Камасу — морская щука.

сумочки в такой цене? Взять, к примеру, хоть крокодила, он ведь и на вкус противный. Поймаешь его, а варить можно только через четыре-пять дней.

Что говорить, давно все это было. Уже забываться стало за делами да хлопотами. А как вспомнишь, чего только пережить не пришлось! И удивляешься: когда-то папайю варил, а сейчас собственную фирму имею!

После начальной школы я сразу в Токио подался и поступил в услужение к хозяину — носочнику. До армии понятия ни о чем не имел кроме носков-таби[1]. Кем только я не работал: и нянькой пришлось быть, и кухаркой. В ту пору моя будущая жена в детский сад ходила. Бывало, пошлют за ней, посадишь ее на спину и тащишь. Вы угадали, я был приемным зятем. Но в те времена даже мечтать не смел стать владельцем такой почтенной фирмы.

Тяжело жилось в подмастерьях, нынешняя молодежь и трех дней такой жизни не вынесла бы. До сих пор помню, как хозяин черпаком меня однажды огрел. Тогда рис в большом котле варили сразу на всех работников, и черпак был большущий, не чета теперешнему, которым из электрических рисоварок черпают. Кажется, как-то раз Ассоциация домашних хозяек по улицам проходила с черпаками через плечо. Вот таким приблизительно и был тот черпак. Правду вам говорю. Да еще полный рису. Я опомниться не успел, как мне всю голову и лицо залепило: и больно было, и обидно. Вот тогда-то я и подумал в первый раз в жизни бросить свое ремесло. Подумаешь, носочник...

За что побили? А так, ни за что. Попался под горячую руку и все тут. Стоит человеку выбиться в люди и взять дело в свои руки, как он нами, учениками, помыкать начинает. Нельзя сказать, что родитель моей жены был извергом. Просто заведено так было прежде среди торгового сословия. Даже зимой, в самые холода, подмастерье не имел права надеть хаори[2]. Провожаешь хозяина с приказчиком к клиентам, а на тебе одна полосатая спецовка из хлопчатобумажной материи. И хоть под ней надето несколько рубашек, все равно холодно. Вот как жили.

Наша фирма шила только на заказ, поэтому мерку снимать ходили на дом к клиенту и готовые таби доставляли сами. Легко сказать: сдать заказ. Наденут таби на ноги клиенту и начнут со всех сторон осматривать, чтобы все в точности пришлось, и не уйдут, пока не ублаготворят заказчика. Частенько по полдня в одном доме засиживались.

Хозяин с приказчиком во внутренние покои удалятся, там их госпожа с дочками и невестками дожидаются. Прежде чем мерку снять, ножку погладят, потом разговор про театр заведут — словом, не торопятся. Так уж было принято тогда. А мы, ученики, сидим, съежившись, возле кухни.

И это считалось ученьем, а о том, чтобы показать, как обмер производится, о том и речи не было. Вот только у гейш меня, случалось, допускали в дом с приказчиком, тут уж я не зевал и, пристроившись в уголке, тайком следил, каким манером он ногу обмеряет.

В прежние времена у приказчиков привычки не было записывать размер, с пяти человек мерку снимут, но ни за что не проговорятся при ученике, какая высота подъема или толщина лодыжки. Взять, к примеру, большой палец, он у всех разной длины, чуть ошибешься — и вся работа пойдет насмарку, поэтому обмеряют его особенно тщательно. Но как это узнать, если и не пишут ничего, и не говорят.

— Сестрица,— обращается приказчик к гейше-заказчице,— а у вас ножка похудела.

---

[1] Таби — японские носки из плотной ткани.

[2] Хаори — верхняя накидка.

— Да что вы!

— Разница в подъеме на два бу[1].

— Ах, вот почему старые таби мне велики. Месяца не прошло, как я простудилась и заболела, а в весе потеряла два каммэ[2]. Даже ноги похудели. Может быть, это уже возраст...

— И думать не извольте. У искусных танцовщиц иногда меняется размер.

— Значит, вы полагаете, что это из-за танцев? Осенние репетиции нас ужасно утомили. Сам учитель говорил, что слишком часто меняется ритм, как в «Но»[3].

— Но ведь танцоры из «Но» носят особые таби.

— Ах, вот как?

— Носок делается длиннее, и застежек на нем больше. Некоторые клиенты ставят сразу пять штук.

— Тогда и мне сделайте такие же.

— Но их не носят в обычное время.

— Хорошо, тогда сшейте только для сцены. Они же будут для выхода. Так и договоримся: одну пару обычных и одну выходных.

Слушаешь, а сам на ус наматываешь. Таби с застежками тогда только в моду входили. Прежде их шнурками завязывали, а теперь ставили две застежки. Наша фирма работала на заказ, и мы ставили три застежки, а то и целых четыре — по желанию заказчика.

Заказчики у нас были состоятельные, носки до дыр не занашивали и заплаты на них не ставили. Стоило человеку заболеть и похудеть или, наоборот, пополнеть, как мерку снимали заново. Доход с пары таби был небольшой, зато торговля шла бойко. И стоило тогда все дешево, а нам, ученикам, жалованья, можно сказать, вообще не платили. Так что хозяевам обижаться не приходилось.

Нынче ты ученика хоть за руку держи и все ему показывай, как обмер производится и прочее, никто в ученики идти не желает. Нехватка рабочей силы... А ведь его три раза в день накорми, и чтобы все честь по чести было. Хлопот не оберешься, поэтому я сам с заказами управляюсь. Но ничего, дела потихоньку идут, так что на ремесло свое я не жалуюсь.

А учился я ему целых восемь лет. Зловредный был приказчик. Только заметит, что я присматриваюсь, как он мерку снимает, сразу загородит заказчика, чтобы мне не было видно. А потом всю дорогу издевается:

— Я-то думал, что Сигэ-дон — ребенок. А у него при виде женской ножки глаза начинают блестеть и шея вытягивается. Нехорошо. И не стыдно тебе?

Но ведь только голую ногу и разглядишь, и, если она действительно красивая, смотреть на нее одно удовольствие. Да и ремесло наше такое, что от ног никуда не денешься. А глаза у меня, может, и блестели, но совсем по другой причине. Очень хотелось выведать тайну, которой владел приказчик. Так что насмешки его слушать было обидно.

Нынче что! Нынче разделение труда: записываешь мерку и передаешь мастеру. А прежде хозяин с приказчиком все сами вплоть до выкройки делали и время выбирали позднее, когда все уже спят. На моей родине у крестьян есть такая поговорка: «Удобряй, когда ночь придет!» Словом, каждый устраивается, как может, лишь бы другие не знали. Прежде всюду так заведено было.

Однако нам, молодым, до смерти хотелось узнать, как делается выкройка. Вставали мы рано, засиживаться допоздна сил не было. А уснешь — все проспишь, ничему не научишься. Соберешь, бывало, лос-

---

[1] Бу — 3,03 мм.

[2] Каммэ — 3,75 кг.

[3] «Но» — средневековая музыкальная драма.

кутки от подкладки, скомкаешь и трешь ими веки, чтобы сон отогнать. Потом выберешь удобный момент, чай принесешь, зимой уголька подбросишь, а сам в это время тихонько подглядываешь, что они делают. Только тут осторожность требовалась. Станешь часто нос совать — влетит. Главное, чтобы приказчик ничего не заметил: делаешь вид, будто пыль с жаровни смахиваешь, а сам через плечо ему заглядываешь.

И если ты вовремя пришел, когда у него в горле пересохло, считай, что тебе повезло: он не только чай изволит принять, а еще скажет:

— Сигэ-дон, иди поешь лапши.

Хочешь, чтобы тебя учили, потрафляй старшим. Я даже исподнее с приказчика стирал, только бы угодить ему. Но лишь через три, даже через четыре года я удостоился права получить палочки и сесть вместе со всеми за стол. Стоило, однако, мне появиться перед приказчиком в момент, когда у него дело не ладилось, чашки и все остальное летели в разные стороны. Надо сказать, что учение это даром для меня не пропало. Потом во флоте младшие чины не очень надо мной издевались. Зато другим матросам, не знавшим правил обхождения, здорово доставалось. Только заступаться за тех, кто до армии горя не знал, охоты никакой не было. Прослужил я у хозяина целых восемь лет. Срок вполне подходящий, и хотя никто ничему меня и не учил, я, едва взглянув на выкройку, сразу мог определить форму ноги, с которой она сделана. И так до сих пор. А ноги, к вашему сведению, все равно что лица: у всех разные. Летом, как только начинали носить гэта на босу ногу, я выходил на дорогу и только тем и занимался, что разглядывал ступни у прохожих. Верите ли, как вспомню те времена, брови у меня сами начинают хмуриться. Ведь прежде мало кто ходил в обуви, было на что полюбоваться. А теперь что? Иди хоть на Гиндзу, все женщины в туфлях на высоких каблуках, ничего естественного, никакого интереса...

Что? Короткие юбки, говорите? Это, разумеется, прекрасно, только я с ученических лет привык вниз смотреть, от лодыжки до пальцев. А что там выше, дело не мое. Так-то вот. Между прочим, для ноги главное — это пальцы, все равно хоть у мужчин, хоть у женщин. А что ты увидишь, если человек в обуви? Как определишь, тонкие ли пальцы, длинные ли они? Взять опять же подъем. В обуви вся прелесть его теряется. Что ни говорите, а самое подходящее для человека — это таби. Доказательством тому — дзика-таби[1]. Говорят, они лучше всяких ботинок. Я сам слышал от одного старшего чина, что даже по джунглям в них куда удобнее ходить, чем в обуви.

Время шло, учить меня никто не собирался, а о заказах, разумеется, и мечтать не мог. Только я сам решил взяться за дело. Купил дешевые таби, вывернул их наизнанку и стал изучать, как и чем отличаются они от тех, которые делает наша фирма. Товар у нас был первоклассный, и я без труда на ощупь определил, насколько они грубее наших. Затем надел их, тщательно осмотрел и стал бритвой пороть. Оказалось, что в самых главных местах они просто склеены и вообще еле держатся. Мне не терпелось их перешить, но чтобы никто этого не заметил. Я дожидался, пока другие ученики уснут, тихонько вставал и, прикрыв лампочку, садился за работу.

Теперь я уже больше не сомневался, что ни хозяин, ни приказчик никогда не станут обучать нас своему мастерству. Ну и пусть, думал я, горя желанием овладеть их тайной. Задача эта, однако, была не из легких: выкройка несуразная, вся в вытачках и швах. К тому же нога у меня крестьянская, пальцы короткие, некрасивые. Примерил — смотреть противно, хоть плачь. Самым трудным оказалась обработка шва между

[1] Дзика-таби — таби на резиновой подошве.

пальцами, именно в этом наша фирма не имела себе равных во всей Японии.

Вставали мы чуть свет и сразу за уборку, а там посылают тебя барышню или провожать, или встречать или очередь твоя наступит идти с хозяином к заказчикам — словом, весь день маешься. Своим же делом занимаешься тайком все да урывками. И шитье это не знал, куда прятать, убрать в корзину — только и будешь что открывать ее да закрывать. Завести особый ящичек — так, чего доброго, обнаружат его, пока тебя дома нет, и засмеют. Сперва так и носил с собой эти таби под мышкой. Потом догадался, что можно в подушку убирать.

Но больше всего страдал я от недосыпания, сами знаете, как в молодые годы спится. Пока своим умом доходишь, как шов этот между пальцами шьется, смотришь — утро уже наступило. Не успеешь носок в подушку засунуть, как сосед подмастерье уже голову поднимает, спросонья спрашивает:

— Что это тебе не спится, Сигэ-дон?

Какой тут сон! Сполоснешься наскоро водой — и за работу, так целый день головы и не приклонишь. А вечером помогаешь хозяину закупленный коленкор раскладывать, подходящее время с товаром познакомиться. Коленкор, он ведь разных сортов бывает и по окраске отличается. Не сразу, например, поймешь, что темно-синие таби куда роскошнее белых.

Так что тут не до сна, сами понимаете. По трое суток, бывало, не ложился — ничего. Трое суток для человека — предел. Трое суток меня носило по волнам Тихого океана, пока я плыл, уцепившись за доску. Ведь корабль наш затонул. Да, я во флот был призван. Передать невозможно, что вынес я за это время, одной надеждой жил, что продержусь трое суток. Ведь стоит задремать — и пропал. Нас всего трое спаслось, а за эту доску вначале пятнадцать человек держалось. Заснет и попадает прямо в пасть акуле. Вот какое было дело...

Как раз во время заключения японо-германо-итальянского тройственного союза в 1940 году я военную комиссию проходил, а наша барышня, хозяйская дочка, в тот год в гимназию поступила. Ох и красивой же она была в своей матроске из синей саржи. Смею заметить, что внутренние покои, где пребывала барышня, были особым царством, куда мы, подмастерья, даже заглянуть не смели, поэтому мне и во сне не снилось, что я когда-нибудь сяду с ней за один стол.

Барышня с отличием кончила начальную школу. В ту пору их, кажется, называли народными, ну и, конечно, в гимназию ее определили самую лучшую в Токио. Мы, ученики, радовались за нее, а некоторые, говорят, даже хвастались ее успехами перед мальчишками, доставлявшими коленкор хозяину. Во всяком случае, так рассказывали мне потом старые товарищи, уже после того, как мы поженились. Сами посудите, мог ли я тогда вообразить, что все так обернется? Поверьте, я чувствовал себя перед ней как человек низшей расы, и, возьми ее в жены аристократ, я ничуть не удивился бы. Стыдно признаться, но, может, я и в самом деле был влюблен в нее? Как говорится, тайная страсть подмастерья... А сейчас смотрю, ничего в ней особенного, женщина как женщина...

Военную комиссию я проходил у себя на родине. Глупый был тогда, ничего не смыслил. Хлопнули меня по спине, а потом слышу: «Номер четырнадцатый, принят по первому разряду!» А я и рад: пусть все видят, какой я взрослый. Четырнадцать был мой порядковый номер, я эту цифру на всю жизнь запомнил, потому что размер моей ноги десять мон[1] четыре бу. Размер десять мон считался в нашей фирме слишком малень-

[1] Мон — единица длины при определении размера ноги.

ким, а десять с половиной чересчур большим. Выходит, я покупал себе самые большие таби. Сколько же я их перепортил, пока учился шить...

Возвратившись в Токио после комиссии, я почему-то застал около дома барышню.

— А, Сигэ-дон, вернулся,— промолвила она.

В растерянности я вместо того, чтобы поздороваться, выпятил грудь и как гаркну:

— Принят по первому разряду!

Жена до сих пор не может без улыбки вспомнить об этом случае и всякий раз уверяет, что мой ответ тогда очень ее насмешил. Ничего подобного. Я так ее ошарашил, что она едва слышно пролепетала:

— Поздравляю.

Узнав о моих успехах, хозяин расценил их по-своему.

— Выходит, по первому разряду?

— Так точно, по первому.

— Столько лет впотьмах работал иголкой, неужели и по зрению прошел?

— Проверили глаза и ничего не сказали.

— И ростом ты не вышел, неужели в самом деле по первому?

А сам оглядывает меня с ног до головы и вздыхает. Меня даже досада взяла, неужели доброго слова у него для меня не найдется? Но и хозяина понять было можно, у него как раз только что двух подмастерьев призвали, и забеспокоился он, как дальше будет дело вести. Ведь заказов не убавилось. Цены на коленкор росли и уж конечно на наш товар тоже, но только раньше по десять пар заказывали, а теперь сразу по тридцать стали.

Таби из коленкора в магазинах не торговали, вместо них появились таби из штапеля и из искусственного шелка, но и те скоро исчезли. Вы, наверно, помните, слух тогда прошел, что в продаже будут только таби «бэттин» из вельвета.

Однако фирмы, работавшие на заказ, не только не знали ни в чем нужды, но вовсю процветали. Говорили, будто военные кутят и им требуются молодые гейши.

Впрочем, мое дело — таби, а в мировых событиях я не разбираюсь. У нас из-за этого и сейчас стычки с женой случаются. «У вас в голове одни носки»,— заявляет она. А я ей в ответ: «Ты-то сама кто, не дочь ли носочника?»

Приказчик, от которого я порядком натерпелся в бытность мою учеником, принял это известие тоже по-своему. Я, конечно, поспешил сообщить ему о своей радости. А как же иначе? Да и чем еще мог я перед ним похвастаться?

Итак, выпятив грудь, я отчеканил:

— Здравствуйте, господин приказчик. С вашей помощью по первому разряду принят.

Приказчик, однако, меня не поздравил. Лицо его приняло сосредоточенное выражение, он кивнул головой и произнес:

— Пройти военную комиссию, Сигэ-дон, это по прежним временам все равно что самураю пройти обряд гэмпуку[1].

Наш приказчик любил дзёрури[2], и не пропускал ни одного представления бунраку[3], поэтому разговор у него был свой, особый. Но не успел я подумать: «А здорово он ввернул насчет «гэмпуку», как приказчик спросил, известно ли мне, что значит посвящение в тайны кисти.

— Посвящение в тайны кисти?

---

[1] Гэмпуку — обряд посвящения в совершеннолетие.

[2] Дзёрури — представления театра марионеток, бытующего в Японии с XVII в.

[3] Бунраку — кукольный театр.

— Не знаешь? Просто беда с вами, с нынешней молодежью. Невежды, да и только. Что проку от тебя в деле, если ты разговор с клиентом не умеешь поддержать? Думаешь, я так, удовольствия ради хожу смотрю на дзёрури? Раз я в них кое-что смыслю, значит за словом в карман не полезу.

Выслушав его нравоучения, я наконец понял, что посвящение в тайны кисти — это из рассказа о том, как Сугавара Митидзанэ обучал своего ученика тайнам каллиграфии. Ах, вот оно что, вам известна эта история...

— Когда в армию? Осенью? — спросил приказчик.

— Так точно.

— Значит, через полгода.

Теперь я с благодарностью вспоминаю то время, он успел всему меня обучить. Молча, без лишних слов показал, как снять мерку, как сшить самые трудные швы. Жара стоит невыносимая, пот со лба глаза заливает, а я терплю, боюсь, как бы чего не проглядеть, пока лицо вытирать буду. С тех пор так и привык: пот глаза заливает, а я и не моргну. Потом, во флоте, это очень пригодилось. Разве вытрешь там пот, когда на тебе винтовка и полное снаряжение. Уставишься в бинокль, следишь за самолетами противника и не моргнешь ни разу. Жизнь дорога!

— Ты из крестьян, Сигэ-дон?

— Из крестьян.

— Как по-твоему, на какую ногу труднее шить, на господскую или на крестьянскую?

— Наверно, на господскую.

— Вот дурак!

Слова приказчика задели меня за живое, ведь я с таким усердием изучал самые различные ноги, но, видно, мой опыт слишком мал, и затаив дыхание я слушал приказчика.

— Если хочешь знать, нет ничего легче, чем шить на господские ноги. Они мягкие, носок так и прилипает к ним. Особенно важны ступни. Городские на улице ходят в гэта, а дома по ровному полу, поэтому ступня у них более плоская, чем у деревенских. Крестьяне носят соломенные сандалии, ходят по немощеной дороге, по траве, поэтому ступня у них крепкая и с таким высоким сводом, что просто беда. Я привык на городских шить, но однажды попалась мне крестьянская нога, так я не знал, как к ней и подступиться. Веришь, сколько лет шью, а крестьянские таби так и не научился делать как следует.

— Но, господин приказчик, ведь крестьяне не шьют таби на заказ. Один такой на десять тысяч и то не сыщется.

— У вас, молодых, на все свой взгляд имеется. Разве это дело? Да будет тебе известно, что именно по крестьянину равняться надо. Среди клиентов есть люди очень состоятельные, делать им нечего, сидят себе посиживают, а другие всегда в движении, энергия в них так и кипит, и таби для них такой формы получаются, что глаз не оторвешь.

Вот оно что, подумал я и назвал имена нескольких заказчиков с очень красивой, по моему мнению, формой ноги. Как видно, я попал в точку, потому что приказчик сразу подобрел.

— Говорят, что о человеке судят по лицу и по рукам, а на мой взгляд, ноги тоже весьма выразительны. Заходит, к примеру, клиент и заказывает таби с золотыми застежками, а я смотрю на его ноги и вижу, что он из крестьян, только недавно в богачи выскочил.

Пусть сам он отошел от крестьянства, нога у него так и останется с высоким сводом. Как раз у клиентов, о которых ты говоришь, ноги как у крестьян. Или взять гейш, искусных танцовщиц, у них тоже такие ноги. У одних — от природы, у других — от тренировки. И на тех и на других шить нелегко. Труднее всего подогнать подошву носка так,

чтобы она точно пришлась по округлому и приподнятому своду. Верх тонкий, из коленкора, его подогнать просто, тут соберешь, там подтянешь, вот тебе и получилась округлость. Изнанка же делается из толстой хлопчатобумажной ткани, поэтому удобнее всего шить на плоскую ногу. Ну-ка, покажи ногу. Показывай же, говорю! Так и есть, у тебя настоящая крестьянская нога. И по такой ступне ты учился шить! Досталось же тебе.

Выходит, хозяин с приказчиком давно все знали, как ни таился я от них.

— Еще в юности слышал я от старых людей, что у рыбаков ноги даже красивее крестьянских. Наверно, потому, что они по песку ходят— ведь это очень трудно. Говорят, чтобы избавиться от плоскостопия, лучше всего гулять по побережью. Да только у меня на это никогда времени не хватало.

К концу лета приказчик наконец решился и, стыдясь, показал мне свою ногу. Оказалось, что всю жизнь он страдал плоскостопием. Как же я этого не разглядел! У всех ноги изучал — и у клиентов, и у прохожих,— а на своих домашних не обращал внимания.

Ступня у приказчика и в самом деле была безобразной. Она показалась мне огромной, потому что была совершенно плоской. Нет, такую ногу лучше не показывать. Я просто в себя не мог прийти, волосы дыбом встали. Сколько я потом видел ног, но такой уродливой больше не встречал.

Теперь я не упускал случая лишний раз взглянуть на ноги хозяина, хозяйки и всех домочадцев. Ничего особенного, ноги как ноги. Но однажды я взглянул на ноги нашей барышни и словно прозрел. Было лето, она ходила по дому в легком платье, из-под которого чуть-чуть виднелись босые ступни. У меня даже дух захватило, такими они были красивыми, и потом долго еще при одном этом воспоминании сердце у меня начинало бешено колотиться. А сейчас смотрю и не нахожу в них ничего хорошего. Вот что значит любовь, от ступни и то приходишь в восторг. Нет, глаз у молодых не наметанный. Это я вам точно говорю.

Призвали меня в тот же год осенью. Тогда как раз появилась Ассоциация помощи трону. Да, граф Коноэ был премьер-министром. И еще ввели разверстку на рис. В деревне только и было об этом разговоров.

На комиссии каждого спрашивали, куда он хочет: на флот или в армию. Я вспомнил одного нашего клиента — адмирала и, не долго думая, сказал, что хочу на флот.

Что захотел, то и получил, и вот я в Ёкосуке — матрос второго разряда. Таких, как я, называли «классом без нарукавных знаков». Надел я форму с квадратным воротником и вдруг подумал: нет, это тебе не гимназическая матроска нашей барышни.

Хотите знать, где было хуже, в учениках или в матросах? Скажу вам, что тут и сравнивать нельзя. Огреют тебя черпаком, хоть жив останешься. На флоте стопором могли огреть, страшная такая плеть из толстых веревок, да еще соленой водой пропитана. Одному матросу по голове попало — охнуть не успел. А потом сообщили, что умер от болезни на боевом посту.

Мне тоже раз досталось, но, к счастью, стопор закрутился, потому не очень больно было, правда, тело все посинело и распухло. В общем, прожил день — судьбу благодари. Подвесную койку, например, положено было сложить за пять секунд, не успеешь — получай. А еще было такое наказание, «пчелиное гнездо» называлось. Всунешь голову между полками и жужжишь, как пчела. Сейчас смешно, а тогда рад бы заплакать, да слез нет.

Ученичество мое, конечно, на пользу пошло, только потом уже, через

год, когда кончился срок военной подготовки. А до этого так жилось, что хоть в петлю полезай. Нет, военную службу только тот понимает, кто ее на собственной шкуре испытал. Когда, впервые очутившись в Токио, я поступил в услужение к хозяину, все потешались над моим деревенским выговором, особенно приказчик. Со временем обучился я всем повадкам торгового сословия, а на флоте оказались они вовсе ни к чему. Станешь говорить, растягивая слова, заработаешь оплеуху. Так, мол, только женщинам положено говорить. Выпятишь грудь, замрешь на месте, а начнешь рапорт отдавать, язык заплетается, и руки сами собой в движение приходят. Ну, тут держись. Как стоишь! Забыл, как положено матросу императорского флота разговаривать! И начнет тебя хлестать.

А разве угадаешь, как разговаривать, если почти все младшие чины из кансайцев. Ты говоришь «большое судно», а они — «здоровое», вот и угоди им. Да что вспоминать, не жизнь, а слезы.

Взять ту же койку, она три каммэ весит, а свернуть ее нужно умеючи, так, чтобы она при случае спасательным поясом служила и чтобы вода не попала внутрь на шерстяную подкладку. Навьючишь ее на себя, возьмешь в руки винтовку и по команде «бегом марш!» бежишь, а в голове вертится: упадешь сейчас и не встанешь. Что зря говорить, у хозяина никогда тяжестей не таскал.

Говоря по совести, матрос — он все равно что подмастерье, ученик, словом, лицо подчиненное, и потому обязан все уметь, даже сигналы подавать флажками. Сигнализации нас в столовой обучали, когда мы голодные возвращались с учений. Вернее, не обучали, а дрессировали, как зверей. Стоишь, ноги не держат от голода, голова кружится, а тебе приказывают знаки подавать обеими руками: «Великая японская империя — божественная страна».

Тренировались целым отделением, но стоило двум ошибиться, и всех оставляли без еды. Сами понимаете, что это значит, когда тебе двадцать лет и аппетит у тебя зверский. Лично я терпел, но некоторые не могли и начинали подбирать объедки с пола. Тогда начальник, если замечал это, командовал: «Свиньи, вперед!» Мы немедленно вставали на четвереньки и, хрюкая, ползли по столовой. Сидевшие же в это время за обеденным столом должны были нас пинать ногами. Да, с целым отделением как со свиньями обращались, и никому в голову не приходило, что это жестоко, стыдно, до такого отчаяния мы все дошли. Ну, мыслимо ли нынче что-либо подобное представить?

Злыми ли были офицеры? Надо бы злее, да некуда! Когда кнутом, когда пряником, а вообще-то все к одному сводилось — измывались над нами, как хотели.

— Взгляните, месяц в небе появился,— начнет офицер свою проповедь.— У ваших близких и в мыслях нет, что вы на него сейчас любуетесь. Ваши родители и братья уверены, что вы, не щадя живота своего, служите отчизне, как и подобает боевым матросам императорского флота.

Слушаешь его, а самого слеза прошибает. И вдруг он как заорет:

— Эй, видите, она уже зубами щелкает! Все акуле на корм пойдете. И тебя сожрет, и тебя, и тебя! Все в море упокоитесь!

И такая злоба в его голосе, что просто не по себе становится. Но так уж устроен человек, хоть ему и худо, а умирать не хочется. Сколько раз я думал, лучше смерть, чем такие муки, но умирать не собирался. Теперь я понял, что за год с нами хотели пройти трехлетний курс обучения. Можете себе представить, в какую переделку мы попали!

Восьмого декабря следующего года был атакован Пирл-Харбор и началась война в Великой Восточной Азии. Срок военной подготовки сократился, матросов, призванных на год позже меня, уже через шесть месяцев отправили на боевые корабли. Начало военных действий не бы-

ло для меня неожиданностью. В мировых событиях и в политике мы мало что смыслили, но для нашего брата матроса война, можно сказать, началась с первого дня службы, поэтому к императорскому манифесту я отнесся без всякого интереса. К тому же все эти высочайшие указы такие длинные и непонятные. Слушаешь их, а сам думаешь, как бы не уснуть. Где уж тут в смысл вникать! Да и что поделаешь, раз на уме у тебя одно: как бы поесть да отоспаться. Даже в день объявления войны, помню, очень хотелось спать.

Что война не за горами, догадаться было не трудно с самого начала. Ведь противник, как призрак, все время маячил перед глазами, вся муштра была на этом построена. Не успеем соорудить на палубе оборону из наших подвесных коек, как раздается команда: «Стреляй! Ложись! Воздух! Стреляй!» И так без конца. Если бы не война, я отслужил бы три года и вернулся домой, а так через год меня отправили на передовую! Признаюсь, попав на корабль, я просто ожил. Муштра кончилась, можно было не бояться, что изобьют до полусмерти. Там не очень разгуляешься — качка.

Мало сказать, что я вздохнул свободно, покидая порт Ёкосука. Нет слов, которыми можно было бы передать мое состояние в тот момент. Распределяли нас по кораблям в зависимости от успехов. Самые смирные и умные попали на торпедные катера. Всякое дурачье, тупицы,— словом, самые никудышные — оказались на крейсерах. Куда попал я? На эсминец. Успехи у меня, очевидно, были средние.

Наконец-то пригодились мне навыки, полученные в годы ученичества. Таскать тяжести уже никто не заставлял, вся работа сводилась к тому, чтобы подмести да убрать, точь-в-точь как в прежнее время у хозяина. Словом, жаловаться не приходилось. К тому же я умел иголку в руках держать. Верно ведь? Бывало, позовут к начальнику пуговицу там пришить или что другое, смотришь, он уже тебя приметил. Главной же работой была уборка отхожих мест. Тут, как говорится, не жалей сил, хоть вылизывай, в такой чистоте эти места на корабле содержались. Но по части чистоты и у хозяина строго было. Еще бы, ведь наша фирма с ногами дело имела, циновки, полы — все блестело, осрамились бы перед клиентом, случись ему носок запачкать. Дежурство по уборной я нес так исправно, что ни разу не получил затрещины. И очень этим гордился. Честное слово.

Когда же наступал черед дежурить при начальстве, то тут уж все зависело от случая. Интендант из судовой кухни был моим земляком, питал ко мне расположение и больше, чем остальным, выдавал пирожков мандзю[1]. Офицеру моему от силы лет двадцать шесть, аппетит у него отменный, и уж конечно он рад был, что ему столько пирожков отваливали.

В былые годы, чтобы угодить продавцу и приказчику, мне приходилось обхаживать кухарку, однако во флоте с этим делом проще было, народ здесь не такой капризный, как там, в мастерской. Ко всему прочему, я оказался крепким парнем, качку переносил легко, для тех же, кто страдал морской болезнью, корабль, наверно, был адом.

Итак, с самого начала я попал на Южный фронт. Десятого декабря мы высадились на острове Гуам. В те времена мне все было нипочем. Я только что получил внеочередное повышение в чине, стал матросом первого разряда и все радовался, что мы, наконец, покинули Ёкосуку. А о том, что нас ждет впереди, победа или поражение, об этом я и не думал. Главное, что от муштры избавились, вот чему были до смерти рады. Лишь когда столкнулись лицом к лицу с неприятелем, страшно стало. А так, день прошел — и ладно, вот так мы жили.

---

[1] Мандзю — пирожок с фасолевой начинкой.

После двухмесячного плавания наш корабль снова вернулся в Ёкосуку. Ну, теперь опять начнутся наши страдания, думали мы и не чаяли, как бы поскорее отсюда выбраться. Однако здесь нас ждала радость: пришли посылки с подарками. Я тоже получил посылку из деревни от родителей. Но все это были мелочи в сравнении с тем, что мне прислала наша барышня, хозяйская дочка.

Не зря говорят, что в молодые годы человеком корысть владеет. Грешно, конечно, но из-за женщины я родителей позабыл — уж очень неожиданно все вышло. А может быть, все зло заключалось в том, что она была барышней, хозяйской дочкой, а я всего-навсего учеником.

В посылке лежал пояс сэннинбари[1], сухари, конфеты и письмо. Во время плавания еды нам хватало, так что гостинцы не вызвали у меня особого восторга, зато письмо меня просто ошарашило. Получить письмо от барышни — такое мне и во сне не снилось.

«А все благодаря войне»,— думал я, по нескольку раз в день перечитывая письмо и бережно пряча его, как настоящее сокровище.

О чем она писала? Да если судить, как судят нынче, ничего особенного. Так, набор модных в то время слов, вроде «доблестно сражайтесь за родину» или «веря в победу империи, я буду крепить оборону в тылу». Ответ я написал в таком же духе. Напишешь что-нибудь неподходящее, заставят прочитать письмо перед строем, да еще изобьют. Поэтому мое письмо изобиловало такими выражениями, как «во имя его императорского величества», «желаю успеха в обороне тыла» и т. д. Иным и не могло быть по тем временам любовное послание. И все же при мысли, что я пишу барышне, рука моя начинала дрожать, и писал я очень некрасиво. Я кончил всего лишь начальную школу, а она была гимназисткой, и мне не хотелось, чтобы она смеялась над моими ошибками. Поэтому письмо пришлось несколько раз переписать, справляясь у товарищей, как пишется тот или иной иероглиф.

Пояс сэннинбари привел меня в неописуемое восхищение. Барышня родилась в год тигра, а это хорошая примета, ведь говорится: пусть тигр за тысячу ри[2] убежит, а все равно назад вернется. На поясе барышня вышила ровно столько стежков, сколько было ей лет, она в письме об этом написала. Ее соученицам, наверно, немало пришлось повозиться с этими амулетами — ведь все они были одногодками. По молодости лет я поступил, пожалуй, опрометчиво, ведь женщины, родившиеся в год тигра, говорят, упрямы. После женитьбы я убедился в этом на собственном опыте.

Не думайте, что, получив пояс-амулет, я стал мечтать о нашем браке. Несмотря на молодость, я даже вообразить не мог, что когда-нибудь вознесусь так высоко. При мысли о том, что восемнадцать стежков из тысячи сделаны рукой барышни, я преисполнился таким благоговением, такой радостью и любовью, что от избытка чувств принимался нежно гладить пояс. Правда, позднее в нем завелись вши, и это доставляло мне много мук, но сжечь его я все же не решался. Бил их по одной, обливал всех скопом кипятком, но терпел. Я хранил этот пояс до самого конца войны, пока его не отнял у меня один австралийский солдат.

После возвращения в Ёкосуку снова началась муштра, и мы, как и прежде, думали только о том, чтобы поскорее вырваться отсюда, хотя знали, что впереди нас ждет фронт. Но когда человек в отчаянии, он не желает заглядывать в будущее. Как только началась война, срок военной службы все время увеличивался, и в результате мое пребывание во флоте растянулось на целых шесть лет. Покинув в 1942 году порт Ёкосука, мы поплыли дальше на юг. Примерно в это же время японская армия

[1] Сэннинбари — амулет от пуль (в виде пояса, на котором тысяча женщин сделали по одному стежку).

[2] Ри — 3,927 км.

высадилась на Новой Гвинее. Мы все время находились на корабле. А жизнь на судне до встречи с противником — сущий рай.

На третий год службы я стал старшиной, тяжелые дни для меня миновали. Перечитывая смятое и изорванное письмо барышни, я все чаще и чаще вспоминал свое житье у хозяина и свое ученье. Ведь на флоте поголовно все, включая и меня самого, ходили в простых носках и ботинках, да и военная подготовка измотала меня до такой степени, что я за три года почти ни разу не вспомнил о таби.

Таби и война... Нет, что ни говорите, а между ними нет ничего общего. Мог ли я нынче вести свое дело, всячески поощряемый моими благодетелями заказчиками, если бы не мир, благодарение ему. Пусть я всего лишь носочник, но от войны меня увольте.

Итак, мы плыли и плыли, никто над нами не измывался, еды хватало. О чем мог думать мужчина в свои двадцать лет, как не о женщинах. Я был влюблен в барышню. Но говоря о ней, я вовсе не имею в виду жену. Хотя именно барышня и стала моей женой. Но тогда она казалась существом, недосягаемым для подмастерья. К тому же я был далеко от нее, на корабле. То была богиня! Вы правы, она была для меня идеалом и ничуть не походила на ту, что зовется моей женой. Вспоминая красоту ножки, увиденной как-то незадолго до ухода в армию, я был уверен, что на этом свете нет ей равной.

Иногда, проснувшись, я брал бумагу и принимался кроить таби. Точного размера у меня не было, но я решил, что ее нога никак не больше восьми мон и трех бу. Свод ступни, конечно, высокий, форма безукоризненная. Можете себе представить, каких мук стоило мне осуществить свой замысел. Да, я успел сшить только один носок, на левую ногу. Но вложил в него всю силу своей любви. И вы знаете, получилось довольно удачно. Вы спросите, откуда я взял материал? Коленкор и подкладку купил на острове Целебес, когда мы сходили на берег в порту Манадо. Коленкор был чистого белого цвета, вот только подкладка отдавала несколько желтизной и не очень мне нравилась. Зато шов между пальцами получился просто великолепный. С застежками дело обстояло хуже. Трудно сказать, сколько времени я потратил, прежде чем мне удалось сделать три штуки из крышки от табачной банки и до блеска начистить их. Но я не торопился, работа доставляла мне огромную радость, я был влюблен. Влюблен безумно.

А знаете, откуда я взял размер восемь мон три бу? Такая нога была у одной знаменитой гейши с Симбаси, потом я вспомнил, что однажды приказчик упомянул об этом в разговоре со мной. Да, если можно так выразиться, идеал таби. В мечтах своих я полагал, что мои таби точь-в-точь придутся барышне. Увы, я жестоко ошибся. Оказалось, что у жены размер девять мон четыре бу. О, как я был разочарован, сделав это открытие уже после женитьбы. Вы совершенно правы, мечта и действительность... Я тоже об этом с горечью думал. Вскоре после того, как я сшил свой таби на левую ногу, начался бой под Мидуэем — самое крупное сражение из всех, в которых мне приходилось участвовать. Ведь к тому времени японская армия уже потеряла четыре авианосца. Я плавал на эсминце, командовал матросами, но одно могу вам сказать: страшно. Самолеты противника как коршуны налетали на нас, заливали пулеметными очередями, пули ложились в море прямо перед нами, поднимая фонтан воды, и спрятаться было негде. Не лучше, скажу вам, чем во время учений в Ёкосуке. Вертелся как сумасшедший, стараясь выполнять приказы, иначе убьют, думал я. Когда нам твердили: «Не научишься, погибнешь!» — мы считали, что это говорится так просто, для острастки, но встретившись потом с противником, я понял: поворачивайся, а то и вправду пропадешь. Ведь матросы все на открытой палубе, а противник на нас сверху целится, успеешь укрыться — значит, пуля тебя

миновала. Меня-то миновала, а товарища рядом со мной убила. Не сразу его пуля, мне бы наверняка в живых не быть. Он следом за мной бежал и невольно прикрыл меня сзади. Словом, кому как повезет. Отстань я на шаг, он бы спасся, а я стал бы рыб на дне морском кормить. На флоте убитых в море хоронят.

Не думайте, что из этого боя я цел и невредим вышел. Осколки разрывной пули в ладонь попали. Потом в запястье угодило. Кажется, шрам еще сохранился. А на тело просто смотреть страшно. Живот на три суна [1] распороло, даже все кишки вышли наружу, хорошо еще, что их не повредило.

Зашивали. Больно ли было? Не очень. Да и кто в войну говорит о боли. Даже серьезные операции без уколов делали.

У пояса сэннинбари, присланного барышней, пулей оторвало краешек и весь его залило кровью. Я верил, что только он и спас меня, ведь в ту пору я еще был романтиком.

Корабль наш, к счастью, не затонул, но раненых оказалось много. Меня оперировали. Помнится, лежу я в госпитале, а раненые, словно тунцы на рыбном рынке, рядами на койках вытянулись; вот она, думаю, настоящая-то война. Нет, о поражении у меня и тогда мысли не было, только на душе как-то тревожно стало, кто знает, удастся ли выжить и вернуться... На то причина была. Ведь юг, жарища, раны гноятся, червяки в них заводятся, целые полчища мух летают. В то время, правда, медсестры с нами были и лекарств хватало, но умирали один за другим. А если умирать, думал я, так хоть в госпитале, по крайней мере в земле похоронят.

Что ни говорите, на море хуже. Скоро раны мои зажили, и меня сразу отправили на корабль. И как это меня угораздило на флот записаться? Пехота хоть в горах может окопаться, а куда убежишь с корабля, когда кругом вода? Двадцать с лишним лет прошло с тех пор, а и сейчас еще, если приснится, в холодном поту просыпаюсь.

Теперь уже ясно, что с боев под Мидуэем для японской армии началась полоса поражений. Вроде бы вскоре после этого штаб-квартира его императорского величества приняла решение приостановить бои в южной части Тихого океана. Но легко сказать — бросить на полпути начатое, когда мы уже успели добраться до этой южной части. Вот тогда и вошло в моду говорить: «пали смертью храбрых». Когда дивизия американской морской пехоты подошла к Соломоновым островам? Не помните? По-моему, месяца через два после сражения у Мидуэя. Что военная удача нам изменила, об этом догадывались и мы, матросы, но о поражении никто из нас не думал, так крепко вбили нам в голову тогда, в Ёкосуке, что флот божественной страны непобедим. Но и на победу мы не рассчитывали, так уж воспитывали нашего брата матроса, чтобы он вообще думать не умел. Словом, прожили день — и ладно. В свободное время я вытаскивал свой таби и любовался им, не предаваясь размышлениям.

Начались наступательно-оборонительные бои под Гвадалканалом, трижды за этот год происходили сражения у Соломоновых островов. Мы терпели поражение за поражением и продолжать войну было бессмысленно, но рано или поздно все образуется, подобные мысли... Впрочем, тогда мы еще не заглядывали так далеко. Не знаю, как офицеры, а что до нас, матросов, то мы жили одним днем, в промежутках между боями изнывая от жары.

Случилось это восьмого декабря, как раз в годовщину начала военных действий на Тихом океане. В тот день мы решили почтить молитвой память боевых товарищей, павших смертью храбрых на Новой Гвинее у

[1] Сун — 3,8 см.

Басабуа. Вечером, при обходе своего отделения, я услышал, как на одной из коек кто-то сказал:

— Послушай, а не прикрывают ли словами «пасть смертью храбрых» полный разгром?

Не долго думая, я поднял всех на ноги, приказал построиться и учинил допрос. Потом отчитал их за ослабление боевого духа и всем надавал затрещин. Хотя, говоря по правде, не был вполне уверен в справедливости своего поступка.

Оставив Гвадалканал, японская армия ушла вскоре и с того острова, где мне делали операцию. И тут нашелся еще один смельчак, который спросил:

— А может, отвод войск — это просто эвакуация?

Ну и шум поднялся! К счастью, матрос этот был из другого подразделения. Я знал его в лицо. Он погиб вблизи Андаманского архипелага, во время пулеметного обстрела. Тот, кто говорил о полном разгроме, тоже погиб там — свалился в море. Гибли те, что были побашковитее, ну — хоть сколько-нибудь соображали. Когда попадаешь в такую переделку, лучше не утруждать свою голову... Лично мне так кажется. Вскоре до нас дошел слух, будто в Японии началась мобилизация студентов. Ну, эту ученую братию быстро прихлопнут, случись ей попасть в такие места.

В те дни, когда японские солдаты гибли смертью храбрых в районе Маршалловых островов, наш корабль еще оставался цел и невредим и продолжал продвигаться на юг. Но если «пасть смертью храбрых» значило просто потерпеть полное поражение, то и наше продвижение следовало расценивать скорее как бегство. Пришли мы в Молуккский пролив, и дальше бежать было некуда. Корабль наш потопили в июле 1944 года, в самый момент отставки кабинета Тодзио, это я уже потом сообразил.

Я плавал на эсминце, но скажу вам честно: разнести его ничего не стоило. Раздался страшный грохот, и от эсминца нашего мгновенно остались одни щепки. К счастью, подошла смена вахты, и я как раз поднялся на палубу. Не успел опомниться, как очутился в море, так и не воспользовавшись спасательными кругами, которые мы сооружали из наших коек. Придя в себя, я увидел, что вместе с другими пятнадцатью моряками уцепился за обломок доски размером татами на татами [1]. Насколько хватал глаз, кругом простиралось море.

На горизонте ни островка. Вначале я надеялся добраться вплавь, хотя еще с корабля видел, что здесь открытое море. Какое-то время все ждали неизвестно откуда помощи, и никто не подавал голоса. Ни еды, ничего у нас с собой не было. Малейшая оплошность, и мы могли оказаться в пасти акулы. Как вспомнишь, дрожь пробирает.

Все мы знали друг друга не только в лицо, но и по имени, да и характер каждого был хорошо известен. Прямо напротив меня за доску держался сержант, противный малый, но удивительно, тогда я не чувствовал к нему никакой вражды. Может быть, потому, что уже не надеялся на помощь, а всем вместе нам было не так одиноко. Пришла ночь, но нам было не до сна. Ночью в этих местах такой звездопад, что жуть берет. Смотришь на Сатурн, а он тебе представляется могильным холмом — такие чужестранцы на своих кладбищах сооружают.

Недосыпать я привык еще в годы ученичества, да и в бытность мою матросом второго разряда. Но что ни говорите, совсем другое дело, когда тебя по волнам носит, сверху солнце нестерпимо жжет, да еще все время приходится за доску держаться.

На флоте говорят: «Под тобой одна доска, а за доской — преисподн-

[1] Татами — соломенный коврик длиной 1,5 метра.

няя». Что касается нас, то наши ноги болтались сейчас где-то у самого входа в преисподнюю. Это уж точно. А не будешь болтать ногами, акулы сожрут. Огромные акулы, принюхиваясь, каждое утро приближались к нам.

Верите ли, дело было уже после женитьбы, дети у меня успели подрасти, и вот повел я как-то дочку в зоосад. Вспомнил про все это и грохнулся в обморок прямо перед аквариумом. До сих пор не могу видеть водоплавающую тварь. Говорят, что в некоторых ресторанах готовят живую рыбу. Как услышу такое, волосы дыбом встают. Просто не верится.

Плывем мы, солнце печет, в глотке все пересохло. К счастью, к полудню появилось огромное белое облако и налетел шквал. Мы побросали на доску всю нашу одежонку, чтобы ее намочило, и стали ртом ловить потоки дождя. Пили, пили и никак не могли напиться. Вода заливала нос и уши, но нам было все равно, только бы пить и пить без конца. Когда дождь кончился, мы бережно собрали мокрую одежду и прикладывались к ней губами, если мучила жажда.

Особенно жутко было ночью. Море, правда, оставалось спокойным, но так угрожающе гудело, словно это подавали голос со дна морского скопища каких-то чудовищных рыб. Хоть бы рассвело поскорее, молил я про себя.

Наутро смотрю — сержанта и след простыл. Подсчитал — нас всего девять осталось. Заснули, наверно. Вся беда в этом. Только начнешь клевать носом, руки сами собой разжимаются, а акула уже подстерегает. Все это я видел собственными глазами, однако смерть уже не пугала, более того, не вызывала ни жалости, ни боли. Соседа рядом сон одолевает, а у тебя нет сил его окликнуть, ты видишь, как отрываются от доски его руки, как он начинает тонуть, а к нему уже приближается акула. В общем, видишь все, но будто ничего не соображаешь.

О барышне своей я, разумеется, тоже перестал думать. Может, так оно лучше было? Иначе утонул бы! И разная там философия насчет собственной смерти в такой момент тоже ни к чему. Верно? Полная отрешенность, так это, кажется, называется? Впрочем, не в том ли истина, чтобы в таких вот переделках оставаться отрешенно-неистовым? Но не наоборот, неистово-отрешенным? Тогда и дня не продержишься! Как сейчас помню, первыми стали тонуть те, кто поумнее в силу полученного образования. Плыли с нами двое офицеров, так они первыми и погибли. Потом пришла очередь унтер-офицера, который вечно хвастался своим средним образованием. Словом, выжило только трое — матросы, в том числе я,— все с начальным образованием.

Я уже сказал, что ночью было страшнее, чем днем. Пугали звезды. А закроешь глаза, непременно уснешь и тут же воплотишься в будду. Вот и стараешься, таращишь их из последних сил. Ведь, когда я служил у хозяина, мне, бывало, по трое суток не приходилось спать. Авось выдержу, только на это я и надеялся. А рядом со мной умирали люди. Умирали тихо. Хоть бы кто-нибудь вспомнил на прощанье мать родную или хвалу воздал его императорскому величеству.

На четвертое утро я перестал видеть. Что было дальше, не помню. Кажется, где-то вдали загудел корабль, и я потерял сознание. Каким-то чудом нас подобрало японское судно. Пришли мы в себя лишь через трое суток. Подобрали нас четверых, но один так и помер, не приходя в сознание. Вместе с нами захватили и нашу одежонку, валявшуюся на доске. Обнаружив в этом тряпье свой пояс-талисман, я даже прослезился от радости. Сам я, правда, не помню, но мне говорили, будто, находясь в забытьи, я плакал и все кричал: «Таби пропал! Таби пропал!» Может, я имел в виду тот самый, размером в восемь мон три бу? Врачи даже опасались за мой рассудок.

А на помешанных солдат я, знаете ли, нагляделся. К концу войны, когда затонуло и второе судно, на котором я плавал, мы оказались на маленьком островке в море Хальмахера. Когда мы высадились, это был красивый, зеленый островок. Прямо на берег выбрасывало рыбу волной, мы были сыты и жили без всяких забот. Но высадилось нас двести человек. Это, конечно, нарушило жизнь туземцев. Вскоре рыба исчезла, ловить ее можно было только в открытом море, и мы обглодали даже ростки на деревьях, которыми питалась сорная курица. Еще недавно зеленый островок почти совсем оголился. Несколько раз мы воровали кабанов, их мясом питались туземцы, и жарили их на кострах. Местные ребятишки, которые прежде с любопытством нас разглядывали, теперь бежали прочь при нашем появлении.

Война кончилась, стрельба утихла, но о дальнейшей нашей судьбе никто ничего не знал.

— С голоду подохнем, а наверняка скажут: пали смертью храбрых.

— Кто скажет, если война кончилась.

Теперь солдаты спокойно вели подобные разговоры, и никто их за это не бил.

Вам интересно, до какого чина я дослужился? Последнее время в мичманах ходил. Ничего удивительного. Старший офицерский состав из строя вышел, командовать стало некому, и я, как говорится, автоматически получал очередные чины.

Стыдно признаться, но под конец я усаживался в бот, надевал на голову венок из пальмовых листьев и отдавал команды, приподнимаясь на коленях и наблюдая в бинокль за воздухом. А солдаты в это время прятались на дне бота, прижавшись друг к другу, и ни один не посмел сбежать по той простой причине, что к тому времени я уже был выше чином. Что же касается меня, то я предпочел бы остаться простым солдатом и вместе со всеми зарыться в пальмовую листву на дне бота.

Небо, однако, по-прежнему оставалось безмятежно ясным, ни самолетов, ни пулеметных очередей. Четыре года прожил я в тропиках, и кажется мне, что там всегда жарко и ясно. Но прошел год, и безмятежная ясность эта стала нас пугать. Появилось такое чувство, будто все в мире о нас забыли.

Людей начала косить малярия, есть было нечего — только рыба и папайя. Папайю мы стали разводить уже под конец, но ее приходилось все время сторожить, потому что началось воровство. Что поделаешь, борьба за существование! Правда, выращивать папайю легко, срежешь ветку, сунешь ее в землю, через день она корень пустит, а пройдет месяц, смотришь, на ней уже плоды появляются. Отличная штука. И вот вскоре на всех папайях появились таблички с надписями: «Собственность младшего лейтенанта Касихара» или «Собственность мичмана Хандо». А однажды надпись «Собственность ефрейтора Цуцуми» мы увидели на шее крокодила. Ну и смеху было!

К тому времени у нас началась неразбериха: не поймешь, где армейские, где флотские. Взять хоть меня: эсминца давно не стало, какой я матрос, разве что его призрак. Армейские, те все в старших ефрейторах ходили. Высшие чины все перемерли, нового пополнения нет, ротный смотрел, смотрел да и произвел всех в ефрейторы для поднятия духа. Так и получилось, куда ни глянешь, одни ефрейторы.

Кокосовые пальмы, хоть их и мало было, все же росли на острове. Ну и деревья, скажу вам. Высота непомерная. И что бы вы думали, в один прекрасный день влезает на такую пальму один солдат, быстро, как обезьяна,— и, приложив ко лбу руку козырьком, орет не своим голосом:

— Воздух! Воздух! В трехстах километрах обнаружена эскадра противника!

Мы похватали винтовки, блестящие, будто новенькие,— каждое утро их начищали. А как же! Самим императорским величеством нам пожалованы.

Стоим, ждем. Все тихо. Небо по-прежнему пугающе ясное. А ефрейтор наш спустился с пальмы, подбежал к старшему унтер-офицеру, отдал честь и говорит:

— Докладывает ефрейтор Накамура. Позвольте угостить вас суси [1].

Унтер по привычке отдает команду «смирно», и мы, оборванные, одетые во что попало, некоторые в одних набедренных повязках, выпятив грудь, слушаем его. А ефрейтор между тем начинает вертеть руками, будто и впрямь лепит суси. И тут мы наконец догадываемся, что он просто спятил. А ведь он только что выкарабкался из малярии — видимо, сказалось сильное истощение.

— Послушайте,— унтер манит нас рукой,— ефрейтор Накамура хочет угостить нас суси. Давайте поедим,— а сам в это время шепчет:— Сделайте вид, будто едите.

Мы рады стараться. Один требует приготовить суси с тунцом, второй — с каракатицей. Бедняга все принимает всерьез, лепит свои суси и раскладывает их перед нами на столе. Мы же делаем вид, будто уплетаем их.

— Нравится вам, господин унтер-офицер?

— Вкусно. Все довольны.

— Очень вкусно, давно не ели таких суси,— поддакиваем мы, продолжая спектакль.

— А приправа как? Продукты сегодня хорошие, должно быть вкусно,— с торжествующим видом заявляет Накамура.

Но поскольку мы, его клиенты, еще не успели свихнуться, эта игра нам скоро надоедает и все начинают постепенно расходиться. С больным остается только унтер.

К вечеру, с заходом солнца, меня вдруг охватило беспокойство, может, и унтер умом тронулся? Я застал его в слезах.

— Хрен слишком крепким оказался,— тихо промолвил он, вытирая глаза.

Ефрейтор, угощавший нас суси, до армии, наверно, служил где-то в закусочной. На вид он был несколько моложе меня. Со следующего дня больной совсем перестал принимать пищу, но то и дело взбирался на пальму, возвещая о приближении противника. На четвертый день он умер. Мы вырыли яму и похоронили его.

Кто знает, возможно, и меня ждет такая же участь? Только я, пожалуй, буду ко всем приставать со своими таби. От этой мысли на душе у меня стало совсем скверно. Еще бы... Вы, вероятно, заметили, какая ступня у аборигенов с Новой Гвинеи? Не правда ли, кончики пальцев у них круглые и толстые, словно у ящериц? Можно представить себе, что это будут за таби. От одного их вида свихнешься!

И что бы вы думали, стерегу я однажды свою папайю, от нечего делать рассматриваю ночное небо и вдруг на месте созвездия Орион вижу таби. Ну, думаю, началось. Страх меня обуял. До прихода на флот я только и знал что свое ремесло, да еще о барышне мечтал, но теперь уже не надеялся встретиться с ней в этой жизни: если императорский флот в таком плачевном состоянии, то что осталось от тыла. Не зря говорили, что все сто миллионов японцев падут смертью храбрых.

Пояс сэннинбари служил мне теперь полотенцем, та часть его, где были стежки, полностью сохранилась. Только отпечатанная на нем картинка с изображением тигра успела слинять. Может быть, это предзнаме-

---

[1] Суси — шарики из вареного риса, покрытые рыбой, яйцами, овощами и приправленные уксусом и сахаром.

нование? Убежать-то тигр убежал за десять тысяч ри, а вернется ли назад, думал я, разглядывая пояс.

Вскоре отдал концы и унтер, начальник сумасшедшего ефрейтора. Оправившись после малярии, он подцепил тропическую лихорадку и от сильного жара скончался. Лихорадка — болезнь не смертельная, просто унтер был чересчур слаб и не выдержал. Я плакал от жалости к нему и все вспоминал, как он тогда сказал: «Хрен слишком крепким оказался». Неужели добрым людям нет места на этом свете...

Когда к острову подошло австралийское судно и мы были взяты в плен, нас оставалась всего половина, причем пятьдесят человек, в том числе и я, умирали от малярии. Плен явился для меня спасением. Я уже не надеялся выжить. Изможденные болезнью, мы добровольно сдались в плен. Лишь один, как я уже говорил, покончил с собой, но я думаю, что не из патриотических соображений, а просто на нервной почве.

Больных сразу отдали на попечение Красного Креста, и я долго лежал в одной из больниц на острове Хальмахера. После малярии у меня началась дизентерия. Да, вы правы, когда к малярии привязывается дизентерия, это дело безнадежное...

Рядом с больницей находился лагерь военнопленных. Говорили, что среди союзных держав австралийцы хуже всех обращались с пленными, а по-моему, все обстояло нормально, особенно если вспомнить, как тебя трое суток по волнам Тихого океана носило... Убедившись, что убивать нас никто не собирается и рано или поздно всех отправят в Японию, матросы приободрились. Что до офицеров, то как-то само собою установилось мнение, что все они военные преступники и в Японии их ждет виселица. Как пленные, все были вроде бы на одинаковом положении, однако офицерам очень помогало образование, они умели говорить по-английски, и австралийские солдаты относились к ним более уважительно.

Кого только не было в нашем лагере! Представители всех родов войск, кто только смог уцелеть. Среди них мне особенно запомнился армейский унтер Судзуки, как и я только что перенесший малярию. Мы чудом вырвались из когтей смерти и теперь, оба худые, с запавшими глазами, похожие на покойников, лежа рядом, вели друг с другом задушевные беседы.

Каждый рассказывал про свое: я про тот бой, когда на нас дождем сыпались пули, и про то, как трое суток меня носило по океану. Судзуки хоть и пехотинец, а и ему крепко досталось. Трое суток пролежал он в земле, заживо погребенный. Разговорам нашим конца не было, понять их мог только тот, кто все это на себе испытал. Больше всего мы разговаривали про малярию. Судзуки, оказывается, тоже пришлось сжигать тела своих боевых товарищей. Под конец бензин у них весь вышел, остались только дрова, здорово он намучился, пока научился пользоваться ими. Это сказать легко: сжигать трупы товарищей, когда знаешь, что завтра, может, тебя самого огню предадут. Эти воспоминания возвращали нас к пережитому, и мы снова и снова благодарили судьбу за то, что она была милостива к нам.

Так-то это так, но вот что будет с нами дальше? Ведь Япония потерпела поражение. И однажды я поделился своей тревогой с Судзуки.

— Отец мой — сплавщик леса,— ответил он.— А жизнь сплавщика всегда в опасности, как на войне. Течение такое сильное, что плот может разнести или ударить о скалу. Раздавит бревнами — и тела не найдешь. Но и среди сплавщиков есть везучие, чудом спасаются, у нас на родине их называют дважды рожденными. Бывает, поскользнется человек и душа его замрет, в этот момент, считают, кончается его первая жизнь, если же наперекор всему он сумеет выкарабкаться из совсем уже безнадежного положения, значит он заново родился.

Вот мы с тобой дважды рожденные, что называется везучие. Теперь

уж не умрем! Не знаю, что там с Японией, а я живой! Быть при смерти и выжить — это ведь чудо! Так неужели пропадем?

Родом он был с какой-то известной реки, говорил на кансайском наречии. Он рассказал мне много занятных историй из жизни сплавщиков, которые я уже успел забыть, только слова «дважды рожденный» запомнились на всю жизнь. В самом деле, сколько раз бывал я на волоске от смерти и не погиб, а теперь война кончилась. Как же мне не считать себя дважды рожденным? Хорошие это слова, думал я с восхищением.

Как только я немного оправился, меня перевели в лагерь, и я взялся за работу. К счастью, вскоре за нами прибыл корабль, нас затолкали туда, как рабов на галеру, и отправили в Японию. Итак, после шестилетней разлуки я возвращался на родину. При одной мысли об этом сердце мое наполнялось радостью.

В трюме было жарко, и мы все время проводили на палубе, распевая песни. Военные, любовные, народные — словом, все, какие только знали. Мы были сыты, муштрой нас не донимали, только и было у нас дела что песни петь. Пели, однако, только солдаты, а господа офицеры попрятались и не подавали признаков жизни.

— Все они военные преступники. Пусть только появятся, живо закатаем в бамбуковую штору и в море,— открыто грозились солдаты.

Так что бедняги офицеры не только на палубу, даже в уборную пройти боялись. Наверно, и среди них были люди весьма достойные и порядочные, но когда низы против верхов поднимаются, тут уж не разбирают, кто хорош, кто плох. А сейчас, как вспомнишь, жалко их становится. Во время военной подготовки мы на офицера, как на всевышнего, смотрели. Бывало, из кожи вон лезешь, приветствуя его, а он на тебя и не взглянет. Попробуй попадись ему на глаза, когда он не в духе: или изобьет без всякой причины, или бегать заставит. Поэтому здесь, на корабле, они нос боялись высунуть из каюты. Глядя на этих жалких вояк милитаристской Японии, даже такие, как я, необразованные, понимать начали, что в мире все изменилось. Иногда мне хотелось крикнуть им: «Эй, господа, выше голову, вы ведь тоже дважды рожденные!»

В Японию мы вернулись в декабре 1946 года. Зима, холод, а мы в летней одежде. Целых шесть лет зимы не видели. На корабле вновь вспыхнула малярия. Скоро на берег сходить, а больных трясет. Мы набросали на них все, какие были одеяла, потом сообща на них навалились, чтобы озноб сдержать, словом, переполох начался страшный. Но больные не унывали, знали, по крайней мере, что тела их в бензине сжигать не будут...

При высадке каждому дали по двести иен наличными, что здорово нас взбудоражило. Нет на свете страны лучше Японии. Сама в беде, а солдат своих не забывает, говорили мы между собой. Это нам награда за все наши муки — иначе никто и не думал.

Выходим на берег, кругом японцы, везде японская речь слышится, слезы так и текут из глаз. Причалили мы не в порту, а в каком-то маленьком городке в районе Кансая, никто из знакомых нас не встречал, но все равно мы были безмерно счастливы, что после стольких лет разлуки вернулись на родину.

Городок не пострадал от войны, но в магазинах было пусто. Однако нам казалось, что на двести иен можно купить все, что душе угодно. Вошли мы в лавочку, где торговали сушеным бататом. Взяли по кульку, спросили цену и, услышав «десять иен», онемели от удивления. Чтобы за батат расплачиваться не мелочью, а ассигнациями, в предвоенной Японии такое и в голову не могло прийти. Теперь мы поняли, что двести иен ничего не стоят, и приуныли. Вот что значит поражение...

Добрался я до своей деревни. Раздетый, обросший. Забыл сказать, я ведь родом из Кодзукуэ. Подхожу к дому с каким-то странным чувст-

вом. Что же сказать? «Вот и я» — вроде не подходит. «Батюшка и матушка, встречайте сына» — язык не поворачивается. Вошел молча, сбросил поклажу, на шум мать выбежала, смотрит на меня, никак не поймет, что к чему.

— Матушка,— невольно вырвалось у меня.

Тут мать всхлипнула и замерла на месте. Отец с братом от очага поднялись, ко мне поспешили.

— Кто такой? — спрашивают, а сами зло так на меня уставились, что я совсем опешил.

— Сигэ я.

— Какой Сигэ?

Матушка опять всхлипнула, а отец с братом как будто меня не признают. Они, оказывается, похоронную на меня получили и сейчас, видно, приняли за привидение.

Потом все трое бросились ко мне, мать кричит: «Сигэ, Сигэ»,— и за ноги меня держит, чтобы не исчез, как призрак...

Словом, много шуму наделало мое возвращение. Родители плачут, я тоже плачу, а жена старшего брата, та просто воет, да и средний брат, смотрю, не в себе. А дело заключалось в следующем. По деревенским обычаям, если наследник умирает, на его жене часто женится следующий брат. Старший брат и я, самый младший в семье, считались погибшими, поэтому средний после демобилизации решил обручиться с невесткой. Они только что свадьбу сыграли. Увидев меня, новобрачные сразу испугались, что и старший брат может вернуться. Средний брат до сих пор кается, что так неприветливо встретил меня тогда. А по мне, лучше и не вспоминать об этом. Ведь это счастье, что меня не постигла участь старшего брата. Сейчас уже и невестка так говорит. Что стало со старшим братом? А он тоже в армии служил. Погиб на острове Атт. Да.

Мой приезд взбудоражил всю деревню. На военную службу нас призывали по месту рождения, поэтому вместе со мной на флот ушли мои одноклассники. Ни один не вернулся. Они, как и я, попали в самые гиблые места. Я был уверен, что ни один из них не уцелел, и не хотел понапрасну обнадеживать людей, говорить, что, может быть, и их сыновья вернутся, поэтому часто оказывался в затруднительном положении.

— Тебе повезло, а мой вот погиб...

— И мой погиб, а ты, глянь-ка, вернулся.

— Смотри-ка, живехонек остался, а моего пока нет.

Все вроде бы радовались моему возвращению, и все плакали, видимо вспоминая своих сыновей. Верите ли, от этих слез мне никакого житья не стало, и я чуть ли не раскаивался, что живым домой вернулся. Потом я решил сходить на могилы погибших, все они были моими друзьями. За мной увязалась целая толпа — плачут, причитают, это совсем меня доконало.

Когда рядом с могилой старшего брата я увидел свою собственную, мне стало как-то не по себе. Но матушка уверила меня, что могила при жизни — это к долголетию, и хотите верьте, хотите нет, эта могила по сей день сохранилась. Чудно! Верно? Вот что значит быть дважды рожденным. Но тогда, на кладбище, я подумал, что и дважды рожденному туго приходится.

В общем, обстоятельства складывались не в мою пользу, и после Нового года я решил уехать в Токио. Да и родным я своим появлением причинил немало неприятностей. Деревня есть деревня, только и было разговоров что о нашей семье, мол, троих сыновей на войну взяли и только старший погиб. А второй, на которого похоронная пришла, вдруг вернулся. От этих разговоров лопнуло наконец мое терпение. Да и родители меня не удерживали.

Захватил я с собой рису и гороху, сколько донести можно было, и сел в поезд. Смотрю, все женщины в шароварах момпэ и в таби, да таких безобразных, что смотреть противно. У одной женщины, которая вместе со мной в поезд села, таби топорщатся во все стороны, сразу видно, что самодельные. Решил спросить для верности, точно, сама шила. Неужели и в Токио все перешли на самодельные, забеспокоился я, тогда прощай мое ремесло.

Когда приехали в Токио, я увидел одни развалины и понял, что тут не до таби. И все же решил попытать счастья — разыскать мастерскую, в которой когда-то служил. Как ни разбито все вокруг, может, удастся все же разузнать, что стало с хозяином и барышней. С мешком за плечами я отправился на поиски. Ни автобусы, ни трамваи тогда не ходили, только джипы оккупантов проносились мимо, отчаянно сигналя. Скоты! Война проиграна, да мы теперь ничуть не лучше туземцев с Южных морей, с горечью думал я. Сейчас все уже застроено, и удивляться нечего, что молодежь забыла прошлое. Это вы верно говорите, что дети, родившиеся в год окончания войны, давно уже переросли призывной возраст. Теперь в совершеннолетие ни на какие военные комиссии не отправляют. Все кругом изменилось. Иной раз кажется, будто во сне это было...

Район Ситамати весь сгорел. На месте мастерской стояла какая-то хибарка, только кладовая уцелела. Заглянул в хибарку, смотрю — посередине что-то вроде прилавка устроено, а на нем чайный лист выставлен. Странно, прежде здесь никто чаем не торговал, дай, думаю, спрошу, может, что-нибудь узнаю.

— Можно войти? — спрашиваю.

— Пожалуйста,— отвечают мне.

И что бы вы думали, в хибарке, обхватив руками жаровню, сидит мой хозяин. Посмотрели мы друг на друга.

— Уж не вы ли это, господин хозяин?

— А ты никак Сигэ-дон?

Мне бы его о здоровье спросить, а я растерялся и никак в толк не возьму: мой хозяин и вдруг чаем торгует. Да и он при виде меня особой радости не выказал.

— Сам видишь, до чего дожили. Спасибо, что хоть живы остались. А о ремесле нашем теперь забыть надо. В кладовой еще сохранилось немного коленкора, хотел на черном рынке его продать, да боюсь: попадешься — все отберут. Даже покормить тебя нечем. Такие настали времена, что не знаешь, счастье это, что жив остался, или лучше бы от пули помереть. В этот Новый год не то что лепешек, даже рисовой каши с бататом досыта не поели. Жизнь не мила.

В общем, жалобам и причитаниям конца не было. Да, когда хозяин огрел меня черпаком, он еще молод был, а сейчас передо мной сидел почти старик в потрепанной одежде с накинутым на плечи солдатским одеялом. Жалкий вид он имел,

— А что с господином приказчиком?

— Умер он. Еще до налетов. Простудился, заболел воспалением легких и умер. Такой крепкий был — и на тебе, вмиг его не стало.

— Вот оно что, скончался, значит?

— Скончался. А доживи он до нынешних времен, мне бы его и не прокормить. Вовремя умер. Позавидовать можно.

Хозяин даже не предложил мне остаться, но деваться мне все равно было некуда. Однако, увидев мешок с рисом, хозяин заметно оживился и позволил заночевать у него. Тут из кладовой пожаловала сама хозяйка с барышней. Они искренне были рады моему возвращению и даже прослезились.

В тот вечер мы наварили вдоволь рису, варили в котле, прямо на улице, набрав щепок и обломков для жаровни. Госпожа с дочкой рабо-

тали, как заправские хозяйки. Бывшая гимназистка носила теперь шаровары и залатанные табы марки «бэттин», а на голове противовоздушный шлем. В таком виде она бегала за водой к водопроводной трубе, торчавшей среди развалин. Я наблюдал за ней скорее с изумлением, чем с разочарованием.

Когда я уходил в армию, барышня была тоненькой, стройной девочкой, а сейчас повзрослела и раздалась. Так уж женщины устроены: вроде бы и есть нечего, а они все равно толстеют. В те времена от мужчин кости да кожа остались, а вот женщин худых мне что-то не приходилось встречать. Барышня, видимо, не являлась исключением.

Я был тогда молод, тридцати еще не исполнилось, и когда сел за один стол с хозяином и хозяйкой и взялся за палочки, почувствовал вдруг волнение. Ведь в прежние времена работник и думать не смел есть за одним столом с хозяйской семьей. Вина, разумеется, не было, но язык у меня все равно развязался, и я болтал без умолку. Нет, их непременно надо расшевелить, решил я.

— А мы ведь, господин, с вами дважды рожденные. Если хотите знать, все японцы, те, кто выжил, дважды рожденные. Так неужели сейчас пропадем? Ни пуля меня на войне не взяла, ни море, ни малярия. И вы, господин, можно сказать, живым из огня выскочили. Так что надо бодриться.

— Ты только что с фронта вернулся и снова готов воевать — это боевой дух в тебе жив. А Япония ведь разбита, Сигэ-дон.

— Ну и пусть, но японцы-то сами живы!

— А ты посмотри, что вокруг делается. Его императорское величество к простым смертным приравняли. Но если августейший всего-навсего человек, то кто же мы тогда? Выходит, не люди?

— Почему же? Ведь и его величеству трижды в день поесть надо, как нам с вами.

— А ты с каких это пор коммунистом стал?

Приняв это за шутку, я рассмеялся, но поддержала меня только барышня. Хозяин с хозяйкой опасливо на меня поглядывали, что, впрочем, не мешало им уплетать за обе щеки. Мы с барышней готовы были смеяться по любому поводу, возраст наш был такой, и это было единственным спасением в темной кладовке, где мы ютились. Что касается хозяина с хозяйкой, то они от всех потрясений все больше дряхлели и душой и телом.

Нет, надо что-то предпринять. Завтра же пойду искать работу, твердо решил я про себя. В деревню возвращаться я не собирался. Весь следующий день я бродил по развалинам, обходя квартал за кварталом, чтобы узнать, как обстоят дела в городе. Везде были черные рынки, торговали решительно всем — от сушеного батата до дайфукумоти [1], подстелив бумагу и разложив товар прямо на земле. Это сразу же напомнило мне туземные рынки на острове Хальмахер. Японцы очень походили на туземцев, только выглядели хуже; время было зимнее, и люди одевались во что попало. Тканей не хватало, одежда была чиненая-перечиненная, до войны так ходили только нищие. В толпе было много демобилизованных солдат, они стучали своими военными башмаками, от их бравого вида не осталось и следа.

Однажды я не удержался и, заметив группу праздношатающихся, скомандовал им вдогонку: «Смирно!» И что бы вы думали, испугались. Остановились как вкопанные, будто их током поразило. Потом обернулись, поняли, в чем дело, но ни у одного пороху не хватило, чтобы хоть обругать меня. Я тоже пришел в замешательство и поспешил убраться прочь.

---

[1] Дайфукумоти — рисовые лепешки со сладкой фасолевой начинкой.

Горох, привезенный из деревни, мне удалось сбыть на черном рынке по хорошей цене, и на эти деньги я купил подержанный велосипед.

Бродя по городу, я не раз встречал прежних товарищей по ученичеству, тоже демобилизованных и не знавших, как и я, куда податься. Их хозяева, как и мой, лишь вздыхали, довольствуясь супом из батата. Так что пришла пора нам самим приниматься за дело, в этом мы были единодушны.

Парень из мастерской постельных принадлежностей сообщил, например, что у его хозяина сохранился запас ваты и некоторое количество материала; подмастерье из лавки, некогда торговавшей шелком-сырцом, рассказывал, где и почем можно продать на Симбаси хлопчатобумажную ткань.

Все мы по-прежнему считались учениками, но когда человеку под тридцать — это уже совсем другое дело. Обмениваясь сведениями, мы разыскивали товар и находили покупателей. Гораздо хуже обстояло дело с его доставкой, все боялись полиции. У нас был уговор: если поймают, не выдавать других, своего имени не называть, место доставки держать в секрете. Словом, пользоваться правом не отвечать на вопросы. Так это вроде бы называется? И этим правом мы пользовались. А что поделаешь? В руках наш товар не унесешь, он громоздкий, и, когда вставал вопрос о доставке, некоторые шли на попятный. У меня же был велосипед. И эту обязанность я брал на себя. Дождешься, бывало, глухой ночи, погрузишь товар на велосипед и мчишься, не зажигая фонаря. А за поясом — кинжал. Ведь черным рынком в те времена бандиты заправляли. Спекуляция, скажу я вам, дело рискованное. Полицейские посты мне удавалось благополучно миновать, а вот на патруль я дважды нарывался.

— Это что у тебя за тюк?

— Да ничего особенного.

— А ну, пройдем в участок!

Не долго думая, вытаскиваю кинжал и говорю обомлевшему от страха патрульному:

— Не отпустишь, прощайся с жизнью. Я ведь дважды рожденный, на войне был, убить человека мне ничего не стоит. Ну так как, отпустишь?

А у него при себе ни сабли, ни пистолета. Стоит трясется, я, говорит, ни в чем тебя не подозреваю.

— Не вздумай догонять,— пригрозишь ему и мчишься дальше.

Хоть и дважды рожденный, а сами видите, нелегко приходилось.

Убивал ли я людей? Странный вопрос изволили задать. На то и война, чтобы убивать друг друга. Пуля противника убивала моих боевых товарищей, а моя пуля, если она достигала цели, убивала солдат противника. Сейчас вроде бы страшно говорить об этом. Но я и сейчас никакой вины за собой не чувствую. Сам не убьешь — тебя убьют. На то она и война. Даже в демобилизованных, в нас ярость все еще бушевала. Так что в этом смысле война, пожалуй, не кончилась.

Босс, с которым я дело имел, вел себя по-джентльменски. Цену за товар давал подходящую, быстро сообщал, где мануфактуру можно достать, где сахар. Американскую военную полицию они тоже боялись, и охотников перевозить товар, то есть рисковать жизнью, наверняка не было. Благодаря боссу дела мои процветали, и я ворочал такими деньгами, каких прежде в глаза не видел. Вот как оно повернулось. Я немедленно приобрел великолепные новые шины и, как только наступал вечер, отправлялся в путь. Где только я не побывал... И представьте себе, такую, казалось бы, страшную войну пережили, а у крупных спекулянтов кладовые буквально ломятся от товаров: и рис там, и консервы...

Постепенно стали появляться постройки из кипарисовика — ресторанчики, где вся эта публика веселилась. Слышу однажды, как хозяйка

одного из таких заведений, особа в кимоно из самого лучшего шелкового крепа, жалуется, что нынче носочники перевелись. Я мигом к ней бросился.

— Что скажешь?

— А я носочник.

— Неужели что-нибудь принес? Мой размер девять с половиной. Не помню, когда последний раз новые таби надевала. Покажи, что там у тебя?

— Нет, я могу заказ принять. Позвольте снять мерку.

Она с недоумением взглянула на меня и, увидев сантиметр в моих руках, неохотно протянула ногу. Новоиспеченная богачка, наверно, никогда не шила таби на заказ. Оказалось, что размер ее девять мон, шесть бу, пять рин [1]. Вот тебе и девять с половиной, надела бы и тут же разорвала. Женщины обычно стесняются больших ног. Поэтому предпочитали солгать даже мне, носочнику.

Когда я вернулся домой с заказом, у хозяина прямо глаза на лоб вылезли. Он никак не мог понять, что Япония начинает возрождаться. Но ведь и хозяин с самого детства в люди выбивался, и, хотя за последние годы совсем опустился, я заметил, как заблестели у него глаза, когда он взялся за шитье.

Первые десять пар я помогал ему шить, и оба мы радовались, когда заказ был готов. Приказчик успел посвятить меня во все тайны, и теперь я видел, как искусно управляется хозяин с коленкором. Бедняга приказчик! Не дожил он до этого дня. Мне до слез было жаль его. Хозяйка с барышней затаив дыхание следили за нашей работой — видно, понимали, что понадобится и их помощь, когда заказов прибавится.

Если дела так пойдут и дальше, в один прекрасный день мы снова откроем нашу фирму, мечтал я, сидя в кладовой.

Первыми таби хозяин остался не очень доволен.

— Некрасивые они!

— Еще бы, потому что нога некрасивая.

— А ты как мерку снимал? — с недоверием спросил он.

Я разозлился и попросил разрешения у хозяйки снять мерку с ее ноги. Пусть хозяин посмотрит.

— Хм... А у кого ты этому научился?

— Ни у кого. Следил, если удавалось, за приказчиком и запоминал.

Хозяин только хмыкнул в ответ. Всего пять лет, как он умер. И до последнего дня смотрел на меня свысока. Хоть бы раз намекнул, что без меня они по белому свету скитались бы. И дочь не желал выдавать за меня замуж. А ведь брось я их тогда, с голоду умерли бы. Ни война, ни поражение ничему его не научили, слышать не желал, что его дочь вдруг замуж за подмастерье выйдет. Так что поженились мы, можно сказать, по любви.

Жена моя лишена была прав наследства и до последнего времени числилась в моей метрической записи. Нам пришлось срочно покинуть кладовую и ночевать в траншее. Днем у меня были дела на рынке, а жена в это время шла к родителям, где она была за служанку. Почти до самой смерти тесть обращался с нами как с работниками и родную дочь заставлял называть его хозяином или господином хозяином и все в таком духе.

Теперь я понимаю — человек старой закалки, он никак не мог примириться с тем, что бедность вынудила его отдать за меня дочь. Я же молча сносил все, потому что не хотел, чтобы люди думали, будто, воспользовавшись несчастьем хозяина, я взял в жены его дочь. Но при таком положении дел дом оставался без наследника, фирму поручить было

[1] Рин — 0,303 мм.

некому, и тестю пришлось в конце концов взять меня в приемные сыновья. Случилось это за год до его смерти. Словом, так получилось, что мы стали как бы приемными супругами. Я иногда говорю жене: смотри, мол, не вздумай обращаться со мной как с приемышем.

Хотите знать, как перенесли мы все наши любовные передряги? Что вам сказать... Мы были молоды, и в общем все обошлось. К тому же срок подошел, жена в то время была девицей на выданье, а где взять жениха? Кто помоложе, на войне погиб, на одного мужчину три женщины тогда приходились, поэтому не она меня, а я ее, можно сказать, осчастливил.

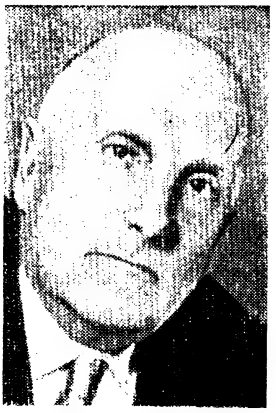
Была, правда, небольшая загвоздка. Жена гимназию кончила, а моя вся наука — начальная школа, таби да война. Вот, думаю, встанет все на свои места и попадешь, чего доброго, к ней под башмак. При нынешнем положении в мире женщинам не следует давать слишком много воли.

Ай-ай-ай, совсем заговорил вас! И все из-за этой малярии, сразу вспомнилось старое. Разве можно такое забыть. А вот жил и не вспоминал! Но сегодня говорю, говорю и никак не могу остановиться.

Да, страшную войну пережила Япония. И все это не сон, а чистая правда. Жаль тех, кто погиб. Узнай они, как процветает нынче Япония, наверняка в гробу бы перевернулись. Даже у меня в мастерской изредка бывают клиенты, которые заказывают таби с застежками из чистого золота. «К добру ли это?» — думаю я, простой носочник, вспоминая старое. Дочь считает меня отсталым человеком.

— Отсталый? — кричу я ей.— Да я, к твоему сведению, дважды рожденный!

Что стало с солдатом, от которого впервые услышал это слово? С Судзуки? Так вот, перед самой посадкой на судно его арестовала австралийская полиция. Если на солдата поступала жалоба, что он учинил насилие над кем-нибудь из местного населения, его немедленно отдавали под суд, не вникая в суть дела. А Судзуки — фамилия очень распространенная, никаких доказательств, что виноват именно он, не было. Но существовал закон: кто победил, тот и прав, раз арестовали, значит виновен. Расстреляли, наверно. Тем дело и кончилось, в Японию он не вернулся.



ЖАН ТАРДЬЕ

Перевод с французского МИХАИЛА КУДИНОВА

Когда в составленной Полем Элюаром зимой 1943 года книге «Честь поэтов», тайком ходившей по рукам в покоренной и не покорившейся Франции, знатокам предвоенной французской поэзии попадались стихи за подписью некоего Даниеля Терезена, то вряд ли даже самым искушенным и сведущим приходило в голову, что за этим именем скрывается Жан Тардье, еще накануне разгрома страны получивший признание в этом узком кругу. У подпольного лирика была гневная прямота, напряженный трагизм, гражданская страсть, подчас даже пророческая мощь:

С кляпом во рту — говори!
Сердце зажми в кулак!
Песнь петухов зари,
Смолкни — и пусть будет мрак!

Разве не пуст небосвод?
Разве гром не в цепях?
Жизнь, любовь, человек
Преданы, втоптаны в прах.

Что же осталось? Время!
Со стрелками на часах...

(Перевод Михаила Кудинова)

То, что писал Тардье прежде, выглядело совсем иначе.

Он родился в 1903 году в семье музыкантши и живописца и с детства дышал воздухом утонченно-изящной культуры — обширной, но герметичной, чересчур книжной. Она заботливо оберегала детский ум от столкновения со слишком острыми углами жизни, а вместе с тем и лишала его необходимой закалки. Полученное затем Тардье добротное образование, рано обнаруженный поэтический дар (вполне успешные пробы пера он сделал еще до того, как ему минуло десять лет), причастность с первых же самостоятельных шагов к «элите» литературно-артистического Парижа открыли перед ним в молодости гладкую дорогу, позволявшую миновать подвохи, гораздо более опасные и трудные для пришельца в эти круги извне.

Слишком благополучно складывающаяся жизненная и писательская судьба иной раз расставляет, впрочем, и свои ловушки: сознанию, взращенному в тепличном уюте, безбрежный внешний мир чудится хаотично-грозным. И оно спешит окопаться, занять глухую оборону, лишь иногда отваживаясь на стремительные вылазки. В ранней лирике Тардье колебания сопутствуют всякому утверждению, высказываемое обременено изнутри сомнениями в себе. Здесь удивление всегда настороже, в заинтересованности сквозит опаска. Смолоду умелый мастер, обладающий безупречным вкусом, благородной чистотой и строгой отточенностью в манере письма, Тардье обостренно, до завороженности чуток к мимолетным озарениям души и особенно к прихотливой переменчивости бытия. В каждую очередную минуту остающийся самим собой и уже другой, обернувшийся вдруг чуть ли не своей изнанкой мир вновь и вновь ускользает от того, кто в предыдущий миг как будто бы с ним примирился, справился с этой неподатливой текучестью.

Жизнь рисуется Тардье «скрытой рекой» (так называлась первая его книга, вышедшая в 1933 году): после спокойных разливов в долинах она уходит куда-то в глубь земли, под скалы, скрывается в бездне мрачных провалов, пряча от нас свои загадки, свои повергающие в трепет тайны. И оттого подключенность личности к этому потоку прерывиста. Река жизни временами кажется безобидной, доступной, внушающей доверие, однако полосы душевного умиротворения то и дело чередуются с затяжной, тревожной отчужденностью. Разлад между замкнутой в себе, одомашненной, упорядоченной областью, где все привычно, укрепляет уверенность, и своевольным, угрожающе непонятным, коварным ходом вещей вокруг дает о себе знать зачастую исподволь, окольно. Но от этого, пожалуй, еще напряженнее.

Правда, Тардье не позволяет унынию и судорожному испугу заполнить душу до краев, захлестнуть все и вся, как это случилось кое с кем из тогдашних прорицателей близкого «светопреставления». Однако зыбкая ненадежность сущего больно его задевает и всерьез настораживает, рождает стремление воздвигнуть для себя прочное, жестко скрепленное, надолго сработанное убежище из подручного и вполне освоенного материала — слов, строк, их сочетаний. Здесь можно укрыться, унять беспокойство, обрести душевную устойчивость. Строительство укреплений из языковых кирпичиков вынуждает быть предельно, до чрезмерности собранным, крайне осмотрительным в подгонке и обеспечении прочности каждого сцепления. Есть какая-то скованность, зажатость в том, как предвоенный Тардье сооружает свой словесный оплот среди стихий. Внутреннее содержательно-смысловое пространство этой обители по необходимости тесновато, камерно, а выходы старательно замурованы. Отпечаток застывшей келейности, лежащий на его стихах той поры,— одно из следствий той достаточно распространенной творческой установки, когда назначение культуры усматривается не во вмешательстве в текущую историю, дабы помочь на деле справиться с ее бедами, работать на ее поприще, а в том, чтобы по возможности оградить эту самодостаточную культуру от вмешательства со стороны истории.

Зловещий поворот событий после поражения Франции в 1940 году заставил Тардье, да и не его одного, воочию убедиться в тщетности всех подобных заслонов. От такого шквала рушились обители и куда крепче. У Тардье достало мужества и чувства ответственности, чтобы не прийти в обескураживающее отчаяние, чтобы прямо взглянуть в лицо случившемуся. И решиться на весьма существенную перестройку в представлениях о своем долге, в самом складе своих сочинений. Дело тут, конечно, не просто в желании быть неузнанным, выступая в подпольных журналах и альманахах,— ведь Тардье оставался с семьей в захваченном врагом Париже и сотрудничал в печати Сопротивления. Суть даже и не в том, что недавний поэт для немногих посвященных заговорил теперь так, что был услышан множеством рядовых соотечественников,— его реквием памяти мирных жителей Орадур-сюр-Глана, французского городка, летом 1944 года стертого с лица земли отрядом гитлеровских карателей, обошел тогда всю страну вместе с вестью об этом чудовищном преступлении [1]. Важно прежде всего то, что действительные трагедии, а не смутные предзнаменования хмурого, но никак не осмысленного ненастья прямо вошли в лирику, были опознаны и обозначены. А тем самым это ненастье было очерчено в своих границах, перестало выглядеть всеохватывающим, неизбывным, неодолимым. И тогда делалось все очевиднее, что оно преходяще, что вопреки невзгодам, поражениям, потерям в самой гуще жизни неуклонно становится, крепнет в сопротивлении обстоятельствам нечто совсем иное — здоровое, созидающее и обнадеживающее.

По-своему поразительно, что как раз в самые мрачные, тягостные годы вселенная в глазах Тардье не окаменевает окончательно, схваченная ледяным страданием, но получает безостановочное движение. Тьма и свет, холод и огонь, ужас и восторг, рождение и умирание не разведены навечно, не противостоят, а противоборствуют. То, что прежде раскалывалось, замерши у разнозаряженных полюсов, втягивается в русло необратимого времени. К Тардье приходит большая раскованность, свобода. Он уже жаждет не столько остановить мгновение, заставить его застыть с помощью слов, сколько уловить в их сети идущее повсюду и несмотря ни на что обновление, причаститься к нему и среди хмурой непогоды поддержать и разжечь жизнетворное пламя. «Повержены боги, вокруг мертвецы, мутные воды, спаленные цветы. Плечом против ветра. Шаги через силу — вперед. Не удерживайте меня! Что-то начинается. Что-то смолкает, образуется и поджидает меня». «До завтра, нежный день, до завтра! Будь ясным после сна под откосом. Я уношу еще живое пламя в очаге моих ладоней». Прежний сторонний созерцатель, взиравший на окружающее не без затаенных страхов, теперь предпочитает внести от себя лепту в происходящее. В недрах сложного становления он старается нащупать то, что достойно заботы, что тянется к будущему, что необходимо уберечь и выпестовать,— и в этом найти залог собственного возмужания, роста, духовного распрямления.

Впоследствии, собрав свои патриотические стихи военной поры в книге «Задушенные боги» (1946), Тардье редко возвращался к гражданской лирике как таковой. Однако толчок, полученный его мыслью, когда она впрямую соприкоснулась с бед-

[1] По-русски «Орадур» вместе с другими стихами Тардье времен Сопротивления опубликован в сборнике «Я пишу твое имя, Свобода» (1968).

ствиями и подвигом родины, был достаточно мощным, чтобы во многом задать направление позднейшим его поискам. Благотворность закалки, полученной в испытаниях тех лет, ощутима и в одноактном театре, ныне принесшем Тардье известность далеко за пределами Франции, и в его проникновенных коротеньких эссе о живописцах и музыкантах, и в его многолетней работе на радио, и особенно в его лирике.

XX век знает бесчисленное множество писателей, вставших под знамена бунтарства на исходе юности, чтобы затем, с возрастом, остепениться, свернуть на издавна наезженные колеи. Гораздо реже случается обратное, зато тут запальчивости бывает поменьше, результаты же несомненнее. У Тардье вспышка исподволь копившейся мятежности произошла тогда, когда он уже приближался к рубежу пятидесятилетия, и вылилась, по его словам, во встречу «на одном из перекрестков лирики и бурлеска». В 1951 году он выпустил книжку «Мосье, Мосье», имевшую даже в тех кругах, где стихов обычно не жалуют, успех, сопоставимый разве что со славой во Франции Жака Превера и Ремона Кено [1].

Нагромождение благоглупостей, изрекаемых и проделываемых на первых страницах этой книги двумя глубокомысленными тупицами, представляющими две шутовские ипостаси одного и того же ударившегося в философичность обывателя, поначалу выглядит невинной потехой. Она заражает и забавляет лукавыми каламбурами, пародийно вывернутыми наизнанку речевыми клише, игрой пустопорожних прописей, сведением напыщенных языковых оборотов к их тощей буквальной основе. Но понемногу, вдумываясь в эту веселую издевку над сосредоточенно насупившими брови пустословием и суемудрием, не замечающими своей выхолощенности, запутывающимися в опровержении чуши еще большей нелепицей, нетрудно различить, как сквозь легкое задорное подтрунивание проступает вполне серьезный замысел. Он делается все очевиднее по мере того, как Тардье, вслед за клоунской парой «простофиль, играющих в философию», выводит на подмостки своего кукольного балагана разномастную вереницу их собратьев и соперников по праздномыслию, каждому из которых поручено исполнить очередную ужимку свихнувшегося на этом занятии ума. Один изрекает прописи самодовольной логистики, другие шушукаются о загадках вселенной так, будто это деревенские сплетни, третьи корчатся от потуг на пророческие откровения и напускают шаманского тумана, четвертые плетут нелепые солипсистские выкладки...

Мало-помалу обозначается настоящая мишень Тардье — залогизированное до крайности, до чудовищной путаницы плоское здравомыслие и обслуживающий его опустошенный язык. «Сущее не делится на разум без остатка»,— заметил когда-то Гёте. У Тардье философические мещане берутся за такое деление, дабы облагодетельствовать друг друга и всех прочих смертных сообщениями самых что ни на есть «конечных», исчерпывающих и непререкаемых «истин» бытия. Последние на поверку оборачиваются совершенно бессодержательными пошлостями по той простой причине, что их всеобщая отвлеченность достигается за счет отрыва от действительной жизни с ее многоликой сложностью. В результате пыжущиеся вовсю пустомели, едва вскарабкавшись на очередные кручи безжизненного умничания, всякий раз снова и снова срываются и попадают впросак. А вместе с ними и весьма высоколобая метафизика, чьи расхожие «открытия» и непомерные домогательства на свой балаганный лад повторяют эти паяцы, возжаждавшие прослыть мудрецами. Под обстрелом пародии оказывается сердцевина той культуры, которая кичится своим сверхизощренным рассудком и которой сам Тардье в прошлом отдал изрядную дань. И потому учиненная им теперь саркастически беспощадная проверка ее на жизненность есть вместе с тем и самоочищение, попытка выбраться из завалов книжности к прозрачным родникам непосредственного. Помещенные в конце сборника песенки в простонародном уличном стиле, безыскусные детские считалочки как бы приоткрывают выход из дебрей умничания, заблудившегося в собственных хитросплетениях, к своему незаемному, не взятому напрокат у других, взгляду на вещи. Об этой жажде обрести самого себя, достичь простоты и открытости, избавиться от всего наносного позволяют догадываться стихотворения вроде «Человек неумеренных претензий», где за легкой иронией распознается исповедь всерьез. Тардье, впрочем, далек от крайностей, от взвинченной проповеди нутряного наития, той самой, что сопровождает в нашем столетии иные из подобных пересмотров рассудочного, головного мировосприятия. И потому возврат Тардье к естественному простосердечию лишен оттенка нарочитости, подлинен.

Расправа с помощью смеха над тем, чему бездумно поклоняются многие собратья по перу и чему он когда-то поклонялся сам, знаменовала собой озорной прощальный кивок Тардье в сторону былого, однажды уже расшатанного трагической встряской и теперь удостоенного шутовского погребения. Конец заносчивому высокомерию духа, под маской гордыни скрывавшего свою житейскую хрупкость, растерянность, повсюду подозревавшего неведомые каверзы. В последних поэтических вещах Тардье («Безличный голос», 1954; «Безвестные истории», 1961) прочно утверждается просветленное доверчивостью чувство своего кровного братства со всем живым — далеким и близким, опечаленным и праздничным, огромным и малым, угнетенным и беспечным, сегодняшним и завтрашним. Тут нет умильного благолепия, но есть приязненная откры-

[1] См. подборку стихов Кено в «Иностранной литературе» № 8 за 1970 год.

тость. Обыденному и, быть может, самому важному, во всяком случае не заслуживающему небрежной снисходительности житью-бытью с его насущными заботами и скромными радостями отныне приветливо открыт сюда доступ.

У Тардье всегда было редкое умение за назойливым, раскатистым грохотом дней расслышать тихие шорохи, едва внятную приглушенную музыку, тончайшие оттенки шума жизни. Отклик на это негромкое многоголосье, не утратив остроты, с годами приобрел ровное спокойствие, отзывчивую доброжелательность.

Тем он неподдельнее. Тем охотнее ему веришь.

САМАРИЙ ВЕЛИКОВСКИЙ

ИЗ СБОРНИКА «МОСЬЕ, МОСЬЕ»

Могила Мосье Мосье

В сгустившейся тишине,
где слов не слышно совсем,
Мосье говорит с Мосье,
словно Никто с Никем.

— Мосье, когда смерть придет
и каждый из нас умрет,
похоже будет тогда,
что не было нас никогда:
едва я уйду без возврата,
кто скажет, что жил я когда-то?

— Мосье,— отвечает Мосье,—
вы правы, и тем не менее
кто скажет, я есть или нет
сейчас и в любое мгновение?
Так быстро время уходит,
что я, когда рассуждаю
(глагол в настоящем времени,
изъявительное наклонение),
я, право, не тот уж, кем был
в предшествующее мгновение.
Прошедшее время тоже
сюда подойти не может.
Здесь нужно, чувствую я,
наклонение небытия.

— Согласен,— Мосье говорит,—
и в наклонении этом
о жизни своей поведу я рассказ;
о жизни обоих нас:
мы не рождались,
не подрастали,
не увлекались,
не ели, не спали,
мы не любили
и не мечтали...

Мы с вами никто!
И мы ничего
не видели и не знали.

Солидный здравый смысл

(Торжественный и глупый, с бюрократическими наклонностями.)

Я утверждаю: раз кто-то умер,
то это значит — он жил.
Я утверждаю, что существую,
поскольку тоже умру.

Я смею надеяться: завтрашний день
придет за сегодняшним днем,
поскольку солнце заходит
и снова всходит потом.

Позвольте... (В чем дело?) Позвольте
представиться мне наконец:
я — имярек, и я утверждаю,
что полное право имел мой отец
скончаться, поскольку сам я живой:
один остается, уходит другой.

Если уйду я, то значит был,
если усну, значит бодрствовал я,
если я бодрствую, значит усну
и если умру — выходит, что жил.

Человек неумеренных претензий

Во мраке ночном
он солнца просил,
он требовал солнца,
он жаждал солнца.
Во мраке полном, во мраке
ночном (понимаете?)
солнца (кричал он),
скорее (вопил он)
подайте мне солнце!
Солнце! Солнце!

«Зачем?» — спросили его. И в ответ
сказал он: «Хочу, чтобы пролит был свет
на это скверное дело,
что тянется столько лет».

Спросили его: «На какое дело?»
И он ответил: «На скверное дело!
На дело, что жизнью моей называл я,
на дело, которое мне надоело...
Хочу, хочу, чтобы пролит был свет
на это скверное дело!»

Ему сказали: «При чем ваша жизнь?
Несчастный! Да вы, никак, позабыли,

что жизни своей не имели вы,
что жизнью других вы жили!

Как можно чужое своим называть?
Поймите, слова ваши здесь не к месту:
вас могут услышать,
на слове поймать
и тут же подвергнуть аресту».

Но он возразил:
«Вы ушли от ответа:
я солнца просил,
я требовал света,
а вы о полиции речь завели».

Ему сказали: «Ну как вы могли
подумать, что солнце дадут вам средь ночи?
А завтра вы будете требовать тьмы
средь бела дня,
когда солнце светит...»

«А почему бы и нет? — он ответил.—
Считаться с чем-либо я не привык,
и только одно мне теперь известно:
вокруг меня ночь,
и в этой ночи
я требую солнца,
лучей его,
света!»

Ему ничего не сказали на это,
и дать не смогли ему солнца лучи
или их отблеск
средь ночи темной,
что целиком
его покрывала.

Не уступал он...
И свет перед ним
вдруг вспыхнул.
Но был этот свет не таким,
какого просил он
в ночь своей смерти.

Колдунья дает советы

(С испуганным видом, тихим голосом, на ухо читателю.)

С наступленьем рассвета
воздержитесь от смеха.

Не слушайте, что говорят
деревья... а также эхо.

Ночью темному лесу
имя свое называть
упаси вас боже.

Не якшайтесь с дождем
и со снегом тоже.

И не вздумайте распахнуть
ставни, когда вы дома,
чтобы к вам в окно
не смогли заглянуть
звезды, с которыми вы незнакомы.

Вы просили совета, и в полной мере
получили его: он вам пригодится.
Осторожность и недоверье!
Неизвестно, что может случиться.

Встреча

(Мил и скромен, но надеется на повышение.)

Человек мне навстречу шагает.
Он в шляпе. На нем пальто.
Но кто он? А бог его знает!
И все-таки кто же он? Кто?

Не я ли? Ведь это вполне
возможно, когда я в движенье.
Да-да, это я без сомненья,
живущий в сегодняшнем дне,
а он, как мое отраженье,
из завтра шагает ко мне.

И завтра, завтра я буду.
Меня еще нет... потому,
что всякое вижу я всюду
и ничего не пойму.
Так, мне непонятно, к чему
шесть лапок у мух, а не три,
и хвост у собак не внутри,
и холод зимой почему,
и умирают зачем,
и кошки и мыши зачем,
и солнце, и звездные дали,
и дождь почему, и так далее.

Ничего я не знаю покуда.
Буду знать — и тогда я буду.
Я не знаю: Я почему,
а не Ты почему и к чему
и вчера, и сегодня, и что
представляет собой человек,
мне навстречу идущий из завтра
и одетый в мое пальто.

Человек и ветер

Один открывает дверь.
Другой закрывает дверь.

Если дверь открываю я,
если дверь закрываете вы,
то похожи мы с вами на ветер,
ветер северный, ветер южный
или все равно какой ветер.
И, однако, мы с вами люди,
и людское у нас поведенье,
потому движение ветра
не имеет к нам отношенья.

Так какой же из этого вывод
можно сделать?
Да никакого!
Не считая того, что мы люди,
и что я — человек, а не ветер,
и другой человек — человек,
и что дверь — это дверь, и что если
их сравнить, то такое сравненье
не дает ничего,
не ведет ни к чему
и... не имеет значенья.

Идея

Мне представляется, что я мыслю;
мне представляется, что я существую;
я мыслю — следовательно, существую,
хотя в голове — ни единой мысли.

Эта идея, имеющая сходство
с основным положением
философа Декарта,
пришла мне в голову,
когда я однажды
сидел за столом
и резался в карты.

Метаморфозы

В потемках Истории,
в сумраке ночи,
иду я на ощупь,
всему удивляясь,
иду, спотыкаюсь,
и худо мне очень.

Я шляпу беру —
оказалась лягушка.
Жену обнимаю —
а это подушка.
Погладил кота —
оказался утюг.
Окно открываю —
и чувствую вдруг,
что сырость чулана
в лицо мне струится;
я за чернильницу
принял мокрицу,
почтовый ящик —
за мусорный ящик,
свисток паровоза —
за птичьи трели,
гудок машины —
за умное слово,
плач принял за смех,
тьму принял за свет,
смерть принял за жизнь,
а себя — за другого.

ИЗ СБОРНИКОВ «БЕЗЛИЧНЫЙ ГОЛОС» И «БЕЗВЕСТНЫЕ ИСТОРИИ»

Письмо отсюда

Я тот, кто сегодня живет среди вас,
я один из вас. Мои ноги спокойно
по асфальту ступают,
как если бы я и не знал,
что земля — только тонкий листок
между двух протяженностей, цвета лишенных
и безымянных.

У меня самого, однако, есть имя:
я тот, кто присутствует здесь, среди вас,
я один из вас, и глаза мои видят, рот говорит и
работают руки,
как если бы я не знал,
что кожа моя — только тонкий листок
между мною и смертью.

Я тот, кто не смотрит выше дымящихся труб
или дальше черты горизонта, параллельного линиям улиц.
Разбивается солнце об окна скупые,
и от меня оно прячет звездные сны,
где мне, человеку отсюда, нечего делать.

Вся надежда, о да, вся надежда моя — среди вас,
рядом с вами и рядом со мной. И не стыдно мне,
если шаги мои с вашими слиты.

(Я мечтал о пустыне, в которой я был бы один,
но поскольку был я один, то не мог себя видеть,
и больше не стало меня, и песок проникал в мое тело.)

Здесь же мне хорошо. И я слышу, как в комнате рядом
ведут разговор,
и всегда этот голос я слышу (даже если меняется он),
и всегда — это вы, и всегда — это я, говорящий.

Что тут можно добавить? Живем мы стаканом воды
из-под крана на кухне,
живем постоянною жизнью и смертью
в бессмертном и ярко сверкающем мире —
иней времени, ангелов сталь,
дождь и грозный огонь в четырех концах неба.

Если б даже

Если б даже своими глазами
я увидел, как предки с картин
вдруг сошли и смешались с толпою;

если б даже своими глазами
я увидел, как ленты дорог
взмыли к небу, словно фонтаны;

если б даже своими ушами
я услышал, как солнце (да, солнце!)
окликает меня из-за тучи;

если б даже вдруг я обрел
высоту и молчание дома;

если б даже нашел я ключи
от туннеля сквозь нашу планету
и медлительный начал бы спуск
вдоль его стены бесконечной;

если б даже своими глазами
мир с другой стороны я увидел;

если б даже, и пусть «если б даже» еще и еще...

все равно я бы верил в одну лишь святую Реальность,
что, из наших рук ускользая, погружается в ночь.

Бумажные цветы

Я сказал тебе, ты мне сказала,
тебе я сказал, я сказал тебе, ты мне сказала,
тебе я сказал, я сказал тебе, ты мне сказала, тебе я сказал:

— О, как были высоки дома!
О, как пахло пылью в старой квартире!
О, как трудно было найти
время солнца и время грядущего, время бумажных цветов!

Я сказал тебе, ты мне сказала,
тебе я сказал, я сказал тебе, ты мне сказала.

Ад на дому

В углу коридора темного,
в зеркале потускневшем
он себя увидел таким,

каким хотел бы увидеть:
торжествующим, гордым, свободным
и, словно бог, молодым.

Но тут же исчез этот образ
под всхлипыванья водопровода,
и сердце в груди человека
оборвалось и упало.

А зеркало чуть заметно дрожало
от машин, проносившихся мимо,
зеркало нечто другое уже отражало,
и медленно-медленно из глубины проступало
что-то вроде собаки с искривленной спиной,
собаки, которая воет с невыразимой тоской
на дворе за высокой стеной,
и в глазах у собаки — слезы.

Горе

В бедном сердце города — липкая ночь.
Под фонарем, возле чьих-то закрытых дверей
человек, чтобы душу свою облегчить,
пишет, пишет кому-то, верней, никому,
говорит он об ужасах жизни своей,
о нужде беспросветной,
о тяжком труде, об усталости,
о жестокости и беззаконье хозяев,
об утонченности пыток... И потому,
что он сам с собой говорит
и с сочувствием слушает это,
что-то вроде рассвета
на его изможденном лице проступает.

И тогда из тьмы выползает сверкающий нож
и руку ему отрезает.

Иль-де-Франс

Близ лица твоего я бродил —
сеть каналов, дворцы, тополя,—
языком облаков и могил
говорил ты. Я слушал тебя.

Я бродил близ твоих берегов,
ты был только улыбкой и сном,
и давали мечте моей кров
твои скалы, и руки, и гром.

Ты прошел сквозь полотна картин,
оставляя в них свет твой и мглу...
Лица тонкие, пряди седин,
блеск кинжала в темном углу.

Барабаны, кокарды, стрельба...
Ночь спустилась — я был к ней готов,
и на бархат был брошен... Судьба,
время жатвы, сумрак лесов.

Я под шепот твой тихий уснул,
пели люди и птицы вдали...
Мера жизни, стихающий гул,
и молчанье, и запах земли.

Из югославской прозы

Перевод АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

АНТОНИЕ ИСАКОВИЧ

Наш Лисенок

Вот беда!
Они не могут нас видеть.
И как только находит, проклятая.
Больше не бьют.
Снаряд.
Что делать?
Дышит?
Видишь, дышит.
Надо сделать носилки.
Сапог стянуть?
Стягивай.
Погоди, не идет. На волоске держится.
Ногу обвяжи, истечет же кровью, люди!
Вот беда!
Лисенок, ты меня слышишь?
Говорит, слышит, пошли скорей.

Лисенок: заостренное лицо, карие глаза, козлиная бородка, всегда улыбается, на щеках точки румянца — весельчак Лисенок.

Сейчас щеки белые, втянутые; лицо сжалось в кулачок, внезапно постарело; задела парня железная лапа, жмурится только, век не поднимает: силы бережет.

Нас семеро, восьмой — Лисенок: отделение в патруле; пробираемся по дубовому лесу, ноги ворошат прошлогоднюю листву; в нос бьет крепким запахом земли, гниющих сучьев, присутствие раненого не чувствуем; и разное лезет в голову:

...Лисенок, наш Лисенок, чего он только не выделывал на барабане! Такое только ногами можно: на большом барабане вальс выбивал; трубу возьмет — куда только ее голос не доходит; а когда в медные тарелки бил, с расстановкой, у самого своего носа, звук получался как круглый сгусток меди, будто поступь процессии слышишь; умел он и по-другому: бил в медные тарелки легко, быстро, весело, цирковые номера объявляет — самый великий клоун мира...

...мы сидим у костра, словно бы в шатре; Лисенок смеется, бородка вытянулась, глаза возвел горе; весь в движении, хотя стоит на месте — ноги как свинцом налились; пружина на ветру; все в нем движется, вперед-назад, уши — тоже; ушами он шевелил, как заяц; бьет в медные тарелки, а они будто умножаются: сотни их, отклеиваются от его рук — и в тьму леса...

...вот чудо-то, представь себе: конь белый, играет; грива и хвост подрезаны, на голове красная кисточка; конь счет знает: отсчитывает левой ногой, правой — собирает; и проходят девушки в одеждах, расшитых красным, желтым и зеленым стеклярусом,— как трава, как камыш; в медных тарелках его лицо, и мы слышим его голос: «Семь дней ты едал, семь дней голодал»...

...в конце господин в сюртуке и черном цилиндре; чего только он не вытаскивает из блестящей большой шляпы: желтые и красные яблоки; круглые румяные хлебы, жареных кур; сотни безделушек и зеленого попугая; ну-ка вытащи теперь всамделишного лекаря; доктора, который может ногу пришить...

Весь день мы шагаем по дубовому лесу; тени темные мелькают, как кошки; возле черных стволов — лохматые хвосты мха; дупла в деревьях; черные изгибы ветвей — руки и ноги дьявола; все это когти смерти; дупла — глаза, стоглазые леса, ох, эти черные провалы, сколько их...

Лисенок их не видит; и хорошо, нечего пялиться в черноту; Лисенок смотрит на голову леса: там зеленые овалы листьев, разбитое на кусочки голубое небо; плывут лоскутья синевы — много их, подброшенных платочков.

Нам кажется, что молоко и одно вареное яйцо помогли бы Лисенку; огромное яйцо — глобус планеты; луга и леса попусту богаты; сок травы превратить в молоко; где бы найти обыкновенную корову?

Травы потеряют свой сок, созреют и рассыплют семена, чтобы выросли новые травы, для других; всегда мы идем по разбитым головам, по разорванным печенкам: и иди, скатывайся, букашка катится под гору — важно по пути что-то собрать, сохранить; чтоб было что *передать* тому или другому: мне ли, нам ли, семерым, или Лисенку.

Ночь — огромная черная яма — все поглотила, втянула в себя небо, лес, дорогу и нас; уничтожила формы — все сровняла; мы ориентируемся по шорохам, запаху; нигде ни звездочки.

Вдруг небо расщепилось: показалась луна, гнилой плод. Идет дождь, а перед нами деревянный дом, и разное лезет в голову:

...откуда этот деревянный дом; крутая и высокая крыша — чтоб легче снег сваливался; балкон, большие окна; это не крестьянская изба; глаза протираем, не чудится ли, вспоминаем: в лесу нам попалась же-

лезнодорожная ветка; она терялась среди деревьев, исчезала на склонах, а потом кое-где вновь проглядывали узкие рельсы; крестьяне разбирали ее, использовали для своих надобностей...

Дом не пустой, я дым чую.
Лесничество.
Как он только уцелел?

Прореха в небе затянулась, мы снова в яме; слушаем, как дождь бьет по крыше.

Один из наших вошел и тут же вернулся; в доме дивизионная санчасть; есть врач — всамделишный хирург; повезло же бедолагам — передаем нашего Лисенка.

Сами уселись возле дома, задымили табачком; потягиваем черные дымы, дождь стучит по крыше, и разное лезет в голову:

...несли мы Лисенка — долг наш был: несли бережно, быстро, всегда для него вода находилась; понятное дело, ведь это наш Лисенок; передали кому следует: врачу, хирургу — это получше яйца вареного; кончился наш круг; передохнем и — дальше, мы солдаты!

...дождаться, дождаться — будто дождь нам это говорит; сверлит землю и наши головы: дождаться хотя бы рассвета, первого дня...

Каждый нашел для себя укрытие; не разговариваем: копошимся, как куры под деревом, кашлянем — так и объясняемся.

Высоко вверху что-то светится: то ли звезда, то ли гнилушка; конечно, оттуда видно — может быть, конец леса или начало неба; в этой же тьме — единственная светлая точка, и каждый толкует ее по-своему.

Лисенку перевязывают ногу, латают; разве ее залатаешь: на ниточке висела, и разное лезет в голову:

...луг — молодая трава — огорожен низким забором; идешь босым — трава целует подошвы; можно и побежать, луг твой; на нем одна-единственная кротовина; кто-то ее сразу разорил, а другой сделал гору; придет зима, следы свои оставляешь и учишься узнавать чужие; придет лето — солнце иной раз траву выжжет, а ты ее поливаешь, спасаешь семя до другой поры; а на заборе знакомые лица: от матери до друзей-приятелей; все здесь, вокруг тебя: и дядька по матери, и дядька по отцу; думаешь, ведь кто-то родился, чтоб дедом стать, а бабка никогда девчонкой не была; все в целости и сохранности, сотня щитов готова оборонить тебя; однако скоро чувствуешь: дед с бабкой где-то далеко, первыми удалились, тенями растаяли на лугу, почти как трава,— другие лица возникают на их местах...

С треском распахнулась в доме дверь, на балконе — крупный человек, простоволосый, почти лысый — у головы держит карбидную лампу; рукава засучены, руки сильные, волосатые, глаза черные. Почти кричит:

Где те, кто его принес?
Здесь мы.
Ногу отрезать придется.
Как отрезать, ты кто такой?
Хирург.
Нельзя без ноги, товарищ врач.

А без головы?

Что за партизан с одной ногой?

Нога раздроблена, инфекция попала; к утру по всему телу разойдется. Хоть бы на два часа раньше принесли.

Мы быстро шли, быстрей нельзя было.

Знаю.

В живых останется?

С ногой нет.

Тогда режь. По-другому нельзя?

Нельзя.

Дверь закрылась; ушла карбидка — свет белый тьму, как ножом, резал.

Дождь напоил землю и лес; замерзшие, скорчившиеся, лежим как мокрые дрова: раскуриваем новые цигарки, и разное лезет в голову:

...война — огромный окоп, из которого выбросили комья мокрой и желтой земли; кругом луга, и на оградах люди из твоего отделения; хирург спрашивал, просил разрешения, а мы вместо отца решили; сколько времени?.. Долго как — нога эта...

Тьма густая, тяжелая; вокруг одно — черное небо; скорчились под деревьями, ладони держим под мышками; тепло лишь во рту; украдкой ощупываем свои ноги, находим жилы, связки; все на своем месте: твердая пятка, суставы, известно, голень — опора при ходьбе.

Что такое?

Молчи.

Долго как!

Тихо, как бы не помешать.

Дождя не чувствуем; смешно: дождь мелкий, зернистый. Дверь скрипнула, человек на балконе; держит что-то черное, большое; понимаем: это нога в сапоге; отрезали выше колена.

Ногу похоронили под домом — на узкой полянке. Во тьме покинули маленькую могилу и вернулись к балкону. Стоим, дождь в лицо хлещет. Это небо нас остужает.

Наконец снова на балконе врач с карбидной лампой, жадно курит, дым валит прямо на нас.

Сделал... Чего молчите, страшно было. При таком свете работал. Знаете, что это значит...

А жизнь, жив он?

Операция удалась. Но кровь, кровь мне нужна...

Мы дадим, бери.

Не могу.

Почему?

Долго объяснять...

Ну как же тогда, доктор...

Сам должен, сам должен справиться; десять процентов надежды.

Дверь снова захлопнулась, мы остались в темноте, и разное лезет в голову:

...кто-то потянул веревочку на орудии, другой на миллиметр подкрутил прицел; снаряд разорвался, Лисенок находился в означенном пространстве, вернее, его левая нога...

...видеть нас неприятель не мог; должно быть, просто кому-то захотелось прочистить пушечный ствол, он и выпалил...

...кто-то сказал: вот беда! Мы перевязали ногу, остановили кровь, понесли Лисенка; случайно нашли доктора, дали согласие отрезать ногу; мы верим в десять процентов; в них луг Лисенка...

...кого бить, кого колотить; если б найти ту руку, что за веревочку дернула; чем она пахнет, эта рука,— солдатом...

Тьма выползала из леса. Заря — тарелка мутной жести — замельтешила в деревьях; стужа забиралась в нас и в ветки.

Дверь медленно открылась; скрипела долго, протяжно — деревянное колесо без смазки; словно весь балкон поворачивался; зияет тьмой распахнутая дверь; оттуда выносят Лисенка без ноги.

Мы копаем землю, глядим на разорванные бледно-желтые дубовые жилы, и разное лезет в голову:

...для Лисенка все кончено; сразу, вдруг, вынули пружину из часов — и все; теперь люди уходят так — мы давно к этому привыкли; но Лисенок — весельчак; нелепо закапывать балагура; где барабан, труба и медные тарелки; кто шатер над нашей головой поставит; живые — пакостники: всегда о себе думают...

...Лисенок (Владимир Пётрович) рос на войне, как и большинство из нас; на службе военной не бывал, женатым тоже, а девушка — где живут наши девушки?

Похоронили мы Лисенка рядом с его ногою. Залп в небо — наше аминь.

И только тут увидели: малая и большая могила — словно отец и сын лежат рядом. Наш Лисенок в земле нашел свое продолжение.

Вверх и вниз

Мы тронулись с короткой, вечно подстриженной травы, с узкого плато, языком протянувшимся от горных громад: настоящая взлетная полоса для кобчиков.

Под нами клубились белые пряди облаков и плыли сизо-синие округлые вершины гор поменьше. Горизонт замыкался котлом, края которого мы не могли различить. Кругом непрерывно все менялось; неведомые существа затеяли внизу игру: скрытым движением они перебрасывались шарами облаков, головы их становились громадными, выгибались серые хребты исполинских животных, приходили в движение руки и ноги, огромные животы, странные черные волосы, а потом отбеленные пасмы снова все проглатывали.

Теснясь по краям скал, мы согревали дыханием пальцы, в костях наших еще сидела проведенная в горах ночь. Отощавшие, едва державшиеся на ногах, с давно уже пустыми желудками, мы таращили глаза на переменчивую игру облаков.

Бесконечность манит и волнует нас; неутолимая жажда действия жжет душу; по телу пробегает дрожь нетерпения и силы; мы ведь понимаем: по краям котла стоит много наших, с разных сторон мы обрушимся на равнину, располосуем ее и этой же ночью пойдем на штурм Гацко.

Раздался свист, пронзительный, громкий, ударом бича он обрушился в пропасть. Тут засвистели все, резко, в два пальца — это была утренняя перекличка. В конце мы уже просто по-обезьяньему ревели над бездной. Смолкли внезапно — и каждый, от командира до простого бойца, обратился к себе.

Хочется пить, и мы лижем острую траву — стараясь не порезать язык. Кто-то вырвал ком земли и швырнул вниз...

Когда колонна уже двинулась, мы увидели солнце. Оно быстро, будто молодой козел, мелькнуло в проеме между скал, окрасило их и на мгновенье замерло, чуть покачиваясь, в каменной развилке, а потом тронулось вслед за нами.

Кругом горные сосны — маленькие карликовые деревца. Дерево это неизменно предвещает нищету, там, где оно растет, люди не живут; оно ведет в высокогорную пустыню.

И все же маленькие сосенки вызывают у нас уважение; скорчившись, они судорожно цепляются за скалы, им всегда недостает солнца и влаги; они растут небольшими купами, скрадывая плешивость гор и пряча нас от самолетов. Ночи холодные, а под соснами всегда найдешь сушняк; ветки весело трещат, отдавая свою смолу, отогревая застывшую кровь и возвращая нас к жизни.

Ноги не слушаются, вбиваем шаги в крутой скат; тормозим до боли в пояснице; винтовки все время лезут вперед — мушки царапают щеки. Измученные спуском, мы зеваем, потягиваемся, на ходу разгоняя усталость.

Начинаются равнинки, пологие ложбинки, по которым легче шагать.

Табак есть?
Бери.
Такой длинный склон, а воды нет.
Склон — грудь горы, капелька должна где-нибудь да выбиться.
А как же звери?
Рыщут, вынюхивают, вот и находят что нужно.
А мы вниз идем.
Важно, что спускаемся.

Лес стал гуще, начали попадаться кроткие буки. Мы почти бежим, скатываемся, солнце все больше, в небе уже не только запах сосен.

За поворотом тропинки — красное полотно крыши. Мы застыли, ошеломленные творением рук человеческих; поедаем глазами черепицу, дожди ее вымыли, она стала почти розовой.

Каменное строение без окон и дверей. Зияет черным провалом пустота — покинутый жандармский пост; все ободрано — удивительно, как это мужики черепицу не сорвали.

У входа уцелела вбитая в гравий скамья — место отдыха, на почерневшей сырой доске нарисовано сердце и буква «Л», а чуть пониже подпись: Микан, унтер-офицер жандармерии Плевля.

Жив ли этот Микан?
Который?
Со скамейки.

Меня больше интересует сердце и «Л». Пожалуй, скорее Лиляна, чем Любица. А с ней что?

Может, у нее четверо детей.

А может, и нет. Может, умерла, от аппендицита например.

Командир приказал ускорить шаг. Звякают котелки, подталкиваем друг дружку в спину. По сторонам буйный репейник и толстые листья герани; приятно припекает солнышко, расстегнули куртки.

Крестьянский дом — стены до половины из камня, дальше — черные сосновые бревна. Дом без дверей, увечный — тупо вколочен в склон, дом-покойник; с правого ската крыша сорвана, в небо пялится черная дыра. Один сунулся внутрь и доложил, что в доме пахнет гарью.

Ненавижу брошенные вещи.

Я тоже, Кепа. Возьми вот дорогу, на ней уже трава, сначала редкая, потом все гуще, гуще, потом дуришник, бурьян, так и исчезает дорога. Дальше дороги нет, ищешь ее, а ее нет как нет.

Когда-то была.

Да, была. А теперь здесь все равно как кладбище.

Хуже, кладбища обходят.

Пройдем и это, Кепа.

Знаю, и собака столбик находит.

Солнце прямо перед нами: бьет в глаза и в грудь. Приказ перевернуть винтовки дулом вниз, чтоб зайчики на стволах не выдали.

Оглядываемся назад: обыкновенная гора с кручами и ущельями, ищем место, откуда вышли, нет его, простая черточка в скалах.

Все чаще пологие перевалы, пропасти под нами уже нет. Ступеньками тянутся поля, огороженные каменными оградами; из краснозема вылезла рожь, на сколько хлебов хватит: пять или восемь? В комнатушке-поле много не уместишь.

Меня всегда интересовало: кто в войну хлеб сеет?

Тот, кому надо. Чаще всего старики да бабы.

А хлеба́ где?

Здесь и там.

Да нет, это все трава.

За грабовой рощицей небольшая поляна. Слева — дом, на каменном пороге истощенный старик в посконных штанах и рубахе. Стоит, рот раскрыл, мы для него словно из земли выросли.

Здравствуй, дед.

Добрый день, войско.

Ты один?

Один, все мои разбрелись.

А мир-то видишь?

Необозрим он, сынок.

А у нас наоборот: мы его разрубим и поглядим.

Рубке нет конца, в том и жизнь проходит.

Другие придут, продолжат!

Всякому продолжению есть конец.

Ладно, дед, все-таки жизнь — хорошая штука. Дышишь вот, река...

Знаю, да все это обман. И солнце, и день, и вода. Жизнь — хорошая мошенница.

А мне, дед, по душе эта мошенница. А скажи-ка, ты был в Гацко?

Три дня назад.

Итальянцы там есть, сколько их?

Много.

Что значит много?

Все хорошие дома заняли. И в палатках тоже живут.

Попить у тебя найдется?

Вон там, у нас и родники слабые. Только чтоб напиться.

Весь родник выпила рота: наполнили фляги, и на земле осталась влажная галька; начали рыть, докопали до скалы.

Дед, мы сегодня Гацко возьмем...

Вы...

Нас много, со всех сторон идем. А ты оставайся где есть.

Командир выслал вперед охранение, а затем и разведчиков. Остальные попрятались в тень; большинство разулось, многие вытирали травой сопревшие ноги.

Командир расстелил под стрехой карту и лучинкой измерял расстояния. Прибыли связные, высоченные черногорцы в красных шапочках с кисточками, обутые в легкие постолы. Разговаривали они громко, растягивая гласные, и первым делом принялись осматривать наше оружие. Интересовались его происхождением, когда и где взяли какой пулемет, в каком бою и в каком месте — мы не всегда умели ответить на их вопросы. Они удивлялись нашей беззаботности и сразу стали говорить, что итальянцев надо привести в смятение криком и внезапной атакой. Объясняли, что от нас зависит взять Гацко. Убеждали, что мы захватим внешнюю линию укреплений на Каменной гряде, поскольку у нас есть опыт ночных атак. Повынимали из сумок свой провиант: твердый овечий сыр и краюхи гречишного хлеба. Оставили нам все и, озабоченные, ушли.

Когда мы выступили из леса, солнце, точно раздувшееся от крови брюхо, спускалось в Гатацкое поле. Темная зелень затягивала его, и оно с болью уступало. Все уже излучало тьму. Вдали смутно вырисовывалась Каменная гряда.

Мы пошли по ячменю и ржи; потуже затянули ремни — не должно быть слышно ни звука.

Кепа, ты где?

И правда, здесь нет сел. Где же села?

Тихо!

Мягко, как огромные кошки, перескакиваем через каменные ограды, ищем проходы поудобнее. Ночь придает уверенности, хочется без стрельбы и шума подойти вплотную к дотам. Кинуться с тыла и вырвать внутренности. Итальянцы сейчас спят или ужинают — вылавливают в глубоких котелках макароны и рис; рассматривают картинки, а часовые в касках таращат глаза во тьму.

Перед огневыми точками растянута проволока; огромные колючие ежи рвут кожу и тело; итальянцы — великие зодчие.

В небо, слева от нас, взлетела белая ракета, вслед за ней заговорила тяжелая «бреда».

Возле каких-то развалин собралась вся рота. Развернувшись в цепь, поползли к Каменной гряде. В тишине становишься стоглазым, наедине с увеличительным стеклом своего сердца. Исчезли все запахи и все звезды, чувствуешь лишь присутствие своих.

Быстро обнаруживаем, что укрепления покинуты. Выбрасываем белую ракету и спустя ровно две минуты зеленую — сигнал, что задача выполнена.

Заглядываем в отверстия каменных логовищ, разбираем дощатые лежаки, усыпанные соломенной трухой; повсюду валяются пустые консервные банки, бумаги и тряпки; воняет ружейным маслом, на стенах висят изображения обнаженных девиц.

Мы слоняемся без дела, расхоложенные: мог бы и один человек прийти и пустить ракеты. Отправили связного и, расположившись вокруг бронированного колпака, прислушиваемся к звукам разгорающегося боя за городок; иные забрались в укрепления, там хоть курить можно.

Кепа, затянись покрепче. Видишь, коленка какая круглая.

Курни и ты, получше будет видно.

Смотри-ка, пуговица. Она-то откуда?

Да не пуговица это, а пупок.

Верно, трусики-то ажурные.

А в них черный паук.

А вот и нет его. Спрятала его природа. У нас всегда видно.

Кончится война, куплю себе шелковый плащ, давно хочется. И пройдусь от суда до гимназии, по знакомой улице. Девчат кругом как божьих коровок. Смотришь, новая партия подоспела.

Здорово говоришь, Кепа.

Солдат всегда голодный; спать хочет и черного паука хочет.

Кепа, ты человек умный, долго еще война будет?

Для кого как. Для кого-то сегодня конец наступит.

Внезапно грохнули орудия, за ними минометы; строгий приказ — не курить. Цепочки трассирующих пуль бегут по небу.

Около двух часов пополуночи нам выдали по куску ячменного хлеба и вареной баранины. Разведчики принесли, им удалось разыскать деревню.

Стрельба слабая или нам плохо слышно. Поле воду вбирает, может, и со звуком то же самое происходит.

Ночь подтягивалась к западу. Холодно, мы укрылись за колпаком, опасаясь вражеских лазутчиков. Выкурили последние запасы боснийской махры, всем стало ясно: отступаем.

Разломали остатки лежаков, нарисовали по стенам пятиконечные звезды, написали Abbasso Mussolini [1]. Оставляем огневые точки, прибыли и связные с приказом: отойти на исходные рубежи.

Итальянцы пустили в ход артиллерию. Частыми перебежками преодолеваем открытое пространство, укрываясь за кучами камней. Снаряды бьют по оградам полей, пашут краснозем, вырывают рожь и ячмень.

Командир поглядел в бинокль: черные рубахи уже вышли на Каменную гряду и начинают спускаться.

Снова снаряд угодил в ограду, камень подавил в себе крик, мину узнаешь сразу — короткий свист и глухое паденье; злобная кошачья

[1] Долой Муссолини *(итал.)*.

лапа с неба, мина неожиданно ударила за спиной и рванула все под собою; нет от нее укрытия.

Солнце осветило руки, потные затылки и зеленые головки ячменя. До пояса вымочила нас высокая рожь.

Мина ударила по рябине; кружатся листья, в поле белеют суставы сломленных веток. Кто-то шевельнулся под деревом, пытается встать. Подбежали двое и оттащили его за ограду.

В реденьком лесочке соорудили носилки. Санитарка перевязывает Кепу, пошли в ход первые бинты. На нем живого места нет: в ноги, руки, грудь — всюду проникли осколки, задело даже ладони. Он кивнул головой на башмаки, санитарка разула его; на ногах белые шерстяные носки; ступни неподвижны, но целы — нет багровых пятен крови; зачем он просил разуть его, ноги ведь не помогут дышать.

Замолчала артиллерия, итальянцы вернулись на Каменную гряду, наверняка занялись починкой своих лежаков.

Первая четверка несет Кепу. Идем через редкую рощицу; крестьянин по-прежнему стоит на пороге; должно быть, всю ночь простоял, босые ноги его срослись с камнем.

Вернулись мы.

Я так и знал. В Гацко крепость и на каждой башне по пушке. А что такое винтовка против камня? Она может только головы пробивать.

Верно, дед.

С грузом вверх идете.

Да, товарища несем.

Опасно ранило?

Скверно, ногу отрезать придется.

Кто резать будет?

Есть у нас дивизионный госпиталь. Далеко, но есть.

Темнеет, можете опоздать.

Дед, он жив. Понимаешь?

Понимаю. Понимаю.

Мы идем медленно и по очереди несем носилки. Солнце сидит у нас на спине, на шее — и на куртках выступили пятна пота. Головы накрываем буковыми ветвями, от нас все больше разит мужским потом.

Подъемы невыносимые, каждый шаг пожирает силы. Изнемогаем, никто уже не глядит в горы. Теперь мы больше не кричим, оскопила усталость, взгляд прикован к тропе.

Тянемся, как скотина. Хуже всех волов на свете; в ушах звон, вот-вот сердце лопнет. Стиснуты губы, сжаты челюсти.

На привале санитарка смачивает Кепе губы. Он лежит неподвижно, невелика разница между спящим и умершим. Хрипло дышит, кровью больше не харкает, лицо точно старый табачный лист. Поднимая веки, стеклянным взглядом глядит на свои ступни, на белые шерстяные носки.

Кепа, ну как ты?

Больно тебе?

Хочешь чего-нибудь, может, в тень погуще?

Задаем глупые вопросы, еще меньше можем предложить. Он молчит, не слышит, лопнули, должно быть, барабанные перепонки и голова опустела.

Идем, подъем высасывает последние остатки крови, что еще кружит в теле. Меняемся чаще, сами устанавливаем очередь и подставляем плечи под рукоятки. Зеваем, отплевываемся, сухой воздух раздирает горло; усталость лишает рассудка, зрения, все переворачивается вверх дном; небо, и в нем стаи птиц. Кепа все тяжелее, все силы уходят на него. Где эти боги, передушить бы их всех! Самолеты итальянские, где они, почему их нет? Даже ветра нет, а так хочется хоть какой-нибудь перемены.

Возле брошенного жандармского поста отдыхаем долго. На скамье вырезали: партизан Кепа 1942. Скамья — надгробная плита, а ведь он жив. Мешки под глазами выросли, волосы на подбородке длиннее; больше он не глядит на белые носки, смотрит в небо. Если он умрет, похороним его здесь, напротив поста. Найдется ровное местечко и вечная тень. Сорвем доску со скамьи и поставим на могилу.

Снова подставляем плечи, ноги сами выбирают, куда ступить,— упираются, пользуются любой выемкой. Окаменей, но держись своего направления. Знаем — даже когда ничего не остается, остается долг, а это что-нибудь да значит. Слюны нет, в горле сушь. На целый век состарились, где наши плакальщицы?

Ну-ка, кто скажет нужное слово?
Нужное слово?
Да, нужное.
Кто его знает?
Все знаем, старик внизу первым сказал.
Тогда молчи.

Со стороны посмотришь: четыре человека внизу, а один, застывший,— над ними; живая куча мала, груда людского мяса; что это за зверь по земле ходит? Тащим себя и своего товарища, жилы надулись, виски раскалываются. Ошалев от усталости, не заметили, как дошли до первой купы горной сосны. Ноги трясутся — точно все рожать собрались.

Ночью мы вынесли его на вершину. Разлеглась рота на узком плато: раскинуты руки, раскорячены ноги; бледные, немощные — поломанные деревянные солдатики. Дышим, пожираем ночь.

Кто-то сказал, что Кепа не дышит. Снова все кинулись к нему, белеют в темноте носки.

Вынесли мы его наверх.
Нет, он внизу остался.
Мы тащили его наверх.
Да, но он остался внизу, возле того дерева.
Нет, это не так!
Мы снова пойдем вниз, только с другой стороны.
Да, чтобы снова подняться.

Мы собираем ветки и раскладываем костры. Лежим, на сосне выступает смола, мы смотрим на звезды и на наши костры.

Каждый в себе — в своей глубине.

ВЬЕКОСЛАВ КАЛЕБ

Трость на прогулке

Под тяжелыми шагами стонет пол — женщина слушает,— шаги приближаются к стене, удаляются, выходят в коридор, к двери, замирают, ждут и снова возвращаются и продолжают свой разговор.

— Да. Нет. Да. Нет.

Над ветхой жакеткой, над быстрым швом хмурится лицо, стежок, кивок головой, лицо прояснилось, морщины на лбу разгладились, дымка недавней мысли разошлась, но тут же пришла новая мысль; лицо снова потемнело, сжалось, набежали морщины.

Шаги в другой комнате рождают эти мысли, одну, другую, третью; они расчленены на непрерывные утверждения и отрицания, сегодня то же, что и вчера и позавчера, уже многие месяцы.

Прогибается пол, глухо отзывается под тяжелыми шагами, правда, стука каблуков не слышно — человек ступает на всю ступню, по-спортивному оттягивает носок, но теперь это лишь привычка.

Где-то свистнул пароход, загудел, с верхней улицы откликнулся осел.

Шаги оборвались.

— Бесполезно, братец ты мой,— шепнула женщина, проворней заработав иглой.— Знаю, бесполезно.

Звякнула тарелка в буфете со скудной посудой.

Человек встал в открытых дверях комнаты. Серые глаза в подушечках век весело сверкнули, чуть-чуть искривились губы: он презирал сомнение.

— Все в порядке,— с усилием произнес он глубоким рокочущим басом.

— Что в порядке? — вздрогнув, сердито спросила женщина.

— Все, матушка.— Он беззаботно понизил голос: — Все в полном порядке.

— Иди-и-и-ка к черту.— Она опустила голову, огорченная собственным жестокосердием, и углубилась в шитье.

На этом он счел разговор оконченным.

И наклонился к вазе в углу, где стояли трости. Взгляд его привлекла трость эбенового дерева с набалдашником из слоновой кости в виде головы перепелки, подарок тестя из Новой Зеландии. С такими тростями прохаживаются по базару, по набережным ценители длинноногих прелестниц, созерцатели далеких, медленно проплывающих кораб-

лей. Не спеша двумя пальцами поднял он драгоценный сувенир, близоруко поднес к глазам и поставил на место: испугался иллюзий.

Входя в комнату, рассеянно вспомнил былое время. Подошел к окну.

— Пойду погляжу, есть ли рыба,— пробасил он.

— Иди, кто тебе запрещает,— ответила женщина, подумав про себя: «Всякий раз оправдывается». Она прекрасно знала все его дороги. А вообще ее больше не интересовало, куда и зачем он идет. Состарился уже, пятьдесят седьмой пошел; разве что утаит стаканчик-другой вина.— Зайди к сапожнику, спроси, когда он отдаст туфли!

— Ладно... Кому нужны твои туфли!

Всю свою жизнь он ничему не придавал значения, никогда не проявляя любопытства, считая это недостойным человека с твердым характером. С лица его не сходила маска высокомерия.

И сейчас он с деланным равнодушием глядел на освещенную солнцем часть площади, фонтан, кусок берега под окном, крестьянский катерок, который медленно разгружали два матроса в потрепанных синих робах. Они относили в шайках голубоватый песок и выбрасывали его размеренными движениями на кучу за тротуаром. Мальчик и девочка замерли на бегу, рядом, и, подняв плечи, затаив дыхание, целую секунду наблюдали за работой: а что будет потом? Чуть поодаль желтая собака с опаской нагнулась и, вытянув шею, пыталась заглянуть в неведомую синеву. Еще дальше, у пристани, в дымке подпрыгивал на волнах пароходик; порт отдыхал от боевых ранений, не раскрывая пока своих объятий далекому миру. Но на берег уже сходило все больше людей. Народ сновал перед ярко освещенными фасадами домов, у стен старинного дворца.

Он закрыл глаза. И покачнулся, едва не упав навзничь. Поднял веки и, не поворачивая головы, перевел взгляд на портрет, висевший над японским бамбуковым столиком у окна.

Юноша с продолговатым умным лицом, волнистыми волосами спокойно и пристально смотрел на него, губы сжаты самонадеянно и чуть-чуть горько.

С неизменной храбростью он встречал этот взгляд: «Я живу по-своему, а ты, сынок, по-своему, но не друг без друга!» По его лицу словно внезапно пробежала смешинка, и он сказал про себя: «Не удалось сбить с панталыку старого прожигателя жизни, ха, ха, ха...»

Сын любил музыку, играл на виолончели, сам сочинял, изучал архитектуру. «Мечтал об огромных дворцах, где тысячи людей будут смотреть и слушать, наслаждаясь искусством. Он был, хо, хо, хо, мой дорогой...» Он устремил взгляд в окно. «Разве это может исчезнуть! Все его мысли, желания, его глаза? Это так много. Разве все это может исчезнуть?»

А глаза на портрете уверяли его со знакомым озорным выражением: «Я жив. Я приду». Человек улыбнулся: «Не смог ты меня сбить с панталыку, а?»

— А зачем меня сбивать? Ведь все принадлежит жизни!

— Что ты говоришь? — спросила жена.

— Ничего.

— Конечно, ничего. Ты стал разговаривать сам с собой.— Ее голос странно задрожал.

— Пусть будет как будет. Верно? — Он подмигнул портрету.

А глаза на портрете продолжали утверждать: «Я жив. Я приду».

— Что? — переспросила жена.

— Я немного задержусь. Схожу в комитет,— спокойно ответил он.— Внизу, у залива будут строить большой завод.

Женщина промолчала.

— До свиданья, старая.

— Ступай, ступай, молодой.

Она иронически сжала губы. Она ведь тоже любила жизнь, все ждала каких-то неведомых возможностей, какого-то грандиозного парада с бесконечными разукрашенными площадями и неисчерпаемым запасом времени, когда, в восторге и упоении, наступит и ее выход, но... «быстры, как волны»...

Порт оживал. Появлялись мелкие суда, потом они уходили или затихали под берегом. Жизнь пробуждалась медленно, неудержимо. Солнечный свет утвердился на старых домах и развалинах словно бы для того, чтобы ярче запечатлеть наступивший мир.

И развалины, целые кварталы развалин, разбитая набережная, затопленные корабли, среди них даже крохотные рыбацкие боты, отдыхали, будто после большой работы.

— Так, так! Цивилизация! Культура! — произнес он по привычке вслух.

Шаг его, направленный к определенной цели, был по-прежнему ровен. Продолговатое, изрезанное крупными морщинами лицо, как у какого-нибудь знаменитого актера, оставалось невозмутимым. В жизни его было многое, много женщин, много удовольствий, много денег. Но все уходило. Уходило. И это прошло. Нет больше войск. На небе нет самолетов. В порту нет миноносцев и эсминцев. Нет опасных зеленых мундиров.

Уходило, уходило.

Внезапно он вспыхнул:

— Ты видишь, что они способны натворить, а?!

— Разговаривает дядюшка сам с собою,— бросил мимоходом, ни к кому не обращаясь, парень.

— Да, да,— огрызнулся он,— разговариваю.

Вот идут люди, дети бегут в школу, юноши беззаботно гуляют и обсуждают сегодняшние события. Настоящее, настоящее! Но эти люди и даже одежда на них принадлежат тому времени. Неужели сына здесь нет?

Появлялись его друзья. Юноши, которые сидели с ним за одной партой, катались в море, купались, играли в оркестре. Они приходили с вестью, будто им кто-то сказал со слов кого-то третьего, что его сына видели в Италии. Кто-то видел наших ребят в Германии. Ведь свидетеля его гибели не было. Последний раз его видели во время пятого наступления. Он ехал на кляче, в наброшенной на плечи куртке, босой (башмаки отдал тому, кто шел пешком), у него были больные почки, и он весь отек от бесконечных переходов и голода. «Вперед, товарищи, все будет хорошо»,— повторял он непрерывно. Он не жаловался. Они пробирались и пробивались сквозь неприятельские обручи. Проходили дни, ночи. И неожиданно он исчез.

«Он мог просто забраться в кусты и умереть в одиночестве, только чтоб никому не быть в тягость»,— подумал отец. И это было ему понятно.

— Он принес себя в жертву,— произнес он и вздрогнул, увидев возле себя молодую пару.— Гуляем, да? Гуляем?

— А что вам угодно, дядюшка? — добродушно спросил парень.

— Ничего, ничего, гуляйте, пожалуйста. Я ничего против не имею. Вперед! Только вперед, юноша.

Многое осталось у них за плечами. Теперь ждут нового. Плывут корабли. Идут поезда.

На вокзал он пришел вовремя. Пройдя через развалины, оказался на залитой солнцем платформе. Ждали поезд из Загреба, из северных краев. У полотна, словно возле воображаемой границы, как в детской игре, стояли с цветами в веселом настроении юноши, девушки, муж-

чины, женщины. Люди, как всегда, разговаривали. Ничего необычного. Кто-то встречал кого-то, сообщившего о себе заранее. Каждый встречал своего. Не было причины волноваться.

Двое курносых мальчишек, сунув руки в карманы, шныряли в толпе. Перемигнулись, увидев букет цветов в руках суетливо-радостной девушки. Ясно, эти пришли без дела. Только посмотреть.

— Вы кого ждете? — спросил он их.

— Никого,— растерялся один.

— Кого надо,— ответил другой.

— Что вам тогда здесь делать? Ступайте-ка, ребятки, отсюда, чтоб дома не беспокоились. Лучше будет.

Мальчишки улыбнулись друг дружке с насмешливым удивлением и отправились дальше искать развлечений, тут же позабыв об остановившем их человеке.

Он вынул портсигар, осмотрел его, постучал по нему пальцем. Потом опустил взгляд в землю. И вновь постучал по крышке. Открыл ее. Долго выбирал сигарету. Пусть идет время, пусть оно уходит, пусть приближаются события.

Всюду, где-то на далеких концах рельсов стоят города. Рельсы опутывают землю, они пересекают границы, проникают в утробу разных стран, подвозят к большим станциям. Туда спешат люди. В сутолоке подходит и взволнованный молодой человек, он едет домой! Там у него много дел. На нем висят лохмотья униформы, на лице и на руках следы тюремного мрака, голода, непосильной работы, побоев. Он идет словно во сне, не веря себе, горящими глазами ищет свой вагон, в котором заключена необходимая ему сила. Осторожно поднимается по ступенькам. Отыскивает свое место. И поезд трогается. Долго стучат колеса. Громыхают на стрелках, мелькают села, города, а он все смотрит в окно и ждет появления знакомых примет... Вот они! Он видит их. Видит море. Видит город.

Издали донесся свисток. На полотне за мостом показалось облачко пара. Загудели рельсы.

Человек медленно зажег сигарету. Наклонил голову, выпуская дым. Щелчком далеко в сторону отбросил спичку. Он втягивал, всасывал, вдыхал, выпускал дым и носом, и ртом, как бы испытывая подлинное наслаждение.

Локомотив выскочил из-под моста. Он мчится вперед, шипит, давит на рельсы (они податливо прогибаются). Земля тихонько содрогается под тяжестью могучей машины. Головы встречающих повернуты в его сторону. Глаза на перроне ищут знакомые глаза в окнах вагонов. На лицах радость и счастье встречи и возвращения.

А он одиноко стоит в сторонке. Он никому не желает навязывать своих бед.

Поезд остановился, устало переводя дыхание.

А человек не двигается с места. Небрежно оглядывает двери вагонов. Они открываются. Пассажиры выходят с чемоданами, выходят осторожно, не спеша, оберегая себя после пережитого, задерживая идущих следом и рождая у них нетерпение. Кое-кто выскакивает быстро, точно стремясь освободить кого-то другого, позади себя, кто должен поскорее коснуться этой земли.

Поезд мгновенно опустел.

Он бросил сигарету. Широким жестом. Выпустил последнее облачко дыма, покачнулся на носках, выпрямился, уронил руки, разжав пальцы. Не спеша пошел следом за последними пассажирами, а те разлетались, как сон. Они не замечали, что среди них кого-то не хватало.

С вокзала он направился к берегу. Какой ясный день, какое чистое голубое море! По водной глади идет пароход. С острова. Человек

однако замедлил шаг, вытащил портсигар, постучал по нему пальцем, откашлялся.

Белый пароход идет прямо к нему. Высокий, лихо накренившийся на одну сторону, пароход небрежно вспенивает воду, чуть-чуть дымит, двигаясь словно бы нехотя, с легкостью, как будто ничего не стоит бороздить мир вдоль и поперек. Глаза с парусами слезинок озорно прищуриваются навстречу, даже подмигивают, словно предвкушая вознаграждение за длительное ожидание.

— Эй, дядюшка, встречаете кого? — добродушно спросил у него носильщик.

— Пароход, братец, пароход встречаю,— протянул он.

— Ну да, пароход, ясное дело что пароход.

— А нельзя разве встречать пароход?

— Ну отчего нельзя... Встречайте, встречайте, кто вам не велит.

— Я подумал, тебе обидно.

— Нет, нет, чего мне обижаться, хоть два парохода встречайте.

— Хватит с меня одного.

Пароход пристал. Сошли пассажиры. А он зашагал по берегу обратно в город. Вынырнул из узкой улочки на крохотную площадь за башней. Площадь окружали каменные фасады домов, пустые витрины магазинов, посередине стоял памятник, и горячее пятно солнца скользило по северной его стороне. Много народу проходило мимо. На углу болтали две женщины. Мальчонка лет трех оторвался от матери и отправился к витрине поглядеть на великолепие победы. Большой красно-бело-голубой флаг по ту сторону площади притягивал его к себе, и вот малыш застрочил ножками и озабоченно выкатил глаза, направившись в такую даль.

— А ты, герой, куда путь держишь? Ну-ка, дружок, давай руку. Давай руку! Вот флаг, флаг, большой флаг, вот картинка, видишь... А теперь пошли к маме. Вон тебя мама ищет, видишь! Мама ищет тебя, мальчуган.

Ребенок, не мигая, глядел на него.

— Ну идем.— Голос мужчины напоминал далекий раскат грома или рычанье льва.

Ребенок протянул руку этому бархатному громкому человеку, гордо выпрямился, победоносно подошел к матери. И тут, бросив руку, которая привела его, вцепился в юбку и из этого убежища улыбнулся своему громадному другу.

— Славный мальчуган, смотрите за ним.

— Да, да,— серьезно ответила женщина.— Если снова убежишь, тебе влетит от дяди.

— Ну нет. Я тебе ничего не сделаю. Славный ты, жучок мой маленький. Пускай радуется, пускай. Берегите его. За таких вот малышей люди гибли.

«Для него и тепло это, и свет»,— сказал он про себя.

В темном рукаве улицы навстречу ему попался паренек лет десяти — двенадцати: одна рука в кармане, другой водит по стене; сосредоточенно куда-то шагает, проверяя по пути какую-то свою выдумку.

— Эй, паренек, ты куда это один направился, а? Что у тебя, никого дома нет?

Мальчик, словно проснувшись, мельком поглядел на него, обошел и двинулся дальше.

— Ну-ка, сынок, ступай домой,— загудел человек. Но тут же сник, будто сказал что-то лишнее, и ускорил шаг.

А солнце уже целиком захватило большую площадь, как следует нагрев плиты. Он шел, не поворачивая головы в ту сторону, где в тени перед кафе сидели его ровесники да и пенсионеры помоложе. Твердым

и сильным шагом, мерно размахивая рукой со сжатыми пальцами, с привычно-иронической маской на лице, возвысившись и над самим собой, у всех на глазах он миновал площадь и, вступив в тень узенькой улочки, нырнул в поток хозяек и хозяев с сумками и кошелками в руках.

— Эй, рыба летит! — крикнул он о чем-то судачившим женщинам, загородившим проход.

— Что вы говорите, приятель? — Густой бас заинтересовал кумушек.

— Рыба летит, говорю.

— Ловите же ее, раз летит.

Рокочущий бас, продолговатое белокожее лицо с резкими чертами, небольшие серые глаза с суровым выражением, твердый шаг спортсмена, скупой взмах рук со сжатыми в кулак пальцами — все выдавало человека, которого ничем не удивишь. Женщины со все возрастающим любопытством оглядывали его, и каждая отмечала его выправку, его прямую спину. Одна замотала головой, точно борясь с ознобом, и, чуть улыбнувшись, сказала:

— Шутит дядя.

— Шутит, шутит,— механически повторила другая, все еще изучая его задумчивым взглядом.

Запахи моря. Шум людских голосов. Эхо под высокими сводами. Кучки людей у прилавков. Толчеи нет, рыбы много, больше всего сардин. Он хочет сперва насладиться запахом моря, рассмотреть морских животных. В глаза ему бросается выражение деловитости на лице продавца-рыбака: да, они кормят народ и требуют признания.

— Труженики, труженики,— говорит он.

Рыбак хмурится, опершись руками о стол, приподняв плечи, безучастно смотрит прямо перед собой.

— Думает, я насмехаюсь. Да не насмехаюсь я, сынок. Люди за это гибли. Знаю, я знаю.

И торопясь уйти, поскорей купил рыбы.

Сейчас придет почта. На высокой колокольне как раз пробило девять. Это серьезное напоминание. Тоненьким голоском вторил колокол с белой каменной церковки на берегу. Звон его сверлил уши, заставлял людей думать о смерти (то есть о попах), он завывал, как сельская дворняга, бесконечно, днем и ночью, не заботясь ни о чьих нервах.

Подгоняемый страхом, человек поспешил дальше.

«Погиб. Погиб или умер, это ясно. Погиб мой малыш. Не было случая, чтоб кто-нибудь вышел живым и здоровым и об этом никто бы не узнал. Погиб ты, сынок, знаю я. Знаю очень хорошо»,— думал он, потихоньку отпирая квартиру.

И по-спортивному оттягивая носок, чуть наклоняясь вперед и равномерно распределяя тяжесть тела на обе ступни, обычной своей походкой он дошел до кухни.

Жена не обернулась. Она гладила жакетку — изношенную тряпицу, одну из немногих вещей, уцелевших во время оккупации. Она собиралась выйти в город.

— Вот продукты.— Он опустил сардины на стол.— Вот продукты,— повторил он спокойным голосом, точно все шло, как надо.

Она продолжала гладить, пережидая, пока пройдут первые минуты, схлынет приступ жестокой ярости, неожиданно стиснувшей грудь.

Снаружи под окном звонко щебетали ласточки. Солнце заливало кухню.

Она подошла к окну, опустила жалюзи, потом немного подняла их, движения ее были порывисты.

Ласточки продолжали нежно щебетать над домом.

— Лето началось,— выглянув во двор, безмятежно сказала она. И тут же пожалела о своих словах, с преувеличенным вниманием нагнулась над утюгом. «Не будет больше грести мой малыш»,— добавила она про себя. Она отчетливо видела, как, покрытый курткой, он стынет и умирает на тощей кляче.— Я схожу сейчас на развалины,— вслух произнесла она.

Он постучал пальцем по портсигару.

— А, развалины, развалины,— загудел он.— Ребенок под каждым облаком,— добавил он тише.

— Что под каждым облаком?

— Так говорят в наших местах, когда братья делятся: я тоже, дескать, хочу иметь под каждым облаком земли, то есть побольше иметь.

— Не говори глупостей.

— Глупости, да.

Развалины, по крайней мере, принадлежали всем. Здесь она сможет услышать и о тех, кто возвращается из плена, из лагерей, из Германии, Италии да и из Англии, Америки, Франции,— куда только не заносила людей война.

— Рыба недорогая,— сказал он и направился в ванную мыть руки. Потом прошел в спальню и прислонился к окну: хотел узнать, что произошло на улице, пока его не было.

Мимо окна уходила вниз каменная лестница из верхнего города, где были маленькие старинные дома из камня, а внизу, увеличиваясь и расширяясь вместе с лестницей и улицей, красовались здания повыше и побольше.

Четырехлетний мальчик медленно спускался по лестнице, топоча ножками и озабоченно поглядывая вниз на широкое пространство между домами, где было море.

— Малыш! Эй, малыш!

Ребенок остановился, испуганно прижал ручонки к груди и поднял к окну большие глаза.

— Ты куда это путь держишь, а?

— Я?

— Да, ты, а кто ж еще. Ты куда шагаешь?

— Я иду... иду... на берег.

— Нельзя тебе на берег. Домой иди, к маме.

Мальчик нерешительно посмотрел вниз на площадь, потом вверх — на окно; он моргал глазами и сопел. Ослушаться у него не хватало решимости.

— Иди, мой милый, домой, иди.

Мальчик отчаянно сморщился. После стольких усилий, стольких трудов — он так мечтал о море,— и вот все кончено.

— Подожди немного, подожди, малыш,— ласково сказал человек в окне.

Мальчик успокоился, стал ждать. В своих штанишках ниже колен, заплатанной рубашонке и ветхих тапочках он походил на промокшего птенца.

— Не бойся, ничего не бойся,— затрубил человек, подходя к ребенку.— Давай руку, дружок.

Ребенок протянул ему руку, и они вместе зашагали вниз, к морю.

ДАНИЛО КИШ

Собака и мальчик

Рассказ собаки

По свидетельству моей матери, я родился в результате одной из ее легкомысленных авантюр, которая принесла ей семерых детей и много несчастий. Два моих брата и сестра умерли при рождении. Я же прозрел в доме деревенской повитухи госпожи Альбины Книпер в последний год войны, в начале осени. И моя мать и госпожа Альбина очень заботились обо мне, кормили меня и баловали. Моя корзинка была выложена тряпками и перьями, словно птичье гнездо. Мать учила меня жизни: учила вилять хвостом, скалить зубы, удалять гной из глаз, отгонять надоедливых мух. Мы упражнялись также в основных приемах защиты и нападения. Это была прекрасная и безопасная игра. Мы бросались друг на друга подобно деревенским дворнягам, а зубы наши были закрыты красным велюром, и когти мы держали в подушечках лап, как ножи в ножнах.

Но в один прекрасный день меня оторвали от матери, тогда и началась моя собачья жизнь. (Слово «собачья» я прошу не понимать превратно, я не сетую на жизнь. Я просто имею в виду свою собственную жизнь.)

Когда господин Берки (так звали моего будущего хозяина и повелителя) уплатил деньги госпоже Книпер, еще не было решено, кто из нас отправится с ним, а я слишком мало понимал в том, что происходило вокруг. Запомнил только, что мать моя была очень грустна и непрерывно плакала. Лишь много времени спустя я понял, почему она не оказала никакого сопротивления, почему ничего не предприняла, чтобы меня спасти. Она поступала так ради моего же блага. Кто знает, как сложилась бы моя судьба, если бы господин Берки тогда не взял меня. Из нас четверых лишь мы двое остались в живых. Мой брат и я. Его продали в другое село какому-то охотнику. Двух моих сестер постигла печальная участь: госпожа Книпер привязала им на шею камни и бросила в бушующую реку. Госпожа Книпер была очень расстроена, и я уверен, что, если б не тяжелые военные годы, она бы сжалилась над ними хотя бы ради моей матери. Ведь госпожа Книпер любила животных, даже этих вечно ноющих кошек, но что поделаешь, à la guerre comme à la guerre [1], как сказал бы великий любитель животных Лафонтен.

[1] На войне как на войне *(франц.)*.

Моя мать совсем помешалась от горя. Целыми днями она ничего не ела, плакала и стенала, бегала по двору и по селу, заглядывала в каждую дырку. И в один прекрасный день госпожа Книпер сказала: «Лола (так звали мою мать), я вынуждена была так поступить! Прости, Лола, но я не могла поступить иначе!» Моя мать лежала перед ней, навострив уши, чтобы лучше слышать все, что скажет госпожа Книпер, и печально смотрела на нее полными слез глазами, так что госпожа Книпер сама расплакалась: «Не надо, Лола, не надо так на меня глядеть. Я не могла иначе. Ты ведь сама знаешь, что мы едва сводим концы с концами». Но моя мать, обезумев от боли, продолжала смотреть ей прямо в глаза. «Не надо, Лола, не гляди на меня так,— сказала госпожа Книпер.— Я бросила их в реку!» Тогда моя мать поняла, что ее предчувствия оправдались, и с воем бросилась на берег. Она бежала, бежала вниз по течению, скуля, как собака, господи помилуй, скуля, как человек. Она нашла моих сестер на отмели, их вынесло течением возле соседнего села. Они запутались в ветках ивы, на шее у них были камни.

Моя мать возвратилась в сумерках только затем, чтобы умереть возле меня.

Я лежал на веранде господина Берки, своего нового хозяина, и размышлял о нашей доле, о своей несчастной матери, о братьях и сестрах, о госпоже Книпер, о жизни вообще. Я размышлял и поскуливал больше от тоски, чем от холода.

Но тут появился мальчик и принялся гладить меня, отогревать руками, словно я был, не дай господи, воробьем, а не псом. Он посмотрел мне в лицо и засмеялся. «Анна, Анна,— крикнул он,— иди сюда, посмотри! Совсем как воробушек!» «И впрямь миленький»,— согласилась Анна, потрепав меня по щеке. «Этот пес на кого-то похож,— сказал мальчик.— Правда, правда, очень похож». «В самом деле,— отвечала Анна, его сестра,— кого ж это он напоминает?» «Тебе тоже?!» — воскликнул мальчик. «Можно со смеху умереть»,— сказала его сестра. «В самом деле можно умереть со смеху»,— сказал мальчик. Он продолжал держать меня на ладони, как воробья. «Я знаю, на кого он похож»,— сказала сестра. «Ну, скажи, на кого,— сказал мальчик.— Пожалуйста, скажи. Напомни». «Подумай сам,— сказала Анна.— Ну-ка сам вспомни». «Пожалуйста, скажи,— просил мальчик.— Я не могу сам вспомнить. Знаю только, что эта собака... ей-богу, умереть можно». «На старую госпожу...» — сказала Анна. «На госпожу Книпер, повитуху!» — сказал мальчик. «Вот смех! — сказала его сестра.— Вылитая госпожа Книпер».

Тут я и сам стал думать, что чем-то похож на госпожу Книпер, хотя, честно говоря, не представлял себе, в чем это сходство могло бы сказаться. Может быть, просто печаль накладывала одинаковый отпечаток на наши лица, потому что госпожа Книпер после своего поступка чувствовала себя очень несчастной, а я тосковал по своим. Что же касается сходства, то могу вам сказать, что я походил на свою мать. Те же большие темные глаза, иссиня-черные, как сливы, те же уши, заостренные сверху и чуть обвислые. Лишь фигуру я, возможно, унаследовал от своего (неизвестного) отца, потому что позже превратился в стройного пса с длинными ногами, каких у моей матери, если память мне не изменяет, не было. От матери я унаследовал и масть, желто-рыжую, и большинство свойств характера: чувствительность, покорность, терпеливость, верность, преданность, нервозность, равно как и некоторую леность и легкомыслие.

У такого пса, как я, не было волнующей биографии, о которой стоило бы много говорить. У меня была довольно счастливая юность (если не считать, разумеется, разлуки с семьей), хотя начал жить я в военное время. Может быть, именно поэтому. Поясню, что я имею в виду. Война уносит людей, отучает их от нежности, война рождает у людей страх, делает их недоверчивыми. В такой обстановке собака, верная, как я, соба-

ка, много значит. Если вы не ребенок и не слишком сентиментальны, вы можете любить ее без отчаяния, без опасения, что сойдете с ума, умрете от горя, если война отнимет ее у вас, вы можете любить ее, не делая никаких усилий, можете свободно исповедоваться перед ней, не опасаясь, что она выдаст ваши тайны и ваши сокровенные желания. В военное время собаке приходится трудно лишь до тех пор, пока у нее не отрастают клыки. (Оттого-то и пострадали мои сестры, царствие им небесное.) А для взрослого, сильного пса война — благодать. Начинается падеж скота, гибнут лошади, солдаты лишь едва присыпают землей палую скотину, только чтоб не торчало наружу. И так, дескать, растащат собаки да бродяги.

Кого может интересовать моя биография, если я не был ни знаменитым охотником (напротив, охотник я самый заурядный), ни прославленным бегуном, если у меня не только нет дворянской родословной, но, судя по всему, я — внебрачное дитя, если я не стяжал славу на поле боя и мне не воздвигали при жизни памятник, если я никогда не получал никаких наград от Красного Креста или от кого бы то ни было. Иными словами, я самый обыкновенный пес, и судьба моя вполне заурядная. Единственное, что в некотором роде делает меня исключением,— моя способность говорить. А это дала мне любовь одного мальчика, я мог бы сказать, несчастная любовь.

Однажды утром пришел господин Берки, мой новый хозяин, и спросил: «Анди, нравится тебе этот пес?» «Он божествен! — сказал мальчик. (У него была склонность к преувеличению.) — А как мы его назовем?» «Его кличка Динго»,— сказал господин Берки. «Динго? — переспросил мальчик.— Это имя мне не нравится. Господин Берки, объясните, пожалуйста, что оно означает». «Так зовут диких австралийских собак»,— сказал господин Берки. «Мне очень нравится это имя»,— сказал тогда мальчик.

И хотя официальным моим хозяином был господин Берки, душой и телом я принадлежал мальчику. Из всех людей в мире я лучше всего понимал его и легче всего мог с ним договориться. Я думаю, этому способствовало кроме его возраста и что-то общее, присущее нам обоим. Уверен, что не возьму греха на душу, если скажу, что мы с ним во многом походили друг на друга: леностью, озорством, преданностью, склонностью к авантюрам. С уверенностью также могу сказать, что в характере мальчика было нечто собачье: особенно это касалось его нюха и вообще восприимчивости к запахам. Одиночество и тоска соединили наши жизни. Его тоска по отцу и моя тоска по близким породили между нами своеобразную дружбу, основанную на родстве душ. И когда я стал подрастать и быстро приобретать авторитет среди деревенских дворняг как мудрый и ученый пес своего маленького мудрого повелителя, мальчик начал чувствовать себя менее одиноким и все больше гордился мною, становясь постепенно храбрее. Потому что я не только освободил его от врожденной боязни собак (этим страдал и его отец), он вообще стал смелей, зная, что у него есть верный и преданный защитник. В свою очередь он обучил меня разным полезным трюкам, которые вызывали уважение. Я умел разыскивать заблудившихся коров, раскапывать кротовины (из пустого баловства, только чтоб убить время), гонять зайцев, находить лисьи норы и гнезда болотных птиц, ловить диких уток, лягушек, бабочек, змей. Я даже выучился разговаривать с мальчиком в минуты одиночества! Помню, однажды у нас потерялась корова Рыжуха. Мы чуть не убежали из дому. И мальчик по дороге ставил передо мной трудные и ответственные задачи. Один раз я даже выполнял по его просьбе такое поручение, что сам себе показался почтовым голубем, а не собакой. Как

только мы начинали чувствовать себя несчастными, сразу принимались составлять план побега. Но нет, нам никогда не удавалось уйти дальше соседнего села. Изредка мальчик рассказывал мне истории или читал книги. Без преувеличения могу сказать, что я выучил на память роман о человеке, лошади и собаке, который мальчик столько раз рассказывал пастухам, выдумывая и всякий раз добавляя нечто новое.

Нет, моя жизнь не была романом. Она вся состояла из маленьких рассказов, из многочисленных маленьких историй, веселых и печальных, но во всех них непременно присутствовал мальчик, как, впрочем, и я присутствовал в его рассказах.

Потом я стал замечать, что мальчик загрустил. И со мною стал както холоднее, осторожнее. Вижу, что-то скрывает от меня. Но вскоре понял, в чем дело, и мною вновь овладела извечная собачья тоска. Мальчик готовился уйти. На этот раз по-настоящему. В этом не было сомнения. Я понял, почему он избегал меня: он хотел смягчить удар. Но я просто заболел. Свернулся клубком и лег у порога, чтоб мальчик не ушел, не простившись со мною. Лежу вот и раздумываю о своей жизни. Чувствую, что не переживу разлуки. О-у-у-у-у! О-у-у-у-у!

Письмо

Дорогой господин Берки, пишу Вам издалека, шлю сердечный привет и пожелание доброго здоровья. Я постепенно привыкаю к новым товарищам по школе, но все смеются надо мною из-за моего выговора. По ночам мне кажется, что я у Вас, и сегодня мама разбудила меня, потому что я плакал во сне. Мама говорит, что это ностальгия и что все скоро пройдет.

Дорогой господин Берки, я очень Вас прошу не смеяться надо мною за то, что я Вам сейчас скажу: этой ночью я больше всего плакал из-за моего Динго. Анна продолжает надо мной смеяться и говорит, что я влюбился в этого пса, может быть, это и правда, но я верю, что Вы меня поймете и не станете насмехаться.

Знаете, как мне было тяжело, когда мы уезжали, как меня потрясло прощание с Динго! Вы помните, что перед самым отъездом я исчез, появился в самую последнюю минуту и меня все ругали. Теперь я могу сказать Вам, где я был. Я повел Динго на берег Керки, чтобы проститься с ним. Потом привязал его ремнем к иве, он не сопротивлялся, только скулил. Он хотел идти за мною и просил отпустить его, но я сказал ему, чтоб он оставался на месте, что такова жизнь, что я знаю — мне никогда не найти лучшего друга, чем он, ни среди собак, ни среди людей. Потом я услыхал, что меня зовут, и побежал прощаться со всеми вами. Помните, как все мы плакали, и моя мама, и Анна, и Ваша мама, и Вы сами. Мы знали, что никогда больше не увидимся. Потом телега тронулась, а я все еще плакал, и сердце у меня разрывалось на части. Я вспоминал все годы, что мы прожили у Вас, моего покойного папу, который не вернулся с войны, Вас и Вашу маму, учительницу госпожу Риго, Белу Хермана, Лацику Тот, Юлию Сабо и остальных. Я боялся обернуться, боялся зарыдать еще сильнее при виде села, колокольни, Графского леса и всего остального. Однако не удержался. И кого, Вы думаете, господин Берки, я увидел? За нами бежал Динго и выл во весь голос, а мы все снова зарыдали. Я попросил дядю Мартина отогнать его кнутом и ехать быстрее, так как не мог больше выносить его плача. Силы у Динго были на исходе, ведь он бежал за нами до Честрега! Он весь взмок, бежал с высунутым языком. Я истошно закричал. Дяде Мартину пришлось здорово отхлестать Динго, чтобы вынудить его остановиться, вернее, свалиться в изнеможении посреди дороги. Даже когда поезд тронулся, я все время

смотрел в окно и плакал, мне все время казалось, будто я слышу, как он скулит, будто он продолжает мчаться за нами.

Вот, дорогой господин Берки, о чем я хотел Вам рассказать. Пожалуйста, напишите мне письмо обо всем. Напишите, как Динго. Я только прошу Вас, если Вы не станете смеяться, прочесть ему это мое письмо и сказать, что я не виноват, что я не мог взять его с собой и что я его никогда не забуду. Скажите ему, что, когда я стану поэтом, я напишу о нем стихотворение или басню. В этой басне пес будет говорить. И звать его будут, конечно, Динго. Пожалуйста, господин Берки, сделайте это для меня, он все поймет, только когда станете читать, смотрите ему прямо в глаза и повторяйте мое имя. Скажите ему: Анди, Анди, Анди шлет тебе привет. Говорите ему медленно, как маленькому ребенку. Вы увидите, он Вас поймет. Он заскулит, когда услышит мое имя. Это значит, что он все понял.

И наконец, я прошу Вас беречь его и угостить вкусным ужином на те деньги, что я Вам посылаю. Он больше всего любит конину (и чтоб кости были), а ее Вы можете наверняка достать в Бакше у господина Фейеша, мясника. Дорогой господин Берки, не упоминайте, пожалуйста, в письме к моей маме об этих деньгах (это мои сбережения), потому что Анна станет надо мной смеяться. Лучше всего пишите мне, пожалуйста, лично. Пока все.

Сердечный привет Вам и Вашей маме, и госпоже Риго, и всем моим товарищам, а особенно Беле Херману, Лацике Тот и Юлии Сабо и всем остальным, я с радостью о них вспоминаю.

Ваш несчастный
Андреас Сам, ученик.

Ответ

Дорогой мой Анди, я рад, что у тебя все хорошо и что ты прилежно учишься, как следует из письма твоей мамы. А по твоему письму я вижу, что ты по-прежнему складно пишешь и что почерк у тебя становится лучше. Я верю, что когда-нибудь ты станешь поэтом, а, судя по твоему покойному отцу, вам, Самам, фантазии не занимать. Что касается твоей просьбы, дорогой мой поэт, могу тебе сказать, что я с охотой бы ее выполнил, если бы не случилось то, о чем тебе, я знаю, будет очень грустно услышать.

В тот день, когда вы уехали, Динго вернулся усталый и весь избитый. Он очень долго выл и скулил. Целый день ничего не ел, хотя мы принесли ему даже печенки, только с жадностью пил воду.

На другой день мы нашли его под дверью мертвым.

Дорогой мой А. С., не горюй, в жизни бывают вещи и потяжелее — подрастешь, узнаешь. Могу тебе только сказать, что мне тоже было его очень жаль, а мама даже заплакала. Разумеется, ты переживешь это горе и в один прекрасный день вовсе о нем позабудешь. На деньги, которые я тебе посылаю (вот и проценты), купи себе вечное перо и попытайся что-нибудь написать об этом, в стихах или в прозе, и мне пришли. Если выйдет хорошо, я покажу госпоже Риго, твоей учительнице, она наверняка очень обрадуется. А если ей понравится, то, может быть, она и напечатает это в «Добром пастыре».

Все твои друзья шлют тебе привет.

Будь здоров и не очень горюй.

Твой дядя Берки.

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

Тени в раю

РОМАН

Перевод с немецкого Л. ЧЕРНОЙ и В. КОТЕЛКИНА

XX

— Я устраиваю небольшой прием,— сообщил Силверс.— Вас я тоже приглашаю.

— Спасибо,— сказал я без особого энтузиазма.— К сожалению, я вынужден отказаться. У меня нет смокинга.

— И не надо. Сейчас лето. Каждый может прийти в чем хочет.

Теперь у меня уже не было пути к отступлению.

— Хорошо,— сказал я.

— Смогли бы вы привести с собою миссис Уимпер?

— Вы ее пригласили?

— Пока еще нет. Ведь она ваша знакомая.

Я взглянул на Силверса. Ну и хитрец!

— Не думаю, чтобы ее можно было так вот взять и привести. Кроме того, вы утверждали, что она ваша знакомая, и притом очень давняя.

— Я сказал это просто так, к слову. У меня будут очень интересные люди.

Я отлично представлял себе, что это за интересные люди. Та часть человечества, которая живет на доходы от купли-продажи, воспринимает прикладную психологию весьма примитивно. Люди, на которых можно заработать,— интересные. Остаток рода человеческого делится на людей приятных и безразличных. Что же касается людей, из-за которых можно потерять деньги, то они, безусловно, подлецы. Силверс фанатически строго придерживался этой классификации. И даже, пожалуй, шел еще дальше....

Рокфеллеров, Фордов и Меллонов я на приеме не увидел, хотя по рассказам Силверса они являлись его лучшими друзьями и должны были присутствовать обязательно. Зато другие миллионеры пришли — очевидно, миллионеры в первом поколении, а не во втором и тем паче в третьем. Они вели себя шумно и благодушно, ибо находились сейчас на ничейной земле между царством чистогана, где чувствовали себя очень уверенно, и царством живописи, где чувствовали себя не очень уверенно. Все они считали себя коллекционерами, а не людьми, случайно купившими несколько картин, чтобы повесить их дома. В этом заключался самый главный трюк Силверса: он делал из своих клиентов коллекционеров, то есть заботился о том, чтобы музеи время от времени брали у них

Окончание. Начало в №№ 10, 11.

какую-нибудь картину для выставки и вносили ее в каталог с пометкой: «Из собрания мистера и миссис *X*». Благодаря этому клиенты Силверса подымались еще на одну ступеньку выше по вожделенной лестнице, ведущей в светское общество.

Внезапно я увидел напротив себя миссис Уимпер. Она поманила меня пальцем.

— Что мы делаем здесь, среди этих акул? — спросила она.— Для чего меня, собственно, пригласили? Ужасные люди. Не сбежать ли нам?

— Куда?

— Все равно куда. В «Эль Марокко» или ко мне домой.

— Я бы с удовольствием,— начал я.— Но не могу. Я здесь, так сказать, по долгу службы.

— По долгу службы? А как же я? Ведь у вас есть долг и по отношению ко мне. Вы должны доставить меня домой. Меня пригласили из-за вас.

Ее аргументация показалась мне весьма занятной.

— Вы, случайно, не русская? — осведомился я.

— Нет. А почему вы спрашиваете?

— Да потому, что некоторые русские дамы умеют возводить стройные логические построения, основываясь на ложных посылках и ложных умозаключениях, а потом предъявлять претензии к другим. Очень привлекательная, очень женственная и очень опасная черта.

Миссис Уимпер вдруг рассмеялась.

— У вас так много знакомых русских дам?

— Есть несколько. Эмигрантки. Я заметил, что они обладают гениальной способностью предъявлять ложные обвинения ни в чем не повинным мужчинам. По их мнению, это не дает угаснуть любви.

— И все-то вы знаете! — заметила миссис Уимпер, бросив на меня долгий испытующий взгляд.— Когда же мы уйдем? Не желаю выслушивать фарисейские проповеди этой Красной Шапочки.

— Почему Красной Шапочки?

— Тогда волка в овечьей шкуре.

— Это уже не из сказки о Красной Шапочке. Это из Библии, миссис Уимпер.

— Спасибо, профессор. Но и тут и там фигурирует волк. Скажите, неужели вам не становится худо при виде этой стаи малых и больших гиен и волков, которые шныряют взад и вперед с Ренуарами в пасти?

— Пока нет. Я воспринимаю это иначе, чем вы. Мне нравится, когда человек серьезно рассуждает о материях, в которых он ничего не смыслит. Это звучит по-детски и успокаивает нервы. Узкие специалисты нагоняют скуку.

— А ваш верховный жрец? Он говорит о картинах со слезами на глазах, будто это его родные дети, а потом выгодно продает их. Впрочем, он продаст и мать, и отца.

Я не мог удержаться от смеха. Она хорошо разбиралась в этой ярмарке тщеславия.

— Нам здесь нечего делать,— сказала она.— Проводите меня домой.

— Могу отвезти вас домой, но потом я должен вернуться.

— Хорошо.

Я бы и сам мог догадаться, что у подъезда миссис Уимпер ждет машина с шофером, но для меня это было почему-то неожиданностью. Она заметила мое удивление.

— Все равно, отвезите меня домой. Я не кусаюсь,— сказала она.— Шофер доставит вас обратно. Ненавижу приходить домой одна. Вы не представляете себе, какой пустой может казаться собственная квартира.

— Ошибаетесь,— возразил я,— представляю.

Машина остановилась, шофер распахнул дверцы. Миссис Уимпер вышла из машины и, не дожидаясь меня, направилась к подъезду. Разозленный, я последовал за ней.

— Как ни жаль, но мне придется ехать обратно,— сказал я.— Вы, конечно, понимаете, что иначе нельзя.

— Можно,— сказала она.— Но в этом вы опять-таки ничего не смыслите. Спокойной ночи. Джон, отвези господина... Извините, забыла вашу фамилию.

Я оторопело взглянул на нее.

— Мартин,— сказал я без запинки.

Миссис Уимпер и бровью не повела.

— Господина Мартина,— повторила она.

Секунду я размышлял, не лучше ли мне отказаться. Потом сел в машину.

— Довезите меня до ближайшей стоянки такси,— сказал я шоферу.

Машина тронулась. Мы проехали две улицы, и я сказал:

— Остановитесь! Вон — такси.

Шофер повернулся ко мне:

— Почему вы хотите выйти? Для меня сущий пустяк довезти вас до места.

— А для меня не пустяк.

Он усмехнулся.

— Боже мой! Мне бы ваши заботы.

Мы остановились. Я протянул ему чаевые. Он покачал головой, но деньги все же взял. Я поехал на такси к Силверсу. И вдруг сам покачал головой и подумал: «Какой я идиот!»

— Отвезите меня, пожалуйста, не на Шестьдесят вторую улицу, а на Пятьдесят седьмую, угол Второй авеню.

— Как угодно. Хорошая ночь, правда?

— Чересчур теплая.

Я вышел у магазина братьев Штерн. Магазин был еще открыт. Несколько гомосексуалистов с плотоядной улыбкой выбирали холодные закуски на ужин. Я позвонил Наташе. Она ждала меня не раньше чем через два-три часа, поэтому я не решился подняться к ней без звонка. День был и так богат неожиданностями, и я хотел избежать новых. Наташа была дома.

— Ты где? — спросила она.— У своих коллекционеров? Краткая передышка?

— Я не у коллекционеров и не у миссис Уимпер. Я в магазине братьев Штерн. Среди сыров и салями.

— Купи полфунта салями и серого хлеба.

— Масла тоже?

— Масло у нас есть. А вот против эдамского сыра я не возражаю.

Я вдруг почувствовал себя очень счастливым.

К тому времени когда я вышел из телефонной будки, в магазине уже резвились три пуделя. Я узнал Рене, а потом и его хозяина, рыжего Яспера. Яспер поздоровался со мной — он был какой-то развинченный, как большинство педерастов.

— Что поделываешь, незнакомец? Давно не виделись.

Я получил свои покупки: салями, сыр и шоколадный крем в тонкой жестяной формочке.

— Вот как? — заметил Яспер.— Продукты для позднего ужина?

Я молча смерил его взглядом. На его счастье, он не спросил, буду ли я ужинать с приятельницей. Иначе я увенчал бы его рыжую шевелюру формочкой с кремом — чем не корона!

Но он ничего не сказал. Лишь молча последовал за мной на улицу.

— Может, прогуляемся немного? — предложил он, стараясь шагать со мной в ногу.

Я огляделся. На Второй авеню царило оживление. Был, очевидно, час вечернего променада. Улица буквально кишела гомосексуалистами с пуделями и без оных. А также с карликовыми таксами, причем многих владельцы несли под мышкой. Атмосфера была праздничная. Молодые люди здоровались, перебрасывались шутками, останавливались, когда собаки справляли свою нужду у края тротуара, рассматривали друг друга, обменивались взглядами. Я заметил, что вызываю всеобщее внимание. Яспер шел рядом со мной, кивая знакомым с такой гордостью, словно я был его новым приобретением. И все обсуждали мою скромную особу. Потеряв терпение, я круто повернул назад.

— Почему вы так торопитесь? — спросил Яспер.

— Каждое утро я хожу в церковь и причащаюсь. Мне надо подготовиться к этому. До свидания.

На секунду Яспер потерял дар речи. Потом за моей спиной раздался громкий смех. Этот смех неожиданно напомнил мне прощание с миссис Уимпер. Я остановился у газетного киоска и купил «Джорнэл» и «Ньюс».

— Сегодня вечером они, по-моему, в полном сборе,— заметил Ник и сплюнул.

— Здесь всегда так?

— Каждый вечер. Парад звезд. Если это будет продолжаться, в Америке снизится рождаемость.

Я поднялся на лифте в квартиру Наташи. С тех пор как она здесь жила, наши отношения вступили в новую фазу. Раньше мы встречались от случая к случаю, теперь я проводил у нее все вечера.

— Я должен принять ванну,— сказал я.— Я тебя боготворю, но я должен принять ванну. У меня такое чувство, будто я испачкался с ног до головы.

— Давай! Грех удерживать человека от мытья. Хочешь ароматическую соль? Гвоздику фирмы «Мэри Чесс»?

— Лучше не надо! — Я подумал о Яспере и о том, что произойдет, если, встретившись с ним, я буду благоухать гвоздикой.

— Каким образом ты так скоро вернулся?

— Я отвез миссис Уимпер домой. Силверс пригласил ее без моего ведома.

— И она так быстро отпустила тебя? Браво!

Я слегка приподнялся в теплой воде.

— Она не хотела меня отпускать. Но откуда ты знаешь, что вырваться от нее нелегко?

Наташа рассмеялась.

— Это известно каждому.

— Каждому? Кому именно?

— Каждому, кто с ней сталкивался. Она чувствует себя одинокой, не интересуется мужчинами своего возраста, поглощает в большом количестве коктейли «Мартини» и вполне безобидна. Бедный Роберт! А ты испугался?

Я схватил Наташу за подол пестрого, разрисованного вручную платья и попытался втащить ее в воду. Но она закричала:

— Пусти! Платье не мое! Это модель!

Я отпустил ее.

— А что в таком случае наше? Квартира — не наша, платья — не наши, драгоценности — не наши...

— Вот и прекрасно. Никакой ответственности! Это ведь то, о чем ты мечтал. Правда?

— Сегодня у меня плохой день,— сказал я.— Сжалься надо мной!

Наташа встала.

— И ты еще собираешься осуждать меня за Элизу Уимпер. Ты со своим пресловутым пактом.

— Каким пактом?

— О том, что мы не должны причинять друг другу боль. И о том, что мы сошлись лишь для того, чтобы забыть старые романы. О боже! Как ты мне все это преподнес! И мы, дрожа как овцы после урагана, укрылись под сенью этой ни к чему не обязывающей любвишки, укрылись, чтобы зализать раны, которые нам нанесли другие.

Она заметалась по ванной. А я с удивлением смотрел на нее. Почему она вдруг вспомнила все эти наполовину забытые дурацкие разговоры, с которых всегда начинается сближение? Я был уверен, что не говорил всего этого — не такой уж я дурак! Скорее она сама так думала... И наверное, именно потому она прибилась ко мне. В голове у меня промелькнуло множество мыслей; да, я понимал, что отчасти она права, хотя и не хотел в этом признаться. Меня удивляло только, что она все так ясно сознавала.

— Дай мне рюмку водки,— сказал я осторожно, решив перейти в наступление. Когда у человека совесть не чиста, это самое верное средство.

— Здорово мы друг друга обманули! Не так ли?

— По-моему, это обычная история,— сказал я, радуясь тому, что увидел какой-то просвет.

— Не знаю. Я потом каждый раз все забываю.

— Каждый раз? С тобой это часто случается?

— Тоже не знаю. Я ведь не счетная машина. Может, ты — счетная машина, а я — нет.

— Я лежу в ванной, Наташа. Исключительно невыгодная позиция. Давай заключим мир.

— Мир! — повторила она язвительно.— Кому нужен мир?

Схватив купальное полотенце, я встал. Если бы я мог предположить, чем кончится этот разговор, я бежал бы от ванны, как от холеры.

Наташа начала обличать меня не то всерьез, не то в шутку, но потом взвинтила себя и пришла в воинственное настроение — я заметил это по ее глазам, по движениям и по голосу, который вдруг стал звонче. Мне надо было смотреть в оба! И прежде всего потому, что она была права. Вначале я решил сам наступать, используя миссис Уимпер. Но неожиданно все повернулось по-другому.

— Прелестное платье,— сказал я.— А ведь я хотел выкупать тебя в нем!

— Почему же не выкупал?

— Вода была слишком горячая, а ванна слишком тесная для двоих.

— Зачем ты одеваешься? — спросила Наташа.

— Мне холодно.

— Можно выключить кондиционер.

— Не стоит. Тогда будет жарко.

Она подозрительно взглянула на меня.

— Хочешь удрать? Трус! — сказала она.

— Что ты! Разве я могу покинуть салями и эдамский сыр?

Неожиданно она пришла в ярость.

— Иди к черту! — закричала она.— Убирайся в свою вонючую гостиницу. В свою дыру! Там твое место!

Она дрожала от злости. Я поднял руку, чтобы поймать на лету пепельницу, в случае если Наташа швырнет ее в меня: я не сомневался, что пепельница попадет в цель. Наташа была просто великолепна. Гнев не искажал ее черт, наоборот, он красил ее. Она трепетала не только от злобы, но и от полноты жизни.

Я хотел овладеть ею, но внутренний голос предостерег меня: «Не делай этого!» На меня вдруг нашло прозрение: я понял, что сиюминутная близость ничего не даст. Мы просто уйдем от проблем, так и не разрешив их. И в будущем я уже не сумею использовать этот столь важный эмоциональный довод! Самым разумным в моем положении было спастись бегством. И именно сейчас, ни минутой позже.

— Как знаешь! — сказал я, быстро пересек комнату и хлопнул дверью. Поджидая лифт, я прислушался. До меня не донеслось ни звука. Может быть, она считала, что я вернусь.

В антикварной лавке братьев Лоу электрические лампы освещали французские латунные канделябры начала девятнадцатого века с белыми фарфоровыми цветами. Я остановился и начал разглядывать витрину. Потом я прошел мимо светлых безотрадных и полупустых закусочных, где у длинной стойки люди ели котлеты или сосиски, запивая их кока-колой и апельсиновым соком,— к этому сочетанию я до сих пор не мог привыкнуть.

В гостинице, к счастью, в тот вечер дежурил Меликов.

— Cafard [1]? — спросил он.

Я кивнул:

— Разве по мне это заметно?

— За километр. Хочешь выпить?

Я покачал головой.

— Пока я еще на первой стадии, а при этом алкоголь только вредит.

— Что значит — на первой стадии?

— Когда считаешь, что вел себя скверно и глупо и потерял чувство юмора.

— Я думал, ты уже прошел через это.

— По-видимому, нет.

— А когда наступает вторая стадия?

— Когда я решаю, что все кончено. По моей вине.

— Может, выпьешь хотя бы кружку пива? Садись в это плюшевое кресло и кончай психовать.

— Хорошо.

Я предался фантасмагорическим мечтаниям, а Меликов тем временем разносил по номерам бутылки минеральной воды, а потом и виски.

— Добрый вечер,— произнес чей-то голос за моей спиной.

Лахман! Первым моим побуждением было встать и быстро улизнуть.

— Только тебя мне не хватало,— сказал я.

Но Лахман с умоляющим видом снова усадил меня в кресло.

— Сегодня я не буду плакаться тебе в жилетку,— прошептал он.— Мои несчастья кончились. Я ликую!

— Подцепил ее все-таки? Жалкий гробокопатель!

— Кого?

Я поднял голову:

— Кого? Своими причитаниями ты надоел всей гостинице, лампы тряслись от твоего воя, а теперь у тебя хватает нахальства спрашивать «кого»?

— Это уже дело прошлое,— сказал Лахман,— я быстро забываю.

Я взглянул на него с интересом.

— Вот как? Ты быстро забываешь? И потому хныкал месяцами?

---

[1] Хандра? *(Франц.)*

— Конечно. Быстро забываешь только после того, как полностью очистишься!

— От чего? От нечистот?

— Дело не в словах. Я ничего не добился. Меня обманывали — мексиканец и эта донья из Пуэрто-Рико.

— Никто тебя не обманывал. Просто ты не добился того, чего хотел. Большая разница.

— Сейчас уже десять вечера, а в такую поздноту я не воспринимаю нюансов.

— Ты что-то очень развеселился,— сказал я не без зависти.— У тебя, видимо, в самом деле все быстро проходит.

— Я нашел перл,— прошептал Лахман.— Пока еще не хочу ничего говорить. Но это — перл. И без мексиканца.

Меликов жестом подозвал меня к своей конторке.

— К телефону, Роберт.

— Кто?

— Наташа.

Я взял трубку.

— Где ты обретаешься? — спросила Наташа.

— На приеме у Силверса.

— Ерунда! Пьешь водку с Меликовым.

— Распростерся ниц перед плюшевым креслом, молюсь на тебя и проклинаю свою судьбу. Я совершенно уничтожен.

Наташа рассмеялась.

— Возвращайся, Роберт.

— Вооруженный?

— Безоружный, дурень. Ты не должен оставлять меня одну. Вот и все.

Я вышел на улицу. Она поблескивала при свете ночных фонарей — войны и тайфуны были от нее за тридевять земель; затаив дыхание, она прислушивалась к тихому ветру и к собственным мечтам. Улица эта никогда не казалась мне красивой, но сейчас вдруг я почувствовал ее прелесть.

— Сегодня ночью я остаюсь здесь,— сказал я Наташе.— Не пойду в гостиницу. Хочу спать и проснуться с тобой рядом. А потом я притащу от братьев Штерн хлеб, молоко и яйца. В первый раз мы проснемся с тобой вместе. По-моему, у всех наших недоразумений одна причина: мы с тобой слишком мало бываем вдвоем. И каждый раз нам приходится снова привыкать друг к другу.

Наташа потянулась.

— Я всегда думала, что жизнь ужасно длинная и поэтому не стоит быть все время вместе. Соскучишься.

Я невольно рассмеялся.

— В этом что-то есть,— сказал я.— Но мне пока еще не приходилось испытывать такое. Сама судьба постоянно заботилась, чтобы я не соскучился... У меня такое чувство,— продолжал я,— будто мы летим на воздушном шаре. Не на самолете, а на тихом шаре, на воздушном шаре братьев Монгольфье в самом начале девятнадцатого века. Мы поднялись на такую высоту, где уже ничего не слышно, но еще все видно: улицы, игрушечные автомобили и гирлянды городских огней. Да благословит бог незнакомого благодетеля, который поставил сюда эту широкую кровать и повесил на стене напротив зеркало; когда ты проходишь по комнате, вас становится двое — две одинаковые женщины, из которых одна — немая.

— С немой куда проще. Правда?

— Нет.

Наташа резко повернулась.

— Правильный ответ.

— Ты очень красивая,— сказал я.— Обычно я сначала смотрю, какие у женщины ноги, потом какой у нее зад и уж под конец разглядываю ее лицо. С тобой все получилось наоборот. Вначале я разглядел твое лицо, потом ноги и, только влюбившись, обратил внимание на зад. Ты — стройная и сзади могла бы быть плоской, как эти изголодавшиеся, костлявые манекенщицы. Меня это очень тревожило.

— А когда ты заметил, что все в порядке?

— Своевременно. Существуют весьма простые способы, чтобы это определить. Но самое странное, что интерес к этому у меня не проходил очень долго.

— Рассказывай дальше!

Она лениво свернулась клубочком на одеяле, мурлыча, словно огромная кошка. Маленькой кисточкой она покрывала лаком ногти на ногах.

— Не смей меня сейчас насиловать,— сказала она.— Это должно сперва высохнуть, не то мы станем липкими. Продолжай рассказывать!

— Я всегда считал, что не в силах устоять перед загорелыми женщинами, которые летом весь день плещутся в воде и лежат на солнце. А ты такая белая, как будто вообще не видела солнца. У тебя что-то общее с луной... Глаза серые и прозрачные... Я не говорю, конечно, о твоем необузданном нраве. Ты — нимфа. Редко в ком я так ошибался, как в тебе. Там, где ты, в небо взлетают ракеты, вспыхивают фейерверки и рвутся снаряды; самое удивительное, что все это происходит беззвучно.

— Рассказывай еще! Хочешь чего-нибудь выпить?

Я покачал головой.

— Часто я взирал на собственные чувства немного со стороны. Я воспринимал их, так сказать, не анфас, а в профиль. Они не заполняли меня целиком, а скользили мимо. Сам не знаю почему. Может, я боялся, а может, не мог избавиться от проклятых комплексов. С тобой все по-иному. С тобой я ни о чем не размышляю. Все мои чувства нараспашку. Тебя хорошо любить и так же хорошо быть с тобой после... Вот как сейчас. Со многими женщинами это исключено, да и сам не захочешь. А с тобой неизвестно, что лучше: когда тебя любишь, кажется, что это вершина всего, а потом, когда лежишь с тобой в постели в полном покое, кажется, что полюбил тебя еще больше.

— Ногти у меня почти высохли. Но ты рассказывай дальше.

Я взглянул в полутемную соседнюю комнату.

— Хорошо ощущать твою близость и думать, что человек бессмертен,— сказал я.— В какое-то мгновение вдруг начинаешь верить, что это и впрямь возможно. И тогда и я и ты бормочем бессвязные слова, чтобы чувствовать еще острее, чтобы стать еще ближе; мы выкрикиваем грубые, непристойные, циничные слова, чтобы еще теснее слиться друг с другом, чтобы преодолеть то крохотное расстояние, которое еще разделяет нас,— слова из лексикона шоферов грузовиков или мясников на бойне, слова-бичи. И все ради того, чтобы быть еще ближе, любить еще ярче, еще сильнее.

Наташа вытянула ногу и поглядела на нее. Потом она откинулась на подушку.

— Да, мой дорогой, в белых перчатках нельзя любить.

Я рассмеялся.

— Никто не знает этого лучше нас, романтиков. Ах, эти обманные слова, которые рассеиваются от легкого дуновения ветра, как облачка пуха. С тобой все иначе. Тебе не надо лгать.

— Ты лжешь очень даже умело,— сказала Наташа сонным голосом.— Надеюсь, сегодня ночью ты не станешь удирать?

— Если удеру, то только с тобой.

— Ладно.

Через несколько минут она уже спала. Она засыпала мгновенно. Я накрыл ее, а потом долго лежал без сна, прислушиваясь к ее дыханию и думая о разных разностях.

XXI

Бетти Штейн вернулась из больницы.

— Никто не говорит мне правду,— жаловалась она.— Ни друзья, ни враги.

— У вас нет врагов, Бетти.

— Вы — золото. Но почему мне не говорят правду? Я ее перенесу. Куда ужаснее не знать, что с тобой на самом деле.

Я обменялся взглядом с Грефенгеймом, который сидел за ее спиной.

— Вам сказали правду, Бетти. Почему надо обязательно думать, что правда — это самое худшее? Неужели вы не можете жить без драм?

Бетти заулыбалась, как ребенок.

— Я настрою себя иначе. А если все действительно в порядке, то опять распущусь. Я ведь себя знаю. Но если мне скажут: «Твоя жизнь в опасности», я начну бороться. Я как безумная буду бороться за то время, которое у меня еще осталось. И, борясь, быть может, продлю отпущенный мне срок. Иначе драгоценное время уйдет впустую. Неужели вы этого не понимаете? Вы ведь должны меня понять.

— Я понимаю. Но раз доктор Грефенгейм сказал, что все в порядке, вы обязаны ему верить. Зачем ему вас обманывать?

— Так всегда делают. Ни один врач не говорит правду.

— Даже если он старый друг?

— Тогда тем более.

Бетти Штейн три дня назад вернулась из больницы и теперь мучала себя и своих друзей бесконечными вопросами. Ее большие, выразительные и беспокойные глаза на добром, не по годам наивном лице, вопреки всему сохранившем черты молоденькой девушки, перебегали с одного собеседника на другого. Порой кому-нибудь из друзей удавалось на короткое время успокоить ее, и тогда она по-детски радовалась. Но уже через несколько часов у нее опять возникали сомнения, и она снова начинала свои расспросы.

Теперь Бетти часами просиживала в вольтеровском кресле, которое она купила у братьев Лоу, потому что оно напоминало ей Европу, в окружении своих гравюр с видами Берлина; она перевесила их из коридора в спальню, а две маленькие гравюры в кабинетных рамках всегда ставила возле себя, таская из комнаты в комнату.

Сообщения о бомбежках Берлина, которые поступали теперь почти ежедневно, лишь на короткое время омрачали ее настроение. Она переживала это всего несколько часов, но столь бурно, что в больнице Грефенгейму приходилось прятать от нее газеты. Впрочем, это не помогало. На следующий день Грефенгейм заставал ее в слезах у радиоприемника.

Бетти вообще была человеком крайностей и постоянно пребывала в состоянии транса. При этом скорбь ее по Берлину находилась в явном противоречии с ненавистью к нацистскому режиму, который уничтожил многих членов ее семьи. В довершение всего Бетти боялась открыто скорбеть: она тщательно скрывала свои чувства от друзей, как нечто неприличное. И так уже ее нередко ругали за тоску по Курфюрстендамму и говорили, что она готова лобызать ноги убийцам.

Ведь нервы всех изгнанников, раздираемых противоречивыми чувствами: надеждой, отвращением и страхом, были и так взвинчены до предела, ибо каждая бомба, упавшая на покинутую ими родину, разрушала и их былое достояние; бомбежки восторженно приветствовали и в то же время проклинали; надежда и ужас причудливо смешались в душах эмигрантов, и человеку надо было самому решать, какую ему занять позицию; проще всего оказалось тем, у кого ненависть была столь велика, что она заглушала все другие, более слабые движения сердца: сострадание к невинным, врожденное милосердие и человечность. Однако несмотря на пережитое, в среде эмигрантов было немало людей, которые считали невозможным предать анафеме целый народ. Для них вопрос не исчерпывался тезисом о том, что немцы, дескать, сами накликали на себя беду своими ужасными злодеяниями или по меньшей мере равнодушием к ним, слепой верой в свою непогрешимость и чудовищным упрямством — словом, всеми качествами немецкого характера, которые идут рука об руку с верой в равнозначность приказа и права и в то, что приказ освобождает якобы от всякой ответственности.

Конечно, умение понять противника было одним из самых привлекательных свойств эмиграции, хотя свойство это не раз ввергало меня в ярость и отчаяние. Там, где можно было ждать лишь ненависти, и там, где она действительно существовала, спустя короткое время появлялось пресловутое понимание. А вслед за пониманием — первые робкие попытки оправдать; у палачей с окровавленной пастью сразу же находились свидетели защиты. То было племя защитников, а не прокуроров. Племя страдальцев, а не мстителей!

Бетти Штейн — натура пылкая и сентиментальная — металась среди этого хаоса, чувствуя себя несчастной. Она оправдывалась, обвиняла, опять оправдывалась, а потом вдруг перед ней вставал самый бесплотный из всех призраков — страх смерти.

— Как вам теперь живется, Росс? — спросила Бетти.

— Хорошо, Бетти. Очень хорошо.

— Рада слышать!

Я заметил, что от моих слов в ней вновь вспыхнула надежда. Раз другому хорошо живется, стало быть, можно надеяться, что и ей будет хорошо.

— Это меня радует,— повторила она.— Вы, кажется, сказали «очень хорошо»?

— Да, очень хорошо, Бетти.

Она с удовлетворением кивнула.

— Они разбомбили Оливаерплац в Берлине,— прошептала она.— Слышали?

— Они разбомбили весь Берлин, а не одну эту площадь.

— Знаю. Но ведь это Оливаерплац. Мы там жили.— Она робко оглянулась по сторонам.— Все на меня сердятся, когда я об этом говорю. Наш старый добрый Берлин!

— Это был довольно-таки мерзкий город,— осторожно возразил я.— По сравнению с Парижем или с Римом, например. Я имею в виду архитектуру, Бетти.

— Как вы думаете, я доживу до того времени, когда можно будет вернуться домой?

— Конечно. Почему нет?

— Это было бы ужасно... Я так долго ждала.

— Да. Но там все будет по-другому, а не так, как нам запомнилось,— сказал я.

Бетти некоторое время обдумывала мои слова.

— Кое-что останется по-старому. И не все немцы — нацисты.

— Да,— сказал я вставая. Подобного рода разговоры я не выносил.— Это мы успеем обсудить когда-нибудь потом, Бетти.

Я вышел в другую комнату. Там сидел Танненбаум и, держа в руках лист бумаги, читал вслух. Я увидел также Грефенгейма и Равика. И как раз в эту минуту вошел Кан.

— Кровавый список! — объявил Танненбаум.

— Что это такое?

— Я составил список тех людей в Германии, которых надо расстрелять,— сказал Танненбаум, перекладывая к себе на тарелку кусок яблочного пирога.

Кан пробежал глазами список.

— Прекрасно! — сказал он.

— Разумеется, он будет еще расширен,— заверил его Танненбаум.

— Вдвойне прекрасно! — сказал Кан.

— Кто же его будет расширять?

— Каждый может добавить свои кандидатуры.

— А кто приведет приговор в исполнение?

— Комитет. Надо его образовать. Это очень просто.

— Вы согласны стать во главе комитета?

Танненбаум глотнул.

— Я предоставлю себя в ваше распоряжение.

— Можно поступить еще проще,— сказал Кан.— Давайте заключим нижеследующий пакт: вы расстреляете первого в этом списке, а я всех остальных. Согласны?

Танненбаум снова глотнул. Грефенгейм и Равик посмотрели на него.

— При этом я имею в виду,— продолжал Кан резко,— что вы расстреляете первого в этом списке собственноручно. И не будете прятаться за спину комитета. Согласны?

Танненбаум не отвечал.

— Ваше счастье, что вы молчите,— бросил Кан,— если бы вы ответили: «Согласен», я влепил бы вам пощечину. Вы не представляете себе, как я ненавижу эту кровожадную салонную болтовню. Занимайтесь лучше своим делом — играйте в кино. Из всех ваших прожектов ничего не выйдет.

И Кан отправился в спальню к Бетти.

— Повадки, как у нациста,— пробормотал Танненбаум ему вслед.

Мы вышли от Бетти вместе с Грефенгеймом. Он переехал в Нью-Йорк, работал ассистентом в больнице. Там и жил, что не позволяло ему иметь частную практику; получал он шестьдесят долларов в месяц, жилье и бесплатное питание.

— Зайдемте ко мне на минутку,— предложил он.

Я пошел с ним. Вечер был теплый, но не такой душный, как обычно.

— Что с Бетти? — спросил я.— Или вы не хотите говорить?

— Спросите Равика.

— Он посоветует мне спросить вас.

Грефенгейм молчал в нерешительности.

— Ее вскрыли, а потом зашили опять. Это правда? — спросил я.

Грефенгейм не отвечал.

— Ей уже делали операцию раньше?

— Да,— сказал он.

Я не стал больше спрашивать.

— Бедная Бетти,— сказал я.— Сколько времени это может продлиться?

— Этого никто не знает. Иногда болезнь развивается быстро, иногда медленно.

Мы пришли в больницу. Грефенгейм повел меня к себе. Комната у него была маленькая, бедно обставленная, если не считать большого аквариума с подогретой водой.

— Единственная роскошь, которую я себе позволил,— сказал он,— после того как Кан отдал мне деньги. В Берлине вся приемная у меня была заставлена аквариумами. Я разводил декоративных рыбок.— Он виновато посмотрел на меня близорукими глазами.— У каждого человека есть свое хобби.

— Вы хотите вернуться в Берлин после окончания войны? — спросил я.

— Да. Ведь там у меня жена.

— Вы что-нибудь слышали о ней за это время?

— Мы договорились, что не будем писать друг другу. Всю почту они перлюстрируют. Надеюсь, она выехала из Берлина. Как вы думаете, ее не арестовали?

— Нет. Зачем ее арестовывать?

— По-вашему, они задают себе такие вопросы?

— Задают все же. Немцы остаются бюрократами, даже если они творят заведомо неправое дело. Им кажется, что тем самым оно становится правым.

— Трудно ждать так долго,— сказал Грефенгейм. Он взял стеклянную трубочку, с помощью которой очищают дно аквариума от тины, не замутив воду.— Так вы считаете, ее выпустили из Берлина? В какой-нибудь город в Центральной Германии?

— Вполне возможно.

Я вдруг осознал весь комизм положения: Грефенгейм обманывал Бетти, а я должен был обманывать Грефенгейма.

— Ужас в том, что мы обречены на полное бездействие,— сказал Грефенгейм.

— Да, мы всего лишь зрители,— сказал я.— Проклятые богом зрители, достойные, быть может, зависти, потому что нам не разрешают участвовать в самой заварухе. Но именно это делает наше существование здесь таким призрачным, пожалуй, даже непристойным. Люди сражаются, между прочим, и за нас тоже, но не хотят, чтобы мы сражались с ними рядом. А если некоторым и разрешают это, то очень неохотно, с тысячью предосторожностей и где-то на периферии.

— Во Франции можно было записаться в Иностранный легион,— сказал Грефенгейм, откладывая в сторону стеклянную трубочку.

— Вы же не записались?

— Нет.

— Не хотели стрелять в немцев. Не так ли?

— Я вообще ни в кого не хотел стрелять.

Я пожал плечами.

— Иногда у человека не остается выбора. Он чувствует необходимость стрелять в кого-то.

— Только в себя самого.

— Чушь! Многие из нас не соглашались стрелять в немцев, потому что знали: те, в кого им хотелось бы выстрелить, далеко от фронта. На фронт посылают безобидных и послушных обывателей, пушечное мясо.

Грефенгейм кивнул.

— Нам не доверяют. Ни нашему возмущению, ни нашей ненависти. Мы вроде Танненбаума: он хоть и составляет списки, но никогда не стал бы расстреливать. Мы приблизительно такие же. Или нет?

— Да. Приблизительно. Даже Кана они не хотят брать. И, возможно, они правы.

Я пошел к выходу по белым коридорам, освещенным лампами в белых плафонах. Я возвращался назад к своему призрачному существова-

нию, и у меня было такое чувство, точно я живу в эпицентре урагана на заколдованном острове. имеющем всего лишь два измерения... В Штатах было все не так, как в Европе, где недостающее третье измерение заменяла борьба против бюрократизма, против властей и жандармов, борьба за временные визы, за работу, борьба против таможенников и полицейских — словом, борьба за то, чтобы выжить! А здесь нас встретила тишина, мертвый штиль! Только кричащие газетные заголовки и сводки по радио напоминали о том, что где-то далеко за океаном бушует война; Америка знала лишь войну в эфире: ни один вражеский самолет не бороздил американских небес, ни одна бомба не упала на американскую землю, ни один пулемет не строчил по американским городам. В кармане у меня лежало извещение о том, что вид на жительство мне продлили на три месяца: я был теперь Enemy Alien — иностранец-враг, правда, не такой уж враг, чтобы засадить меня в тюрьму. И сейчас я шел по этому городу, открытому всем ветрам,— искра жизни, которая не хотела погаснуть, чужак. Я шел, глубоко дыша и тихонько насвистывая. Комок плоти, носивший чужое имя — Росс.

— Квартира! — воскликнул я.— Свет! Мебель! Кровать! Любимая женщина! Электрическая плита для жарки мяса! Стакан водки! Во всем можно найти светлую сторону, она есть даже в той несчастной жизни, на какую я обречен. При такой жизни ничто не входит в привычку. Отлично! Всем ты наслаждаешься, словно в первый раз. Все пробирает тебя до костей. Не щекочет, а именно пробирает до костей, до мозга костей, до серого вещества, которое заключено в твоей черепной коробке. Дай на тебя поглядеть, Наташа! Я боготворю тебя уже за то, что ты со мной. За то, что мы живем в одно время. А потом уже за все остальное. Я — Робинзон, который всякий раз находит своего Пятницу! Следы на песке! Отпечатки ног! Ты для меня — первый человек на этой земле. И при каждой встрече я ощущаю это снова. Вот в чем светлая сторона моей треклятой жизни.

— Ты много выпил? — спросила Наташа.

— Ни капли. Ничего я не пил, кроме кофе и грусти.

— Тебе грустно?

— В моем положении грустишь недолго. Потом рывком переворачиваешься, будто во сне. И тогда грусть становится всего лишь фоном, еще сильнее оттеняющим полноту жизни. Грусть идет на дно, а жизненный тонус поднимается вверх, словно вода в сосуде, куда бросили камень. То, что я говорю, далеко не истина. Я только хочу, чтобы это было истиной. И все же доля истины в этом есть. Иначе будешь жить на износ, как бархатный лоскут в коробке с лезвиями.

— Хорошо, что ты не грустишь,— сказала Наташа.— Причины меня не интересуют. Все, на что находятся причины, уже само по себе подозрительно.

— А то, что я тебя боготворю, тоже подозрительно?

Наташа рассмеялась:

— Это опасно. Человек, который склонен к возвышенным чувствам, обманывает обычно и себя и других.

Я озадаченно посмотрел на нее.

— Почему ты это говоришь?

— Просто так.

— Ты на самом деле это думаешь?

— А отчего бы и нет? Разве ты не Робинзон? Робинзон, который без конца убеждает себя, что видел следы на песке?

Я не отвечал. Ее слова задели меня сильнее, чем я ожидал. А я-то думал, что обрел твердую почву под ногами,— оказывается, это была

всего-навсего осыпь, которая при первом же шаге может обрушиться. Неужели я нарочно преувеличивал прочность наших отношений? Хотел утешить себя?

— Не знаю, Наташа,— ответил я, пытаясь избавиться от неприятных мыслей.— Знаю только одно: до сих пор мне были заказаны любые привычки. Говорят, что пережитые несчастья воспринимаются как приключения. Я в этом не уверен. В чем, собственно, можно быть уверенным?

— Да, в чем можно быть уверенным? — переспросила она.

Я засмеялся:

— В этой водке, что у меня в стакане, в куске мяса на плите и, надеюсь, в нас обоих... Все равно я тебя боготворю, хоть ты и находишь это опасным. Боготворить — радостно, и чем раньше этим займешься, тем лучше.

— Вот это правильно. И не нуждается в доказательствах. Такие вещи надо чувствовать.

— Так и есть. И опять-таки, чем раньше начнешь чувствовать, тем лучше.

— А с чего начнем мы?

— Хоть с этой комнаты! С этих ламп! С этой кровати! Хоть они и не принадлежат нам. Что, в конечном счете, принадлежит человеку? И на какой срок? Все взято взаймы, украдено у жизни и без конца крадется вновь.

Наташа обернулась.

— И самих себя мы тоже обкрадываем?

— Да. Себя тоже.

— Почему же в таком случае человек не впадает в отчаяние и не пускает себе пулю в лоб?

— Это никогда не поздно. Кроме того, есть более легкие пути.

— Догадываюсь, о чем ты говоришь.

Наташа обошла вокруг стола.

— По-моему, нам надо кое-что отпраздновать.

— Что именно?

— То, что тебе разрешили жить в Америке еще три лишних месяца.

— Ты права.

— А что бы ты делал, если бы разрешение тебе не продлили?

— Пытался бы получить разрешение на въезд в Мексику.

— Почему в Мексику?

— Там более гуманное правительство. Оно впустило даже беженцев из Испании.

— Коммунистов?

— Просто людей. С легкой руки Гитлера, слово «коммунист» употребляется теперь к месту и не к месту. Каждый человек, выступающий против Гитлера, для него коммунист. Любой диктатор начинает свою деятельность с того, что упрощает все понятия.

— Хватит нам говорить о политике. Ты смог бы вернуться из Мексики в Штаты?

— Только с документами по всей форме. И только если меня не вышлют отсюда. Допрос на сегодня закончен?

— Нет еще. Почему тебя оставили здесь?

Я рассмеялся.

— Весьма запутанная история. Если бы Америка не была в состоянии войны с Германией, меня наверняка не впустили бы сюда. Выходит: чем хуже — тем лучше. Трагичное всегда идет рядом со смешным. Иначе множество людей с моей биографией уже давно погибли бы.

Наташа села рядом со мной.

— Твою жизнь не так-то легко понять.

— К сожалению.

— Сдается мне, что ты этим гордишься.

Я покачал головой.

— Нет, Наташа. Я только делаю вид, что горжусь.

— Очень лихо делаешь вид.

— Как и Кан. Не правда ли? Существуют эмигранты активные и пассивные. Мы с Каном предпочитали быть активными. И соответственно вели себя во Франции. Положение обязывает! Вместо того чтобы оплакивать свою долю, мы, по мере возможности, считали превратности судьбы приключениями. А приключения у нас были довольно-таки отчаянные.

Поздно вечером мы решили еще раз выйти. До этого я некоторое время в задумчивости просидел у окна. Небо было очень звездное, и ветер гулял где-то под нами, над невысокими крышами домов на Пятьдесят пятой и Пятьдесят шестой улицах; казалось, он готовился взять штурмом небоскребы, которые безмолвно, подобно башням, возвышались среди зеленых и красных вспышек светофоров. Я открыл окно и высунул голову.

— Посвежело, Наташа. В первый раз за долгие месяцы. И дышится легко!

Наташа подошла ко мне.

— Скоро осень,— сказала она.

— Слава богу.

— Слава богу? Не надо подгонять время!

Я засмеялся.

— Ты рассуждаешь как восьмидесятилетняя старуха.

— Нельзя подгонять время. А ты только и делаешь, что торопишь его.

— Больше не буду! — обещал я, заведомо зная, что это ложь.

— Куда ты спешишь? Хочешь вернуться?

— Послушай, Наташа, я еще не поселился здесь как следует. Разве мне пристало думать о возвращении?

— Ты только об этом и думаешь. Ни о чем другом.

Я покачал головой.

— Я не загадываю дальше завтрашнего дня... Настанет осень, потом зима, а потом лето и опять осень, а мы по-прежнему будем смеяться, по-прежнему будем вместе.

Наташа прижалась ко мне.

— Не покидай меня! Я не способна быть одна. Я не героиня. Характер у меня отнюдь не героический.

— Я встречал среди тевтонцев миллионы женщин с героическим характером. Это их национальная особенность. Геройство заменяет этим дамам женскую привлекательность. А часто также секс. От них тошнит. А теперь хватит хныкать, давай выйдем на улицу в этот первый вечер бабьего лета.

— Хорошо.

Мы спустились на лифте. В кабине никого, кроме нас, не было. Час парада «звезд» давно миновал. Час пуделей тоже. Ветер, как гончая, рыскал возле аптеки Эдвардса на углу.

— Лето пролетело,— заметил Ник из своего киоска.

— Слава богу! — бросила Наташа.

— Не радуйся раньше времени,— сказал я.— Оно еще вернется.

— Ничего никогда не возвращается,— объявил Ник.— Возвращаются

только беда и этот паршивый гад, пудель по кличке Рене: стоит мне зазеваться — и он уже написал на обложки «Вога» и «Эсквайра». Хотите «Ньюс»?

— Мы заберем ее на обратном пути.

Бесхитростная болтовня с Ником каждый раз приводила меня в волнение. Уже само сознание, что не надо скрываться, волновало меня. Вечерняя прогулка, столь обычная для каждого обывателя, казалась мне авантюрой, ибо самой большой авантюрой была для меня безопасность. Я стал почти человеком; правда, меня всего лишь терпели, но уже не гнали. Мое американское «я» успело вырасти примерно до двух третей европейского. Конечно, мой английский язык был далек от совершенства и весьма беден, тем не менее я уже довольно свободно болтал. Словарный запас был у меня, как у подростка лет четырнадцати, но я им умело пользовался. Многие американцы обходились тем же количеством слов, только они говорили без запинки.

— Как ты относишься к тому, чтобы сделать большой круг? — спросил я.

Наташа кивнула.

— Я хочу света. Столько света, сколько может быть в этом полутемном городе. Дни становятся короче.

Мы пошли вверх, к Пятой авеню и, миновав гостиницу «Шерри Нэзерленд», вышли к Сентрал-парку. Несмотря на уличный шум, из зоологического уголка отчетливо доносился львиный рык. У «Вьей Рюси» мы остановились, чтобы поглядеть на иконы и на пасхальные яйца из оникса и золота, которые Фаберже изготовлял когда-то для царской фамилии. Русские эмигранты до сих пор продавали их здесь. И конца этому не предвиделось, точно так же, как донским казакам, которые из года в год давали концерты и ничуть не старели, словно герои детских комиксов.

— Там уже начинается осень,— сказала Наташа, показывая на Сентрал-парк.— Пойдем назад, к «Ван Клеефу и Арпельсу».

Мы медленно брели вдоль витрин, в которых были выставлены осенние моды.

— Для меня это уже давно пройденный этап,— сказала Наташа.— Эти модели мы снимали в июне. Я всегда живу на одно время года вперед. Завтра мы будем снимать меха. Может быть, поэтому мне и кажется, что жизнь летит чересчур быстро. Все люди еще радуются лету, а у меня в крови уже осень.

Я остановился и поцеловал ее.

— Просто удивительно, о чем мы с тобой говорим! — воскликнул я.— Совсем как персонажи Тургенева или Флобера. Девятнадцатый век! Теперь у тебя в крови уже зима: вьюги, меха и камины. Ты — провозвестница времен года.

— А что у тебя в крови?

— У меня? Сам не знаю. Наверное, воспоминания о бесчинствах и разрушениях. С осенью и зимой в Штатах я вовсе не знаком. Эту страну я видел лишь весной и летом. Понятия не имею, на что похожи небоскребы в снежный день.

Мы дошли до Сорок второй улицы и вернулись к себе по Второй авеню.

— Ну так как же, останешься сегодня ночью со мной? — спросила Наташа.

— А это можно?

— Конечно, ведь у тебя есть зубная щетка и белье. Пижама не обязательна. А бритву я тебе дам. Сегодня ночью мне не хотелось бы спать одной. Будет ветрено. И если ветер меня разбудит, ты окажешься рядом и успокоишь меня. Мне хочется дать себе волю и расчувствоваться, хо-

чется, чтобы ты меня утешал и чтобы мы заснули, ощущая приближение осени, хочется забыть о ней и снова вспомнить.

— Я остаюсь.

— Хорошо. Мы ляжем в постель и прижмемся друг к другу. Увидим наши лица в зеркале напротив и прислушаемся к вою ветра. Когда ветер усилится, в глазах у нас промелькнет испуг, и они потемнеют. Ты обнимешь меня крепче и начнешь рассказывать о Флоренции, Париже и Венеции, обо всех тех городах, где мы никогда не будем вместе.

— Я не был ни в Венеции, ни во Флоренции.

— Все равно, можешь рассказывать о них так, будто ты там был. Я, наверное, разревусь и буду ужасно выглядеть. Когда я плачу, я далеко не красавица. Но ты меня простишь за это и за мою чувствительность тоже.

— Да.

— Тогда иди ко мне и скажи, что ты будешь любить меня вечно и что мы никогда не состаримся.

XXII

— У меня для вас интересная новость,— сказал Силверс.— Скоро мы с вами отправимся в путь и завоюем Голливуд. Что вы на это скажете?

— Завоюем своими актерскими талантами?

— Нет, картинами. Я получил оттуда много приглашений и решил прочесать этот район как специалист.

— Вместе со мной?

— Вместе с вами,— великодушно подтвердил Силверс.— Вы неплохо вошли в курс дела и будете мне полезны.

— Когда мы поедем?

— Приблизительно недели через две. Для сборов, стало быть, достаточно времени.

— Надолго? — спросил я.

— Пока что на две недели. Но, может, мы пробудем и дольше, Лос-Анджелес для торговца картинами — нетронутая целина. К тому же вымощенная золотом.

— Золотом?

— Да, тысячедолларовыми кредитками. Не задавайте мне глупых вопросов. Другой человек на вашем месте плясал бы от радости. Или, может, вы не хотите ехать? В таком случае мне придется подыскать себе нового помощника.

— А меня вы уволите?

Силверс разозлился не на шутку.

— Что с вами? Конечно уволю. А как же иначе? Но почему бы вам не поехать со мной? — Силверс с любопытством оглядел меня.— Или вы считаете, что вы недостаточно хорошо экипированы? Могу дать аванс.

— Для закупки, так сказать, спецодежды, которую я буду носить в служебное время? И эту одежду я должен оплачивать из собственных денежек? Довольно невыгодное предприятие, господин Силверс.

Силверс рассмеялся. Наконец-то он опять был в своей стихии.

— Вы так считаете?

Я кивнул. Мне хотелось выиграть время. К отъезду из Нью-Йорка я не мог отнестись равнодушно. В Калифорнии у меня не было ни одной знакомой души, и перспектива скучать вдвоем с Силверсом мне не улыбалась. Я уже достаточно изучил его. Это оказалось нетрудно, он не был примечателен ничем, кроме хитрости. И потом, этот человек беспрестанно рисовался — наблюдать за ним было скучнейшим занятием. Это мож

но было вытерпеть недолго. И я с содроганием представил себе нескончаемые вечера в холле гостиницы, где мы сидим вдвоем с Силверсом. И мне решительно некуда деться.

— Где мы остановимся? — спросил я.

— Я остановлюсь в «Беверли-Хилс». А вы в «Садах аллаха».

Я с интересом воззрился на него.

— Красивое название. Напоминает о Рудольфо Валентино. Мы, значит, не будем жить вместе?

— Слишком дорого. Я слышал, что «Сады аллаха» — очень хорошая гостиница. И она в двух шагах от «Беверли-Хилс».

— А как мы будем рассчитываться? Как будет с расходами на гостиницу? И на питание?

— Вы будете записывать все, что потратите.

— По-вашему, я должен питаться только в гостинице?

Силверс махнул рукой.

— С вами очень трудно разговаривать. Можете делать все, что вам угодно. Еще замечания есть?

— Есть,— сказал я.— Вы должны прибавить мне жалованье, чтобы я купил себе новый костюм.

— Сколько?

— Сто долларов в месяц.

Силверс подскочил.

— Исключено! Вы собираетесь, как видно, заказать себе костюм у Книце? В Америке носят готовые вещи. И чем вам не нравится этот костюм? Вполне хороший.

— Недостаточно хороший для человека, который служит у вас. Может быть, мне понадобится даже смокинг.

— Мы едем в Голливуд не для того, чтобы танцевать и бегать по балам.

— Кто знает! По-моему, это не такая уж плохая идея. Кроме того, нигде так не размягчаются сердца миллионеров, как в ночных кабаре. Мы ведь намерены ловить их с помощью испытанного трюка — внушать, что, купив у нас картины, они станут светскими людьми.

Силверс сердито посмотрел на меня.

— Это — производственная тайна! О ней не говорят вслух. И, поверьте мне, голливудские миллионеры черт знает что о себе воображают. Они считают себя культурнейшими людьми... Так и быть, прибавлю вам двадцать долларов.

— Сто! — не сдавался я.

— Не забудьте, что вы работаете нелегально. Из-за вас я многим рискую.

— Теперь уже нет!

Я взглянул на картину Моне, которая висела как раз напротив. На ней была изображена поляна с цветущими маками, по которой прогуливалась женщина в белом; картину эту относили к 1889 году, но, судя по покою, исходившему от нее, она была написана в куда более отдаленные времена.

— Я получил разрешение на жительство в Штатах. Пока на три месяца, но потом его автоматически продлят.

Силверс прикусил губу.

— Ну и что? — спросил он.

— Теперь я имею право работать,— ответил я. Я солгал, но в данной ситуации это был не такой уж грех.

— Вы собираетесь искать себе другое место?

— Конечно нет. Зачем? У Вильденштейна мне пришлось бы, наверное, весь день торчать в салоне возле картин. У вас мне нравится больше.

Я посмотрел на Силверса — он быстро что-то подсчитывал. Наверное, прикидывал, сколько стоит то, что я о нем знаю, и какую цену это имеет для него и для Вильденштейна. Вероятно, в эту минуту он раскаивался, что посвятил меня в свои многочисленные трюки.

— Примите во внимание также, что в последние месяцы вы ради своего бизнеса заставили меня поступиться моими нравственными правилами. Не далее как позавчера, во время вашей беседы с миллионером из Техаса, я выдал себя за эксперта из Лувра. И, наконец, мои знания иностранных языков тоже кое-чего стоят.

Мы сторговались на семидесяти пяти долларах, хотя я и не мечтал получить больше тридцати. Теперь я не упоминал больше о смокинге. Конечно, я не собирался покупать его сейчас. В Калифорнии можно будет еще раз использовать смокинг для нажима на Силверса: авось удастся выцарапать у него единовременную ссуду, особенно если он опять захочет выдать меня за эксперта из Лувра, который сопровождает его.

Я отправился к Фрислендеру, чтобы отдать ему первые сто долларов в счет моего долга, который пошел на оплату юриста.

— Присаживайтесь,— сказал Фрислендер и небрежно сунул деньги в черный бумажник крокодиловой кожи.— Вы ужинали?

— Нет,— ответил я не задумываясь: у Фрислендеров отлично кормили.

— Тогда оставайтесь,— сказал он решительно.— К ужину придет еще человек пять-шесть. Правда, не знаю кто. Спросите у жены. Не желаете ли виски?

С того дня как Фрислендер получил американское гражданство, он не пил ничего, кроме виски. Правда, с моей точки зрения, он должен был поступить как раз наоборот: сперва пить исключительно виски, чтобы показать свое искреннее желание стать стопроцентным янки, а потом снова вернуться к бáраку и кюммелю. Но Фрислендер был человеком своеобразным! До своей натурализации он, запинаясь на каждом слове, с немыслимым венгерским акцентом говорил только по-английски, более того, заставлял изъясняться на английском и всю свою семью; злые языки утверждали даже, что он болтал по-английски в постели... Но уже через несколько дней после того как он стал американским гражданином, в его доме снова началось вавилонское столпотворение и все его домочадцы перешли на свой обычный язык — немецко-английско-еврейско-венгерский.

— Бáрак спрятан у жены,— пояснил мне Фрислендер.— Мы его приберегаем. Здесь его ни за какие деньги не достанешь. Вот и приходится запирать последние бутылки. Не то их моментально выдует прислуга. В этом выражается ее тоска по родине. Вы тоже тоскуете по родине?

— По какой?

— По Германии.

— Нет. Я ведь не еврей.

Фрислендер рассмеялся.

— В ваших словах есть доля правды.

— Чистая правда,— сказал я, вспомнив Бетти Штейн.— Самыми слюнявыми немецкими патриотами были евреи.

— Знаете почему? Потому, что до тридцать третьего года им жилось в Германии хорошо. Последний кайзер жаловал им дворянство. Их даже принимали при дворе. У кайзера были друзья евреи, кронпринц любил еврейку.

— Во времена его величества вы, быть может, стали бы бароном,— сказал я.

Фрислендер провел рукой по волосам.

— Tempi passati[1].

На секунду он задумался: вспомнил о старых добрых временах. Мне стало стыдно за свое нахальное замечание. Но Фрисленде не понял иронии, ему вдруг ударил в голову весь его консерватизм, спесь человека, у которого когда-то был особняк на Тиргартенштрассе.

— Вы в те годы были еще ребенком,— сказал он.— Да, дорогой мой юный друг. А теперь идите к дамам.

«Дамами» оказались Танненбаум и, к моему немалому удивлению, хирург Равик.

— Двойняшки уже ушли? — спросил я Танненбаума.— На этот раз вы ущипнули за задницу не ту сестру?

— Глупости! Как вы думаете, они похожи не только внешне, но и...

— Конечно.

— Вы имеете в виду темперамент?

— На этот счет существует две теории...

— Идите к черту! А вы что скажете, доктор Равик?

— Ничего.

— Для такого ответа вовсе не обязательно быть врачом,— сказал Танненбаум, явно задетый.

— Именно,— спокойно парировал Равик.

Вошла госпожа Фрисленде в платье эпохи империи с поясом под грудью. Эдакая дородная мадам де Сталь. На руке у нее позвякивал браслет с сапфирами величиной с орех.

— Коктейли, господа! Кто желает?

Мы с Равиком попросили водки; Танненбаум, несмотря на наше возмущение, предпочел желтый шартрез.

— К селедке? — удивленно спросил Равик.

— К сестрам-близнецам,— ответил Танненбаум, все еще уязвленный.— Кто не знает одного, не имеет права говорить о другом.

— Браво, Танненбаум! — воскликнул я.— А я и не подозревал, что вы сюрреалист.

Фрисленде появился вместе с двойняшками, Кармен и еще несколькими гостями. Сестры были живые как ртуть, Кармен оделась во все черное, что подчеркивало ее трагическую красоту; в данный момент она, правда, грызла шоколад с орехами. Я с любопытством подумал: неужели после шоколада Кармен примется за селедку? Она так и сделала. Желудок у нее был такой же луженый, как и мозги.

— В ближайшие две недели я уезжаю в Голливуд,— громко возвестил Танненбаум, в то время как гостей обносили гуляшом. Надувшись как индюк, он метал взоры в сторону сестер-близнецов.

— В качестве кого? — спросил Фрисленде.

— В качестве актера. А вы как думали?

Я встрепенулся. Впрочем, я не верил Танненбауму. Слишком часто он говорил о Голливуде. Правда, он уже раз побывал там — сыграл маленькую роль, роль беженца в антифашистском фильме.

— Кого вы будете играть? — спросил я.

— Буффало Билла![2] — сказал кто-то.

— Группенфюрера СС.

— Несмотря на то, что вы еврей? — спросила госпожа Фрисленде.

— А почему бы и нет?

— С фамилией Танненбаум?

— Мой артистический псевдоним Гордон Т. Кроу. Буква «Т» — от Танненбаума.

---

[1] Прошли эти времена *(итал.)*.

[2] Известный персонаж ковбойских фильмов.

Все взглянули на него с некоторым сомнением. Правда, эмигранты нередко исполняли роли нацистов: голливудские боссы до сих пор валили в одну кучу всех европейцев, считая, что кем бы они ни были — друзьями или врагами, — европейцы все же больше походят друг на друга, нежели коренные американцы.

— Группенфюрера СС? — переспросил Фрислендер.— По-моему, там у них это соответствует генералу.

Танненбаум кивнул.

— Может быть, штурмбанфюрера? — спросил я.

— Группенфюрера. Отчего нет? В американской армии тоже есть генералы-евреи. Не исключено, впрочем, что моего персонажа повысят в чине, и тогда он будет чем-то вроде обер-генерала.

— А вы вообще разбираетесь в их субординации?

— Чего там разбираться? У меня есть роль. Конечно, этот группенфюрер — чудовище. Симпатичного эсэсовца я бы, разумеется, не стал играть.

— Группенфюрер,— протянула госпожа Фрислендер.— А я-то думала, что такую важную птицу должен играть сам Гарри Купер.

— Американцы отказываются исполнять роли нацистов,— пояснил маленький Везель, соперник Танненбаума.— Это может испортить им репутацию. Они во что бы то ни стало должны быть обаятельными. Роли нацистов они дают эмигрантам. И те их играют, чтобы не подохнуть с голоду.

— Искусство это искусство,— высокомерно возразил Танненбаум.— Разве вы не согласились бы сыграть Распутина, или Чингисхана, или Ивана Грозного?

— Эта роль — главная?

— Конечно нет,— вмешался Везель.— Да и как это может быть? В главной роли всегда выступает обаятельный американец в паре с добродетельной американкой. Таков закон!

— Не спорьте,— увещевал гостей Фрислендер.— Лучше помогайте друг другу. Что у нас сегодня на третье?

— Сливовый пирог и торт с глазурью.

И на этот раз, как обычно у Фрислендеров, гостям приготовили миски с едой. Равик отказался от своей доли. Танненбаум и Везель попросили добавочную порцию торта. Я тайком сунул фрислендеровской кухарке два доллара, и она вынесла мне удобную луженую кастрюлю с ручками и раскрашенную картонную коробку для торта. Двойняшки получили по двойной порции. Кармен не пожелала взять ничего: ей было лень нести.

Наконец мы попрощались с хозяевами. Бедные родственники!

— Как мне разлучить этих близнецов? — тихо спросил меня группенфюрер — Танненбаум.— Они вместе едят, вместе живут, даже спят вместе!

— По-моему, это не так уж сложно,— ответил я.— Вот если бы они были сиамскими близнецами, тогда это была бы проблема.

В тот вечер Наташа собиралась к фотографу. Она дала мне ключ от квартиры, чтобы я мог дождаться ее. Я поднялся наверх с гуляшом и тортом. Потом еще раз спустился — купил пива.

Когда я открыл дверь своим ключом и вошел в пустую квартиру, меня охватило странное чувство. Я никак не мог вспомнить в своем прошлом сходной ситуации — мне казалось, что я всегда входил либо в гостиничный номер, либо в чужую квартиру как гость. А теперь вдруг я вернулся к себе домой. В ту минуту когда я отпирал дверь, мурашки поползли у меня по телу от какого-то тайного трепета. И мне почуди-

лось, что издалека до меня донесся тихий призыв — наверное, из отчего дома, о котором я уже давно не вспоминал.

В квартире было прохладно, я услышал слабое гудение кондиционера у окна и холодильника на кухне. Казалось, это бормотали добрые духи, охраняющие квартиру. Я зажег свет, поставил пиво в холодильник, а гуляш на газ, на маленький огонь, чтобы он был горячий к приходу Наташи. Потом опять погасил свет и открыл окно. Горячий воздух неудержимо хлынул с улицы и мгновенно заполнил комнату. Маленький синий венчик пламени на газовой плите излучал слабый таинственный свет. Я включил приемник и настроился на станцию, которая передавала классическую музыку, без рекламы. Исполнялись прелюды Дебюсси. Я сел в кресло у окна и стал смотреть на город. Впервые я ждал Наташу в этой квартире. На душе у меня был мир, напряжение спало, и я наслаждался покоем. Я еще не сказал Наташе, что мне придется ехать с Силверсом в Калифорнию.

Она пришла примерно через час. Я услышал, как ключ повернулся в замке. И вдруг подумал, что это нежданно нагрянул хозяин квартиры. Но потом услышал Наташины шаги.

— Ты здесь, Роберт? Почему ты сидишь в темноте?

Она швырнула в комнату свой чемоданчик.

— Я грязная и ужасно голодная. С чего мне начать?

— С ванны. А пока ты будешь в ванне, я принесу тебе тарелку гуляша. Он уже горячий, стоит на плите. К гуляшу есть огурцы, а на десерт — торт с глазурью.

— Ты опять был в гостях у этой несравненной поварихи?

— Да, я был у Фрислендеров и притащил уйму корма, как ворона для своих птенцов. Два-три дня мы можем не покупать еды.

Наташа уже сбрасывала с себя платье. От ванны шел пар, благоухавший гвоздикой фирмы «Мэри Чесс». Я принес гуляш. И на мгновение на земле воцарились мир и покой.

— Сегодня ты опять была императрицей Евгенией — тебя снимали с диадемой от «Ван Клеефа и Арпельса»? — спросил я в то время, как Наташа с наслаждением вдыхала запах гуляша.

— Нет. Сегодня я была Анной Карениной. Стояла на вокзале не то в Петербурге, не то в Москве, вся закутанная в меха, и ждала свою судьбу в образе Вронского. И даже испугалась, когда, выйдя на улицу, не обнаружила снега.

— Ты похожа на Анну Каренину.

— Все еще?

— Вообще похожа.

Наташа засмеялась.

— Каждый представляет себе Анну Каренину по-своему. Боюсь, что она была гораздо толще, чем теперешние женщины. Нравы меняются. В девятнадцатом веке были еще в моде рубенсовские формы и носили твердые длинные корсеты с пластинками из китового уса и платья до полу. И этот век почти не знал ванн... А что ты без меня делал? Читал газеты?

— Как раз наоборот. Старался не думать ни о газетных шапках, ни о передовицах!

— Почему?

— Думай не думай, ничего не изменишь.

— Изменить что-либо могут лишь единицы. Не считая солдат.

— Вот именно,— сказал я.— Не считая солдат.

Наташа протянула мне пустую тарелку.

— А ты бы хотел стать солдатом?

— Нет. Ведь и это ничего бы не изменило.

Некоторое время она молча смотрела на меня.

— Ты очень тоскуешь, Роберт? — спросила она потом.

— В этом я никогда не признáюсь. Да и что это вообще значит — тосковать? В особенности когда столько людей лишились жизни.

Наташа покачала головой.

— К чему ты, собственно, стремишься, Роберт?

Я взглянул на нее с удивлением.

— К чему я стремлюсь? — повторил я, чтобы выиграть время.— Что ты под этим подразумеваешь?

— В будущем. К чему ты стремишься в будущем? Во имя чего ты живешь?

— Выходи,— сказал я.— Этот разговор не для ванны. Вылезай из воды!

Наташа встала.

— Во имя чего ты действительно живешь? — спросила она.

— Разве человек это знает? Разве ты знаешь?

— Мне и не надо знать. Я живу отраженным светом. Ты — другое дело.

— Ты живешь отраженным светом?

— Не уклоняйся, отвечай. К чему ты стремишься? Во имя чего живешь?

— В твоих словах я слышу знакомые мотивы — типично обывательские рассуждения. Кто это действительно знает? И даже если ты вдруг поймешь «что и зачем», это сразу станет неправдой. Я не хочу обременять себя проклятыми вопросами. Вот и все — до поры до времени.

— Ты просто не можешь на них ответить.

— Не могу ответить, как ответил бы банкир или священник. Так я никогда не смогу ответить.— Я поцеловал ее влажные плечи.— Да я и не привык отвечать на эти вопросы, Наташа. Долгое время моей единственной целью было выжить, и это оказалось так трудно, что на все остальное не хватало сил. Теперь ты удовлетворена?

— Все это не так, и ты это прекрасно знаешь. Но не хочешь мне сказать. Быть может, не хочешь сказать и себе самому. Я слышала, как ты кричал.

— Что?

Наташа кивнула.

— Кричал во сне.

— Что я кричал?

— Это я уже не помню. Я спала и проснулась от твоего крика.

Я вздохнул с облегчением.

— Кошмары снятся всем людям.

Наташа не ответила.

— Собственно, я вообще ничего толком о тебе не знаю,— протянула она задумчиво.

— Знаешь слишком много. И это мешает любви.— Я обнял ее и начал тихонько выталкивать из ванной.— Давай лучше обследуем припасы, которые я принес. У тебя самые красивые колени на свете.

— Не заговаривай зубы.

— Зачем мне заговаривать зубы? Ведь мы же заключили с тобой пакт. Ты совсем недавно напомнила мне о нем.

— Пакт! Это был всего лишь предлог. Оба мы хотели о чем-то забыть. Ты забыл?

Мне вдруг показалось, что сердце у меня зашлось от холода. Правда, не так сильно, как я ожидал,— просто в груди стало холодно, будто сердце сжала бесплотная рука. Боль продолжалась лишь миг, но ощущение холода не проходило. Холод остался и отпускал очень медленно.

— Мне нечего забывать,— сказал я.— Тогда я лгал.

— Я не должна была задавать тебе такие дурацкие вопросы,— ска-

зала она.— Не знаю, что на меня нашло. Может, это случилось потому, что я весь вечер воображала себя Анной Карениной, и у меня до сих пор такое чувство, будто я, вся в мехах, лечу на тройке по снегу, преисполненная романтики и чувствительности той эпохи, которую нам не довелось узнать. А быть может, во всем виновата осень; я ощущаю ее куда сильнее, чем ты. Осенью рвутся пакты и все становится недействительным. И человек хочет... Да, чего же он хочет?

— Любви,— сказал я, взглянув на нее.

Она сидела на кровати немного растерянная, полная нежности и легкой жалости к себе, не зная, как справиться с этими чувствами.

— Да, любви, которая остается.

Я кивнул.

— Любви у горящего камина, при свете лампы, под вой ночного ветра и шелест опадающих листьев, любви, при которой — ты уверена — тебе не грозят никакие потери.

Наташа потянулась.

— Я уже опять голодная. Гуляш еще остался?

— Хватит на целую роту. Ты и впрямь будешь есть после торта гуляш по-сегедски?

— Сегодня вечером я способна на все. Ты останешься ночевать?

— Да.

— Хорошо. Тогда я не буду мучать тебя рассказами о моих несбывшихся осенних мечтах. К тому же они — преждевременны... По-моему, у нас в холодильнике больше нет пива. Правильно?

— Нет, есть. Я сходил за пивом.

— А можно ужинать в кровати?

— Конечно. От гуляша пятен не будет.

Наташа засмеялась.

— Я буду осторожна. Что бы ты хотел сейчас делать, если бы мог выбирать?

XXIII

Сон этот я увидел опять только через неделю с лишним. Я ждал, что он придет раньше, а потом подумал, что он вообще уже никогда не придет. Во мне даже шевельнулась робкая, слабая надежда на то, что с ним навсегда покончено. Я делал все возможное, пытаясь избавиться от него, и когда вдруг наступили эти секунды острой нехватки воздуха и появилось чувство, что все рушится, какое, наверное, появляется при землетрясении,— даже тогда я начал поспешно и горячо убеждать себя, что это всего лишь воспоминания о кошмаре.

Но я ошибся. Это был тот же самый липкий, неотвязный, темный сон, что и раньше,— пожалуй, даже еще более страшный, и мне было так же трудно избавиться от него, как всегда. Только очень медленно я начал сознавать, что это не явь, а всего лишь сновидение.

Сперва я оказался в Брюссельском музее, в подвале со спертым воздухом, и мне почудилось, что каменные плиты с боков и сверху начали сдвигаться, вот-вот задавят. А потом, когда я стал мучительно ловить воздух и с криком вскочил, так и не проснувшись, опять появилась та вязкая трясина, а вместе с нею и ощущение, что меня преследуют, так как я осмелился перейти границу. Я оказался в Шварцвальде, и по пятам за мной гнались эсэсовцы с собаками под предводительством человека, чье лицо я не мог вспоминать без содрогания.

Да, они меня поймали, и я опять оказался в бункере, где находились печи крематория, беззащитный, отданный во власть тем харям; я дышал с трудом — меня только что без сознания сняли с крюка, вбитого в стену; пока они подвешивали очередную жертву, другие жертвы

царапали стены — руками и связанными ногами, а палачи заключали между собой пари, кто из пытаемых протянет дольше. Потом я снова услышал голос того весельчака, благоухавшего духами; он говорил, что когда-нибудь, очень не скоро, если я на коленях стану умолять его, он сожжет меня живьем, и принялся рассказывать, что произойдет при этом с моими глазами... А под конец мне, как всегда, приснилось, будто я закопал в саду человека и уже почти забыл об этом, как вдруг полиция обнаружила труп в трясине, и я мучительно размышляю, почему я не спрятал его в другом, более надежном месте.

Прошло очень много времени, прежде чем я понял, что нахожусь в Америке и что мне все это лишь приснилось.

Я был настолько измучен, что довольно долго не мог подняться. Я лежал и глядел на красноватый отблеск ночи. Наконец я встал и оделся, не желая рисковать, боясь провалиться снова в небытие и оказаться во власти кошмаров. Со мной это уже не раз случалось, и второй сон бывал тогда еще страшнее первого. Не только сновидение и явь, но и оба сна сливались воедино, причем первый казался не сном, а еще более страшной явью, и это приводило меня в полное отчаяние.

Я спустился в холл, где горела лишь одна тусклая лампочка. В углу храпел человек, дежуривший три раза в неделю по ночам вместо Меликова. Во сне его морщинистое, лишенное выражения лицо с открытым стонущим ртом походило на лицо пытаемого, которого только что сняли без сознания с крюка на стене.

Я ведь тоже принадлежу к ним, подумал я, к этой шайке убийц; это мой народ — несмотря на все утешения, какие я придумываю себе при свете дня, несмотря на то, что эти разбойники преследовали меня, гнали, лишили гражданства. Все равно я родился среди них; глупо воображать, будто мой верный, честный, ни в чем не повинный народ подчинили себе легионы с Марса. Легионы эти выросли в гуще самих немцев; они прошли выучку на казарменных плацах у своих изрыгавших команды начальников и на митингах у неистовых демагогов, и вот их охватила давняя, обожествляемая всеми гимназическими учителями Furor teutonicus [1]; она расцвела на почве, унавоженной рабами послушания, обожателями военных мундиров и носителями скотских инстинктов, с той лишь оговоркой, что ни одна скотина не способна на такое скотство. Нет, это не было единичным явлением. В еженедельной кинохронике мы видели не забитый и негодующий народ, поневоле повинующийся приказам, а обезумевшие морды с разинутыми ртами; мы видели варваров, которые с ликованием сбросили с себя тонкий покров цивилизации и валялись сейчас в собственных кровавых нечистотах. Furor teutonicus! Священные слова для моего бородатого и очкастого гимназического учителя. Как он их смаковал! И как их смаковал сам Томас Манн в начале первой мировой войны, когда он писал свои «Мысли о войне» и «Фридриха и большую коалицию». Томас Манн — вождь и оплот эмигрантов! Какие глубокие корни пустило варварство, если его не мог полностью искоренить в себе даже этот гуманный человек и гуманный художник!

Я вышел на улицу. Между стенами домов еще покоилась ночь. В поисках яркого света я побрел к Бродвею. Несколько забегаловок, торговавших сосисками и не закрывавшихся всю ночь, выплескивали на улицу скудный свет. Кое-где в них на высоких табуретах томились люди, словно души грешников. Свет на пустынной улице казался еще более призрачным, чем темнота,— он был бессмыслен, тогда как все в нашей жизни стремится к осмысленности; и это был какой-то нездешний свет, словно он исходил от лунных кратеров, заполнивших опустевшие здания.

Я остановился перед гастрономическим магазином. В витрине его

[1] Тевтонская ярость *(лат.)*.

пригорюнились охотничьи сосиски и сыры всех сортов. Владельца магазина звали Ирвин Вольф — видимо, он вовремя покинул Европу. Я не отрываясь смотрел на это имя. А свое имя я даже не мог назвать себе в оправдание. Между мной и нацистами не было разницы. Даже чисто условной. Я не мог сказать: «Я — еврей», не мог сослаться на свою национальность и громко заявить: «С тевтонцами у меня нет ничего общего», не мог сразить этих расистов их же собственным негодным оружием. Я принадлежал к ним, я был с ними одной породы, и если бы в этот сумрачный час из-под земли вдруг вырос господин Ирвин Вольф и погнался за мной с ножом, называя меня убийцей его братьев, то это не ошеломило бы меня.

Я двинулся дальше по темной Двадцатой улице, потом поднялся вверх по Бродвею, но скоро свернул направо на Третью авеню. Перешел на другую сторону и вернулся обратно, и снова пошел по Бродвею вверх,— теперь его яркие огни казались поблекшими. Так я добрался до Пятой авеню, тихой и почти безлюдной. Только светофоры на ней переключались, как всегда, и каждый раз вся эта длинная улица по чьей-то воле, бессмысленной и бездушной, становилась то красной, то зеленой. Это напомнило мне, что целые народы вот так же вдруг беспричинно переключают с мирного зеленого цвета на красный, зажигая на тысячекилометровых дистанциях мрачные факелы войны... Но вот небо над этим жутким и безмолвным ландшафтом начало медленно уходить в вышину. Да и дома стали расти: они поднимали темный покров ночи все выше, от этажа к этажу, словно женщина, снимающая через голову платье; и вот уже я увидел карнизы зданий — бесформенная тьма с почти ощутимым усилием отделялась от них, уплывала ввысь, а потом и вовсе таяла. А я все шел и шел, ибо единственным спасением для меня было идти и дышать полной грудью. Потом я невольно остановился на широкой Пятой авеню: в серой дымке зарождавшегося дня тускнели освещенные витрины, будто эти светлые, отделенные друг от друга квадраты поразил рак.

Я никак не мог расстаться с этой улицей дешевой цивилизации и дорогих магазинов, бодрившей и даже утешавшей меня: я знал, что за каменными стенами по обе стороны Пятой авеню, улицы, созданной на потребу бессмысленным человеческим прихотям, таился черный, вязкий хаос; правда, его еще держали под землей, но он уже готов был вырваться из подземных каналов и затопить все вокруг.

Ночь постепенно угасала, наступил зыбкий серый предрассветный час, а потом вдруг над городом поднялась по-девичьи нежная, серебристо-розовая заря с целой свитой облачков-барашков, и первые лучи солнца, подобно стрелам, коснулись верхних этажей небоскребов, окрасили их в светлые, пастельные тона, и те как бы воспарили над застывшей темной зыбью улиц.

«Время кошмаров миновало»,— подумал я, останавливаясь у магазина Сакса, где были выставлены куклы-манекены: казалось, это — заколдованные спящие красавицы. Горжетки, палантины, накидки с норковыми воротниками — в витринах замерла целая дюжина манекенов: Анны Каренины, только что вернувшиеся с охоты на вальдшнепов.

Внезапно я почувствовал сильный голод и ввалился в ближайшую уже открытую закусочную.

Бетти Штейн была убеждена теперь, что у нее рак. Никто ей этого не говорил, наоборот, все ее успокаивали. Тем не менее с настороженной проницательностью, свойственной недоверчивым больным, по крохам собирая и усваивая истину, она постепенно составила верную картину своей болезни. В тот период она походила на генерала, который

сводит воедино донесения о мелких боевых эпизодах и наносит их на большую карту. Ничто не ускользает от его внимания, он сравнивает, проясняет неясности, регистрирует факты, и вот перед его глазами встает вся картина сражения; вокруг него люди празднуют победу и с оптимизмом смотрят в будущее, но генерал уже знает, что сражение проиграно, и, невзирая на победные реляции профанов, он собирает свое войско, чтобы повести его на последний штурм!

Бетти сопоставила отдельные жесты, взгляды и случайно оброненные замечания с тем, что она вычитала в книгах, как это делают люди, борющиеся за свою жизнь. И период относительного спокойствия уступил место периоду недоверчивости, а потом и периоду серьезных сомнений. Тогда, призвав на помощь все свои силы и весь свой разум, она вдруг обрела уверенность в самом худшем. Но вместо того чтобы сдаться, покориться судьбе, Бетти начала воистину героическую борьбу за каждый день жизни. Она не хотела умирать. Неслыханным усилием воли она поборола смерть, которая, казалось, уже стояла у ее изголовья в период сомнений. Впрочем, смерть, наверное, нисколько не отодвинулась — просто Бетти перестала ее замечать. Она хотела жить, и она хотела вернуться назад в Берлин. Ей не хотелось умирать в Нью-Йорке. Она стремилась на Оливаерплац. Там был ее дом, и туда ей хотелось вернуться.

В ту пору Бетти лихорадочно набрасывалась на газеты, скупала карты Германии и развешивала их у себя в спальне, чтобы следить за продвижением войск союзников. Каждое утро, проглядев военные сводки, она передвигала чуть дальше разноцветные булавки. Ее смерть и смерть, косившая Германию, мчались наперегонки, не отставая друг от друга ни на шаг. Но Бетти была преисполнена железной решимости победить в этом состязании.

По натуре она была человеком добрейшей души: ее мягкое сердце буквально таяло, как масло на солнце. Такой она и осталась для друзей. При виде чужих слез она была готова на все, лишь бы их унять. И все же Бетти ожесточилась: гибель Германии она воспринимала не как человеческую трагедию, а всего лишь как трагедию больших чисел. Бетти никак не могла понять, почему немцы не капитулируют. Кан утверждал, что мало-помалу она начала относиться к этому факту, как к личному оскорблению. Многие эмигранты разделяли чувства Бетти, особенно те, которые все еще верили, что Германию кто-то совратил. И эти люди также не могли уразуметь, почему немецкое государство не прекращает сопротивления. Они даже согласны были признать невиновность простого человека, зажатого в тисках послушания и долга. Никто не понимал, однако, почему сражался генералитет, который не мог не сознавать безнадежности ситуации. Давно известно, что генералитет, ведущий заведомо проигранную войну, превращается из кучки сомнительных героев в шайку убийц; вот почему эмигранты с отвращением и возмущением взирали на Германию, где из-за трусости, страха и лжегероизма уже произошла эта метаморфоза. Покушение на Гитлера только еще больше подчеркнуло все это: горстке храбрецов противостояло подавляющее большинство себялюбивых и кровожадных генералов, пытавшихся спастись от позора повторением нацистского лозунга: «Сражаться до последней капли крови»,— лозунга, который им самим ничем не грозил.

Для Бетти Штейн все это стало глубоко личным делом. Теперь она рассматривала войну лишь с одной точки зрения — удастся ли ей увидеть Оливаерплац или нет. Мысль о пролитой крови заслоняли километры, пройденные союзниками. Бетти шагала с ними вместе. Просыпаясь, она прежде всего думала, где в данный момент находятся американцы; германское государство уменьшилось в ее сознании до предела — до границ Берлина. После долгих поисков Бетти удалось обзавестись

картой Берлина. И тут она снова увидела войну со всей ее кровью и ужасами. Она страдала, отмечая на карте районы, разрушенные бомбежками. И она плакала и возмущалась при мысли о том, что даже на детей в Берлине напяливают солдатские шинели и бросают их в бой. Своими большими испуганными глазами — глазами печальной совы — смотрела она на мир, отказываясь понимать, почему ее Берлин и ее берлинцы не капитулируют и не сбрасывают со своей шеи паразитов, которые сосут их кровь.

— Вы надолго уезжаете, Росс? — спросила она меня.

— Не знаю точно. Недели на две. А может, и больше.

— Мне будет вас недоставать.

— Мне вас также, Бетти. Вы мой ангел-хранитель.

— Ангел-хранитель, у которого рак пожирает внутренности.

— У вас нет рака, Бетти.

— Я его чувствую,— сказала она, переходя на шепот.— Чувствую, как он жрет меня по ночам. Я его слышу. Он точно гусеница шелкопряда, которая пожирает листву шелковицы. Я ем пять раз в день. По-моему, я немного поправилась. Как я выгляжу?

— Блестяще, Бетти. У вас здоровый вид.

— Вы думаете, мне это удастся?

— Что, Бетти? Вернуться в Германию? А почему нет?

Бетти взглянула на меня, ее беспокойные глаза были обведены темными кругами.

— А они нас впустят?

— Немцы?

Бетти кивнула.

— Я подумала об этом сегодня ночью. Вдруг они схватят нас на границе и посадят в концентрационные лагеря?

— Исключено. Ведь они будут тогда побежденным народом и уже не смогут приказывать и распоряжаться. Там начнут распоряжаться американцы, англичане и русские.

Губы Бетти дрожали.

— И вообще на вашем месте, Бетти, я не стал бы ломать себе голову насчет этого,— сказал я.— Подождите, пока война кончится. Тогда увидим, как будут развиваться события. Может быть, совсем иначе, чем мы себе представляем.

— Что? — спросила Бетти испуганно.— Вы считаете, война будет продолжаться и после того, как возьмут Берлин? В Альпах? В Берхтесгадене?

Войну она все время соотносила со своей собственной, быстро убывавшей жизнью,— иначе она не могла о ней думать. Но тут я заметил, что Бетти наблюдает за мной, и взял себя в руки: больные люди куда проницательнее здоровых.

— Вы с Каном зря на меня нападаете,— сказала она жалобно,— все эмигранты, мол, интересуются победами и поражениями, одна я интересуюсь своей Оливаерплац.

— А почему бы вам не интересоваться ею, Бетти? Вы достаточно пережили. Теперь можете спокойно обратить свои помыслы на Оливаерплац.

— Знаю. Но...

— Не слушайте никого, кто вас критикует. Эмигрантам здесь не грозит опасность, вот многие из них и впали в своего рода тюремный психоз. Как ни грубо это звучит, но их рассуждения напоминают рассуждения завсегдатаев пивных, так сказать «пивных политиканов». Всё они знают лучше всех. Будьте такой, какая вы есть, Бетти. Нам хватит «генерала» Танненбаума с его кровавым списком. Второго такого не требуется.

Дождь барабанил в окна. В комнате стало темно. Бетти вдруг захихикала.

— Ох уж этот Танненбаум. Он говорит, что, если ему поручат сыграть в кинофильме Гитлера, он сыграет его как жалкого брачного аферпста. Гитлер, говорит он, точь-в-точь брачный аферист с этим его псевдонаполеоновским клоком волос и со щеточкой под носом. Специалист по стареющим дамам.

Я кивнул. Хотя давно уже устал от дешевых эмигрантских острот. Нельзя отделываться остротами от того, что вызвало мировую катастрофу!

— Юмор Танненбаума неистощим,— сказал я.— Патентованный остряк.

Я встал.

— До свидания, Бетти. Скоро я вернусь. Надеюсь, к тому времени вы забудете все ужасы, какие рисует ваша богатая фантазия. И опять станете прежней Бетти. Ей-богу, вам надо было сделаться писательницей. Хотелось бы мне обладать хотя бы половиной вашей фантазии.

Бетти восприняла мои слова так, как я и хотел — сочла их комплиментом. Ее большие глаза, в которых застыл вопрос, оживились.

— Неплохая мысль, Росс! Но о чем я могла бы написать? Ведь я ничего особенного не пережила.

— Напишите о своей жизни, Бетти. О своей самоотверженной жизни, которую вы посвятили всем нам.

— Знаете что, Росс? Я действительно могу попробовать.

— Попробуйте.

— Но кто это прочтет? И кто напечатает? Помните, что получилось с Моллером? Он впал в отчаяние, потому что никто в Америке не хотел напечатать ни строчки из его сочинений. Из-за этого он и повесился.

— Не думаю, Бетти. По-моему, это произошло скорее из-за того, что он здесь не мог писать,— сказал я поспешно.— Это нечто совсем другое. Моллер не мог писать, его мозг иссяк. В первый год он еще писал, тогда он был преисполнен возмущения и гнева. Но потом наступил штиль. Опасность миновала, слова возмущения начали повторяться, ибо его чувства не обогащались новыми впечатлениями; он стал просто скучным брюзгой, а потом брюзжание перешло в пассивность и пессимизм. Да, он спасся, но этого ему было мало, как и большинству из нас. Он хотел чего-то иного и из-за этого погиб.

Бетти внимательно слушала. Глаза ее стали менее тревожными.

— И Кан тоже? — спросила она.

— Кан? Что тут общего с Каном?

— Не знаю. Просто мне пришло на ум.

— Кан не писатель. Скорее, он противоположность писателю, человек действия.

— Именно поэтому я о нем вспомнила,— сказала Бетти робко,— но, может, я ошибаюсь.

— Уверен, что ошибаетесь, Бетти.

Впрочем, спускаясь по темной лестнице, я не был в этом уверен. В подъезде я встретил Грефенгейма.

— Ну, как она? — спросил он.

— Плохо,— сказал я.— Вы ей даете лекарства?

— Пока нет. Но они ей скоро понадобятся.

Я шел по мокрой от дождя улице. Недалеко от магазина, где работал Кан, я свернул. Сперва я намеревался идти прямо на Пятьдесят седьмую улицу, но потом раздумал: решил заглянуть к Кану.

Кана я застал в магазине.

— Когда вы едете в Голливуд?

— Дня через два.

— Весьма возможно, что вы встретите там Кармен.

— Кармен?

Кан засмеялся.

— Один тамошний жучок предложил ей контракт как дебютантке. На три месяца. По сто долларов в неделю. Но скоро она опять явится сюда. Кармен — антиталант.

— А она хотела ехать?

— Нет. Слишком тяжела на подъем. Мне пришлось ее уговаривать.

— Зачем?

— Пусть не думает потом, будто упустила шанс. Не хочу давать ей повод всю жизнь попрекать меня. Ну, а так она сама во всем убедится за три месяца. Правильно?

Я не ответил. Кан явно нервничал.

— Разве я неправильно поступил? — спросил он снова.

— Надеюсь, правильно. Но она очень красивая женщина, я бы не рисковал.

Он снова засмеялся несколько деланным смехом.

— Почему, собственно? В Голливуде таких, как Кармен,— тысячи. И многие талантливы. А она даже по-английски не говорит. Но вы все-таки позаботьтесь о ней, когда она туда явится.

— Конечно, Кан. В той степени, в какой вообще можно заботиться о красивой молодой женщине.

— С Кармен возни не много. Большую часть времени она спит.

— Я охотно сделаю все, что смогу. Но ведь я сам не знаю там ни души. Разве что Танненбаума, больше никого.

— Вы можете время от времени водить ее обедать. Уговаривайте ее, когда срок истечет, вернуться в Нью-Йорк.

— Хорошо. Что вы будете делать во время ее отсутствия?

— То же, что всегда.

— Что именно?

— Ничего. Вы же знаете, я продаю приемники. Что я могу делать еще? Энтузиазм, вызванный тем, что ты остался жив, напоминает шампанское. Когда бутылку откупоривают, шампанское быстро выдыхается. Хорошо, что почти никто не размышляет подолгу на эти темы. Желаю вам счастья, Росс! Только не становитесь актером! Вы и так уже актер.

— Когда ты вернешься, в нашем кукушкином гнезде в поднебесье уже будет жить этот педераст-меланхолик,— сказала Наташа,— он возвращается в ближайшие дни. Сегодня утром я узнала это из письма на толстой серой бумаге, от которой несло жокей-клубом.

— Откуда письмо?

— Почему тебя это вдруг заинтересовало?

— Да нет же. Просто я задал идиотский вопрос, чтобы скрыть замешательство.

— Письмо из Мексики. Там тоже закончилась одна большая любовь.

— Что значит: там тоже?

— Этот вопрос также вызван желанием скрыть замешательство?

— Нет. Он вызван чисто абстрактным интересом к развитию человеческих отношений.

Наташа оперлась на руку и посмотрела в зеркало: наши взгляды встретились.

— Почему, собственно, мы проявляем гораздо больший интерес к несчастью своих ближних, нежели к счастью? Значит ли это, что человек — завистливая скотина?

— Это уж точно! Но, кроме того, счастье нагоняет скуку, а несчастье — нет.

Наташа засмеялась.

— В этом что-то есть! О счастье можно говорить минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь кроме того, что ты счастлива. А о несчастье люди рассказывают ночи напролет. Правда?

— Правда, когда речь идет о небольшом несчастье,— сказал я, поколебавшись секунду,— а не о подлинном.

Наташа все еще не сводила с меня взгляда. Косая полоса света из соседней комнаты падала ей на глаза, и они казались удивительно светлыми и прозрачными.

— Ты очень несчастен, Роберт? — спросила она, не отрывая взгляда от моего лица.

— Нет,— сказал я, помолчав немного.

— Хорошо, что ты не сказал: я счастлив. Обычно ложь меня не смущает. Да я и сама умею лгать. Но иногда ложь невыносима.

— Но я хочу стать счастливым,— сказал я.

— Тебе это, однако, не удается. Ты не можешь быть счастливым, как все люди.

Мы все еще смотрели друг на друга. И мне казалось, что отвечать, видя Наташу в зеркале, легче, чем глядя ей в глаза.

— На днях ты меня уже спрашивала об этом.

— Тогда ты солгал. Боялся, что я устрою сцену, и хотел ее избежать. Но я не собиралась устраивать сцену.

— Я и тогда не лгал,— возразил я почти машинально и тут же пожалел о своих словах.

За годы скитаний я усвоил некоторые правила, которые были мне необходимы, чтобы выжить, но не очень-то годились для личной жизни; одно из этих правил гласило: никогда не признавайся в том, что ты солгал. В борьбе с властями оно себя оправдывало, но во взаимоотношениях с любимой женщиной было не всегда приемлемым, хотя и здесь приносило скорее пользу, чем вред.

— Я не лгал,— повторил я,— просто я неудачно выразился. Некоторые понятия мы почерпнули из прошлого века, века романтики, но теперь их следует сильно изменить. К ним относится и понятие счастья. Как легко было стать счастливым! Причем под счастьем подразумевалось абсолютное счастье! Я не говорю сейчас ни о писателях, ни о фальшивомонетчиках — этим удавалось дурачить целые эпохи своей хитроумной ложью; даже великие люди подпадали под гипноз яркого шарика с сусальной позолотой, именовавшегося «счастьем»: они считали его панацеей от всего! Человек полюбивший был счастлив, а раз он был счастлив, то уж абсолютно счастлив!

Наташа отвела от меня взгляд и опять растянулась на кровати.

— Да, профессор,— пробормотала она.— Это, конечно, очень умно, но не думаешь ли ты, что раньше было проще?

— Да, наверное.

— Все дело в том, как человек воспринимает жизнь! Что значит — правда? Чувства не имеют отношения к правде.

Я засмеялся.

— Конечно, не имеют.

— Вы всё на свете запутали. Как хорошо было в старину, когда неправду называли не ложью, а фантазией и когда о любви судили по ее силе, а не по абстрактным моральным нормам... Любопытно, каким ты вернешься из этого осиного гнезда — Голливуда! Там тебе все уши прожужжат громкими и избитыми фразами. Они сыплются в этом городе, как пух из лопнувшей перины.

— Откуда ты знаешь? Разве ты там была?

— Да,— сказала Наташа.— К счастью, я оказалась нефотогеничной.

— Ты оказалась нефотогеничной?

— Да. Понимай как хочешь.

— А если бы не это, ты бы там осталась?

Наташа поцеловала меня.

— Конечно, мой немецкий Гамлет. Женщина, которая ответит тебе иначе, солжет. Ты думаешь, у меня такая уж благодарная профессия? Думаешь, я не смогла бы от нее отказаться? Чего стоят одни эти богачки с жирными телесами, которым надо врать, будто фасоны для стройных годятся и им! А худые стервы? Они не решаются завести себе любовника, да и не могут найти его, а свою злость срывают на людях подневольных и беззащитных.

— Я был бы рад, если бы ты могла поехать со мной,— вырвалось у меня.

— Ничего не выйдет. Начинается зимний сезон, и у нас нет денег.

— Ты будешь мне изменять?

— Естественно,— сказала она.

— По-твоему, это естественно?

— Я не изменяю тебе, когда ты здесь.

Я взглянул на Наташу. Я не был до конца уверен, что у нее на уме то же, что и на языке.

— Когда человека нет, у тебя появляется чувство, будто он уже никогда не вернется,— сказала она.— Не сразу появляется, но очень скоро.

— Как скоро?

— Разве это можно сказать заранее? Не оставляй меня одну, и тебе не придется задавать таких вопросов.

— Да, это удобнее всего.

— Проще всего,— поправила она.— Когда рядом кто-то есть, тебе ничего больше не нужно. А когда нет, наступает одиночество. Кто же в силах выносить одиночество? Я не в силах.

— И все это происходит мгновенно? — спросил я, теперь уже несколько встревоженный.— Просто меняют одного на другого?

Наташа рассмеялась.

— Ну конечно нет. Совсем не так. Меняют не одного на другого, а... одиночество на неодиночество. Мужчины, возможно, умеют жить в одиночестве, женщины — нет.

— Ты не можешь быть одна?

— Мне плохо, когда я одна, Роберт. Я как плющ. Стоит мне остаться одной, и я начинаю стелиться по полу и гибнуть.

— За две недели ты погибнешь?

— Кто знает, сколько ты будешь в отъезде? Не верю я в твердые даты. Особенно в даты возвращения.

— Ничего себе, лучезарные перспективы!

Она внезапно повернулась и опять поцеловала меня.

— Тебе нравятся слезливые дуры, которые грозятся уйти в монастырь?

— Когда я здесь, не нравятся, а когда уезжаю, очень нравятся.

— Нельзя иметь все сразу.

— Это самая грустная сентенция из всех, какие существуют.

— Не самая грустная, а самая мудрая.

Я знал, что мы сражаемся в шутку, что это всего лишь игра. Но стрелы были не такие уж тупые, слова проникали глубоко под кожу.

— Будь моя воля, я остался бы,— сказал я.— Ехать в такое время года в Голливуд, по-моему, бессмысленно. Но если я откажусь, мне через неделю нечего будет есть. Силверс наймет на мое место другого.

Я тут же возненавидел себя за эти слова. Мне вообще не следовало пускаться в объяснения — нельзя было ставить себя в положение человека зависимого, в положение мужа-подбашмачника. Наташа меня перехитрила, подумал я с горечью, это она выбрала место сражения. И теперь я должен был воевать не на ее, а на своей территории, что всегда опасно. Когда-то мне объяснил это знакомый матадор.

— Хочешь не хочешь, надо мириться с судьбой,— сказал я рассмеявшись.

Ей это не понравилось, но она не стала возражать. Я знал, что настроение у нее менялось молниеносно,— вот и на этот раз она вдруг с грустью сказала:

— Уже осень. А осенью не следует оставаться одной. Пережить осень и так достаточно трудно.

— Для тебя настала зима. Ты ведь всегда на один сезон опережаешь время. Помнишь, ты мне говорила? А сейчас ты в разгаре зимних мод и снежных вьюг.

— Ты всегда найдешь, что ответить,— сказала она неприязненно.— И всегда предложишь какой-нибудь выход.

— Бывает, что и я не могу найти выхода,— сказал я.— Выхода для тебя!

Выражение ее лица изменилось.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты лгал.

— Я вовсе не лгу. Я действительно не вижу выхода. Да и как его увидеть?

— Ты вечно строишь планы на будущее. И не любишь неожиданностей. А для меня все — неожиданность. Почему это так?

— В моей жизни неожиданности плохо кончались. Правда, не с тобой. Ты — неожиданность, которая никогда не переходит в привычку.

— Останешься сегодня на ночь у меня?

— Останусь до тех пор, пока не придется бегом нестись на вокзал.

— Это вовсе не обязательно. Проще взять такси.

В ту ночь мы спали мало. Просыпались и любили друг друга, потом засыпали, крепко обнявшись, и опять просыпались, и, поговорив немного, снова любили друг друга или просто лежали рядом, чувствуя теплоту наших тел и стараясь проникнуть в тайну человеческой кожи, сближающей и навек разъединяющей людей. Мы изнемогали от попыток слиться воедино и, громко крича, понукали друг друга, как понукают лошадей, заставляя их напрячь все силы, но и эти окрики, и эти слова, всплывавшие откуда-то из глубин подсознания, были бесполезны; мы ненавидели, и мы любили друг друга, и изрыгали ругательства, которые были под стать разве что ломовым извозчикам, и все лишь затем, чтобы теснее слиться друг с другом и освободить свой мозг от искусственно возведенных барьеров, мешающих познать тайну ветра и моря и тайну мира зверей; мы осыпали друг друга площадной бранью и шептали друг другу самые нежные слова, а потом, вконец вымотанные и измученные, лежали, ожидая, когда придет тишина, глубокая, коричнево-золотая тишина, полное успокоение, при котором нет сил произнести ни слова, да и вообще слова не нужны — они разбросаны где-то вдалеке, подобно камням после сильного урагана; мы ждали этой тишины, и она приходила к нам, была с нами рядом, мы ее чувствовали и сами становились тихими, как дыхание, но не бурное дыхание, а еле заметное, почти не вздымающее грудь. Тишина приходила, мы погружались в нее целиком, и Наташа сразу проваливалась куда-то вглубь, в сон. А я долго не засыпал и все смотрел на нее. Смотрел с тайным любопытством, которое я почему-то испытываю ко всем спящим, словно они знают нечто такое, что скрыто от меня навсегда. Я смотрел на отрешенное Наташино лицо с длинными ресницами и знал, что сон — этот маг и волшебник — отнял ее у меня,

заставил забыть обо мне и о только что промелькнувшем часе клятв, криков и восторгов; для нее я уже не существовал; я мог умереть, но и это ничего не изменило бы. Я жадно, даже с некоторым страхом смотрел на эту чужую женщину, которая стала для меня самой близкой, и, глядя на нее, вдруг понял, что только мертвые принадлежат нам целиком, только они не могут ускользнуть. Все остальное в жизни движется, видоизменяется, уходит, исчезает и, даже появившись вновь, становится неузнаваемым. Одни лишь мертвые хранят верность. И в этом их сила.

Я прислушался к ветру: на такой высоте он почти всегда завывал между домами. Я боялся заснуть, хотел окончательно отогнать от себя прошлое и смотрел на Наташино лицо,— между бровями у нее теперь залегла тонкая складка. Я смотрел на Наташу, и в какое-то мгновение мне показалось, что я вот-вот пойму нечто важное, войду в какую-то незнакомую, ровно освещенную комнату, о существовании которой я до сих пор не подозревал. И тут я почувствовал внезапно, как меня охватило тихое чувство счастья, ибо передо мной открылись неведомые просторы. Затаив дыхание, я осторожно приближался к ним, но в тот миг, когда я сделал последний шаг, все опять исчезло, и я заснул.

XXIV

В «Садах аллаха» был бассейн для плаванья и маленькие коттеджи, сдававшиеся внаем. В них жили по одному, по двое или по нескольку человек. Меня поселили в домике, где уже находился один постоялец — актер. У каждого из нас была своя комната, а ванная была общая. По виду эта гостиница смахивала на цыганский табор, хотя жить в ней было удобно. Несмотря на непривычную обстановку, я почувствовал себя хорошо. В первый же вечер актер пригласил меня к себе. Он угощал виски и калифорнийским вином, и весь вечер к нему валил народ — его знакомые. Обстановка была самая непринужденная, и если кому-нибудь из гостей хотелось освежиться, он прыгал в зеленовато-голубую подсвеченную воду бассейна и плавал там. Я выступал в своей старой роли — бывшего эксперта из Лувра. Опасаясь длинных языков, я счел самым правильным и в частной жизни придерживаться той же версии; в конце концов Силверс платил мне именно за это.

В первые дни я был совершенно свободен. Картины, которые Силверс послал сюда из Нью-Йорка, еще не прибыли. Я бродил по «Садам аллаха» и ездил на берег океана с Джоном Скоттом — моим соседом-актером, который просвещал меня насчет жизни в Голливуде.

Уже в Нью-Йорке меня преследовала мысль о нереальности окружающего; эта огромная страна вела войну, и в то же время войны здесь совершенно не чувствовалось: между Америкой и фронтами пролегало полмира; ну, а уж в Голливуде война и вообще казалась просто литературной категорией. Здесь бродили косяками полковники и капитаны в соответствующих мундирах, но никто из них понятия не имел о войне, то были кинополковники, кинокапитаны, кинорежиссеры и кинопродюсеры, каждого из которых могли в один прекрасный день произвести в чин полковника благодаря какой-то чепухе, тем или иным образом связанной с военными фильмами; никто из них, разумеется, ничего не смыслил в военном деле, разве что усвоил нехитрую истину: здороваясь, нельзя снимать фуражку. Война стала в Голливуде примерно таким же понятием, как «Дикий Запад», и у меня создалось впечатление, что статисты, участвовавшие в фильмах о войне, вечером появлялись в тех же костюмах. Иллюзия и действительность слились здесь настолько прочно, что превратились в некую новую субстанцию, наподобие того, как медь, сплавляясь с цинком, превращается в латунь, эдакое золото для бедных. При всем том

в Голливуде было полным-полно выдающихся музыкантов, поэтов и философов, равно как и мечтателей, сектантов и просто жуликов. Всех он принимал, но тех, кто вовремя не спохватывался, нивелировал, хотя многие этого не сознавали. Пошлая фраза о том, что человек продает душу дьяволу, имела здесь вполне реальный смысл. Правда, Голливуд превращал в латунь всего лишь медь и цинк, так что далеко не все громкие сетования, раздававшиеся по этому поводу, были обоснованны.

Мы сидели на песчаном пляже в Санта-Монике. Тихий океан катил свои серо-зеленые волны у наших ног. Рядом с нами пищали детишки, а позади, в дощатой закусочной, варили омаров. Начинающие актеры с независимым видом вышагивали по пляжу в надежде, что их «откроет» какой-нибудь talentscout[1] или помощник режиссера. Официантки во всех ресторанах и кафе также ждали своего часа, а пока что потребляли тонны румян и помады, ходили в обтягивающих брючках и коротких юбках. И вообще атмосфера здесь была, как в игорном доме, где каждый лихорадочно мечтает сорвать банк — получить роль в фильме.

— Танненбаум? — спросил я с некоторым сомнением и воззрился на субъекта в клетчатом пиджаке, который стоял против солнца, заслоняя мне океан.

— Собственной персоной,— с достоинством ответил исполнитель ролей нацистских фюреров.— Вы живете в «Садах аллаха»? Не так ли?

— Откуда вы знаете?

— Это — прибежище всех актеров-эмигрантов.

— Черт побери! А я-то думал, что избавился, наконец, от эмигрантов. И вы там поселились?

— Я въехал туда сегодня в полдень.

— Сегодня в полдень! Стало быть, часа два назад. И уже разгуливаете по берегу Тихого океана без галстука, с ярко-красным шелковым платком вокруг шеи и в клетчатом желтом спортивном пиджаке. Вот это я понимаю!

— Не люблю терять время! Я вижу, вы здесь со Скоттом.

— Вы и с ним знакомы?

— Конечно. Я ведь уже был в Голливуде дважды. Первый раз играл шарфюрера, второй — штурмшарфюрера.

— Вы делаете головокружительную карьеру. Теперь вы, по-моему, уже штурмбанфюрер?

— Группенфюрер.

— Съемки уже начались? — спросил Скотт.

— Нет еще. Приступаем на следующей неделе. Сейчас у нас идет примерка костюмов.

«Примерка костюмов!» — повторил я про себя. То, о чем я боялся думать, то, что тщетно хотел изгнать из своих снов, обернулось здесь маскарадом. Я не сводил глаз с Танненбаума, и меня вдруг охватило ощущение небывалой легкости. Передо мной была серебристо-серая поверхность океана, волны из ртути и свинца, теснившиеся к горизонту, и этот смешной человечек, для которого мировая катастрофа обернулась примеркой костюмов, гримом и киносценариями. И мне показалось, будто сплошные тяжелые тучи над моей головой разорвались. Может быть, подумал я, может быть, существует и такое состояние, когда все пережитое перестаешь воспринимать всерьез. Я даже не мечтаю, чтобы для меня это свелось к примерке костюмов и к кинофильмам,— пусть хотя бы перестанет висеть надо мной, подобно гигантскому глетчеру, ко-

[1] Искатель талантов *(англ.)* — специальная должность в кинопромышленности США.

торый в любую секунду может обрушиться и похоронить меня подо льдом.

— Когда вы оттуда уехали, Танненбаум? — спросил я.

— В тридцать четвертом.

Я собирался еще многое спросить, но вовремя одумался. Мне хотелось узнать, потерял ли он близких — каких-нибудь родственников, которых не выпустили из Германии или сразу уничтожили... Скорее всего так и было, но об этом не полагалось спрашивать. Да и знать я хотел это только для того, чтобы представить себе, как он сумел все преодолеть, чтобы изображать теперь без душевного надрыва людей, которые были убийцами его близких. Впрочем, необходимости в этом не было. Уже самый факт, что он их играл, делал мои вопросы излишними.

— Я рад вас видеть, Танненбаум,— сказал я.

Он подозрительно покосился на меня.

— По-моему, мы с вами не в таких отношениях, чтобы рассыпаться друг перед другом в комплиментах,— сказал он.

— Но я действительно рад,— повторил я.

Силверс что-то темнил; он действовал, но довольно безуспешно и через несколько дней переменил тактику: ринулся в прямую атаку. Начал названивать продюсерам и режиссерам, с которыми познакомился когда-то через других покупателей, и приглашать их посмотреть картины. Но произошла весьма обычная история: люди, которые в Нью-Йорке чуть не со слезами на глазах умоляли его посетить их, как только он окажется в Лос-Анджелесе, теперь вдруг с большим трудом узнавали его, а когда он приглашал их поглядеть картины, ссылались на недосуг.

— Черт бы побрал этих варваров,— брюзжал Силверс уже через неделю после нашего приезда.— Если ничего не изменится, придется возвращаться в Нью-Йорк. Что за народ живет в «Садах аллаха»?

— Для вас это не клиенты,— заверил его я.— В лучшем случае они могут купить маленький рисунок или литографию.

— На безрыбье и рак — рыба. У нас с собой два маленьких рисунка Дега и два рисунка углем Пикассо. Возьмите их и повесьте у себя в комнате. И устройте вечеринку с коктейлями.

— За свои деньги или в счет издержек производства?

— Ну конечно за мой счет. У вас в голове одни только деньги.

— У меня пусто в карманах, вот и приходится держать деньги в голове.

Силверс махнул рукой. Ему было не до острот.

— Попытайте счастья у себя в гостинице. Может быть, подцепите какую-нибудь мелкую рыбешку, раз не удается поймать щуку.

Я пригласил Скотта, Танненбаума и еще несколько человек — их знакомых. «Сады аллаха» славились своими вечеринками с коктейлями. По словам Скотта, они иногда продолжались здесь до утра. Отчасти из вежливости, отчасти шутки ради я пригласил и Силверса. Сперва он вроде удивился, а потом с высокомерным видом отказался прийти. Такого рода вечеринки годились только для мелкого люда, посещать их было ниже его достоинства.

Вечеринка началась весьма многообещающе: пришло на десять человек больше, чем я позвал, а часов в десять вечера незваных гостей было уже по крайней мере человек двадцать. Спиртные напитки скоро кончились, и мы перешли в другой коттедж. Седой человек с красным лицом, которого все звали Эдди, заказал бутербродов, котлет и гору сосисок. В одиннадцать часов я настолько подружился с десятком незнакомых людей, что мы стали называть друг друга по имени, впрочем, по всей видимости, это произошло слишком поздно. Обычно на гол-

ливудских вечеринках люди становились закадычными друзьями в более ранний час. В полночь несколько человек свалились в бассейн, а нескольких гостей столкнули туда. Это считалось чрезвычайно изысканной шуткой. Девушки в бюстгальтерах и трусиках плавали в голубовато-зеленоватой подсвеченной воде. Они были совсем молоденькие и очень хорошенькие, и их забавы производили почему-то вполне невинное впечатление. Вообще, несмотря на весь шум и гам, вечеринка казалась, как ни странно, на редкость целомудренной. В тот час, когда в Европе люди давным-давно лежат в постелях, мои гости обступили рояль и затянули сентиментальные ковбойские песенки.

Постепенно я потерял контроль над собой. Все вокруг начало шататься, что меня, в общем, устраивало. Мне не хотелось быть трезвым— из ненависти к ночам, когда вдруг просыпаешься один и не знаешь, где ты; от этих ночей было рукой подать до неотвязных кошмаров. Теперь я медленно погружался в тяжелое, хотя и довольно приятное опьянение, и передо мной то тут, то там мелькали коричневые и золотые вспышки.

На следующее утро я не имел ни малейшего представления ни о том, где бродил ночью, ни о том, как попал к себе в комнату. Скотт попытался напомнить мне, что произошло.

— Вы продали два рисунка, которые здесь висели, Роберт,— сказал он.— Они были ваши?

Я оглянулся. Голова у меня гудела. Рисунки Дега отсутствовали.

— Кому я их продал? — спросил я.

— По-моему, Холту. Режиссеру, у которого снимается Танненбаум.

— Холту? Понятия не имею. Боже мой, ну и напился же я.

— Мы все перебрали. Вечеринка была чудесная. И вы, Роберт, были просто великолепны.

Я посмотрел на него подозрительно.

— Вел себя как последний болван?

— Нет, по-дурацки вел себя только Джимми. Как всегда, плакал пьяными слезами. Вы были на высоте. Одного только не знаю: когда вы продавали рисунки, вы уже были под мухой? По виду ничего нельзя было сказать.

— Наверное, под мухой. Я ровно ничего не помню.

— И о чеке тоже не помните?

— О каком чеке?

— Но Холт же сразу дал вам чек.

Я поднялся и начал шарить у себя в карманах. Действительно, там лежал сложенный в несколько раз чек. Я долго смотрел на него.

— Холт прямо зашелся,— сказал Скотт.— Вы рассуждали об искусстве как бог. Он сразу же и забрал рисунки, в такой он пришел восторг.

Я поднес чек к свету. Потом засмеялся. Я продал рисунки на пятьсот долларов дороже, чем оценил их Силверс.

— Ну и ну,— сказал я, обращаясь к Скотту.— Я отдал рисунки слишком дешево.

— Правда? Вот скверная история! Не думаю, чтобы Холт согласился их вернуть.

— Ничего,— сказал я,— сам виноват.

— Для вас это очень неприятно?

— Не очень. Поделом мне. А рисунки Пикассо я тоже продал?

— Что?

— Два других рисунка?

— Это я уж не знаю. Как вы относитесь к тому, чтобы залезть в бассейн? Самое лучшее средство против похмелья.

— У меня нет плавок.

Скотт притащил из своей комнаты четыре пары плавок.

— Выбирайте. Будете завтракать или уже прямо обедать? Сейчас час дня.

Я встал. Когда я вышел в сад, моим глазам представилась мирная картина. Вода сверкала, несколько девушек плавали в бассейне, хорошо одетые мужчины сидели в креслах, читали газеты, потягивали апельсиновый сок или виски и лениво переговаривались. Я узнал седого человека, у которого мы были накануне вечером. Он кивнул мне. Три других господина, которых я не узнал, также кивнули мне. У меня вдруг появилась целая куча респектабельных друзей, которых я даже не знал. Алкоголь оказался куда более верным средством сближения, нежели интеллект; все проблемы вдруг куда-то исчезли, и небо было безоблачно; поистине этот клочок земли вдали от сложностей и бурь окутанной мглой Европы был сущим раем. Впрочем, только на первый взгляд. То была иллюзия. Не сомневаюсь, что и здесь хозяевами положения были не бабочки, а змеи. Но даже эта иллюзия казалась невероятной; я чувствовал себя так, словно меня перенесли на остров Таити в благословенные моря южных широт, где мне не оставалось ничего иного, как забыть прошлое, мое убийственное второе «я», забыть весь горький опыт и всю грязь прошедших лет и вернуться к жизни, чистой и первозданной.

Быть может, думал я, прыгая в голубовато-зеленую воду бассейна, быть может, на этот раз я действительно избавлюсь от прошлого и начну все сначала, отброшу все планы мщения, которые давят на меня как солдатский ранец, набитый свинцом.

Гнев Силверса мгновенно улетучился, как только я вручил ему чек. Это не помешало ему, однако, сказать:

— Надо было запросить на тысячу долларов больше.

— Я и так уже запросил на пятьсот долларов больше, чем вы велели. Если желаете, могу вернуть чек и опять принести вам рисунки.

— Это не в моих правилах. Раз продано, значит, продано. Даже себе в убыток.

Силверс сидел, развалившись, на светло-голубом кожаном диване у окна; внизу, под окном его номера, также был плавательный бассейн.

— У меня есть желающие и на рисунки Пикассо,— сказал я.— Но, думается, будет лучше, если вы продадите их сами. Не хочу делать вас банкротом из-за того, что я неправильно манипулирую ценами, которые вы назначаете.

Силверс вдруг улыбнулся.

— Милый Росс, у вас нет чувства юмора. Продавайте себе на здоровье. Неужели вы не понимаете, что во мне говорит профессиональная зависть? Вы уже здесь кое-что продали, а я ровным счетом ничего.

Я оглядел его. Он был одет даже более по-голливудски, чем Танненбаум, а это что-нибудь да значило! Спортивный пиджак Силверса был, разумеется, английский, в то время как Танненбаум носил готовые американские вещи. Но ботинки у Силверса были чересчур уж желтые, а его шелковый шейный платок слишком большой и к тому же слепяще-красный — цвета киновари.

Я понимал, к чему клонится разговор: Силверс не хотел платить мне комиссионных. Да я и не ждал комиссионных. А потому не удивился, когда он сказал, чтобы я поскорее представил ему счет за вечеринку с коктейлями.

После обеда за мной явился Танненбаум.

— Вы обещали Холту приехать сегодня на студию,— сказал он.

— Разве? — удивился я.— Что я там еще наболтал?

— Вы были в ударе. И продали Холту два рисунка. А сегодня хотели посоветовать, в какие рамы их вставить.

— Они же были в рамах!

— Вы сказали, что это дешевые стандартные рамы. А ему надо купить старинные рамы восемнадцатого века, тогда ценность рисунков возрастет втрое. Поехали со мной. Посмотрите хоть раз, как выглядит студия.

— Хорошо.

В голове у меня по-прежнему был полный сумбур. Без долгих размышлений я последовал за Танненбаумом. У него оказался старый «шевроле».

— Где вы научились водить машину? — спросил я.

— В Калифорнии. Здесь машина необходима. Слишком большие расстояния. Можно купить машину за несколько долларов.

— Вы хотите сказать: за несколько сот долларов?

Танненбаум кивнул. Мы проехали через ворота в ограде, напоминавшей надолбы; ворота охраняли полицейские.

— Здесь тюрьма? — спросил я, когда машину остановили.

— Какая чушь! Это полиция киностудии. Она следит за тем, чтобы студию не наводняли толпы зевак и неудачников, которые хотят попытать счастья в кино.

Сперва мы миновали поселок золотоискателей. Потом проехали по улице, где было полно салунов, как на Диком Западе; за ними одиноко стоял танцзал. Вся эта бутафория под открытым небом производила странное впечатление. Большинство декораций состояло из одних фасадов, за которыми ничего не было, поэтому казалось, будто здесь только что прошла война и дома разбиты и разбомблены с невиданной аккуратностью и методичностью.

— Декорации для натурных съемок,— объяснил Танненбаум.— Здесь выстреливают сотни ковбойских фильмов и вестернов с почти одинаковыми сюжетами. Иногда даже не меняют актеров. Но публика ничего не замечает.

Мы остановились у гигантского павильона. На стенах его в разных местах было выведено черной краской: «Павильон № 5». Над дверью горела красная лампочка.

— Придется минутку обождать,— сказал Танненбаум.— Сейчас как раз идет съемка. Как вам здесь нравится?

— Очень нравится,— сказал я.— Немного напоминает цирк и цыганский табор.

Перед павильоном № 4 стояло несколько ковбоев и кучка людей в старинных одеждах: дамы в платьях до пят, бородатые пуритане в широкополых шляпах и в сюртуках. Почти все они были загримированы, что при свете солнца казалось особенно странным. Я увидел также лошадей и шерифа, который пил кока-колу.

Красная лампочка над павильоном № 5 потухла, и мы вошли внутрь. После яркого света я в первое мгновение не мог ничего различить. И вдруг окаменел. Человек двадцать эсэсовцев двигались прямо на меня. Я тотчас круто повернулся и приготовился бежать, но налетел на Танненбаума, который шел сзади.

— Кино,— сказал он.— Почти как в жизни. Не правда ли?

— Что?

— Я говорю, здорово у них это получается.

— Да,— с трудом выдавил я из себя и секунду колебался, не дать ли ему по физиономии.

Над головами эсэсовцев на заднем плане я увидел сторожевую вышку, а перед ней ряды колючей проволоки. Я заметил, что дышу очень громко, с присвистом.

— Что случилось?— спросил Танненбаум.— Вы испугались? Но вы же знали, что я играю в антифашистском фильме.

Я кивнул, стараясь взять себя в руки.

— Забыл,— сказал я.— После вчерашнего вечера. Голова у меня все еще трещит. Тут забудешь все на свете.

— Ну, конечно, конечно! Мне бы следовало вам напомнить.

— Зачем? Мы ведь в Калифорнии,— сказал я все еще нетвердым голосом.— Я растерялся только в первую секунду.

— Ясно, ясно. И со мной бы это произошло. В первый раз со мной так и случилось. Но потом я, конечно, привык.

— Что?

— Я говорю, что привык к этому,— повторил Танненбаум.

— Правда?

— Ну да!

Я снова обернулся и посмотрел на ненавистные эсэсовские мундиры. И почувствовал, что меня вот-вот вырвет. Бессмысленная ярость вскипала во мне, но без толку: я не видел вокруг ни одного объекта, на который мог бы излить ее. Эсэсовцы, как я вскоре заметил, говорили по-английски. Но и потом, когда моя ярость утихла, а страх исчез, у меня осталось ощущение, будто я перенес тяжелый припадок. Все мускулы болели.

— А вот и Холт!— воскликнул Танненбаум.

— Да,— сказал я, не сводя глаз с рядов колючей проволоки вокруг концентрационного лагеря.

— Хэлло, Роберт!

Холт был в тирольской шляпе и в гольфах. Я бы не удивился, если бы увидел у него на груди свастику. Или желтую звезду.

— А я и не знал, что вы уже начали съемки,— сказал Танненбаум.

— Всего два часа назад, после обеда. На сегодня хватит. Как вы отнесетесь к стакану шотландского виски?

Я поднял руку.

— Не могу еще. После вчерашнего.

— Как раз поэтому я и предложил. Клин клином вышибают. Самый лучший способ.

— Неужели?— сказал я рассеянно.

— Старый рецепт!— Холт ударил меня по плечу.

— Может быть,— сказал я.— Вы правы, конечно.

— Ну вот, молодец!

Выйдя из павильона, мы прошли мимо кучки мирно болтавших эсэсовцев. «Переодетые актеры»,— твердил я себе, все еще не в силах осознать происходящее. Наконец мне удалось взять себя в руки.

— У того парня,— сказал я, указывая на актера в мундире шарфюрера,— фуражка не по форме.

— Правда?— спросил Холт с тревогой.— Вы уверены?

— Да, уверен. К сожалению.

— Это надо немедленно проверить,— сказал Холт, обращаясь к молодому человеку в зеленых очках.— Где консультант по костюмам?

— Сейчас найду.

«Консультант по костюмам,— думал я.— Там они еще льют кровь, а здесь их уже изображают статисты. Впрочем, быть может, все, что произошло у меня на родине за эти одиннадцать-двенадцать лет, было на самом деле лишь бунтом статистов, которые вздумали разыграть из себя героев, но так и остались пошлой бандой палачей».

— Кто у вас консультант?— спросил я.— Настоящий гитлеровец?

— Не знаю точно,— сказал Холт.— Во всяком случае, он специалист. Неужели, черт подери, нам придется из-за одной этой вшивой фуражки переснимать всю сцену?

Мы пошли в столовую. Холт заказал виски с содовой. Меня уже не

удивляло, что официантки были все как на подбор ухоженные красавицы. Конечно, они только и ждали, когда их «откроют».

— Я еще хотел спросить вас насчет рисунков Дега,— сказал Холт немного погодя.— Они ведь настоящие, правда? Не обижайтесь, но мне сказали, что существует чертова уйма подделок.

— Тут нечего обижаться, Джо. Ваше право узнать все досконально. На рисунках нет собственноручной подписи Дега, только красная печать с его именем. Вас смущает это?

Холт кивнул.

— Красная печать — это печать мастерской художника. Рисунки найдены после смерти Дега и помечены печатью. Об этом существует специальная литература, с репродукциями. У господина Силверса, который приехал со мной, эти книги есть, он вам их с удовольствием покажет. Почему бы вам не посетить его? Вы уже свободны?

— Освобожусь через час. Но я вам верю, Роберт.

— Я сам себе часто не верю, Джо. Давайте встретимся в шесть в отеле «Беверли-Хилс». Хорошо? Тогда вы сами убедитесь во всем. Кроме того, Силверс даст вам официальную квитанцию, удостоверяющую вашу покупку, и паспорт к рисункам. Так положено.

— Хорошо.

Силверс принял нас, сидя на том же светло-голубом диване. Глядя на него, нельзя было сказать, что приезд в Голливуд не принес ему ничего, кроме неудач. Вел он себя весьма высокомерно: велел мне изготовить документ, подтверждающий покупку рисунков на посмертном аукционе, а сам вручил Холту паспорта и фотографии обеих работ.

— Рисунки достались вам, можно сказать, даром,— объявил он надменно.— Мой сотрудник господин Росс, эксперт из Лувра, вообще не занимается продажей. Поэтому я назвал ему ту цену, за какую сам приобрел эти вещи. Произошла досадная ошибка. Он не знал, что это не продажная цена, и предложил вам рисунки за ту цену, какую я сам уплатил год назад. Если бы я захотел сейчас купить эти рисунки Дега, мне пришлось бы выложить минимум на пятьдесят процентов больше.

— Хотите аннулировать сделку?— спросил Холт.

Силверс махнул рукой.

— Что продано, то продано. Просто я хотел вас поздравить. Вы совершили потрясающе выгодную покупку.

Силверс немного оттаял и заказал кофе с коньяком.

— Хочу сделать вам одно предложение,— начал он.— Я покупаю у вас оба рисунка с двадцатипроцентной надбавкой, если вы, конечно, согласны. Немедленно.— И он сунул руку в карман своего спортивного пиджака, словно собираясь вытащить чековую книжку.

Я с любопытством ждал, как Холт отнесется к этому жульническому трюку. Он отнесся правильно. Сказал, что купил рисунки только потому, что они ему понравились. И хотел бы их сохранить. И даже наоборот: решил воспользоваться преимущественным правом, которое я дал ему вчера вечером, и купить еще два рисунка Пикассо.

Я в изумлении воззрился на него: ни о каком преимущественном праве у нас и речи не было, но мне показалось, что в глазах Холта появился алчный блеск — ему тоже хотелось сделать бизнес. Этот малый соображал быстро.

— Преимущественное право?— спросил меня Силверс.— Вы его дали кому-нибудь?

Я тоже соображал быстро. Нет, об оптации речи не было. Очевидно, Холт смошенничал. Но он наверняка не запомнил цены, о которой говорилось вчера.

— Правильно,— сказал я.— Преимущественное право покупки до сегодняшнего вечера.

— А цена?

— Шесть тысяч долларов.

— За один рисунок?— спросил Силверс.

— За два,— опередил меня Холт.

— Правильно?— спросил Силверс резко.

Я опустил голову. Названная цена была на две тысячи долларов выше той, какую назначил за оба рисунка Силверс.

— Правильно,— сказал я.

— Вы меня разоряете, господин Росс,— сказал Силверс неожиданно мягко.

— Мы очень много выпили,— оправдывался я.— Я не привык столько пить.

Холт рассмеялся.

— Как-то раз, выпив, я проиграл двенадцать тысяч долларов в трик-трак,— сказал Холт.— Для меня это был хороший урок.

При словах «двенадцать тысяч долларов» в глазах Силверса промелькнул тот же блеск, что прежде в глазах Холта.

— Пусть это и для вас будет уроком, Росс,— сказал он.— Вы — кабинетный ученый, а уж никак не деловой человек. Ваша сфера — музеи.

При этих словах я вздрогнул.

— Возможно,— сказал я и повернулся к окну.

Вечерело, в синих сумерках носились взад и вперед белые фигурки — последние игроки в теннис. Бассейн для плавания опустел, зато вокруг маленьких круглых столиков сидело много народа — постояльцы пили освежающие напитки; из бара рядом доносилась приглушенная музыка. И тут вдруг во мне поднялась такая всепоглощающая тоска — тоска по Наташе, по моему детству, по давно забытым юношеским грезам, мне стало так жаль моей загубленной жизни, что я подумал: этого я не вынесу. С отчаянием я понял, что никогда не избавлюсь от прошлого и, повинуясь мрачным законам бессмыслицы, буду тупо губить остаток своей жизни. Спасения не было, я это чувствовал, ничто уже не ждало меня впереди, мне оставалось лишь цепляться за этот внезапно появившийся оазис, миг затишья в мире, который, как оползень, неудержимо сползал в пропасть. Мне оставалось лишь до боли радоваться, наслаждаться этим нечаянным подарком, этой тишиной, ибо по злой иронии судьбы тишина кончится для меня как раз в ту минуту, когда мир вздохнет свободнее и начнет готовиться к пиршеству освобождения. Именно тогда, один-одинешенек, я двинусь в поход на своих врагов, двинусь в поход, который приведет меня к гибели, но от которого нельзя отказаться.

— Хорошо, господин Холт,— сказал Силверс, небрежно опуская в карман второй чек.— Разрешите еще раз поздравить вас! Совсем неплохое начало для прекрасного собрания картин. Четыре рисунка двух больших художников! При случае я покажу вам еще несколько пастелей Пикассо. Сейчас у меня, увы, нет времени. Приглашен на ужин. Слух о моем приезде уже пронесся. А если мы здесь не встретимся, отложим наши дела до Нью-Йорка.

Я мысленно зааплодировал ему, хотя и не шевельнул рукой. Я-то знал, что Силверса никто никуда не приглашал. Но я знал также, чего ожидал Холт: он ожидал, что Силверс тут же попытается всучить ему картину подороже. Однако Силверс разгадал мысли Холта и повел себя иначе. А это в свою очередь убедило Холта в том, что он совершил выгодную сделку. По выражению Силверса, он теперь окончательно «созрел».

— Не вешайте носа, Роберт,— утешал меня Джо.— Рисунки я заберу завтра вечером.

— Хорошо, Джо.

XXV

Через неделю ко мне зашел Танненбаум.

— Мы проверили консультанта, приглашенного для нашего фильма, Роберт. На него нельзя положиться. Он не очень сведущий, и Холт ему больше не доверяет. Он теперь и сценаристу перестал доверять: тот никогда не был в Германии. Дело — дрянь. И все из-за вас,— распалившись, бросил Танненбаум.— Это вы заварили всю эту кашу! Вылезли насчет фуражки шарфюрера СС. Без вас у Холта не возникло бы никаких подозрений!

— Хорошо. Забудьте, что́ я сказал.

— Как? Нашего консультанта ведь уже выкинули!

— Наймите другого.

— За этим я к вам и пришел! Меня послал Холт. Он хочет с вами поговорить.

— Чепуха! Я не гожусь в консультанты, даже по антинацистским фильмам.

— Кто же, если не вы? Разве найдешь здесь кого-то еще, кто сидел бы в концентрационном лагере?

Я поднял голову.

— То есть как?

— Не только здесь, но и в Нью-Йорке в нашем кругу каждому это известно. Роберт, Холту требуется помощь. Он хотел бы, чтобы вы были консультантом.

Я рассмеялся.

— Да вы рехнулись, Танненбаум!

— Он платит прилично. А кроме того, он делает антинацистский фильм. Так что вам это не должно быть безразлично.

Я увидел, что пока я подробно не расскажу о себе, Танненбаум меня не поймет. Но на этот раз я не испытывал ни малейшего желания рассказывать о себе. Танненбаум все равно бы ничего не понял. Он иначе мыслил, чем я. Он ждал наступления мира, чтобы снова спокойно жить в Германии или в Америке. А я ждал мира, чтобы отомстить.

— Не хочу я заниматься фильмами о нацистах,— грубо ответил я.— Я не считаю, что об этих людях надо писать сценарии. Я считаю, что этих людей надо уничтожать. А теперь оставьте меня в покое. Вы уже видели Кармен?

— Кармен? Вы имеете в виду приятельницу Кана?

— Я имею в виду Кармен.

— Какое мне дело до Кармен?! Меня беспокоит наш фильм! Может быть, вы соблаговолите хотя бы встретиться с Холтом?

— Нет,— ответил я.

Вечером я получил письмо от Кана.

«Дорогой Роберт,— писал он.— Сначала неприятное: Грефенгейм умер. Он принял очень большую дозу снотворного, узнав, что его жена погибла в Берлине во время налета американской авиации. Это известие сломило его. То, что это были американские бомбардировщики, он воспринял не как роковую случайность, а лишь как убийственную иронию судьбы, и тихо и покорно ушел из жизни. Вы, наверное, помните наш последний разговор о добровольной смерти. Грефенгейм утверждал, что ни одному животному, кроме человека, неведомо отчаяние. Кроме того,

он утверждал, что добровольная смерть — величайший дар судьбы, ибо позволяет избавиться от адских мук, терзающих нашу душу. И он покончил с собой. Больше говорить тут не о чем. Его уже ничто не волнует. А мы пока живем, дышим, и у нас еще все впереди: старость, смерть или самоубийство — безразлично, как это называется.

От Кармен ни слуху ни духу. Писать письма ей лень. Посылаю Вам ее адрес. Объясните ей, что лучше всего ей было бы вернуться.

До свидания, Роберт. Возвращайтесь поскорее. Трудные времена у нас еще впереди! Они наступят потом, когда рухнут даже иллюзии мести и нам суждено будет заглянуть в небытие. Готовьте себя к этому постепенно, чтобы удар не был слишком сильным. Мы теперь уже не так неуязвимы. Особенно для внезапных ударов. Не только счастье имеет свою меру, смерть — тоже. Иногда я вспоминаю о Танненбауме, группенфюрере на экране. Вероятно, этот осел — самый мудрый из всех нас. Привет, Роберт!»

Я поехал по адресу, который дал мне Кан. Это оказался жалкое маленькое бунгало в Вествуде. Перед дверью росло несколько апельсиновых деревьев, в саду за домом кудахтали куры. Кармен спала в шезлонге. На ней был купальный костюм в обтяжку, и я усомнился в правоте Кана, говорившего, что ей не суждено добиться успеха в Голливуде. Это была самая красивая девушка, какую я когда-либо знал. Не пошлая блондинка, а трагическое видение, от которого захватывает дух.

— Смотрите-ка, Роберт!— воскликнула она без тени удивления, когда я ее осторожно разбудил.— Что вы здесь делаете?

— Продаю картины. А вы?

— Один идиот заключил со мной контракт. Я ничего не делаю. Очень удобно.

Я предложил ей пообедать со мной. Она отказалась: сказала, что ее хозяйка хорошо готовит. Я с сомнением посмотрел на рыжеволосую, не слишком опрятную хозяйку. Она была похожа на бифштекс по-гамбургски и венскую сосиску одновременно.

— Яйца свежие,— сказала Кармен и показала на кур.— Чудесные омлеты!

Мне удалось уговорить ее пойти со мной в ресторан «Браун Дерби».

— Говорят, там кинозвезды так и кишат,— сказал я, чтобы подзадорить ее.

— Они тоже не могут съесть больше одного обеда за раз!

Я ждал, пока Кармен оденется. Походка у нее была такая, будто она всю жизнь носила на голове корзины — библейская и величавая. Я не понимал Кана, я не понимал, почему он давно не женился на ней и не отправился с ней вместе к эскимосам в качестве агента по продаже приемников. Я полагал, что эскимосам должен нравиться другой тип женщин и что они ему не соперники.

Когда такси остановилось перед «Браун Дерби», меня охватило раскаяние. Я заметил, что мужчины в чесучовых костюмах замирают при виде Кармен.

— Минуточку,— сказал я ей.— Только взгляну, есть ли свободные места.

Кармен осталась на улице. В ресторане еще было несколько свободных столиков, но там было и слишком много соблазнителей.

— Все занято,— сказал я, выйдя на улицу.— Вы не будете против, если мы поищем ресторан поменьше?

— Ничуть. Мне это даже больше по душе.

Мы зашли в маленький, темный и пустой ресторан.

— Как вам живется здесь, в Голливуде, Кармен?— спросил я.— Тут не намного скучнее, чем в Нью-Йорке?

Она подняла на меня свои волшебные глаза.

— Я еще не задумывалась над этим.

— А по-моему, здесь скучно и мерзко,— солгал я.— Я рад, что уезжаю.

— Все дело в том, как себя где чувствуешь. У меня нет никого в Нью-Йорке, с кем бы я по-настоящему дружила. А здесь у меня есть хозяйка. Мы отлично понимаем друг друга, разговариваем обо всем на свете. А еще я люблю кур. Они вовсе не такие глупые, как многие думают. В Нью-Йорке я никогда не видела живой курицы. Здесь я знаю их даже по именам, они приходят, когда я их зову. А апельсины! Разве не чудесно, что их можно просто рвать с деревьев и есть сколько хочешь?

Мне стало вдруг ясно, что́ так прельщало Кана в этой женщине. Его, человека утонченного интеллекта и огромной энергии — редчайшее сочетание из всех, какие я когда-либо встречал,— покоряли в Кармен не только наивность, но и первозданная глупость, ей одной только свойственные флюиды.

Подсознательно же его, наверное, влекла к себе первобытная чистота и бездумный покой ее невинной души — впрочем, едва ли такой уж невинной, поскольку трудно было предположить невинную душу в столь обольстительном теле. Конечно, можно представить себе идиллическую лужайку у подножия потухшего вулкана, поросшую примулами и маргаритками, но уж никак нельзя заподозрить в стерильной чистоте помыслов саксонцев, распевающих патриархальные гимны в деревне близ Рюгенвальда.

— Кто дал вам мой адрес? — спросила Кармен, обгладывая куриную ножку.

— Кан прислал мне письмо. А вам нет?

— И мне.— проговорила она с набитым ртом.— Прямо не знаю, что ему писать. Он такой сложный.

— Напишите ему что-нибудь про ваших кур.

— Ему этого не понять.

— А я бы на вашем месте все-таки попробовал. Напишите ему хоть что-нибудь. Он несомненно обрадуется, если вы дадите о себе знать.

Она покачала головой.

— С моей хозяйкой мне гораздо проще. Кан — такой трудный человек. Я его не понимаю.

— Как идут дела в кино, Кармен?

— Великолепно. Получаю деньги и ничего не делаю. Сто долларов в неделю! Где еще столько получишь! У Фрислендера я получала шестьдесят и должна была работать весь день. Кроме того, этот психопат беспрерывно орал на меня, когда я что-нибудь забывала. Да и фрау Фрислендер меня ненавидела. Нет, здесь мне нравится больше.

— А как же Кан?— спросил я после краткого раздумья, хотя мне было уже ясно, что весь наш разговор впустую.

— Кан? Я ему не нужна.

— А, может, все-таки нужны?

— Для чего? Чтобы есть мороженое и глазеть на улицу? Даже не знаешь, о чем с ним говорить.

— И все же вы наверняка ему нужны, Кармен. Вы не хотели бы вернуться?

Она посмотрела на меня своими трагическими глазами.

— Вернуться к Фрислендеру? У него уже есть новая секретарша, над которой он может издеваться. Нет, это было бы безумием! Нет, нет, я останусь здесь, пока этот глупый продюсер платит мне деньги ни за что.

Я посмотрел на нее.

— А кто ваш режиссер?— спросил я осторожно.

— Режиссер? Сильвио Колеман. Я здесь только раз его и видела, всего пять минут. Смешно, правда?

— Я слышал, что нечто подобное бывает довольно часто,— сказал я успокоившись.

— Это даже стало правилом.

Я размышлял о письме Кана. Оно меня взволновало. Я плохо спал, боясь одного из своих ужасных снов. Я ожидал увидеть его еще в ту ночь, после того, как увидел эсэсовцев из фильма, но, к своему удивлению, спал спокойно. Наверное, это объяснялось тем, что под влиянием смехотворной бутафории костюмов первоначальный шок довольно скоро прошел, остался лишь стыд за свою истерическую реакцию. Я думал о словах Кана насчет удара, который неизбежно настигает каждого из нас. В эту ночь мне казалось, что не надо так бурно реагировать — необходимо беречь силы, они еще пригодятся, когда надо мной грянет гром действительности. Наверное, здесь, в Голливуде, легче всего себя к этому приучить. Настолько, что мелкие удары судьбы, которые мне еще предстоит вынести, могут лишь потешить меня, потому что здесь все — бутафория. Надо держать себя в руках, а не превращаться в комок нервов и не впадать в истерику при одном только виде нацистского мундира. Эта мысль пришла мне в голову ранним утром, когда, слушая шуршание пальм под высоким чужим небом, я расхаживал в пижаме вокруг бассейна. Странная, неожиданная, но, может быть, единственно верная мысль.

Танненбаум явился в полдень.

— Что вы чувствовали, когда впервые снимались в фильме, где действовали нацисты?— спросил я.

— Не мог спать по ночам. Но потом привык. Вот и все.

— Да,— сказал я.— То-то и оно.

— Другое дело, если бы я снимался в пронацистском фильме. Но это, разумеется, исключено. Я думаю, что такие фильмы вообще не должны больше появляться после того, что стало известно об этих свиньях.— Танненбаум поправил платок с красной каймой в вырезе своего спортивного пиджака.— Сегодня утром Холт разговаривал с Силверсом, и тот не возражает, если по утрам вы будете работать у нас консультантом. Он говорит, что вы нужны ему главным образом после обеда и вечером.

— Холт уже купил меня у него?— спросил я.— Говорят, нечто подобное происходит и со звездами в Голливуде.

— Разумеется, нет. Он справлялся лишь потому, что вы ему срочно нужны. Кроме вас, у нас в Голливуде нет никого, кто сидел бы в концентрационном лагере.

Я вздрогнул.

— Наверное, за это разрешение Силверс продал ему картину, писанную маслом?

— Понятия не имею. Правда, Силверс показывал Холту картины. Они ему очень понравились.

Я увидел Холта в сиянии полуденного солнца — он расхаживал в широких зеленых брюках вокруг бассейна. На нем была пестрая гавайская рубашка с южным ландшафтом. Заметив меня, он еще издали замахал обеими лапами.

— Хэлло, Роберт!

— Хэлло, мистер Холт.

Он похлопал меня по плечу — жест, который я ненавидел.

— Все еще сердитесь из-за рисунков? Ну, это мы уладим.

Я молча слушал его болтовню. Наконец он перешел к делу. Он хотел, чтобы я посмотрел, нет ли каких ошибок в сценарии и, кроме того, чтобы я был у него своего рода консультантом по костюмам и режиссуре, дабы исключить возможные неточности.

— Это две разные задачи,— сказал я.— Что будет, если сценарий окажется негодным?

— Тогда мы его переделаем. Но сначала ознакомьтесь с ним.— Холт слегка вспотел.— Только это надо сделать быстро. Уже завтра мы хотим приступить к съемке наиболее важных сцен. Могли бы вы сегодня бегло просмотреть сценарий?

Я молчал. Холт достал из портфеля папку.

— Сто тридцать страниц,— сказал он.— Работы часа на два, на три.

Я нерешительно взглянул на желтую папку, потом взял себя в руки.

— Пятьсот долларов,— сказал Холт.— За отзыв в несколько страниц.

— Это очень неплохо,— подтвердил Танненбаум.

— Две тысячи,— возразил я. Если уж продавать себя, так по-крайней мере надо покрыть за этот счет все долги и еще кое-что оставить на черный день.

Холт чуть не расплакался.

— Это исключено!— сказал он.

— Отлично,— ответил я зло.— Меня это вполне устраивает. Терпеть не могу вспоминать о том времени, можете мне поверить.

— Тысячу,— сказал Холт.— Только для вас.

— Две! Ну что это за сумма для человека, коллекционирующего картины импрессионистов!

— Это не по-джентльменски,— сказал Холт.— Плачу ведь не я, а студия.

— Тем лучше.

— Тысячу пятьсот,— скрипнув зубами, сказал Холт.— И триста долларов в неделю за консультацию.

— Идет,— согласился я.— И машину в мое распоряжение, пока я буду у вас консультантом. И еще одно условие: после обеда я должен быть свободен.

— Вот это контракт!— воскликнул Танненбаум.— Как у кинозвезды.

Холт пропустил это мимо ушей. Он знал, что я имею представление о гонорарах кинозвезд.

— Хорошо, Роберт,— сказал он решительно.— Я оставляю вам рукопись. Немедленно приступайте: время не терпит.

— Я начну, как только в руках у меня будет аванс в тысячу долларов, Джо,— сказал я.

— Если вы будете у меня работать только полдня, я, разумеется, буду вынужден сократить вам жалованье,— заявил Силверс.— Скажем, на половину. Это справедливо, вы не находите?

— Слово «справедливо» я уже слышал сегодня несколько раз,— ответил я.— И каждый раз оно не соответствовало действительности.

Силверс вытянул ноги на светло-голубом диване.

— Я считаю свое предложение не только справедливым, но и великодушным. Я даю вам возможность неплохо заработать в другой области. Вместо того чтобы вас уволить, я соглашаюсь на то, чтобы вы работали у меня только время от времени. Вы должны быть мне благодарны.

— К сожалению, это не так,— сказал я.— Лучше увольте меня совсем. Если хотите, мы можем заключить «скользящий» контракт на сле-

дующих условиях: более низкое жалованье, но зато — долевое участие в сделках.

Силверс смотрел на меня, как на редкое насекомое.

— Много вы понимаете в бизнесе! — бросил он презрительно.— На комиссионных не разживетесь.

Он всякий раз раздражался, если кто-нибудь не верил, что продажа картин требует чуть ли не божественного наития.

— Я для вас стараюсь, хочу, чтобы вам дали какую-нибудь работу в кино, а вы...

— Мистер Силверс,— спокойно прервал я его.— Оставим это. Вы же не мне хотите продавать картины, а моему клиенту Холту. Я за то, чтобы Холту вы представили дело так, будто вы оказываете ему огромную любезность, и я уверен, что он с благодарностью будет покупать у вас и впредь. Я только хотел бы, чтобы от меня вы не требовали изъявления благодарности, поскольку благодарить должны скорее вы меня. То, чему вы меня научили, великолепно: высшая цель прилежного коммерсанта заключается в том, чтобы не только содрать с клиента шкуру, но и заставить его благодарить за это. Вы мастер своего дела, но прошу вас меня от этого избавить.

Лицо у Силверса сразу стало каким-то помятым. Казалось, за несколько секунд он постарел на двадцать лет.

— Так,— произнес он тихо.— Я должен вас от этого избавить. А что получаю от жизни я? Вы развлекаетесь на мои деньги. Вы на двадцать пять лет моложе меня, я же вынужден торчать здесь, в этом отеле, поджидая клиентов, точно старый паук. Я воспитываю вас, как сына, а вы злитесь, если я хоть немного поточу о вас свои усталые когти! Выходит, мне и пошутить нельзя?

Я быстро взглянул на него. Мне были знакомы все его трюки со смертью, болезнью и разговорами о том, что никто не может унести с собой в потусторонний мир даже самую крохотную картину, поэтому, видите ли, лучше продавать их симпатичным клиентам здесь, на земле, пусть даже с убытком — не так уж много времени нам отпущено. Мне тоже однажды пришлось заниматься пузырьками с лекарствами, когда изможденный и бледный Силверс — жена слегка подгримировала ему лицо землисто-серым тоном — в своем голубом шлафроке улегся в постель, чтобы «с убытком» продать нефтяному королю из Техаса ужасную картину, изображавшую огромного мертвого жокея с лошадью. Я знал, что свой обычный красный шлафрок Силверс иногда меняет на голубой, так как на голубом фоне ярче выделяется его болезненная бледность. И мне пришлось дважды прерывать его беседу с клиентом и приносить ему лекарство, а на самом деле водку; это была моя идея подавать водку вместо виски, потому что водка не пахнет, тогда как запах виски чуткие ноздри техасца учуяли бы даже за двадцать метров. В конце концов Силверс умирающим голосом продиктовал мне условия соглашения — на этой сделке он заработал двадцать тысяч долларов. Услышав сумму, я машинально округлил глаза в знак безмолвного протеста, но сразу же покорно кивнул. Я знал все трюки Силверса, в которых он был неистощим и которые называл «художественным пусканием пыли в глаза», но нотка горечи, прозвучавшая сейчас в его голосе, была мне в новинку, равно как и следы подлинного изнеможения на лице.

— Вам не вреден этот климат?— спросил я.

— Климат! Я погибаю от скуки. Вот представьте себе,— сказал он.— Приглашаю я со скуки девочку, с которой познакомился в бассейне, миленькое, белокурое, вполне заурядное существо девятнадцати лет — здесь с возрастом надо быть осторожнее: цыплята утверждают, что они уже совершеннолетние, а под дверью караулит мать, чтобы заняться вымогательством,— итак, приглашаю я ее пообедать со мной. Она

приходит. Заказываем немного шампанского, креветки под соусом «Таусенд-айленд», бифштексы—все великолепно приготовлено и сервировано здесь, наверху. У нас радостное настроение, я забываю свою безутешную жизнь, мы идем в спальню. И что же?

— Она начинает орать из окна, что ее насилуют. «Полиция! Полиция!» Так?

Силверс какое-то время размышляет в удивлении.

— Неужто и такое бывает?

— Мой сосед Скотт говорил мне, что это один из самых элементарных способов заработать деньги.

— Да, да! Нет, этого не было. К сожалению, не было. Все получилось гораздо хуже.

— Она, конечно, потребовала денег. Это всегда удручающе действует на людей, привыкших к тому, чтобы их любили,— сказал я с издевкой.— Сто долларов.

— Хуже.

— Значит, тысячу. Это уже, прямо скажем, наглость!

Силверс махнул рукой.

— Она действительно потребовала кое-что, но не в этом дело.— Он приподнялся со своего светло-голубого дивана и, грясясь от злости, пропищал тоненьким голоском:— «Что ты мне подаришь, если я влезу к тебе в кроватку...» А потом, как взрыв бомбы: «Daddy [1]».

Я с интересом слушал его рассказ.

— Daddy!— воскликнул я.— У нас в Европе так называют папашу. Тяжелый удар, когда тебе за пятьдесят. Однако здесь в этом нет ничего оскорбительного. Здесь «daddy» ласкательно называют тридцатилетних. Так же, как девяностолетних называют «darling» [2] или «girl» [3]. Америка — молодая нация, и она боготворит молодость.

Силверс слушал меня с видом человека, которого ранили пулей в живот. Потом он покачал головой.

— К сожалению, все выглядело иначе. Я мог бы надавать себе оплеух за то, что не удержал язык за зубами, но разве может коммерсант смолчать? Растерявшись, я спросил, что она имеет в виду. Понимаете, я, разумеется, готов был заплатить — и вполне прилично. Я ведь известен своей добротой, меня только расстроило это слово «daddy». Оно прозвучало для меня как «дедушка». Но она решила, что я буду скупердяйничать, и напрямик заявила своим деревянным кукольным голоском, что если уж она идет бай-бай — так и сказала: «бай-бай с таким стариком», то, естественно, должна на этом что-нибудь заработать. У «Баллокса» на Уилшер-бульваре она видела пальто из верблюжьей шерсти. И было бы...

Силверсу отказал голос.

— И как же вы поступили?— спросил я с интересом. Мне понравилось выражение «деревянный кукольный голосок».

— Как поступает джентльмен в подобной ситуации! Заплатил и выкинул нахалку вон.

— Заплатили сполна?

— Отдал все, что было под рукой.

— Да, это все не очень приятно, я вас понимаю.

— Вы меня вообще не понимаете!—раздраженно воскликнул Силверс.— Это не финансовый шок, а психологический, когда дешевая потаскуха называет вас старым развратником. Да и как вам это понять? Вы один из самых бесчувственных людей, каких мне приходилось видеть.

---

[1] Папочка *(англ.)*.
[2] Дорогуша *(англ.)*.
[3] Детка *(англ.)*.

— Это верно. Кроме того, существуют вещи, которые понятны только твоим ровесникам, например, разница в возрасте. И чем больше стареешь, тем заметнее становится эта разница. Восьмидесятилетние считают семидесятивосьмилетних молокососами и озорниками. Странное явление!

— Странное явление! Это все, что вы можете сказать?

— Разумеется,— ответил я осторожно.— Вы же не ждете от меня серьезного отношения к такой чепухе, господин Силверс.

Он уже готов был вспылить, но вдруг в глазах его, глазах антиквара, вспыхнула искра надежды, как будто профессор Макс Фридлендер подтвердил подлинность принадлежавшего Силверсу сомнительного Питера де Коха.

— Просто это звучит забавно, когда речь идет о таком человеке, как вы,— продолжал я.

Он задумался.

— А что будет, если такая штука повторится? Естественным следствием будет импотенция. Уже на этот раз у меня было такое ощущение, будто на меня выплеснули ушат ледяной воды. Что мне делать с этим страхом, который сидит во мне?

— Тут есть два пути,— сказал я после недолгого раздумья.— Первый: напиться и как гусар — вперед без разбора, правда, есть одно «но»: в состоянии опьянения многие становятся импотентами, пока не протрезвеют, таким образом, здесь двойной риск. Второй путь — это тактика гонщика после аварии: немедля пересесть на другой автомобиль и продолжать гонку. Тут уж шок исключен — нет времени.

— Но у меня-то он был!

— Это вы себе внушили, господин Силверс. Боязнь неудачи стала вашей навязчивой идеей, только и всего.

Слова благодарности застряли у него в бороде.

— Вы так считаете?

— Совершенно определенно.

Он стал заметно успокаиваться.

— Странно,— сказал он немного спустя.— Как неожиданно все может утратить всякий смысл — успех, положение, деньги — от одного простого, глупого слова какой-то девчонки! Будто все на свете тайком стали коммунистами.

— Что?

— Я хочу сказать, что все люди равны — никому не скрыться.

— Ах вот как вы это воспринимаете!— сказал я.

Силверс ухмыльнулся. Он снова был на коне.

— Я полагаю, ни один человек не верит, что стареет. Он понимает это, но не верит.

— А вы сами? Верите? Так как же насчет моего увольнения?

— Мы можем оставить все по-прежнему. Достаточно и того, что вы по вечерам будете в моем распоряжении.

— После семи часов — сверхурочные.

— Вы будете получать жалованье. И никаких сверхурочных. В данный момент вы зарабатываете больше, чем я.

— А ваш шок полностью прошел, господин Силверс! Полностью!

XXVI

Я просидел над рукописью несколько часов. Многие ситуации казались мне надуманными, и вообще весь сценарий был неудачен. Я правил рукопись до часу ночи. Часть сцен была состряпана по вульгарным шаблонам популярных ковбойских фильмов о Диком Западе. Та же

гангстерская мораль, те же банальные ситуации, когда противники одновременно выхватывают пистолеты и каждый старается выстрелить первым. Все это по сравнению с тем, что происходило в Германии с ее бюрократически рассчитанными убийствами, с воем бомб и грохотом орудий, производило впечатление безобидного фейерверка. Я понял, что даже у авторов, набивших руку на фильмах ужасов, не хватает фантазии, чтобы представить себе все происходившее в третьем рейхе. Как ни странно, но это не поразило меня так сильно, как я боялся,— примитивность этой писанины, наоборот, настроила меня на иронический лад.

К счастью, Скотт позвал меня на коктейль из тех, что затягиваются до бесконечности. Я спустился к бассейну, где сидели гости.

— Готово, Роберт? — спросил Скотт.

— Нет еще, но на сегодня с меня хватит. А сейчас мне хочется чего-нибудь выпить.

— У нас есть настоящая русская водка и виски любой марки.

— Виски,— сказал я.— Мне не хотелось бы сразу напиваться до бесчувствия.

Я вытянулся в шезлонге, поставил стакан прямо на землю и, закрыв глаза, стал слушать музыку из фильма «Серенада Солнечной долины». Через некоторое время я снова открыл глаза и посмотрел в калифорнийское небо. И мне показалось, будто я плыву в прозрачном бездонном море без горизонта, без конца и края. Внезапно около меня раздался голос Холта.

— Что, уже утро? — спросил я.

— Еще нет. Я просто пришел взглянуть, чем вы тут занимаетесь,— ответил он.

— Я пью виски. Наш контракт вступает в силу только завтра. Еще есть вопросы?

— Вы читали сценарий?

Я повернулся и стал рассматривать его озабоченное помятое лицо. Говорить о сценарии я не желал, мне хотелось забыть прочитанное.

— Завтра,— отрезал я.— Завтра вы получите сценарий со всеми моими замечаниями.

— Почему не сейчас? Тогда к завтрашнему дню я подготовил бы все, что нам необходимо. Так мы сэкономим целых полдня. Время не терпит, Роберт.

Я понял, что отделаться от него мне не удастся. «А правда, почему не сейчас?» — подумал я. Почему не здесь, где столько девочек и водки, под безмятежным ночным небом этого сумасшедшего мира? Почему не растолковать ему здесь, чего стоит его сценарий, вместо того чтобы глушить снотворным свои воспоминания?

— Хорошо, Джо. Давайте сядем где-нибудь в сторонке.

Через час после начала коктейля я уже перечислял Холту ошибки, допущенные в сценарии.

— Такие мелочи, как неверные знаки отличия, неполадки с мундирами, сапогами, фуражками устранить легко,— начал я.— Куда существеннее сама атмосфера фильма. Она не должна быть мелодраматичной, как в вестерне. Иначе, по сравнению с немецкой действительностью, это будет выглядеть лишь беззлобным скетчем.

Холт колебался.

— Но этот фильм должен принести доход,— сказал он наконец.

— Что?

— Студия вкладывает в него почти миллион долларов. Это значит, что прокат должен дать более двух миллионов, прежде чем мы получим

первый доллар. Зрители должны валом валить на этот фильм, понимаете?

— И что же?

— Тому, о чем вы говорите, Роберт, у нас никто не поверит! Скажите по совести, все действительно так, как вы сказали?

— Хуже. Много хуже.

Холт плюнул в воду.

— У нас этому никто не поверит.

Я поднялся с места. Голова у меня трещала. Теперь я в самом деле был сыт по горло.

— Тогда оставьте это, Джо. Неужели это издевательство никогда не кончится?! Америка воюет с Германией, а вы убеждаете меня, будто ни одна душа не поверит в злодеяния немцев!

Холт хрустнул пальцами.

— Я-то верю, Роберт. А хозяева студии и публика — нет. Никто не пойдет на такой фильм. Тема и без того достаточно рискованная. А мне хочется сделать этот фильм, Роберт. Но хозяев студии не переубедишь! Я бы предпочел снять документальный фильм, но он, без сомнения, провалился бы. Студия настаивает на мелодраматическом фильме.

— С похищенными девушками, истерзанными кинозвездами и бракосочетанием в финале? — перебил я его.

— Не обязательно. Но, разумеется, с побегом, дракой и щекотанием нервов.

К нам пришвартовался Скотт.

— Прошел слух, что здесь не хватает спиртного.

Он поставил на край бассейна бутылку виски, бутылку воды и два пустых стакана.

— Переносим пир в мою конуру. Если нуждаетесь в корме, гребите за мной. Есть бутерброды и холодная курица.

Холт схватил меня за рукав.

— Еще десять минут, Роберт. Только десять минут, чтобы обсудить практические вопросы. Остальное — завтра.

Десять минут превратились в целый час. Холт был типичным порождением Голливуда: ему хотелось бы сделать что-то стоящее, но он мог пойти и на любые компромиссы и еще пытался при этом доказывать, что решает серьезные художественные проблемы.

— Вы должны мне помочь, Роберт,— сказал он.— Мы должны постепенно, шаг за шагом, претворять в жизнь наши идеи — petit à petit [1], а не одним махом, не наспех.

Это французское выражение меня добило. Я быстро простился с Холтом и пошел к себе. Некоторое время я лежал на кровати, кляня себя на чем свет стоит. Потом решил, что завтра позвоню Кану — ведь у меня теперь есть деньги. Я решил позвонить и Наташе; до сих пор я написал ей только два коротких письмеца, да и то с большим трудом. Она была не из тех, кому пишут длинные письма. Так мне, по-крайней мере, казалось. Скорее всего, она предпочитала телефонные разговоры и телеграммы. Но на таком расстоянии мне трудно будет выразить свои чувства. Когда она рядом, все хорошо, все полно значения, все волнует, а когда ее нет — она кажется далекой и недоступной, как северное сияние. Однако стоит ей появиться в дверях — и все возвращается на круги своя, это я заметил еще в Нью-Йорке.

Размышляя об этом, я подумал, почему бы мне ей не позвонить сейчас. Разница во времени с Нью-Йорком составляла три часа. Я заказал разговор и вдруг почувствовал, что сгораю от нетерпения.

Откуда-то, очень издалека, послышался ее голос.

— Наташа,— начал я,— это я, Роберт.

[1] Понемногу, не торопясь *(франц.)*.

— Кто?
— Роберт.
— Роберт? Ты где? В Нью-Йорке?
— Нет, в Голливуде.
— В Голливуде?
— Да, Наташа. Ты что, забыла? Что с тобой?
— Я спала.
— Так рано?
— Но сейчас уже полночь. Ты меня разбудил. Что случилось? Ты приезжаешь?

«О, черт! — подумал я.— Вечная моя ошибка. Я перепутал время».

— Спокойной ночи, Наташа. Завтра я позвоню снова.
— Хорошо. Ты приезжаешь?
— Еще нет. Я все объясню тебе завтра. Спи.
— Ладно.

«Сегодня у меня был трудный день,— думал я.— Не надо было мне звонить. И многое не надо было делать из того, что я делал». Я злился на себя. Во что я впутался? Какое мне дело до Холта? И зачем мне все это? Я немного подождал, а потом позвонил Кану. У Кана был чуткий сон. И он ответил сразу.

— Что случилось, Роберт? Почему вы звоните?

Мы, эмигранты, еще не привыкли пользоваться телефоном, как американцы, для нас разговор на большом расстоянии все еще связан был с чем-то чрезвычайным или с несчастным случаем.

— Что-нибудь с Кармен? — спросил он.
— Нет, но я ее видел. Кажется, она хочет остаться здесь.

Некоторое время он молчал.

— Может, она еще передумает: она ведь там не так уж давно. У нее кто-нибудь есть?
— Не думаю. Разве что хозяйка, у которой она живет. Никого больше, мне кажется, она не знает.

Он рассмеялся.

— А когда вы возвращаетесь?
— Мне, наверное, придется задержаться.

Я рассказал ему историю с Холтом.

— Что вы на это скажете? — спросил я.
— Работайте, работайте! Вас, надеюсь, не мучает совесть? Это было бы просто смешно. Или все же мучает? Из чувства патриотизма?
— Нет.— Мне вдруг стало совершенно непонятно, для чего я ему, собственно, звонил.— Я думал о вашем письме.
— Самое главное — пробиться,— сказал Кан,— а уж как — это ваше дело. Я рад, что вас волнует эта проблема, вы решаете ее сейчас, так сказать, в общих чертах и находясь в безопасности, но когда-нибудь всем нам придется заняться ею — и тогда уже всерьез. Это опасность, которая нас подстерегает. Вы сделали первый шаг, но вы можете все послать к черту, когда вам это надоест. Здесь, в Штатах, это еще можно, но позже, *там*, все будет по-другому. Считайте, что вы приняли боевое крещение, если хотите, так, что ли?
— Именно это мне и хотелось услышать.
— Ну и хорошо.— Он рассмеялся.— Не давайте Голливуду сбить вас с толку, Роберт. В Нью-Йорке вы меня не стали бы спрашивать, как поступить. И это естественно. А Голливуд изобретает глупые этические стандарты, ибо сам во власти коррупции. Смотрите, не станьте жертвой этой милой системы. Даже в Нью-Йорке трудно сохранять трезвый, деловой подход к жизни. Вы видели это на примере Грефенгейма. Его самоубийство бессмысленно — просто проявление слабости. Он все равно никогда не сумел бы вернуться к жене.

— Как поживает Бетти?

— Бетти борется. Хочет пережить войну. Ни один врач не смог бы прописать ничего лучшего. Вы что, стали миллионером — ведете разговоры по телефону через весь континент?

— Пока нет.

Я еще некоторое время пробыл у себя в номере. Дверь была открыта, и я видел кусочек ночи, край освещенного бассейна и верхнюю часть пальмы, одиноко шуршавшей под порывами ночного ветра и что-то бормотавшей про себя. Я думал о Наташе и Кане и о том, что сказал Кан.

Самый трудный час нашего цыганского бытия пробьет тогда, когда, наконец, мы поймем, что мы никому не нужны. Пока мы еще живем иллюзиями, что все переменится с окончанием войны. Но когда наступит прозрение — все рухнет, и вот тогда-то настанет пора настоящих скитаний.

Это была удивительная ночь. А тут еще пришел Скотт, захотевший взглянуть на рисунок Ренуара, который я привез от Силверса. О том, что он очень пьян, можно было догадаться лишь по его неимоверной настойчивости.

— Мне никогда и не снилось стать обладателем картины Ренуара,— признался он.— Еще два года назад у меня было слишком мало денег. Теперь в голове у меня — словно рой пчел — жужжит одна только мысль: хочу собственного Ренуара! И я должен его получить! Сегодня же!

Я снял рисунок со стены и передал ему.

— Вот, держите, Скотт.

Он благоговейно взял его в руки.

— Это он сам рисовал,— произнес он.— Собственноручно. И теперь это мое! Бедный парень из Айова-Сити, из квартала бедняков. По этому случаю надо выпить. У меня, Роберт. С рисунком на стене. Я его немедленно повешу.

Комната Скотта была похожа на поле битвы: повсюду стаканы, бутылки и тарелки, на которых валялись сандвичи и топорщились выгнувшиеся, подсохшие куски ветчины. Скотт снял со стены фотографию Рудольфа Валентино в роли шейха.

— Как здесь смотрится Ренуар? Как реклама виски, а?

— Здесь он выглядит лучше, чем у какого-нибудь миллионера. У тех — это лишь реклама тщеславия.

Я пробыл у Скотта целый час — он рассказывал мне о своей жизни, пока не начал клевать носом. Он считал, что юность его была ужасна, потому что он был очень беден и ему приходилось продавать газеты, мыть посуду и сносить множество мелких унижений. Я не пытался сравнивать его жизнь с моею и выслушал его рассказ без иронии.

— Думал ли кто-нибудь, что я смогу выписать чек за Ренуара!— пробормотал он.— Прямо страх берет, а?

Я вернулся к себе. Вокруг электрической лампочки кружило какое-то насекомое с прозрачными зелеными крылышками. Я рассматривал его некоторое время; казалось, будто золотых дел мастер выточил эту тончайшую филигрань, непостижимое произведение искусства — само изящество и трепетная жизнь,— и это существо безоглядно шло в огонь, как индийская вдова. Я поймал насекомое и выпустил в прохладу ночи. Через минуту оно опять было в комнате. Я понял, что должен либо заснуть, либо оборвать жизнь этого крошечного существа. Заснуть мне не удавалось. Когда я снова открыл глаза, в дверях стояла какая-то фигура. Я схватил лампу — как орудие защиты в случае необходимости. На пороге была молоденькая девушка в слегка измятом платье.

— О, простите,— сказала она, жестко произнося слова.— Можно войти?

Она сделала шаг в комнату.

— Вы уверены, что попали в нужный номер? — спросил я.

Она улыбнулась.

— В такой час это уже все равно, правда? Я заснула на воздухе. Я очень устала.

— Вы были на вечеринке у Скотта?

— Возможно — я не знаю, как его зовут. Меня кто-то привел сюда. А теперь все ушли. Мне надо дождаться утра. И вот я заметила свет в вашем окне. Можно я посижу здесь на стуле? На улице роса, сыро и холодно.

— Вы не американка? — задал я идиотский вопрос.

— Мексиканка. Из Гвадалахары. Разрешите мне побыть здесь, пока не пойдет автобус.

— Могу дать вам пижаму,— сказал я.— И одеяло. На диване вам будет удобно. Вон там ванная, можете переодеться. У вас все платье промокло. Повесьте его на стул — так оно скорее высохнет.

Она быстро взглянула на меня.

— Вы, оказывается, знаете женщин?

— Я просто практически смотрю на вещи. Можете принять и горячую ванну, если вам холодно. Здесь вы никому не помешаете.

— Благодарю вас. Я буду очень тихо.

Девушка прошла по комнате. Она была изящной, с черными волосами и узкими ступнями и невольно напомнила мне насекомое с прозрачными крылышками. Я посмотрел, не вернулось ли оно опять, но ничего не увидел. Зато теперь ко мне залетело другое создание. Без лишних слов — будто так и надо, будто это самое обычное дело на свете. Вероятно, так оно и есть. С непонятным мне самому умилением я прислушивался к плеску воды в ванной. Я настолько привык к необычному, что повседневная тишина и спокойствие казались мне чем-то удивительным. Несмотря на это или как раз поэтому, я спрятал между книгами чек, который дал мне Скотт и который я после обеда собирался вручить Силверсу. Не к чему искушать судьбу.

Проснулся я довольно поздно. Девушки уже не было. На салфетке я обнаружил следы губной помады. Наверное, она оставила это мне как безмолвный привет. Я принялся искать чек. Он оказался на месте. Ничего не исчезло. Я даже не знал, спал ли я с нею. Мне только вспомнилось, что она вроде бы стояла у моей кровати и мне казалось, что я чувствовал наготу ее тела, прохладного и гладкого; но я не был уверен, произошло ли что-нибудь еще.

Я отправился на студию. Было уже десять часов, но я вспомнил, что вечером провел два часа с Холтом, а этого нельзя не учитывать. Холт сразу завел разговор о сцене, которую снимал. Еще издали я услышал «Хорст Вессель». Холту хотелось знать, на каком языке следует его исполнять — на английском или на немецком. Я посоветовал на немецком. Он возразил, что последующий английский текст тогда прозвучит диссонансом. Мы попробовали оба варианта. Я пришел к выводу, что когда эсэсовцы говорят по-английски, это производит странное впечатление. И уже не так действует. Казалось, передо мной была не имитация действительности, а театр — и к тому же иноязычный.

После обеда я принес Силверсу чек Скотта.

— Второй рисунок вы не продали? — последовал вопрос.

— Вы что, не видите, что ли? — сказал я зло.— Тогда сумма на чеке была бы в два раза больше.

— Лучше было продать другой рисунок. Тот, что сделан сангиной,— более ценный. Продавать оба вместе куда выгоднее.

Я молча смотрел на него и спрашивал себя, может ли он хоть когда-нибудь говорить прямо, без всяких трюков. Наверное, и перед смертью он выкинет какой-нибудь трюк, даже если будет знать, что это ему уже не поможет.

— Мы приглашены на вечер,— сказал он наконец.— Часам к десяти.

— На ужин?

— Нет, позднее. От ужина я отказался. Вы поедете со мной на виллу Веллера.

— В качестве кого? — спросил я.— Как эксперт из Лувра или как бельгийский искусствовед?

— В качестве эксперта из Лувра. Вы заранее должны доставить туда картину Гогена. Лучше всего сейчас. Повесьте ее там, если можно. Так это произведет больше впечатления. Я полагаюсь на вас. Когда картина висит на стене, ее в два раза легче продать, чем ту, которая стоит на полу или на стуле. Можете взять такси.

— Не надо,— высокомерно сказал я.— У меня есть машина.

— Что?

— Со студии.— Я умолчал, что речь идет о «форде» старой модели.

На какое-то время это дало мне преимущество перед Силверсом. Вечером, в половине десятого, он даже предложил поехать на виллу Веллера в моей машине. Но, увидев ее, отскочил и хотел вызвать по телефону «кадиллак». Однако я убедил его поехать на «форде»: для первого знакомства так будет лучше — это произведет более серьезное впечатление, ведь «кадиллаков» и «роллс-ройсов» здесь — хоть пруд пруди. У каждой мелкой кинозвезды такая машина, а «форд» в государстве, где все не прочь похвастаться своей собственностью, может произвести сенсацию в лучшем смысле слова.

— Именно так я и сделаю,— сказал Силверс, обладавший привычкой всех неуверенных в себе людей всегда убеждать себя в своей правоте.— Я как раз собирался взять напрокат очень старый, подержанный «кадиллак», но ведь «форд» в конце концов почти то же самое.

Мы попали на просмотр: в Голливуде уже утвердился обычай устраивать просмотры после ужина у продюсера. Я потешался над Силверсом, который был сама предупредительность, хотя внутренне сгорал от нетерпения. На нем был шелковый смокинг и туфли-лодочки. Я же надел синий костюм. В этой компании было больше синих костюмов, чем смокингов, и Силверс чувствовал себя неуютно в своей парадной одежде. Он бы с удовольствием поехал домой переодеться. И, конечно, в своей неосведомленности обвинил меня, хотя днем, кроме лакея Веллера и его престарелой матери, я никого не видел.

Прошло почти два часа, прежде чем снова вспыхнул свет. К своему удивлению, среди гостей я увидел Холта и Танненбаума.

— Как это мы все вдруг оказались на этом коктейле? — спросил я.— В Голливуде всегда так?

— Ну, Роберт,— укоризненно сказал Холт.— Веллер ведь наш босс! У него снимается наш фильм. Разве вы не знали?

— Нет. Откуда мне было знать?

— Счастливый человек! Я немедленно скажу ему, что вы здесь. Ему наверняка захочется с вами поговорить!

— Я здесь с Силверсом. Совсем по другому делу.

— Могу себе представить! Я уже видел эту разряженную обезьяну. Почему вы не приехали к ужину? Подавали фаршированную индейку. Настоящий деликатес. Это здесь едят поздней осенью. В Штатах это традиционное блюдо, как в Европе рождественский гусь.

— Мой шеф был занят и не мог приехать к ужину.

— Ваш шеф не был приглашен на ужин. Если бы Веллеру было известно, что вы приедете с ним, он наверняка бы вас позвал. Он знает, кто вы. Я рассказал ему.

Какой-то миг я наслаждался мыслью, что Силверс был принят у Веллера благодаря мне. И я размышлял о том, как он будет извиваться, чтобы, несмотря ни на что, доказать мне свое превосходство. Потом я забыл о нем и стал разглядывать гостей. Я увидел довольно много молодых людей благообразного вида. А кроме того — с полдюжины киногероев, которых я знал по приключенческим фильмам и вестернам.

— Я понимаю, какой вопрос вертится у вас на языке,— сказал Холт.— Почему они не на войне? Некоторые слабы здоровьем, получили травмы, играя в футбол или теннис, другие — во время работы, третьим кажется, что без них здесь не обойтись. Но очень многие пошли на войну, даже те, от которых этого просто нельзя было ожидать. Вы ведь хотели спросить именно это, не правда ли?

— Нет. Я хотел спросить, уж не присутствуем ли мы на встрече полковников. Здесь их такая прорва!

Холт рассмеялся.

— Это наши голливудские полковники. Все они, не проходя службы, стали сразу капитанами, майорами, подполковниками, полковниками и вице-адмиралами. Капитан, которого вы видите вон там, никогда не плавал дальше Санта-Моники; а вон тот адмирал — обладатель удобного мягкого кресла в Вашингтоне. Полковники — это на самом деле кинопродюсеры, режиссеры и сотрудники, прикомандированные к киноотделу армии. Ниже майора здесь никого нет.

— Вы тоже майор?

— У меня порок сердца, и я снимаю антинацистские фильмы. Смешно, правда?

— Вовсе нет. То же самое творится во всем мире. Думаю, даже в Германии. Солдат нигде не видно. Всюду шныряют только тыловые крысы. Это не относится к вам, Холт. Сколько здесь красавцев! Наверное, именно таким и должен быть настоящий праздник.

Холт рассмеялся.

— Вы же в Голливуде, старина! И вы нигде больше не найдете столько красавцев! Тут каждый может продать свою внешность с максимальной прибылью! Конечно, я исключаю режиссеров и продюсеров. А вот и наш босс Веллер!

К нам подошел маленький человечек в форме полковника. От улыбки все лицо у него пошло морщинками, он производил сугубо штатское впечатление. Услышав, что я работаю с Холтом, он сразу же отвел меня в сторону. Силверс сделал большие глаза,— одинокий и никому не нужный, он сидел в кресле, откуда видна была картина Гогена, к которой пока что никто не проявлял интереса. Полотно Гогена сияло как пятно южного солнца над роялем, вокруг которого, как я опасался, скоро начнет собираться хор.

Я с трудом выбрался из кольца окруживших меня людей. Вдруг я стал тем, чем никогда не был и к чему совсем не стремился — этаким салонным львом, явившимся из царства ужасов. Веллер с гордой улыбкой представил меня как человека, сидевшего в концентрационном лагере. И тут ко мне стали проявлять интерес киногерои и девушки с кожей, напоминающей персик. От стеснения я начал потеть и то и дело сердито поглядывал на Холта, хотя он в общем-то был неповинен в создавшейся ситуации. Через некоторое время меня спас Танненбаум. Он весь вечер шнырял вокруг меня, как кошка вокруг тарелки с гуляшом, и, воспользовавшись первой же возможностью, предложил выпить с ним, так как хотел поведать мне какой-то секрет.

— Двойняшки пришли,— прошептал он.

Я знал, что в фильме Холта он обеспечил им две небольшие роли.

— Слава богу! — воскликнул я.— Теперь страданья вам гарантированы.

Он покачал головой.

— Как раз наоборот: полный успех!

— Что? У обеих? Поздравляю!

— Нет, не у обеих. Это невозможно. Двойняшки ведь католички. Только у одной.

— Браво! Никогда бы не подумал. При вашей-то тонкой и сложной душевной организации!

— Я тут ни при чем! — проворковал счастливый Танненбаум.— Так получилось в фильме!

— Понимаю. Потому-то вы и припасли роли для обеих.

— Не в том дело. Я уже дважды их устраивал. Двойняшек всегда можно использовать в фильмах на второстепенных ролях. Раньше ничего не получалось. Но теперь!

— Еще раз поздравляю.

— Я играю группенфюрера. Как вам, наверное, известно, я последователь системы Станиславского. Чтобы быть на высоте, я должен войти в роль. Если играешь убийцу, ты должен чувствовать себя убийцей. Ну, а если группенфюрера...

— Понимаю. Но ведь двойняшек нигде не встретишь порознь. В этом-то и состоит их сила.

Танненбаум улыбнулся.

— Для Танненбаума это, конечно, сложно, но не для группенфюрера! Когда они явились ко мне в бунгало, я был в форме. Я сразу же наорал на них да так, что у них душа ушла в пятки. Одну в полном страхе я отправил в костюмерную примерять костюм, другой велел остаться, закрыл дверь, а потом, не снимая мундира, повалил ее на диван, как настоящий группенфюрер. И представьте себе: вместо того чтобы расцарапать мне физиономию, она была тиха, как мышка. Такова сила мундира. Никогда бы не подумал. А вы?

Я вспомнил первый вечер, проведенный в студии, и сказал:

— Пожалуй, нет. Но как станут развиваться события, когда вы будете не в мундире, а в своей великолепной спортивной куртке?

— Уже пробовал,— сказал Танненбаум.— Дух остается. Возможно, потому, что так уже было однажды. Словом, дух остается.

Я склонил голову перед группенфюрером в штатском.

— Маленькая компенсация за большое несчастье,— произнес я.— Утверждают, что и после последнего страшного извержения Везувия люди пекли яйца в горячем пепле.

— Такова жизнь,— сказал Танненбаум.— Может, я привередничаю, но что-то меня одолевают сомнения: та ли из двойняшек попалась мне в руки?

— Как это? Их ведь невозможно отличить.

— В постели можно. Везель поведал мне, что одна из них настоящий вулкан. А моя что-то спокойная.

— Может, это объясняется вашим духом.

Лицо Танненбаума прояснилось.

— Возможно. Об этом я не подумал. Но что тут поделаешь?

— Подождите до следующего фильма. Может, сыграете в нем пирата или шейха.

— Шейха,— сказал Танненбаум.— Шейха с гаремом. По системе Станиславского.

Ночь была необычайно тихая, когда я вышел в парк «Садов аллаха». Было еще не так поздно, но все, казалось, давно погрузилось в сон. Я присел у бассейна, и вдруг меня охватила беспричинная грусть — будто туча заволокла солнце. Я сидел и ждал, когда же из воспоминаний возникнут тени, образы прошлого, чтобы я мог понять, откуда эта внезапная депрессия, которая, как я сразу почувствовал, была иной, чем прежде. Она не угнетала меня, не мучила. Мне уже знаком был страх смерти, отличный от всех прочих страхов и далеко не самый жуткий. Мое странное состояние чем-то напоминало этот страх, но было куда спокойнее. Оно было самым безмятежным и безболезненным из всех, пережитых мною,— несказанная грусть, светлая, почти прозрачная и зыбкая. Я понял, что слова пророка о боге, являющем себя не в буре, а в тишине, могут быть приложимы и к смерти и что может наступить безвольное, медленное угасание, безымянное и совсем не страшное. Я сидел так очень долго, пока не ощутил, как ко мне незаметно возвращается жизнь, подобно шуму прилива, постепенно нарастающему после беззвучного отлива. Наконец я встал, вернулся к себе в номер и прилег на кровать. Я слышал только тихий шелест пальмовых листьев, и мне казалось, что настал час, противостоящий моим снам,— час, который подвел своеобразный метафизический итог всей моей жизни; я понимал, что это состояние временное и не может породить надежду, но вместе с тем почувствовал странное утешение. Поэтому я нисколько не удивился, когда опять увидел прозрачное насекомое с зелеными крылышками, порхавшее в расплывчатом свете ночника.

XXVII

Через две недели Силверс уехал в Нью-Йорк. Как ни странно, но в Калифорнии ему удалось продать гораздо меньше картин, чем в Нью-Йорке. Никто здесь не рассматривал картины как символ благополучия, вообще деньги здесь не были самым главным, они были чем-то само собой разумеющимся, так же как и то, что называют славой,— просто одно без другого не мыслилось. Известность неизбежно сочеталась с деньгами. В Нью-Йорке известность миллионеров не выходила за пределы их собственного круга, и для расширения этой известности требовалось совершить нечто из ряда вон выходящее. И Силверс своими трюками и особенно всегдашними уверениями, что «он, собственно, не желает продавать, сам являясь коллекционером», привлекал к себе внимание акул, которые в своем желании прослыть знаменитыми коллекционерами все эти уловки принимали за чистую монету.

В конце концов он с трудом продал Веллеру Гогена, но для этого ему скрепя сердце пришлось прибегнуть к моей помощи. Для Веллера я был куда более важной персоной, нежели Силверс. Веллеру я был нужен для фильма, в Силверсе же он не нуждался. Оскорбленный Силверс уехал в Нью-Йорк: самолюбие пересилило жажду наживы.

— Оставайтесь здесь и будьте своего рода «форпостом» моей фирмы,— сказал он.— Вы уже спелись со здешними лощеными варварами.

Комиссионные за проданные мною картины он хотел включить в счет моего жалованья. Я отклонил его предложение, так как мог жить на гонорар, который платил мне Веллер за работу в качестве консультанта. Силверс уступил только в день отъезда. Я получил небольшой процент от проданного мною, но зато он вдвое урезал мне жалованье.

— Я отношусь к вам, как к сыну,— сказал он раздраженно,— в другом месте вам пришлось бы уплатить за все, чему вы у меня научились. Вы прошли у меня настоящий университет по бизнесу! А у вас в голове только одно — деньги, деньги, деньги! Ну, что за поколение!

Утром я пришел к Холту. Моя работа была довольно проста. То, что автор сценария по привычке рядил в цветистые одежды гангстерских и ковбойских фильмов, я должен был трезво, без шизофренических вывихов и излишней экзальтации, переложить на язык тупой бюрократии «машины убийств» XX столетия, запущенной обывателями с «чистой» совестью. А Холт продолжал твердить: «Никто нам не поверит! Это психологически неоправданно!»

Об убийствах и палачах у него были весьма романтические представления, которые он пытался воплотить на экране во имя достоверности. Своеобразие этих представлений заключалось в том, что чудовищные деяния непременно должны были сочетаться со столь же чудовищным обликом.

Он готов был признать, что отрицательным персонажам вовсе не обязательно все время быть отталкивающими, однако их спонтанная чудовищность должна была так или иначе проявляться, в противном случае изображаемые характеры утратили бы психологическую достоверность. Он был стреляный воробей во всем, что касалось кино, и его нервы щекотал любой контраст: он готов был, например, приписать коменданту концентрационного лагеря нежнейшую любовь к животным — и особенно к ангорским кроликам, которых он никогда и ни за что не позволил бы зарезать,— и все для того, чтобы ярче оттенить его жестокость. Холт считал этот прием реалистическим и рассердился, когда я назвал его романтическим.

Самое страшное — это обыватели, люди, которые со спокойной совестью выполняют свою кровавую работу так же старательно, как если бы они пилили дрова или делали детские игрушки,— эту безусловную для меня истину я никак не мог донести до сознания Холта. Тут уж он бунтовал, ему это казалось недостаточно эффектным и вдобавок совершенно не соответствовало тому, чему он научился на пятнадцати своих фильмах ужасов и убийств. Он не верил, когда я говорил, что совершенно нормальные люди так же старательно уничтожают евреев, как в иных условиях старательно занимались бы бухгалтерией. После окончания всего этого хаоса они снова станут санитарами, владельцами ресторанов и министерскими чиновниками, не испытывая при этом ни малейшего раскаяния в содеянных преступлениях, и постараются быть хорошими санитарами и владельцами ресторанов, будто всего происшедшего не было и в помине, а если и было, то полностью исчерпывалось и искупалось магическими словами «долг» и «приказ». Это были первые автоматы автоматического века, которые, едва появившись, опрокинули законы психологии, до сих пор тесно переплетавшиеся с этическими законами. В созданном ими мире убивали без вины, без угрызений совести, без чувства ответственности, а убийцы были самыми уважаемыми гражданами, получавшими дополнительный шнапс, высшие сорта колбасы и наградные кресты не за то, что они были убийцами, а просто потому, что у них была более напряженная работа, чем у простых солдат. Единственной человеческой чертой, делавшей их похожими на всех прочих, было то, что своими привилегиями они пользовались без тени смущения, ибо никто из них не горел желанием идти на фронт, а когда начались планомерные бомбежки и опасность нависла даже над провинциальными городками, отдаленные концентрационные лагеря оказались наиболее надежным убежищем по двум причинам: во-первых, потому что они были расположены на отшибе, и во-вторых, потому что враг, не желая уничтожать противников режима, тем самым был вынужден щадить и палачей.

Реакция вконец измученного Холта на все мои доводы была неизменной: «Никто нам не поверит, никто! У нас должен быть ко всему гуманный подход! И бесчеловечное должно иметь человеческую подоплеку».

Как доказательство абсолютной бесчеловечности, я предложил ввести одну сцену, где бы не было и намека на человечность: лагерь рабов германской индустрии. Холт не имел об этом ни малейшего представления. Он исступленно цеплялся за свою старую концепцию — палач всегда плохой человек.

Я вновь и вновь расстолковывал ему, что все происшедшее в Германии было подготовлено и совершено не какими-то существами, спустившимися с Луны или с другой планеты и изнасиловавшими страну,— нет, это были добропорядочные немцы, наверняка считавшие себя достойными представителями германской нации. Я втолковывал ему, что смешно предполагать, будто все генералы Германии были настолько слепы и глухи, что ничего не знали о каждодневно совершавшихся пытках и убийствах. Я объяснял ему, что самые крупные промышленные концерны страны заключали соглашения с концентрационными лагерями на поставку дешевой рабочей силы, то есть попросту рабов, которые работали до потери трудоспособности, а затем их прах вместе с дымом вылетал из труб крематориев.

Холт побледнел.

— Не может этого быть!

— Еще как может! Огромное количество известнейших фирм наживается на этих несчастных истерзанных рабах. Эти фирмы даже построили филиалы своих заводов близ концентрационных лагерей, чтобы сэкономить на транспорте. Раз это полезно немецкому народу, значит справедливо — вот их принцип.

— Такое нельзя показывать в фильме! — сказал Холт в отчаянии.— Никто этому не поверит!

— Несмотря на то, что ваша страна ведет войну с Германией?

— Да. Человеческая психология интернациональна. Такой фильм был бы расценен как фильм самого низкого пошиба, лживый и жестокий. В четырнадцатом году еще было можно делать фильмы о зверствах немцев в отношении женщин и детей в Бельгии. А сейчас — нет.

— В четырнадцатом году это была неправда, но фильмы снимались. Теперь же это правда, но ставить такие фильмы нельзя, потому что никто этому не поверит?

— Именно так, Роберт.

Я признал себя побежденным.

За четыре недели я продал четыре рисунка и полотно Дега — «Репетиция к танцу», которое взял Веллер. Силверс придрался, что я продал картину одному из его клиентов, и скостил мне комиссионные.

Еще мне удалось продать пастель Ренуара. Холт забрал ее у меня, а через неделю перепродал, положив себе в карман тысячу долларов. Это воодушевило его. Он приобрел еще одну небольшую картину и опять заработал на ней — на этот раз две тысячи.

— Не заняться ли нам вместе продажей картин? — спросил он меня.

— На это надо слишком много денег. Картины стоят дорого.

— Начнем с малого. У меня есть кое-какие деньги на банковском счету.

Я покачал головой. Особо теплых чувств к Силверсу я не испытывал, но одно мне было ясно: в Калифорнии я не останусь. Несмотря на все, я жил в каком-то удивительном вакууме.

Я словно висел в воздухе где-то между Японией и Европой, и чем больше я убеждался в том, что не смогу остаться в Америке, тем сильнее меня тянуло назад, в Нью-Йорк. За эти недели я открыл в себе какую-то лихорадочную любовь к этому городу, которая, по-видимому, объяснялась тем, что с каждым днем я все яснее понимал: моя жизнь в Нью-

Йорке — это передышка на пути в неизвестность. Я делал огромные усилия, чтобы побольше заработать, потому что знал: деньги будут мне необходимы, и я не хотел страдать из-за их отсутствия. Поэтому я остался здесь даже дольше, чем требовали съемки.

То был период моей независимости. Мне ничего не оставалось, как ждать, пока клюнет рыба. В последние недели съемок я заметил, что Холт и Веллер обращаются ко мне только по поводу каких-то незначительных мелочей, но к сценарию меня и близко не подпускают.

Они утратили ко мне доверие и были убеждены, что сами во всем отлично разбираются. Да так, собственно, и должно было бы быть — ведь оба они были евреями, а я нет, хотя в конце концов какое это имеет значение. Они мне верили только до определенного момента, потом появились сомнения, так как считали меня арийским перебежчиком, который жаждет мести, сам хочет оправдаться и потому преувеличивает и фантазирует.

«В Нью-Йорке идет снег,— писал Кан.— Когда Вы вернетесь? Я встретил Наташу. О Вас она мало что могла рассказать, она думает, что в Нью-Йорк Вы уже не вернетесь. Наташа шла в театр с владельцем «роллс-ройса». Как поживает Кармен? Я ничего о ней не знаю».

Это письмо я читал, сидя у бассейна. Земля хотя бы потому должна быть круглой, что все время смещается горизонт. Когда-то моей родиной была Германия, затем Австрия, Франция, в общем — Европа, а вслед за тем — Америка, и всякий раз та или иная страна становилась моей родиной только потому, что я покидал ее, а вовсе не потому, что жил в ней. Она появлялась вдруг на горизонте как моя новая родина. Такой новой родиной неожиданно оказался Нью-Йорк, возникший вдруг на горизонте, а когда я вернусь в Нью-Йорк, на горизонте может возникнуть Калифорния. Почти как в песне Шуберта «Скиталец»: «А счастье там, где нас с тобою нет».

Я зашел к Кармен. Она все еще жила в том бунгало, где я впервые встретился с ней. Ничто, казалось, там не изменилось.

— Через две недели я возвращаюсь в Нью-Йорк,— сказал я.— Хотите поехать со мной?

— Но, Роберт! У меня же контракт еще на пять недель. Я должна остаться.

— Вы делали хоть что-нибудь за это время?

— Я примеряла костюмы. А в следующем фильме получу небольшую роль.

— Это всегда так говорят. Вы в самом деле считаете себя актрисой, Кармен?

Она рассмеялась.

— Конечно нет. Но кто может считать себя актрисой? — Она внимательно оглядела меня.— А вы похорошели, Роберт.

— Просто купил себе новый костюм.

— Не в том дело. Вы что, похудели? Или это кажется оттого, что вы такой загорелый?

— Понятия не имею. Давайте пойдем куда-нибудь пообедать. Я при деньгах и могу сводить вас к «Романову».

— Хорошо,— согласилась она, к моему удивлению.

Был полдень. Киноактеры сидевшие в ресторане «Романов», по всей видимости, ничуть ее не интересовали: она даже не переоделась и осталась в узких белых брюках. Тут я впервые заметил, что у нее кроме всего еще и прелестный зад.

— Что-нибудь слышно от Кана? — спросил я.

— В последнее время он иногда звонит. Но вы что-то слышали о нем, не так ли? Иначе вы не пришли бы ко мне.

— Нет,— солгал я.— Я зашел к вам, потому что скоро уезжаю.

— Зачем? Неужели вам здесь не нравится?

— Нет.

Она рассматривала меня и в эту минуту была похожа на очень юную леди Макбет.

— Это все из-за вашей возлюбленной, да? Но вокруг так много женщин. Особенно здесь. В конце концов все женщины похожи одна на другую.

— Кармен! — воскликнул я.— Что за вздор!

— Только мужчины считают это вздором.

Я взглянул на нее. Она немного изменилась.

— Мужчины тоже похожи один на другого? — спросил я.— Во всяком случае женщины не должны так считать.

— Мужчины все разные. Например, Кан. Он чумной.

— Что?

— Чумной,— спокойно повторила Кармен с улыбкой.— То он хочет, чтобы я поехала в Голливуд, то требует, чтобы я вернулась. Я не вернусь. Здесь тепло, а в Нью-Йорке снег.

— Только поэтому?

— А разве этого недостаточно?

— Господь с вами, Кармен. А может, все-таки поедете со мной?

Она покачала головой.

— Кан действует мне на нервы, а я простая девушка, Роберт. У меня голова болит от его болтовни.

— Он не только болтает, Кармен. Он, что называется, герой.

— Этим не проживешь. Герои должны умирать. Если они выживают, то становятся скучнейшими людьми на свете.

— Вот как? Кто это вам сказал?

— Непременно кто-то должен сказать? Вы, конечно, считаете меня глупой как пробка, да? Так, как и Кан.

— Вовсе нет. Кан совсем не считает вас глупой. Он вас обожает.

— Он до того меня обожает, что у меня голова начинает болеть. Это так скучно! Почему вы все с каким-то вывертом?

— Что?

— Ну, не такие, как все. Например, как моя хозяйка. У вас всегда все сложно, трудно.

Официант принес фрукты по-македонски.

— Точь-в-точь как эти фрукты,— сказала Кармен, показав на тарелку.— Название-то какое выдумали — не выговоришь! А на самом деле — просто нарезанные фрукты, к которым добавлено немножко ликера.

Я отвез Кармен в ее бунгало — к курам и рыжеволосой образцовой хозяйке.

— У вас уже и машина есть,— сказала Кармен с трагически-мечтательным выражением лица.— Видно, дела у вас идут неплохо, Роберт.

— У Кана теперь тоже есть машина,— солгал я.— Еще лучше, чем у меня. Мне Танненбаум рассказал — «шевроле».

— «Шевроле» и головная боль в придачу,— ответила Кармен, повернувшись ко мне своим прелестным задом.— Как поживает ваша возлюбленная, Роберт? — бросила она мне через плечо.

— Не знаю. Последнее время я ничего о ней не слышал.

— Вы хоть изредка переписываетесь?

— У нас обоих трясется правая рука, а печатать на машинке ни она, ни я не умеем.

Кармен засмеялась.

— Так это что же, а? Значит, с глаз долой — из сердца вон? Впрочем, так-то оно разумнее.

— Редко услышишь более мудрое слово. Передать что-нибудь Кану?

Она задумалась.

— А зачем?

Из сада с кудахтаньем выбежали куры. Кармен мгновенно оживилась.

— Боже мой, мои белые брюки! Зря, что ли, я их наглаживала! — Она с трудом отогнала птиц.— Кыш, Патрик! Прочь, Эмилия! Ну вот, уже и пятно!

— Хорошо, когда знаешь по имени причину своих бед, не так ли? — заметил я.— Тогда все намного проще.

Я пошел было к своему «форду», но вдруг остановился. Что я сейчас сказал? На мгновение мне показалось, будто что-то кольнуло меня в спину. Я повернул назад.

— Не так уж страшно,— услышал я голос Кармен из сада.— Пятно можно будет смыть.

«Да,— подумал я.— Но все ли можно смыть?»

Я простился со Скоттом.

— К моему рисунку сангиной мне хотелось добавить еще один,— сказал он.— Я люблю, чтоб над диванами висело что-то. Кто знает, когда вы опять приедете! У вас есть еще что-нибудь в том же роде?

— Есть рисунок углем, а не сангиной. Великолепная вещь, тоже Ренуар.

— Хорошо. Тогда у меня будет два рисунка Ренуара. Ну разве можно было рассчитывать на такое везение?

Я вынул рисунок из чемодана и вручил ему.

— Я с удовольствием отдаю его вам, Скотт.

— Почему? Я ведь в этом совсем не разбираюсь.

— В вас есть уважение к таланту и творчеству, а это гораздо важнее. Будьте здоровы, Скотт. Я покидаю вас с таким чувством, будто расстаюсь с давним знакомым.

На меня иногда находили такие приступы стихийной любви к ближнему, захлестывавшей мою европейскую сдержанность: через несколько часов вдруг начинаешь называть кого-то по имени — в знак пусть поверхностной, но тем не менее сердечной дружбы. Дружба в Америке дается легко и просто, в Европе — очень трудно. Один континент молод, другой — стар. Не исключено, что дело именно в этом. «Всегда надо жить так, будто прощаешься навеки»,— подумал я.

Танненбаум получил еще одну маленькую роль. Он был очень доволен и хотел купить у меня «форд». Я объяснил ему, что обязан вернуть его студии.

— Кого вы играете в следующем фильме?

— Английского кока на судне, в которое попадает торпеда с немецкой подводной лодки.

— Он погибает? — спросил я с надеждой.

— Нет. Это комический персонаж, его спасают, и он начинает стряпать для экипажа немецкой подводной лодки.

— И не отравляет их?

— Нет. Он готовит им рождественский сливовый пудинг. Происходит всеобщее братание в открытом море с исполнением английских и немецких народных песен. Кроме того, они обнаруживают, что у старого

немецкого и английского национальных гимнов одинаковая мелодия: и у «Heil dir im Siegerkranz», и у «God Save the King». Они обнаруживают это возле маленькой рождественской елки, украшенной электрическими лампочками, и решают, когда кончится война, не воевать больше друг против друга. Они находят много общего.

— Ваше будущее видится мне в самом черном цвете, и все же, я думаю, вы не пропадете.

Я сел в поезд, который обслуживали проводники-негры. Там были широкие удобные кровати и индивидуальные туалеты. Танненбаум и одна из двойняшек махали мне с перрона. Впервые за много лет я расплатился со всеми своими долгами, в кармане у меня были деньги и продленный на три месяца вид на жительство. Кроме того, мне предстояло трехдневное путешествие по Америке у большого вагонного окна, в пятидесяти шагах от вагона-ресторана.

XXVIII

— Роберт! — воскликнул Меликов.— А я уж думал, что ты остался насовсем в Голливуде!

— Наверное, так думали почти все.

Меликов кивнул. У него был землистый цвет лица, и весь он был какой-то серый.

— Ты болен? — спросил я.

— Почему? — Он засмеялся.— Ах да, ты ведь из Калифорнии! Теперь тебе будет казаться, что все жители Нью-Йорка только что вышли из больницы. Почему ты вернулся?

— Я мазохист.

— Наташа тоже не думала, что ты вернешься.

— А что же она тогда думала?

— Что тебя засосет Голливуд.

Больше вопросов я не задавал. Возвращение мое было нерадостным. Старая каморка показалась мне еще более пыльной и обшарпанной, чем прежде. Вдруг я сам перестал понимать, зачем вернулся. На улице была слякоть, шел дождь.

— Надо купить пальто,— вслух подумал я.

— Будешь опять жить здесь? —спросил Меликов.

— Да. Но на этот раз можно будет взять комнату побольше. У тебя есть свободная?

— Освободилась комната Рауля. Он съехал окончательно после вчерашнего грандиозного скандала. Не знаю, помнишь ли ты его последнего друга?

— У тебя есть еще комната?

— Да, Лизы Теруэль. Она умерла неделю назад. Слишком большая доза снотворного. Других свободных номеров нет, Роберт. Если б ты мне написал... Зимой все отели переполнены.

— Между психопатом-педерастом и покончившей с собой дамочкой сделать выбор не так-то просто. Ладно, я займу номер Лизы.

— Я так и думал.

— Почему?

Меликов рассмеялся.

— Не знаю почему. Летом ты наверняка поселился бы в конуре Рауля.

— Ты думаешь, теперь я меньше боюсь смерти?

Меликов опять засмеялся.

— Не смерти, а призраков. Кто теперь боится смерти? Смерть труд

но осознать. Вот боязнь умирания — это другое дело. Но у Лизы была легкая смерть. Когда мы ее нашли, она выглядела значительно моложе своих лет.

— Сколько же ей было на самом деле?

— Сорок два. Пошли, я покажу тебе комнату. Она чище других. Нам пришлось окуривать ее серой. Кроме того, там всегда солнце: зимой это особенно важно. В комнату Рауля солнце не заглядывает.

Мы поднялись наверх. Комната была на втором этаже. Туда можно было пройти незаметно из холла. Я распаковал чемодан и достал оттуда несколько больших морских раковин, купленных мною в Лос-Анджелесе: здесь они производили довольно унылое впечатление, утратив романтический блеск морских глубин.

— Когда нет дождя, здесь гораздо уютнее,— сказал Меликов.— Не выпить ли нам водки для бодрости?

— Что-то не хочется. Я лучше прилягу.

— Пожалуй, я тоже. Старость приближается. Я сегодня дежурил ночью. Зимой меня начинает мучить ревматизм. Сегодня мне еще лучше, чем всегда, Роберт.

После обеда я отправился к Силверсу. Он встретил меня приветливее, чем я ожидал.

— Ну как, справились с заданием? — последовал вопрос.

— Продал Ренуара, маленький рисунок углем. За пять тысяч долларов.

Силверс кивнул в знак одобрения.

— Хорошо,— произнес он к моему удивлению.

— Что с вами стряслось? — поинтересовался я.— Обычно я слышу, что вы чуть ли не с жизнью расстаетесь, продавая картины.

— Так оно и есть. Лучше всего было бы сохранить их для себя. Но война идет к концу, Росс.

— Еще нет.

— Говорю вам: война скоро кончится. Месяцем раньше, месяцем позже, это роли не играет. Германия выдохлась. А то, что немецкие нацисты продолжают сражаться до последнего ненациста, вполне понятно: они же борются за свою жизнь. Германский генеральный штаб продолжает войну — это тоже вполне естественно: там каждый готов пожертвовать последним солдатом ради своей карьеры. И тем не менее Германии конец. Через несколько месяцев все кончится — вот увидите. Вы понимаете, что это значит?

— Да,— ответил я после некоторого раздумья.

— Это значит, что скоро мы опять сможем взять курс на Европу,— заключил Силверс.— А Европа теперь бедна. Если платить в долларах, можно будет дешево купить любые картины. Теперь вам ясно?

— Да,— повторил я, на этот раз совершенно ошарашенный.

— Сейчас разумнее всего покупать не здесь, а в Европе. Поэтому целесообразнее отделаться от наших запасов. Но тут следует проявлять осторожность, ибо в таких случаях можно выиграть, но можно и здорово проиграть.

— Это даже я понимаю.

— Нечто похожее было после первой мировой войны. Но тогда я во всем этом плохо разбирался и наделал много ошибок. Больше это не должно повториться. Так вот, если у вас еще не заключена сделка и вы никак не можете договориться о цене, то сейчас можно и уступить. Обоснуйте это тем, что при уплате наличными клиенты получают скидку. Мы-де хотим приобрести большую коллекцию и нуждаемся в наличных.

У меня неожиданно стало веселее на душе. Деловитость в чистом виде, не разбавленная болтовней о морали, иногда влияла на меня благотворно, особенно когда Силверс хладнокровно переводил мировые катастрофы в дебет и кредит. У меня возникло впечатление, будто гномы командуют господом богом.

— Но и ваши комиссионные тоже придется урезать,— добавил Силверс.

Именно этого я и ожидал. Это было, так сказать, необходимой приправой, вроде чеснока в бараньем рагу.

— Ну, разумеется,— с иронией сказал я.

Я колебался, звонить ли Наташе, и все не мог решиться. За последние недели наши отношения стали какими-то абстрактными. Все ограничивалось несколькими ничего не значащими открытками, но даже и в них чувствовалась какая-то неискренность. Просто нам нечего было сказать друг другу, когда мы не были вместе, и так, наверное, казалось нам обоим. Я не знал, что произойдет, если я позвоню ей. Поэтому я даже не сообщил Наташе о своем возвращении. Рано или поздно, однако, мне придется дать ей знать о себе, но я никак не мог решиться. Недели и месяцы в Голливуде промелькнули для меня почти незаметно, будто наши отношения возникли случайно и так же случайно и безболезненно оборвались.

Я поехал к Бетти и, увидев ее, испугался. Она похудела, наверное, фунтов на двадцать. На сморщенном, осунувшемся лице горели огромные глаза. Они были единственным, что еще жило. Одряблевшая кожа тяжелыми складками свисала со скул, отчего лицо казалось непомерно большим.

— Вы хорошо выглядите, Бетти.

— Слишком худая стала, да?

— Худоба сейчас в моде.

— Бетти всех нас переживет,— сказал Равик, появившийся из темной гостиной.

— Только не Росса,— сказала Бетти с призрачной улыбкой.— У него цветущий вид: смотрите, какой он загорелый, весь так и пышет здоровьем.

— Через две недели от загара не останется и следа, Бетти. В Нью-Йорке зима.

— Я бы тоже с удовольствием поехала в Калифорнию,— сказала она.— Зимой там, должно быть, великолепно. Но это так далеко от Европы!

Я огляделся. Мне почудилось, что в складках портьер затаился запах смерти. Он, правда, был не таким резким, как в крематории. Там все было иначе: кровь уже свернулась, и к сладковатому запаху, предшествующему тлению, примешивался острый и чуть едкий привкус оставшегося в легких газа. Здесь же господствовал теплый, затхлый, но вместе с тем сладковатый запах; избавиться от него можно было только на несколько минут, открыв окна и попрыскав лавандой,— потом он сразу возвращался. Этот запах был мне хорошо знаком. Смерть больше не подкарауливала за окном — она уже проникла в комнату, но еще выжидала, притаившись в углу.

— Сейчас так рано темнеет,— сказала Бетти.— От этого ночи кажутся бесконечными.

— Тогда не тушите свет на ночь,— сказал Равик.— Больной может не обращать внимания на время суток.

— Я так и делаю. Боюсь темноты. В Берлине я никогда не испытывала такого страха.

— Это было давно, Бетти. Многое меняется. Было время, когда я тоже боялся просыпаться в темноте,— сказал я.

Она уставилась на меня своими большими блестящими глазами.

— И до сих пор боитесь?

— Здесь, в Нью-Йорке — да. В Калифорнии меньше.

— Почему же? Что вы там делали? Наверное, по ночам вы были не один, а?

— Нет, один. Я просто забыл об этом страхе, Бетти.

— Так лучше всего,— сказал Равик.

Бетти погрозила мне костлявым пальцем и улыбнулась. От ее улыбки становилось жутко: лицо у нее словно свело предсмертной судорогой.

— Стоит только взглянуть на него, и сразу видно, что он счастлив! — воскликнула она и посмотрела на меня своими неподвижными, навыкате глазами.

— Кто может быть теперь счастлив, Бетти,— сказал я.

— Э, нет, теперь я знаю: счастливы все, кто здоров. Только, пока ты здоров, этого не замечаешь. А потом, когда поправишься, опять все забудешь. Но по-настоящему это можно осознать лишь перед смертью.

Она выпрямилась. Под ночной сорочкой из искусственного шелка груди ее висели как пустые мешки.

— Все прочее — вздор,— сказала она чуть хриплым голосом, тяжело дыша.

— Ах, оставьте, Бетти,— сказал я.— У вас так много прекрасных воспоминаний. Так много друзей. А скольким людям вы помогли!

На минуту Бетти задумалась. Потом сделала мне знак подойти поближе. Я неохотно приблизился: мне стало нехорошо от запаха мятных таблеток, уже мешавшегося с запахом тления.

— Это не имеет значения,— прошептала она.— В какой-то момент все перестает иметь значение. Уж поверьте мне, я знаю.

Из серой гостиной появилась одна из двойняшек.

— Сегодня Бетти — в прострации,— сказал Равик и поднялся.— Cafard. Это с каждым бывает. У меня иной раз это продолжается неделями. Я зайду потом еще раз. Сделаю ей укол.

— Cafard,— прошептала Бетти.— Cafard еще значит и лицемерие. Каждый раз, произнося это слово, кажется, будто мы во Франции. Даже вспомнить страшно! Оказывается, человеческому несчастью нет предела, не так ли, Равик?

— Да, Бетти. И счастью, пожалуй, тоже. Ведь здесь за вами не следит гестапо.

— Нет, следит.

Равик усмехнулся.

— Оно следит за всеми нами, но не слишком пристально и часто теряет нас из виду.

Он ушел. Одна из двойняшек Коллер разложила на одеяле у Бетти несколько фотографий.

— Оливаерплац, Бетти. Еще до нацистов!

Вдруг Бетти оживилась.

— Правда? Откуда они у тебя? Где мои очки? Надо же! И мой дом видно?

Девушка принесла ей очки.

— Моего дома здесь нет! — воскликнула Бетти.— Снимали с другой стороны. А вот дом доктора Шлезингера. Даже можно прочесть имя на табличке. Конечно, это было до нацистов. Иначе таблички уже не было бы.

Было самое время уйти.

— До свидания, Бетти,— сказал я.— Мне пора.

— Посидите еще.

— Я только сегодня приехал и даже не успел распаковать вещи.

— Как поживает моя сестра? — спросила двойняшка.— Она теперь одна осталась в Голливуде. Я-то сразу вернулась.

— Думаю, что у нее все в порядке,— ответил я.

— Она любит приврать,— заметила двойняшка.— Она уже раз сыграла со мной такую шутку. И мы здорово влипли. Нам тогда пришлось занимать денег у Фрислендера, чтобы вернуться.

— Почему бы вам не поработать секретаршей у Фрислендера, пока сестра не пришлет вам денег на проезд в оба конца?

— Так можно прождать всю жизнь. А мне хочется самой попытать счастья.

Бетти следила за нашим разговором с нескрываемым страхом.

— Ты не уйдешь, Лиззи, а? —умоляла она.— Я ведь не могу остаться одна. Что мне тогда делать?

— Никуда я не уйду,—успокоила ее девушка.

Двойняшка, которую, как я впервые услышал, звали Лиззи, проводила меня в прихожую.

— С ней просто мука,— прошептала она.— Не умирает, и все тут. И в больницу не желает ложиться. Я сама с ней заболеваю. Равик хочет поместить ее в больницу, а она говорит, что лучше умрет, чем пойдет туда. И вот никак не умирает.

Я подумал, не пойти ли мне к Кану. Ничего радостного я не мог ему сообщить, а говорить неправду не хотелось. Странно, но я никак не мог заставить себя позвонить Наташе. В Калифорнии я почти не думал о ней. Там я считал, что наши отношения были как раз такими, какими казались нам вначале: легкими, лишенными сантиментов. Поэтому очень просто было бы позвонить Наташе и выяснить, что же все-таки у нас за отношения. Нам не в чем было упрекать друг друга, нас не связывали никакие обязательства. И тем не менее я не мог решиться набрать номер ее телефона. Сомнения тяжелым камнем лежали у меня на сердце. Мне казалось, будто я понес невосполнимую утрату, упустил что-то бесконечно мне дорогое из-за собственного безрассудства и неосторожности. Я дошел до того, что начал думать: а вдруг Наташа умерла; безотчетный страх сгущался во мне по мере приближения вечера. Я сознавал, что на эту необоснованную и глупую мысль меня навел cafard Бетти, но ничего не мог с собой поделать.

Наконец я набрал номер так решительно, будто речь шла о жизни и смерти. Услышав гудки, я сразу понял, что дома никого нет. Я звонил каждые десять минут. Втолковывал себе, что Наташа могла просто куда-то выйти или же снималась. Но это на меня мало действовало. Правда, мое паническое состояние стало проходить, когда, преодолев себя, я все же решился набрать ее номер. Я думал о Кане и Кармен, о Силверсе и его неудачах в Голливуде, я размышлял о Бетти и о том, что все наши громкие слова о счастье бледнеют перед словом «болезнь». Я пытался вспомнить маленькую мексиканку из Голливуда и говорил себе, что есть бесчисленное множество красивых женщин, куда более красивых, чем Наташа. Все эти мысли служили лишь одной цели: набраться мужества для нового звонка. Затем последовала старая игра: я загадал — два звонка и конец, но не удержался и позвонил еще три или четыре раза.

И вдруг раздался ее голос. Я уже больше не прикладывал трубки к уху, а держал ее на коленях.

— Роберт,— сказала Наташа.— Откуда ты звонишь?

— Из Нью-Йорка. Только сегодня приехал.

— Это все? — спросила она, немного помолчав.

— Нет, Наташа. Когда я смогу тебя увидеть? Двадцатый раз я набираю твой номер, я уже дошел до отчаяния. Телефон звонит как-то особенно безнадежно, когда тебя нет дома.

Она тихо рассмеялась.

— Я только что пришла.

— Пойдем поужинаем,— предложил я.— Могу сводить тебя в «Павильон». Только не говори «нет». На худой конец, можно съесть котлету в закусочной. Или пойдем туда, куда ты захочешь.

Я со страхом ждал ее ответа: боялся долгого мучительного разговора о том, почему мы так давно ничего не слышали друг о друге; боялся напрасной, но вполне понятной обиды, всего того, что могло помешать нашей встрече.

— Хорошо,— сказала Наташа.— Зайди за мной через час.

— Я тебя обожаю, Наташа! Это самые прекрасные слова, которые я слышал с тех пор, как уехал из Нью-Йорка.

В тот момент, когда я произносил это, я уже знал, что́ она ответит. Любой удар мог сокрушить меня. Но ответа не последовало. Я услышал щелчок, как это бывает, когда вешают трубку. Я почувствовал облегчение и разочарование. Сейчас я, наверное, предпочел бы ссору с криком и оскорблениями,— ее спокойствие показалось мне подозрительным.

Я стоял в номере Лизы Теруэль и одевался. Вечером в комнате еще сильнее пахло серой и лизолем. Я подумал, не сменить ли мне комнату еще раз. В атмосфере, которая прежде окружала Рауля, я, возможно, сумел бы лучше себя подготовить для предстоящей борьбы. Сейчас мне требовались полное спокойствие и безразличие, которые ни в коем случае не должны выглядеть наигранными, иначе я погиб. Рауль с его отвращением к женщинам представлялся мне сейчас куда более надежной опорой, чем Лиза, которая, насколько я понимал, умерла от какого-то глубокого разочарования. Я даже подумал, не переспать ли мне сначала с кем-нибудь, чтобы меня не начало трясти при встрече с Наташей. В Париже я знавал одного человека: он ходил в бордель, прежде чем увидеться с женщиной, с которой больше не желал быть близок,— и несмотря на это снова и снова подпадал под ее чары. Но эту мысль я сразу же отбросил; кроме того, я не знал в Нью-Йорке ни одного борделя.

— Ты что, на похороны собрался? — спросил Меликов.— Может, хочешь водки?

— Даже водки не хочу,— ответил я.— Слишком серьезное дело. Хотя, по правде сказать, не такое уж и серьезное. Просто мне нельзя наделать ошибок. Как выглядит Наташа?

— Лучше, чем когда-либо! Мне очень жаль, но это так.

— Сегодня ты дежуришь ночью?

— До семи утра.

— Слава богу. Adieu [1], Владимир. Ты не можешь себе представить, какой я идиот. Почему я не звонил и не писал ей чаще? И еще так этим гордился!

Надев новое пальто, я вышел в холодную ночь. В голове у меня все смешалось: страх, надежда, ложь и добрые намерения, раскаяние и мысли о том, как мне надлежит себя вести.

Вспыхнул свет, и лифт загудел.

— Наташа,— быстро произнес я.— Я пришел сюда, полный смяте-

[1] Прощай *(франц.)*.

ния, раскаяния и лжи. Я даже вынашивал какие-то стратегические планы. Но в тот момент, когда ты появилась в дверях, я забыл все. Осталось только одно: полное непонимание того, как я мог уехать от тебя.

Я обнял ее и поцеловал. Чувствуя, что она отстраняется, я прижал ее крепче. Она уступила. Потом высвободилась из моих объятий и сказала:

— У тебя такой смятенный вид, ты очень похудел.

— Питался травой — соблюдал диету. Иногда по воскресеньям и праздникам позволял себе большую порцию салата.

— Я растолстела? Меня часто приглашали на торжественные банкеты в «Двадцать одно» и в «Павильон».

— Я бы даже хотел, чтобы ты растолстела. Тогда на мою долю больше досталось бы, а то ты слишком хрупкая.

Я нарочно пропустил мимо ушей упоминание о торжественных банкетах, которое, очевидно, должно было тяжело поразить меня. Я действительно пришел в смятение, как только обнял Наташу, но постарался сдержать радостную дрожь. Она никогда не надевала под платье ничего лишнего, и казалось, на ее гладком, теплом, волнующем теле не было ничего, кроме тонкой ткани. Я старался не думать об этом, но ничего не мог с собой поделать.

— Тебе не холодно? — задал я идиотский вопрос.

— У меня теплое пальто. Куда мы пойдем?

Я нарочно не стал упоминать «Двадцать одно» или «Павильон». Не хотелось выслушивать еще раз, что она бывала там каждый день и потому не желает туда идти.

— Может, пойдем в «Бистро»?

«Бистро» был маленький французский ресторанчик на Третьей авеню. Там было вдвое дешевле, чем в других ресторанах.

— «Бистро» закрыт,— сказала Наташа.— Хозяин его продал. Он уехал в Европу, чтобы присутствовать при торжественном вступлении де Голля в Париж.

— Правда? И ему удалось выехать?

— Кажется, да. Французских эмигрантов охватила настоящая предотъездная лихорадка. Они боятся, что вернутся домой слишком поздно и их сочтут дезертирами. Пойдем в «Золотой петушок». Это похоже на «Бистро».

— Хорошо. Надеюсь, его хозяин еще здесь. Он ведь тоже француз.

В ресторане было уютно.

— Если вы хотите вина, у нас есть великолепный «Анжу розэ»,— предложил хозяин.

— Хорошо.

Я с завистью посмотрел на него. Это был совсем другой эмигрант, не такой, как мы все. Он мог вернуться. Его родина была оккупирована и будет освобождена. С моей родиной все иначе.

— Ты загорел,— заметила Наташа.— Что ты там делал? Ничего или того меньше?

Ей было известно, что я работал у Холта, но больше она ничего не знала. Я объяснил ей, чем занимался, чтобы в первые четверть часа избежать ненужных расспросов.

— Ты должен опять туда вернуться? — спросила она.

— Нет, Наташа.

— Ненавижу зиму в Нью-Йорке.

— А я ненавижу ее везде, кроме Швейцарии.

— Ты был там в горах?

— Нет, в тюрьме, потому что у меня не было документов. Но в тюрьме было тепло. Я прекрасно себя там чувствовал. Видел снег, но

меня никто не гнал на улицу. Это была единственная отапливаемая тюрьма, в которой я сидел.

Наташа вдруг засмеялась.

— Не пойму, лжешь ты или нет.

— Только так и можно рассказывать о том, что до сих пор считаешь несправедливым. Очень старомодный принцип. Несправедливостей не существует, есть только невезение.

— Ты веришь в это?

— Нет, Наташа. Нет, раз я сижу рядом с тобой.

— У тебя много было женщин в Калифорнии?

— Ни одной.

— Ну, ясно. Бедный Роберт!

Я взглянул на нее. Мне не нравилось, когда она меня так называла. Разговор развивался совсем не в том плане, как мне бы хотелось. Мне просто надо было как можно скорее лечь с ней в постель. А это была лишь никому не нужная болтовня. Мне следовало бы встретиться с ней в гостинице, чтобы сразу затащить ее в комнату Лизы Теруэль. Здесь же опасно было даже заводить разговор об этом. Пока что мы обменивались колкостями и пустыми любезностями, в которые был заложен детонатор замедленного действия. Я понимал, что она ждет, когда я задам ей аналогичный вопрос.

— Обстановка в Голливуде не располагает к такого рода развлечениям,— ответил я.— Там чувствуешь себя усталым и безразличным.

— Потому-то ты почти и не давал о себе знать? — спросила она.

— Нет, не потому. Просто не люблю писать письма. Жизнь моя складывалась таким образом, что я никогда не знал, кому можно писать. Наши адреса были временными. Они постоянно менялись. Я жил только настоящим временем, только сегодняшним днем. У меня никогда не было будущего, и я был не в состоянии представить себе его. Я думал, что и ты такая же.

— Откуда ты знаешь, что я не такая?

Я молчал.

— Люди встречаются после разлуки, а все как прежде,— заметил я.

— Мы же сами этого хотим!

Я все больше попадался в ловушку. Надо было немедленно выбираться из нее.

— Нет,— возразил я.— Я не хочу.

Она бросила на меня мимолетный взгляд.

— Ты не хочешь? Но ты же сам это сказал.

— Ну и что же? Раньше я не знал, чего хочу. А теперь знаю.

— Что же изменилось?

Это был уже допрос. Мысли мои метались, путались. Я думал о человеке, ходившем в бордель, прежде чем встретиться с любимой. Мне тоже надо было бы так поступить, тогда многое было бы легче. Я забыл или никогда не задумывался над тем, как неудержимо влекло меня к Наташе. В начале наших отношений все было иначе, и странно, что именно это время я чаще всего вспоминал в Голливуде. Но стоило мне увидеть ее — и все вернулось с новой силой. Теперь я старался не глядеть на Наташу, боясь выдать себя. При этом я даже не знал, чем же я, собственно, мог себя выдать. Я только был уверен, что я навсегда останусь в ярме, если она разгадает меня. Наташа выложила еще далеко не все свои козыри. Она ждала подходящего момента, чтобы рассказать мне, что у нее был роман с другим мужчиной, то есть, что она попросту с кем-то спала. Мне же хотелось предотвратить ее рассказ. Я вдруг почувствовал, что у меня не хватит сил выслушать его, хотя я и вооружил-

ся контраргументом: раз ты в чем-то признался, значит, это уже неправда.

— Наташа! Все серьезное, что приходит неожиданно, нельзя объяснить так, сразу... Я счастлив, что мы опять вместе. А время, которое мы не видались, пролетело и растаяло как дым.

— Ты так считаешь?

— Теперь да.

Она рассмеялась.

— Это удобно, а? Мне пора домой. Я очень устала. Мы готовим показ весенних моделей.

— Я помню. Ты всегда все знаешь на сезон вперед.

«Весна,— думал я.— Что-то еще произойдет до тех пор?» Я взглянул на хозяина с черными усами. Интересно, придется ли ему в Париже нести ответственность за дезертирство? А что станется со мной? Что-то угрожающе надвигалось на меня со всех сторон. Мне казалось, будто я задыхаюсь. То, чего я так долго ждал, вдруг представилось мне лишь отсрочкой перед казнью. Я посмотрел на Наташу. Она показалась мне бесконечно далекой. С холодным и невозмутимым видом она натягивала перчатки. Мне хотелось сказать ей что-то такое, что отбросило бы все недомолвки, но мне так ничего и не пришло в голову. Я молча шагал рядом с нею. Было холодно, дул ветер со снегом. Я нашел такси. Мы почти ни о чем не говорили.

— Доброй ночи, Роберт,— сказала Наташа.

— Доброй ночи, Наташа.

Я был рад тому, что Меликов бодрствует сегодня ночью. Мне нужна была не водка, а кто-то, кто ни о чем не спрашивает, но тем не менее находится рядом.

XXIX

Я на секунду остановился перед витриной магазина Лоу. Столик начала восемнадцатого века все еще не был продан. Меня охватило чувство умиления при виде его реставрированных ножек. Вокруг было несколько старых, но заново выкрашенных кресел, миниатюрные египетские статуэтки из бронзы, среди них неплохая фигурка кошки и фигура богини Неиты, изящная, подлинная, с хорошей патиной.

Я увидел Лоу-старшего, поднимавшегося из подвала. Он был похож на Лазаря, выходящего из гроба в пещере. Он вроде бы постарел, но такое впечатление производили на меня все знакомые, с которыми я снова встречался,— все, за исключением Наташи. Она не постарела, а просто как-то изменилась. Она стала, пожалуй, более независимой и потому еще более желанной, чем прежде. Я старался о ней не думать. Мне было больно при одной мысли о ней, как если бы в непонятном ослеплении я подарил кому-то прекрасную бронзовую статуэтку эпохи Чжоу, сочтя ее копией.

Увидев меня перед витриной, Лоу вздрогнул от неожиданности. Он не сразу узнал меня: великолепие моего зимнего пальто и загар, видимо, сделали меня неузнаваемым.

Разыгралась быстрая пантомима. Лоу помахал мне рукой. Я помахал ему в ответ. Он подбежал к двери.

— Входите же, господин Росс, что вы там стоите, на холоде! Здесь у нас теплее.

Я вошел. Пахло старьем, пылью и лаком.

— Ну и разоделись,— сказал Лоу.— Дела хорошо идут, что ли? Были во Флориде? Ну, поздравляю!

Я объяснил ему, чем занимался. Собственно, скрывать здесь было

нечего. Просто сегодня утром мне не хотелось вдаваться в подробности. Я уже достаточно навредил себе объяснениями с Наташей.

— А как у вас дела? — поинтересовался я.

Лоу замахал обеими руками.

— Свершилось,— прогудел он.

— Что?

— Он-таки женился. На христианке.

Я взглянул на него.

— Это еще ничего не значит,— ответил я, чтобы как-то его утешить.— Теперь нетрудно развестись.

— Я тоже так думал! Но что мне вам сказать — ведь она католичка.

— Ваш брат тоже стал католиком? — спросил я.

— До этого еще не дошло, но все может случиться. Она денно и нощно его обрабатывает.

— Откуда вы это знаете?

— Откуда я знаю? Он уже заговорил о религии. Она все ему зудит, что он будет вечно жариться в аду, если не станет католиком. Во всем этом мало приятного, вы не находите?

— Ну, разумеется. Они венчались по католическому обряду.

— Ну, ясно! Это она все устроила. Венчались в церкви, а брат в визитке, взятой напрокат; ну скажите, на что ему визитка, когда у него и без того короткие ноги.

— Какой удар по дому Израилеву!

Лоу бросил на меня колючий взгляд.

— Правильно! Вы ведь не нашей веры, вам-то что! Вы по-иному смотрите на это. Вы протестант?

— Я просто атеист. По рождению — католик.

— Что? Как же это возможно?

— Я порвал с католической церковью, когда она подписала конкордат с Гитлером. Этого моя бессмертная душа уже не выдержала.

На какой-то момент Лоу отвлекся от своих мыслей.

— Вот тут вы правы,— спокойно сказал он.— В этом деле сам черт ногу сломит. Церковь с заповедью — возлюби ближнего своего, как самого себя, и вдруг — рука об руку с этими убийцами. А что, конкордат до сих пор в силе?

— Насколько мне известно, да. Не думаю, чтобы его расторгли.

— А мой братец? — просопел он.— Третий в этом союзе!

— Ну, ну, господин Лоу! Это уж совсем из другой оперы! Ваш брат не имеет к этому никакого отношения. Он просто невинная жертва любви.

— Невинная? Вы только взгляните вот на это! — Лоу воздел руки к небу.— Вы только посмотрите, господин Росс! Вы когда-нибудь видели такое в нашей антикварной лавке?

— Что?

— Что? Статуэтки богоматери! Фигурки святых, епископов! Неужели вы не видите? Прежде у нас не было ни одного из этих бородатых, размалеванных чудовищ! Теперь их здесь — хоть пруд пруди!

Я осмотрелся. По углам стояло несколько хороших скульптур.

— Почему вы расставляете эти вещи так, что их едва видно? Они ведь очень хорошие. На двух сохранилась даже старая раскраска и старая позолота. Это, наверное, лучшее из всего, что сейчас есть у вас в магазине, господин Лоу. Чего же тут плакаться? Искусство есть искусство!

— Какое там искусство!

— Господин Лоу, если не было бы религиозного искусства, три

четверти всех евреев-антикваров прогорели бы. Вам следует быть терпимее.

— Не могу. Даже если я зарабатываю на этом. У меня уже все сердце изболелось. Мой непутевый братец тащит сюда эти штуковины. Они хороши, согласен. Но от этого мне только хуже. Мне наплевать и на старые краски, и на старую позолоту, и на подлинность ножки от столика, лучше бы их не было, и, если бы все это источили черви, мне было бы легче! Тогда можно было бы кричать и вопить! А тут я вынужден заткнуться, хотя в душе сгораю от возмущения. Я почти ничего не ем. Рубленая куриная печенка, такой деликатес, теперь не вызывает у меня ничего, кроме отрыжки. О гусиной ножке под соусом с желтым горохом и говорить не приходится. Я погибаю. Самое ужасное, что эта особа к тому же кое-что смыслит в бизнесе. Она резко обрывает меня, когда я скорблю и плачу, как на реках вавилонских, и называет меня антихристом. Хорошенькое дополнение к антисемитизму, вы не находите? А ее смех! Она гогочет весь день напролет! Она так смеется, что все ее сто шестьдесят фунтов дрожмя дрожат. Это прямотаки невыносимо! — Лоу опять воздел руки к небу.— Господин Росс, возвращайтесь к нам! Если вы будете рядом, мне станет легче. Возвращайтесь в наше дело, я положу вам хорошее жалованье!

— Я все еще работаю у Силверса. Ничего не получится, господин Лоу. Очень благодарен, но никак не могу.

На его лице отразилось разочарование.

— Даже если мы будем торговать бронзой? Есть ведь фигурки святых и из бронзы.

— Но очень немного. Ничего не выйдет, господин Лоу. Я теперь человек у Силверса независимый и очень хорошо зарабатываю.

— Конечно! У этого человека ведь нет таких расходов. Он и мочится в счет налога!

— До свидания, господин Лоу. Я никогда не забуду, что вы первый дали мне работу.

— Что? Вы так говорите, будто собираетесь со мной навеки проститься. Неужели хотите вернуться в Европу?

— Как вам такое могло прийти в голову?

— Вы говорите так странно. Не делайте этого, господин Росс! Ни черта там не изменится, независимо от того, выиграют они войну или проиграют. Поверьте Раулю Лоу!

— Вас зовут Рауль?

— Да. Моя добрая мать зачитывалась романами. Рауль! Бред, не правда ли?

— Нет. Мне это имя нравится. Почему, сам не знаю. Наверное, потому, что я знаю одного человека, которого тоже зовут Рауль. Впрочем, его занимают иные проблемы, чем вас.

— Рауль,— мрачно пробормотал Лоу.— Может быть, поэтому я до сих пор и не женился. Это имя вселяет какую-то неуверенность.

— Такой человек, как вы, еще может наверстать упущенное!

— Где?

— Здесь, в Нью-Йорке. Здесь ведь больше верующих евреев, чем где бы то ни было.

Глаза Рауля оживились.

— Собственно, это совсем не плохая идея! Правда, я никогда об этом не думал. Но теперь, с этим братом-отступником...— Он задумался.

Потом вдруг ухмыльнулся.

— Я смеюсь впервые за несколько недель,— сказал он.— Вы подали мне великолепную идею, просто блестящую! Даже если я ею и не воспользуюсь. Будто безоружному дали в руки дубинку!— Он стре-

мительно повернулся ко мне.— Могу я чем-нибудь помочь вам, господин Росс? Хотите фигурку святого по номиналу? Например, Себастьяна Рейнского?

— Нет. А сколько стоит кошка?

— Кошка? Это один из редчайших и великолепных...

— Господин Лоу,— прервал я его.— Я же у вас учился! Все эти штучки мне ни к чему. Сколько стоит кошка?

— Для вас лично или для продажи?

Я заколебался. Мне пришла в голову одна из моих суеверных мыслей: если сейчас я буду честен, то неизвестный господь бог вознаградит меня и мне позвонит Наташа.

— Для продажи,— ответил я.

— Браво! Вы честный человек. Если бы вы сказали, что это для вас лично, я бы не поверил. Итак, пятьсот долларов! Клянусь, это недорого!

— Триста пятьдесят. Больше мой клиент не даст.

Мы сошлись на четырехстах двадцати пяти.

— Разоряете вы меня. Ну ладно, тратить так тратить,— сказал я.— А сколько стоит маленькая фигурка Неиты? Шестьдесят долларов, идет? Я хочу ее подарить.

— Сто двадцать. Потому что вы берете ее для подарка.

Я получил ее за девяносто. Рауль упаковал изящную статуэтку богини. Я написал ему адрес Наташи. Он обещал сам доставить ее после обеда. Кошку я взял с собой. Я знал в Голливуде одного человека, сходившего с ума по таким фигуркам. Я мог продать ему ее за шестьсот пятьдесят долларов. Таким образом, статуэтка для Наташи достанется мне даром да еще останутся деньги на новую шляпу, пару зимних ботинок и кашне; а когда я приобрету все это, то ослепив ее своей элегантностью, приглашу в шикарный ресторан.

Она позвонила мне вечером.

— Ты прислал мне статуэтку богини,— сказала она.— Как ее зовут?

— Она египтянка по имени Неита, ей более двух тысяч лет.

— Ну и возраст! Она приносит счастье?

— С египетскими фигурками дело обстоит таким образом: если они кого-нибудь невзлюбят, то счастья не жди. Но эта должна принести тебе счастье: она похожа на тебя.

— Я всюду буду носить ее с собой как талисман. Ее ведь можно положить в сумочку. Она прелестна, просто сердце радуется. Большое спасибо, Роберт. Как тебе живется в Нью-Йорке?

— Запасаюсь одеждой на зиму. Ожидаются снежные бураны.

— Да, они действительно здесь бывают. Не хочешь ли завтра пообедать со мной? Могу за тобой заехать.

В голове у меня пронеслось множество мыслей. Удивительно, сколько можно передумать за одну секунду! Я был разочарован, что она придет только завтра.

— Это прекрасно, Наташа,— сказал я.— После семи часов я буду в гостинице. Приезжай, когда тебе удобно.

— Жаль, что сегодня у меня нет времени. Но я ведь не знала, что ты снова объявишься, поэтому у меня на сегодня намечено еще несколько важных дел. Вечером не очень приятно быть одной.

— Это верно,— сказал я.— Я тоже получил приглашение туда, где готовят такой вкусный гуляш. Правда, я могу и не пойти. У них всегда полно гостей, одним человеком больше или меньше — для них все равно.

— Как знаешь, Роберт. Я приеду завтра, часов в восемь.

Я положил трубку и задумался, пытаясь разгадать, помог мне талисман или нет. Я решил, что он принес мне удачу, хотя и был разочарован, что в этот вечер не увидел Наташи. Ночь лежала передо мной, как бездонная, темная яма. Неделями я был без Наташи и совсем не думал об этом. Теперь же единственная разделявшая нас ночь казалась мне нескончаемой. Как смерть, которая время превращает в вечность.

Я не солгал. Меня действительно приглашала к себе фрау Фрислендер. Я решил пойти. Это было мое первое появление у них в качестве человека, свободного от долгов, в новом костюме и новом зимнем пальто. Я отдал долг Фрислендеру и даже целиком заплатил адвокату за услуги — тому самому, с кукушкой. Теперь я мог есть гуляш, не чувствуя себя униженным. Для пущей важности и вместе с тем желая поблагодарить за одолженные деньги, я принес фрау Фрислендер букет темно-красных гладиолусов, которые за умеренную цену, поскольку они уже достаточно распустились, я купил у цветочника-итальянца, торговавшего неподалеку на углу.

— Расскажите нам о Голливуде,— попросила фрау Фрислендер.

Как раз этого-то мне и не хотелось.

— Там так себя чувствуешь, будто на голову тебе напялили прозрачный целлофановый пакет,— сказал я.— Все видишь, ничего не понимаешь, ничему не веришь, слышишь только глухие шорохи, живешь, как в капсуле, а очнувшись, чувствуешь, что постарел на много лет.

— И это все?

— Почти.

Появилась одна из двойняшек — Лиззи. Я вспомнил о Танненбауме и его сомнениях.

— Как дела у Бетти? — спросил я.— Ей хоть немного лучше?

— Боли не очень сильные. Об этом заботится Равик. Он делает ей уколы. Сейчас она много спит. Только по вечерам просыпается, несмотря на уколы, и начинает борьбу за следующий день.

— При ней кто-нибудь есть?

— Равик. Он просто выгнал меня, потребовал, чтобы я хоть раз куда-нибудь сходила.— Она провела рукой по своему пестрому платью.— Я совсем очумела. У меня в голове никак не укладывается, что вот Бетти умирает, а здесь жрут гуляш. А вам это не кажется странным?

Она посмотрела на меня своими милыми, не очень выразительными глазами, в которых, по мнению Танненбаума, угадывалась вулканическая страсть.

— Нет,— ответил я.— Это вполне естественно. Смерть — нечто непостижимое и потому рассуждать о ней бессмысленно. И все же вам необходимо что-нибудь поесть. Ведь у Бетти только больничная диета.

— Не хочу.

— Может, немного гуляша по-сегедски? С капустой?

— Не могу я. Ведь я до обеда помогала его здесь готовить.

— Это другое дело. А может быть, выпьете тминной водки или пива?

— Иногда мне хочется повеситься,— заметила Лиззи.— Или уйти в монастырь. А иногда я готова все расколошматить и побеситься всласть. Сумасшедшая я, должно быть, а?

— Все нормально, Лиззи. Естественно и нормально. У вас есть друг?

— Зачем? Чтобы родить внебрачного ребенка? Тогда конец моим последним надеждам,— печально произнесла Лиззи.

«Танненбаум, по-видимому, сделал правильный выбор,— подумал

я.— А Везель, наверное, наврал ему, и у него ничего не было ни с одной из них».

Вошел Фрисленде р.

— А, наш юный капиталист! Вы пробовали миндальный торт, Лиззи? Нет? А надо бы! Так вы совсем исхудаете.— Он ущипнул Лиззи за зад. Вероятно, не впервые, потому что она никак на это не реагировала. К тому же это вовсе не было признаком страсти, а скорее своего рода отеческой заботой работодателя, желавшего убедиться, что все на месте.— Мой дорогой Росс,— продолжал Фрисленде р, который и ко мне относился по-отечески.— Если вы наберете немного денег, скоро представится отличная возможность выгодно их поместить. По окончании войны немецкие акции упадут почти до нуля, и марка не будет стоить ровным счетом ничего. Советую вам использовать этот последний шанс войти в большое дело и кое-что приобрести. Этот народ не останется поверженным. Он соберется с силами и примется за работу. И снова заставит о себе заговорить. И знаете, кто ему поможет? Мы, американцы. Расчет чрезвычайно прост. Нам нужна Германия против России, ибо теперешний наш союз с Россией напоминает попытку двух гомосексуалистов родить ребенка, что противоестественно. Мне говорил об этом один высокопоставленный человек в правительстве. Когда нацистам придет конец, мы будем поддерживать Германию.— Он хлопнул меня по плечу.— Не рассказывайте об этом никому! Тут пахнет миллионами, Росс. Я делюсь этим с вами, ибо вы — один из немногих, выплативших мне долг. Я ни от кого не требовал денег. Но, знаете, если ты эмигрант, это еще вовсе не значит, что ты ангел.

— Спасибо за совет, но у меня нет на это денег.

Фрисленде р благосклонно посмотрел на меня.

— У вас еще есть время кое-что наскрести. Я слышал, что вы стали неплохим коммерсантом. Если когда-нибудь пожелаете открыть самостоятельное дело, можно будет об этом поговорить. Я финансирую, вы продаете, а прибыль пополам.

— Это все не так просто. Мне ведь пришлось бы приобретать картины у коммерсантов, которые сдерут с меня ту цену, по которой продают сами.

Фрисленде р рассмеялся.

— Вы еще новичок, Росс. Не забудьте, что кроме всего прочего имеются и проценты. Не будь их, мировой рынок давно бы рухнул. Один покупает у другого, и один зарабатывает на другом. Так что, если надумаете, дайте мне знать.

Он встал, и я тоже. На какой-то момент я испугался, что он так же по-отечески, с отсутствующим видом и меня ущипнет за зад, но он только похлопал меня по плечу и двинулся к двери. Вся в золоте, приветливо улыбаясь, ко мне подошла фрау Фрисленде р.

— Кухарка спрашивает, какой гуляш вы желаете взять с собой — по-сегедски или обычный.

Мне хотелось ответить, что не желаю я никакого гуляша, но мой отказ только обидел бы фрау Фрисленде р и кухарку.

— По-сегедски,— ответил я.— Все было великолепно. Очень благодарен.

— А вам спасибо за цветы,— заметила с улыбкой фрау Фрисленде р.— Мой муж — этот биржевой йог, как его называют коллеги,— никогда мне их не дарит. Он увлекается учением йогов. Когда он занят самосозерцанием, никто не должен ему мешать — естественно, кроме тех случаев, когда звонят с биржи. Это у него — превыше всего.

Фрисленде р стал откланиваться.

— Я должен еще кое-куда позвонить,— сказал он.— Не забудьте же мой совет.

Я взглянул на биржевого йога.

— У меня что-то не лежит душа ко всему этому,— сказал я.

— Почему? — У Фрислендера вдруг заклокотало в горле от сдавленного смеха.— Какие-нибудь морально-этические сомнения? Но, дорогой Росс! Может, вам угодно, чтобы нацисты положили себе в карман огромные деньги, которые будут просто валяться на улице? Мне кажется, они скорее причитаются все-таки нам, ограбленным! Мыслить надо логично и прагматически. Кому-то эти деньги все равно достанутся. Но только не этим чудовищам! — Он в последний раз хлопнул меня по плечу, снова отечески ущипнул двойняшку за зад и удалился — то ли для самосозерцания, то ли для делового разговора по телефону.

По улицам гулял ветер. Я довез Лиззи до дома — все равно мне пришлось бы брать такси из-за гуляша.

— У вас, наверное, никогда не проходят синяки. Ведь руки у него как клещи,— сказал я.— Он щиплет вас и когда вы за машинкой?

— Никогда. Он норовит ущипнуть меня только на виду у других. Ему просто хочется похвастаться: он же импотент.

Маленькая, потерянная, замерзшая, стояла Лиззи между высокими домами.

— Не зайдете ко мне? — спросила она.

— Ничего не получится, Лиззи.

— Ясно, ничего,— горестно согласилась она.

— Я болен,— сказал я, сам удивляясь своему ответу.— Голливуд,— добавил я.

— Я и не собираюсь с вами спать. Просто не хочется входить одной в мертвую комнату.

Я расплатился с шофером и поднялся к ней. Она жила в мрачной комнате — с несколькими куклами и плюшевым медвежонком. На стене висели фотографии киноактрис.

— Может, выпьем кофе? — спросила она.

— С удовольствием, Лиззи.

Она оживилась. В кофейнике закипела вода. Мы пили кофе, она рассказывала мне о своей жизни, но все сразу вылетало у меня из головы.

— Спокойной ночи, Лиззи,— сказал я и встал.— Только не делайте глупостей. Вы очень красивая, у вас все еще впереди.

На другой день пошел снег, к вечеру улицы стали белые, а небоскребы, облепленные снегом, казались гигантскими светящимися ульями. Уличный шум стал глуше, снег валил не переставая. Я играл с Меликовым в шахматы, когда вошла Наташа. На ее волосах и капюшоне были снежинки.

— Ты приехала на «роллс-ройсе?» — спросил я.

Наташа на минуту задумалась.

— Я приехала на такси,— ответила она.— Теперь ты спокоен?

— Вполне... Куда мы пойдем? — спросил я осторожно, и это прозвучало как-то по-идиотски.

— Куда хочешь.

Так дальше не могло продолжаться. Я направился к выходу.

— Снег прямо хлопьями валит,— произнес я.— Ты испортишь себе шубу, если мы пойдем искать такси. Нам надо переждать в гостинице, пока не пройдет снег.

— Тебе незачем искать повод для того, чтобы нам остаться здесь,— заметила она саркастически.— Но найдется у тебя что-нибудь поесть?

Неожиданно я вспомнил о гуляше, полученном от Фрислендера.

Я совсем забыл о нем. Наши отношения были такие натянутые, что мне и в голову не пришло подумать о еде.

— Гуляш! — воскликнул я.— С капустой и, я уверен, с малосольными огурцами. Вот и решение проблемы. Итак, мы ужинаем дома.

— А можно? В логове этого гангстера? А он не позовет полицию, чтобы выгнать нас отсюда? Или, может быть, у тебя есть апартамент с гостиной и спальней?

— Нам это ни к чему. Я живу теперь так, что никто не видит, когда входишь, когда выходишь. Почти в полной безопасности. Идем!

У Лизы Теруэль были великолепные абажуры на лампах, которые мне очень пригодились. Теперь в комнате вечером казалось уютнее, чем днем. На столе красовалась кошка, купленная у Лоу. Кухарка Мария дала мне гуляш в эмалированной кастрюле, так что я мог его разогреть. У меня была электрическая плитка, несколько тарелок, ножи, вилки и ложки. Я вынул из кастрюли огурцы и достал из шкафа хлеб.

— Все готово,— сказал я и положил на стол полотенце.— Надо только подождать, пока гуляш подогреется.

Наташа прислонилась к стене около двери.

— Давай сюда пальто,— сказал я,— здесь не слишком просторно, но зато есть кровать.

— Вот как?

Я дал себе слово контролировать свои поступки. Я еще не был уверен в себе. Но у меня было такое же состояние, как в первый вечер: стоило мне прикоснуться к ней, почувствовать, что она почти нагая под тонким платьем, и я забывал о всех своих благих намерениях. Я ничего не говорил. Молчала и Наташа. Я давно уже не спал ни с одной женщиной и понял, что на все можно пойти — и на скандал и даже на преступление, когда какая-то часть твоего «я» отступает в глубину и остаются лишь руки, раскаленная кожа и безудержная страсть.

Я жаждал погрузиться в нее, в горячую темноту, пронзить ее до красноватых легких, чтобы они сложились вокруг меня как совиные крылья,— дальше и глубже, пока ничего не останется от наших «я», кроме пульсирующей крови и уже не принадлежащего нам дыхания.

Мы лежали на кровати, изможденные, охваченные дремотой, похожей на легкий обморок.

Сознание возвращалось к нам и снова отлетало, и мы опять растворялись в несказанном блаженстве; на какой-то миг собственное «я» вернулось, но не до конца,— состояние это близко к состоянию еще не появившегося на свет, но уже живущего собственной жизнью ребенка, когда стирается граница между неосознанным и осознанным, между эмбрионом и индивидуальностью, то состояние, которое вновь наступает с последним вздохом.

Я ощущал рядом с собой Наташу, ее дыхание, волосы, слабое биение сердца. Это еще не совсем она, это была еще безымянная женщина, а может быть, только одно дыхание, биение сердца и теплая кожа. Сознание прояснялось лишь постепенно, а вместе с ним просыпалась и глубокая нежность. Истомленная рука, ищущая плечо, и рот, который старается произнести какие-то бессмысленные слова.

Я постепенно начинал узнавать себя и окружающее, и в этом изможденном молчании, когда не знаешь, что ты чувствуешь острее — молчание или предшествовавшее ему беспамятство, до меня вдруг донесся слабый запах горелого. Я было думал, что мне это показалось, но потом увидел на плитке эмалированную кастрюлю.

— Проклятие! — вскочил я.— Это же гуляш!

Наташа полуоткрыла глаза.

— Выбрось его в окно.

— Боже упаси! Я думаю, нам удастся еще кое-что спасти.

Я выключил электрическую плитку и помешал гуляш. Затем осторожно выложил его на тарелки, а подгоревшую кастрюлю поставил на окно.

— Через минуту запах улетучится,— сказал я.— Гуляш нисколько не пострадал.

— Гуляш нисколько не пострадал,— повторила Наташа, не пошевельнувшись.— Что ты хочешь, проклятый обыватель, делать со спасенным гуляшом? Я должна встать?

— Ничего, просто хочу предложить тебе сигарету и рюмку водки. Но ты можешь и отказаться.

— Нет, я не откажусь,— ответила Наташа немного помолчав.— Откуда у тебя эти абажуры? Привез из Голливуда?

— Они были здесь.

— Эти абажуры принадлежали женщине. Они мексиканские.

— Возможно, женщину звали Лиза Теруэль. Она выехала отсюда.

— Странная женщина — выезжает и бросает такие прелестные абажуры,— сонным голосом сказала Наташа.

— Иногда бросают и нечто большее, Наташа.

— Да. Если гонится полиция.— Она приподнялась.— Не знаю почему, но я вдруг страшно проголодалась.

— Я так и думал. Я тоже.

— Вот удивительно. Кстати, мне не нравится, когда ты что-нибудь знаешь наперед.

Я подал ей тарелку.

— Послушай, Роберт,— заговорила Наташа,— когда ты сказал, что идешь в эту «гуляшную» семью, я тебе не поверила, но ты действительно там был.

— Я стараюсь лгать как можно меньше. Так значительно удобнее.

— То-то и оно. Я, например, не стала бы никогда говорить, что не обманываю тебя.

— Обман. Какое своеобразное слово!

— Почему?

— У этого слова две ложные посылки. Странно, что оно так долго просуществовало на свете. Оно — как предмет между двумя зеркалами.

— Да?

— Разумеется. Трудно себе представить, чтобы искажали оба зеркала сразу. Кто имеет право употреблять слово «обман»? Если ты спишь с другим, ты обманываешь себя, а не меня.

Наташа перестала жевать.

— Это все так просто, да?

— Да. Если бы это был действительно обман, ты не сумела бы меня обмануть. Один обман автоматически исключает другой. Нельзя двумя ключами одновременно открывать один и тот же замок.

Она бросила в меня огурец с налипшим на нем укропом. Я поймал его.

— Укроп в этой стране очень редкая вещь,— заметил я.— Бросаться им нельзя.

— Но нельзя и пытаться открывать им замки!

— По-моему, мы немного рехнулись, правда?

— Не знаю. Неужели все должно иметь свое название, окаянный ты немец! Да еще немец без гражданства.

Я засмеялся.

— У меня ужасное ощущение, Наташа, что я тебя люблю. А мы столько положили сил, чтобы этого избежать.

— Ты так думаешь? — Она вдруг как-то странно на меня посмот-

рела.— Это ничего не меняет, Роберт. Я тебя действительно обманывала.

— Это ничего не меняет, Наташа,— ответил я.— И все же я боюсь, что люблю тебя. И одно никак не связано с другим. Это как ветер и вода, они движут друг друга, но каждый остается самим собой.

— Я этого не понимаю.

— Я тоже. Но так ли уж важно всегда все понимать, ты, женщина со всеми правами гражданства?

Но я не верил тому, что она мне сказала. Даже если в этом была хоть какая-то толика правды, в тот момент мне было все равно. Наташа здесь, рядом, а все прочее — для людей с устроенным будущим.

XXX

Египетскую кошку я продал одному голландцу. В тот день, получив чек, я пригласил Кана к «Соседу».

— Вы что, так разбогатели? — спросил он.

— Просто я пытаюсь следовать античным образцам,— ответил я.— Древние проливали немного вина на землю, прежде чем выпить его, принося тем самым жертву богам. По той же причине я иду в хороший ресторан. Чтобы не изменить своему принципу, мы разопьем бутылку «Шваль блан». Это вино еще есть у «Соседа». Ну, как?

— Согласен. Тогда последний глоток мы выльем на тарелку, чтобы не прогневить богов.

У «Соседа» было полно народу. В военное время в ресторанах часто негде яблоку упасть. Каждый торопится еще что-то взять от жизни, тем более находясь вне опасности. Деньги тогда тратятся легче. Можно подумать, что будущее в мирное время бывает более надежным.

Кан покачал головой.

— Сегодня от меня толку мало, Росс. Кармен написала мне письмо. Наконец-то собралась! Она считает, что нам лучше расстаться. Подружески. Мы, мол, не понимаем друг друга. И мне велено не писать ей больше. У нее есть кто-нибудь?

Я озадаченно посмотрел на него. Видимо, его глубоко задела эта история.

— Я ничего такого не заметил,— ответил я.— Она живет довольно скромно в Вествуде, среди кур и собак, души не чает в своей хозяйке. Я видел ее несколько раз. Она довольна, что ничего не делает. Не думаю, чтобы у нее кто-нибудь завелся.

— Как бы вы поступили на моем месте, Росс? Поехали бы туда? Привезли бы ее назад? А согласилась бы она уехать?

— Не думаю.

— Я тоже. Так что же мне делать?

— Ждать. И ничего больше. Ни в коем случае не писать. Может быть, она сама вернется.

— Вы в это верите?

— Нет,— сказал я.— А вас это так волнует?

Некоторое время он молчал.

— Это не должно было бы вовсе меня волновать. Совершенно не должно. Было легкое увлечение, а потом вдруг разом все изменилось. Знаете почему?

— Потому что она решила уехать. А почему же еще?

На его лице появилась меланхолическая улыбка.

— Просто, не правда ли? Но когда такое случается, смириться очень трудно.

Я подумал о Наташе. Почти то же самое чуть было не случилось и у меня с ней — и, может, уже случилось? Я гнал от себя эту мысль, размышляя о том, что же посоветовать Кану. Все это как-то не сочеталось с ним. Ни Кармен, ни эта ситуация, ни его меланхолия. Одно не вязалось с другим и потому было чревато опасностью. Если бы такое случилось с наделенным бурной фантазией поэтом, это было бы смешно, но понятно. В случае же с Каном все было непонятно. Видимо, этот контраст трагической красоты и флегматичной души был для него своего рода интеллектуальной забавой, в которой он искал прибежища. И то, что он серьезно воспринял историю с Кармен, являлось роковым признаком его собственного крушения.

Он поднял бокал.

— Как мало мы можем сказать о женщинах, когда счастливы, не правда ли? И как много, когда несчастны.

— Это правда. Вы считаете, что могли бы быть счастливы с Кармен?

— А вы думаете, что мы не подходим друг другу? Это так. Однако с людьми, которые подходят друг другу, расстаться просто. Это как кастрюля с притертой крышкой. Такое сочетание можно нарушить совершенно безболезненно. Но если они не подходят и нужно брать в руки молоток, чтобы подогнать крышку к кастрюле, то легко что-нибудь сломать, когда попытаешься снова отделить их друг от друга.

— Это только слова,— сказал я.— Все в этих рассуждениях не так. Любую ситуацию можно вывернуть наизнанку.

Кан с трудом сдержался.

— И жизнь тоже. Забудем Кармен. Я, наверное, просто устал. Война подходит к концу, Роберт.

— Поэтому вы и устали?

— Нет. Но что будет дальше? Вам известно, что вы будете делать потом?

— Разве кто-нибудь может точно ответить на такой вопрос? Пока трудно даже представить себе, что война может кончиться. Так же, как я не могу представить себе, чем буду заниматься после войны.

— Вы думаете остаться здесь?

— Мне не хотелось бы говорить об этом сегодня.

— Вот видите! А я постоянно думаю об этом. Тогда для эмигрантов наступит миг отрезвления. Последней опорой для них была учиненная над ними несправедливость. И вдруг этой опоры больше нет. И можно вернуться. А зачем? Куда? И кому мы вообще нужны? Нам нет пути назад.

— Многие останутся здесь.

Он с досадой махнул рукой.

— Я имею в виду людей надломленных, а не ловких дельцов.

— А я имею в виду всех,— возразил я,— в том числе и дельцов.

Кан улыбнулся.

— Ваше здоровье, Роберт. Сегодня я болтаю сущий вздор. Хорошо, что вы здесь. Радиоприемники — хорошие ораторы, но зато какие плохие слушатели! Вы можете себе представить, что я буду доживать век в качестве агента по сбыту радиоаппаратуры?

— А почему бы и нет? — сказал я.— Только почему в качестве агента? Вы станете владельцем фирмы.

Он посмотрел на меня.

— Вы думаете, это возможно?

— Не знаю, не уверен,— ответил я.

— То-то и оно, Роберт.

Он рассмеялся.

— Вино выпито,— заметил я.— А мы совсем забыли пожертвовать последнюю каплю богам. Может быть, поэтому мы и настроились на излишне меланхолический лад. Как насчет мороженого? Вы ведь так его любите!

Он покачал головой.

— Все обман, Роберт. Иллюзия легкой жизни. Самообман. Я отказался разыгрывать веселость перед самим собой. Гурман. Мошенник. Я превращаюсь просто в старого еврея.

— И это в тридцать-то пять лет?

— Евреи всегда старые. Они и рождаются стариками. На каждом с рождения лежит печать двухтысячелетних гонений.

— Давайте-ка возьмем с собой бутылку водки и разопьем ее, беседуя о жизни.

— Евреи даже и не пьяницы. Нет, уж лучше я пойду домой, в свою комнату над магазином, а завтра вволю посмеюсь над собой. Доброй ночи, Роберт.

— Я провожу вас,— сказал я, глубоко встревоженный.

Из ресторанного тепла мы вышли на трескучий мороз. В эту ветреную ночь аптечные магазины и закусочные светились особенно холодным, безжалостным неоновым светом.

— В некоторых ситуациях героическое одиночество кажется нелепым,— сказал я.— Ваша холодная каморка...

— Она слишком жарко натоплена,— перебил меня Кан.— Как, впрочем, всюду в Нью-Йорке.

— Нью-Йорк слишком натоплен и слишком холоден, холоден, как этот проклятый неоновый свет — сама безутешность; кажется, что один бродишь по улицам и стучишь зубами от холода. Почему бы вам не перебраться в плюшевую конуру гостиницы «Ройбен»? Среди гомосексуалистов, сутенеров, самоубийц и лунатиков чувствуешь себя в большей безопасности, чем где бы то ни было. Будьте же благоразумны и перебирайтесь к нам!

— Завтра,— сказал Кан.— На сегодня у меня назначено свидание.

— Глупости.

— Да, свидание,— повторил он.— С Лиззи Коллер. Теперь вы верите?

«С одной из двойняшек»,— подумал я. А почему бы и нет? Странно, но она, как мне казалось, еще меньше подходила Кану, чем Кармен. Прелестная внешне, Лиззи была домовитой, она нуждалась в ласке, как заблудшая кошка, будучи при этом гораздо умнее, чем Кармен; и вдруг в эту холодную, ветреную ночь меня осенило, почему Кан мог быть только с Кармен: это сочетание своей абсолютной бессмысленностью снимало бессмысленность лишенного корней бытия.

Кан смотрел на улицу, где, как разбросанные угли, красновато мерцали задние фонари автомобилей, тщетно пытаясь согреть холодную темноту.

— Эта призрачная война с невидимыми ранеными и невидимыми убитыми, с неслышными разрывами бомб и безмолвными кладбищами подходит к концу. Что останется от всего этого? Тени, тени — и мы тоже всего лишь тени.

Мы подошли к радиомагазину. Приемники блестели в лунном свете, как автоматические солдаты будущей войны. Я поднял голову. В окне у Кана горел свет.

— Не оглядывайтесь по сторонам, точно озабоченная наседка,— сказал Кан.— Вы видите, что я не потушил света. Не могу приходить в темную комнату.

Я подумал о двойняшке, которая тоже боялась собственной комнаты. Может быть, она действительно сидела сейчас наверху и приче-

сывалась. Но это, конечно, было не так и только усугубляло общее состояние полной безнадежности.

— Что, в Нью-Йорке будет еще холоднее? — спросил я.

— Да, еще холоднее,— ответил Кан.

В ушах у Наташи были серьги, в которых сверкали крупные рубины, колье было из рубинов и алмазов, а на пальце — великолепное кольцо.

— В кольце сорок два карата,— прошептал мне на ухо фотограф Хорст.— Собственно, нам нужен был для этого большой звездчатый рубин, но таких не найти, их нет даже у «Ван Клеефа и Арпельса». Мы хотим снять ее руки. В цвете. Ну, а звезду можно подрисовать. Сделать даже еще красивее, чем на самом деле,— добавил он с удовлетворением.— В наше время ведь все сплошной монтаж.

— Да? — спросил я и посмотрел на Наташу, на которой было белое шелковое платье.

Вся сверкая рубинами, она спокойно сидела на возвышении в ярком свете софитов. Ничто не напоминало о том, что прошлым вечером она лежала на моей кровати и хрипло кричала, изогнувшись, как тетива: «Ломай меня! Ну, разорви же меня!»

— Конечно,— заявил Хорст,— женщины, как и политики, все больше применяют монтаж. Фальшивые бюсты, зады с накладками из пористой резины, грим, искусственные ресницы, парики, вставные зубы — все фикция, обман, мираж. Добавьте к этому мягкую наводку на резкость, неконтрастные линзы, утонченные световые эффекты, и вот годы уже тают, как сахар в кофе. Voila [1]. А политики? Большинство не умеют ни читать, ни тем более писать. Для этого у них есть маленькие умные евреи, которые составляют им речи, референты, подбрасывающие им bon mots [2], есть авторы, пишущие за них книги, консультанты, стоящие за их спиной, актеры, отрабатывающие с ними правильную осанку, а то и пластинки, говорящие за них.— Он поднялся и подскочил к своему аппарату.— Так хорошо, Наташа! Минуточку, не двигайтесь. Готово!

Наташа спустилась со своего возвышения, выскользнув из белых лучей света, и в один миг превратилась из императрицы в сверкающую драгоценностями жену фабриканта оружия.

— Я только переоденусь,— сказала она.— Еще осталось что-нибудь от гуляша?

Я покачал головой.

— Его хватило на три дня. Вчера вечером мы выскребали остатки. Драгоценности ты должна взять с собой?

— Нет. Их возьмет вон тот светловолосый молодой человек от «Ван Клеефа».

— Хорошо. Тогда мы можем пойти куда угодно.

— У меня еще одна съемка в платье из весенней коллекции. Боже, как мне хочется есть.

Я сунул руку в карман. Мне были знакомы ее приступы голода; она страдала болезнью, противоположной диабету, с ужасным названием «гипогликемия». Эта болезнь заключается в том, что содержание сахара в крови уменьшается быстрее, чем у нормальных людей. В результате человек совершенно внезапно ощущает резкий приступ голода. Когда Наташа жила на Пятьдесят седьмой улице, я нередко про-

[1] Вот так-то *(франц.)*.

[2] Острое словцо *(франц.)*.

сыпался ночью, думая, что в квартиру залезли воры, и заставал ее перед холодильником: голая, магически освещенная светом из холодильника, она с упоением расправлялась с холодной котлетой, держа в другой руке кусок сыра.

Я достал из кармана сверток, завернутый в пергамент.

— Бифштекс по-татарски,— сказал я.— На, замори червячка.

— С луком?

— С луком и с черным хлебом.

— Ты ангел! — воскликнула она, передвинула колье, чтобы не мешало, и принялась есть.

Я привык носить такие пакетики в карманах, когда мы шли куда-нибудь, где несколько часов подряд нельзя было поесть,— особенно когда мы отправлялись в кино или в театр. Это избавляло меня от многих неудобств, так как Наташа очень сердилась, когда ее начинал мучить неудержимый приступ голода, а поблизости нельзя было достать ни кусочка хлеба. Она ничего не могла с собой поделать. Это походило на своего рода физиологическое помешательство. Дело в том, что она ощущала голод значительно острее и резче, чем другие люди, будто целый день до этого постилась. Как правило, в кармане пиджака я носил маленькую бутылочку, в которую входило лишь два глотка водки. Если к этому прибавить бифштекс по-татарски, получалось поистине царское лакомство, хотя водка, естественно, не была холодной. Урок такой запасливости когда-то преподал мне человек, от которого я получил паспорт. «Телесный комфорт куда важнее душевных порывов,— сказал он мне.— Стоит лишь чуть-чуть побеспокоиться, и человек уже счастлив».

Наташа, конечно, снова обгоняла времена года на один сезон. В ателье уже не видно было больше меховых манто, зато появилось несколько легких жакетов из каракульчи, которые девушки-ученицы уже тоже собрались упаковать. В ателье у Хорста был май. Шерстяные костюмы светлых тонов: кобальтовый, цвета нильской воды, кукурузно-желтый, светло-коричневый — и каких только соблазнительных названий здесь не было! «Май,— сказал я себе.— В мае должна окончиться война». «А что потом?» — спрашивал Кан. «Что потом?» — думал я, глядя на Наташу, которая появилась из-за ширмы в коротком платье-костюме с развевающимся шифоновым шарфом, худенькая, шагая как-то неуверенно, будто ноги у нее были слишком длинные. «Где-то мне доведется быть в мае?» Я вновь утратил ощущение времени, будто у меня выскользнул из рук и лопнул под ногами пакет с помидорами, и вот перед глазами завертелся бессмысленный калейдоскоп. «Мы все уже непригодны для нормальной жизни! — говорил Кан.— Могли бы вы представить себе, к примеру, меня в роли агента какой-нибудь радиофирмы, обремененного семьей, голосующего за демократов на выборах, откладывающего деньги и мечтающего стать главою своего церковного прихода? Мы никуда не годимся, а многих к тому же здорово поистрепала судьба. Часть из нас отделалась легкими ранениями, некоторые извлекли из этого даже выгоду, тогда как другие стали калеками; но пострадавшие, о которых главным образом идет речь, никогда уже не смогут оправиться и в конце концов погибнут». Май сорок пятого года! А может быть, июнь или июль! Время, которое так мучительно тянулось все эти годы, казалось, вдруг галопом помчалось вперед.

Я смотрел на Наташу, освещенную со всех сторон: она стояла на возвышении в профиль ко мне, чуть подавшись вперед,— наверное, от нее еще немного пахло луком; она была как фигура богини на носу невидимого судна, которое неслось в море света наперегонки со временем.

Неожиданно все софиты разом потухли. Мрачноватый и рассеянный свет обычных студийных ламп с трудом пробивался сквозь серую дымку.

— Конец! — воскликнул Хорст.— Сматываем удочки! На сегодня хватит!

Под шуршанье оберточной папиросной бумаги и картона ко мне приближалась Наташа. На ней была взятая напрокат шуба и рубиновые серьги.

— Я не могла иначе,— сказала она.— Оставила их на сегодняшний вечер. Завтра отошлю назад. Я уже сколько раз так делала. Вон тот молодой блондин знает. Великолепные вещи, правда?

— А если ты их потеряешь?

Она бросила на меня такой взгляд, будто я позволил себе неприличное замечание.

— Они же застрахованы,— сказала она.— «Ван Клееф и Арпельс» застраховали все, что дают нам напрокат.

— Прекрасно,— поспешил сказать я, чтобы, как часто бывало в таких случаях, не заслужить упрека в мещанстве.— Теперь я знаю, куда мы пойдем. Будем ужинать в «Павильоне».

— Можем сегодня поужинать полегче, Роберт! Я ведь уже съела бифштекс по-татарски.

— Закатим ужин, точно мы мошенники или фальшивомонетчики, то есть роскошнее даже, чем владетельные магнаты из мещан.

Мы направились к двери.

— Боже праведный! — воскликнула Наташа.— «Роллс-ройс»-то ждет, а я про него совсем забыла!

Я остановился как вкопанный.

— И Фрезер там? — спросил я недоверчиво.

— Конечно нет. Он сегодня уехал и сказал, что вечером пришлет машину за мной, так как предполагал, что я могу задержаться. А я забыла.

— Отошли его.

— Но, Роберт, ведь он все равно уже здесь. Мы и так часто ездили на нем. И ничего особенного в этом нет.

— Это во мне говорит моя мещанская натура,— сказал я.— Раньше все было не так. А сейчас я люблю тебя и, как мелкий капиталист, в состоянии заплатить за такси.

— Разве мошенникам и фальшивомонетчикам не подобает ездить в «роллс-ройсе»?

— Это очень соблазнительно. Поэтому я затрудняюсь сразу дать ответ. Возьмем такси, чтобы потом не раскаяться. Приятный вечер, потрескивает мороз. Скажи шоферу, что мы хотим поехать в лес или пойти прогуляться.

— Как тебе угодно,— произнесла она медленно и сделала шаг вперед.

— Стой! — крикнул я.— Я передумал и прошу меня извинить, Наташа. То, что тебе доставляет удовольствие, важнее, чем мораль, пропитанная едкой кислотой ревности. Поехали!

Она сидела рядом со мной, как диковинная птица.

— Я не сняла грима,— сказала она.— Это заняло бы много времени, и я умерла бы с голоду. Кроме того, у Хорста в студии слишком шумно — нельзя спокойно разгримироваться. Перемажешься, потом снимаешь все кольд-кремом и выглядишь, как ощипанная курица.

— Ты похожа не на ощипанную курицу,— сказал я,— а на голодную райскую птицу, залетевшую куда не надо, или на украшенную для жертвоприношения девушку неизвестного племени в Тимбукту или на Гаити. Чем больше женщина меняет свою внешность, тем лучше. Я —

старомодный поклонник женщин и отношусь к ним, как к чему-то необыкновенному, попавшему к нам из джунглей и девственного леса. Вместе с тем я враг женщин, претендующих на роль полноправного компаньона и партнера по бизнесу.

— Да ты же настоящий варвар!

— Скорее — безнадежный романтик.

— Как ты думаешь, во мне достаточно варварства? Искусственные ресницы, театральный грим, похищенные драгоценности, новая прическа и взятая напрокат шуба — достаточно всего этого для твоего представления о фальшивомонетчиках?

Я рассмеялся. Она ведь не знала о моем фальшивом имени и фальшивом паспорте и принимала все это за шутку.

— Хорст прочел мне целую лекцию, которая еще больше расширила мое представление о женщинах и политиках. Здесь, оказывается, встречаются даже фальшивые бюсты, зубы, волосы и зады.

— И у политиков — то же?

— У политиков есть еще и фальшивые убеждения, а под роскошной манишкой — цыплячья грудь, по которой катятся крокодиловы слезы. И это далеко не все. Подожди, пока дойдет очередь до расплаты фальшивыми деньгами!

— Разве мы не делаем этого всегда?

Я взял ее за руку.

— Может быть. Но интересы дела превыше всего: в старину, например, ложь не считалась чем-то порочным, она отождествлялась с умом. Вспомни лукавого Одиссея. Как прекрасно сидеть здесь с тобой под гирляндами фонарей, в окружении плоскостопых официантов, и наблюдать за тем, как ты уписываешь этот бифштекс. Я тебя обожаю по многим причинам, Наташа, и прежде всего, наверное, потому, что ты ешь с таким аппетитом в наш век, когда диета является основой основ на этом гигантском сытом острове, возвышающемся между двумя океанами на фоне голодающей планеты. Здешние женщины испытывают страх перед лишним листком салата, они питаются только травой, как кролики, в то время как целые континенты страдают от голода. Ты же с таким мужеством разделываешься с этим куском говядины! Мне доставляет удовольствие наблюдать за тем, как ты ешь. На других женщин выбрасывают кучу денег, а они поковыряют в тарелке и оставляют почти все нетронутым. Так и хочется придушить их в какомнибудь темном углу. Ты же...

— Это о каких других женщинах идет речь? — перебила меня Наташа.

— Все равно о каких. Посмотри вокруг. Их полно в этом чудесном ресторане, они едят салат и пьют кофе и устраивают мужьям сцены только потому, что бесятся от голода. Это единственный вид гнева, на который они способны. А в постели они бревно бревном от истощения, в то время как ты...

Она рассмеялась.

— Ну, довольно!

— Я не собирался углубляться в детали, Наташа. Я хотел лишь воздать хвалу твоему великолепному аппетиту.

— Я знаю, Роберт, хотя я этого и не ожидала. Но мне отлично известно, что ты охотно начинаешь произносить оды и петь гимны, когда думаешь о чем-то другом.

— Что? — спросил я, пораженный.

— Да,— сказала она.— Ты фальшивомонетчик, двурушник и обманщик! Я не спрашиваю, что тебя раздражает и что ты хочешь забыть, но я знаю, что это так.— Она нежно погладила меня по руке.— Мы живем в безумное время, не так ли? Поэтому, чтобы выжить,

нам надо что-то преувеличивать, а что-то приуменьшать. Тебе не кажется, что я права?

— Может быть,— осторожно сказал я.— Но нам ведь не приходится это делать самим, проклятое время решает это за нас.

Она рассмеялась.

— Не кажется ли тебе, что мы идем на это, чтобы сохранить хотя бы жалкие остатки индивидуальности, а иначе нас всех нивелирует время?

— Ты внушаешь мне тревогу! Где мы вдруг очутились? Ты неожиданно превратилась в сфинкса и говорящего попугая с берегов Амазонки. Если еще добавить к этому твои сверкающие драгоценности и размалеванное, как у воина, лицо, ты прямо фельфийский оракул в девственном лесу Суматры. Ох, Наташа!

— Ох, Роберт! До чего же ты многословен! Я не верю тому, что ты говоришь, но охотно тебя слушаю. Ты даже не знаешь, насколько все это бесполезно. Женщины любят беспомощных мужчин. Это их сокровенная тайна.

— Не тайна, а ловушка, в которую попадаются мужчины.

Она промолчала. Удивительно, какой чужой она мне казалась, когда пускала в ход свои несколько однообразные уловки, которые я уже знал наизусть.

«Как легко быть обманутым и как легко всему верить»,— думал я, глядя на нее и всей душой желая, чтобы мы остались, наконец, одни.

— Потому-то я много и говорю, что нисколько не разбираюсь в женщинах,— сказал я.— Но я счастлив с тобой. Не исключено, что я что-то скрываю, и вполне возможно, что из всего этого убожества, которого, правда, нельзя избежать и которое отдается в моей душе лишь призрачным эхом, я хотел бы сохранить для себя кусочек счастья, только для себя. Ведь я ничего ни у кого не беру, ни в кого не стреляю и никого не обкрадываю, не так ли, Наташа? Тем не менее мои чувства не имеют ничего общего с окружающим, ибо они не вытекают из окружающего, а существуют сами по себе, подобно тому как драгоценные камни в твоих ушах уже утратили всякую связь с недрами земли, их породившими. Я счастлив с тобой, и вот тебе долгое объяснение простой мысли; ты должна мне простить это, ибо я ведь журналист в прошлом, и слова для меня до сих пор много значат. Мне даже платили за это. Такое не скоро забывается.

— А разве теперь ты другой?

— Я стал немым. Английским я владею настолько, что могу говорить, французским — настолько, что могу писать, но от немецких газет я отлучен. Разве удивительно поэтому, что фантазия рвется ввысь, как сорная трава, и расцветают романтические цветы? В обычной обстановке я не стал бы таким лжеромантиком — ведь это противоречит духу времени.

— Ты так считаешь?

— Нет, но в этом что-то есть.

— Лжеромантиков не бывает, Роберт,— сказала Наташа.

— Нет, бывает. В политике. И они творят страшное зло. Один такой лжеромантик в Берлине как раз отсиживается сейчас в бункере.

Я отвез Наташу домой. «Роллс-ройса», к счастью, уже не было, она его отослала, хотя с нее вполне сталось бы не отпускать машину.

— Тебя не удивляет, что он уехал? — спросила она.

— Нет,— сказал я.

— Ты это предполагал?

— Тоже нет.

— На что же ты рассчитывал?

— Что ты вместе со мной поедешь в «Ройбен».

Мы стояли в подъезде ее дома. Было темно и очень холодно.

— Жаль, что нельзя больше воспользоваться квартирой, верно?

— Да,— сказал я и посмотрел в ее чужое лицо с искусственными ресницами.

— Пойдем со мной наверх,— прошептала она.— Но нам придется любить друг друга молча.

— Нет,— ответил я,— поехали ко мне в гостиницу. Там нам не надо будет хранить молчание.

— Почему ты не забрал меня с собой сразу из «Павильона»?

— Не знаю.

— Ты не хотел меня?

— Не знаю. Иногда есть желание, а иногда нет.

— Почему же в этот раз его не было?

— Наверное, потому, что ты была такой далекой. Я не знаю. Теперь у меня появилось желание, потому что ты так ужасающе далека.

— Только поэтому?

— Нет.

— Поищи такси. Я подожду здесь.

Я быстро пошел на угол. Было очень холодно. Меня переполняло волнение от того, что Наташа ждала в темном подъезде. Каждая жилка во мне дрожала. Добежав до следующего угла, я нашел там такси и подъехал к дому. Наташа быстро вышла из подъезда. Мы не произнесли ни слова. Я почувствовал, что и Наташу бьет дрожь. Мы крепко держались за руки, но все равно продолжали дрожать. Мы сами не помнили, как вышли из такси. Нас никто не видел. Казалось, будто мы впервые были вместе.

XXXI

Бетти Штейн умерла в январе. Последнее наступление немецких войск добило ее. Она с жадностью следила за продвижением союзников, комната ее была завалена газетами. Когда же неожиданно началось немецкое контрнаступление, ее мужеству был нанесен страшный удар. Даже провал наступления не придал ей бодрости. Ее охватило чувство страшной безысходности при мысли о том, что теперь война затянется еще на несколько лет. Надежды на то, что немцам удастся избавиться от нацистов, угасали.

— Немцы будут защищать каждый город,— устало говорила она,— это продлится годы. Немцы заодно с нацистами. Они не бросят их в беде.

Бетти таяла на глазах. И однажды утром Лиззи нашла ее в постели мертвой. Она вдруг стала маленькой и легкой, и тем, кто не видел Бетти последнюю неделю, трудно было узнать ее, так сильно она изменилась за это время.

Она не пожелала, чтобы ее сжигали. Утверждала, что этот «чистый» уход из жизни стал для нее неприемлем с тех пор, как безостановочно горели печи в немецких крематориях, извергая, подобно огромному адскому заводу, пламя из сотен труб. Бетти отказывалась принимать даже немецкие лекарства, оставшиеся от старых запасов в Америке. И тем не менее в ней жило неистребимое желание снова увидеть Берлин. В ее памяти неизменно возникал Берлин, которого больше не было, но отказаться от которого ее не могло заставить ни одно газетное сообщение,— давно ушедший в прошлое Берлин воспоминаний, который упрямо жил только в сознании эмигрантов, оставаясь для них прежним, знакомым и близким.

Похороны Бетти состоялись в один из дней, когда улицы были завалены снегом. Накануне налетела снежная буря, и город буквально откапывали из белой массы. Сотни грузовиков сбрасывали снег в Гудзон и в Ист-ривер. Небо было очень голубое, а солнце светило ледяным светом.

Часовня при похоронном бюро не могла вместить всех пришедших. Бетти помогала многим людям, давно забывшим ее. Теперь, однако, они заполнили ряды этой псевдоцеркви, где стоял орган — собственно даже и не орган, а просто-напросто граммофон, на котором проигрывались пластинки давно умерших певцов и певиц, как отзвук уже не существовавшей более Германии. Рихард Таубер — еврейский певец, обладатель одного из самых сладких голосов мира, выброшенный варварами за пределы родины и умерший от рака легких в Англии,— исполнял немецкие народные песни. Он пел: «Нет, не могу покинуть я, всем сердцем так люблю тебя». Вынести это было трудно, но таково было желание Бетти. Она не хотела уйти из жизни по-английски. Позади я услышал рыдания, какое-то сопение и, оглянувшись, увидел Танненбаума, небритого, с землистым лицом, с запавшими глазами. По-видимому, он приехал из Калифорнии и не успел поспать. Своей карьерой он был обязан неутомимой натуре Бетти.

Мы еще раз собрались в квартире Бетти. Перед смертью она настаивала и на этом. Она завещала нам быть веселыми. На столе стояло несколько бутылок вина — Лиззи и Везель позаботились о бокалах и пирожных из венгерской булочной.

Веселья не было. Мы стояли вокруг стола, и нам казалось, что теперь, когда Бетти больше нет с нами, от нас ушел не один человек, а много.

— Что будет с квартирой? — поинтересовался Мейер-второй.— Кому она достанется?

— Квартира завещана Лиззи,— сказал Равик.

— Квартира и все, что находится в ней.

Мейер-второй обратился к Лиззи:

— Вам наверняка захочется от нее избавиться. Она ведь слишком велика для вас одной, а мы как раз ищем квартиру для троих.

— Плата за нее внесена до конца месяца,— произнесла Лиззи и вручила Мейеру бокал.

Тот выпил.

— Вы, разумеется, отдадите ее, а? Друзьям Бетти, а не каким-нибудь чужим людям!

— Господин Мейер,— раздраженно сказал Танненбаум,— неужели обязательно говорить об этом именно сейчас?

— Почему бы и нет? Квартиру трудно найти, особенно старую и недорогую. В таком случае зевать нельзя. Мы уже давно ищем чего-нибудь подходящего!

— Тогда обождите еще несколько дней.

— Почему? — с недоумением спросил Мейер.— Завтра утром я опять уезжаю, а вернусь в Нью-Йорк только на следующей неделе.

— Тогда обождите до следующей недели. Существует такое понятие, как уважение к памяти человека.

— Об этом я как раз и говорю,— сказал Мейер.— Прежде, чем квартиру выхватит из-под носа какой-нибудь чужак, гораздо лучше отдать ее знакомым Бетти!

Танненбаум кипел от ярости. Из-за второй двойняшки он считал себя покровителем и Лиззи тоже.

— Эту квартиру вы, конечно, желаете получить бесплатно, не так ли?

— Бесплатно? Кто говорит, что бесплатно? Можно было бы, на-

верное, покрыть кое-какие расходы на переезд или купить кое-что из мебели. Вы ведь не станете делать бизнес на столь печальном событии?

— Почему бы и нет? — воскликнул красный от злости Танненбаум.— Лиззи месяцами бесплатно ухаживала за Бетти, и та в знак благодарности оставила ей квартиру, которую, конечно, она не подарит каким-нибудь бродягам, уж можете быть уверены!

— Я вынужден настоятельно просить перед лицом смерти...

— Уймитесь, господин Мейер,— сказал Равик.

— Что?

— Довольно. Изложите ваше предложение фрейлейн Коллер в письменной форме, а теперь успокойтесь и ведите себя потише.

— Предложение в письменной форме! Мы что — нацисты? Я же даю слово джентльмена...

— Вот стервятник! — с горечью заметил Танненбаум.— Ни разу не навестил Бетти, а у бедной Лиззи норовит отнять квартиру прежде, чем она узнает, сколько эта квартира стоит!

— Вы остаетесь здесь? — спросил я.— Или у вас есть еще дела в Голливуде?

— Я должен вернуться. У меня небольшая роль в ковбойском фильме. Очень интересная. А вы слышали, что Кармен вышла замуж?

— Что?

— Неделю назад. За фермера в долине Сан-Фернандо. Разве она не была близка с Каном?

— Я этого точно не знаю. Вам доподлинно известно, что она вышла замуж?

— Я был на свадьбе. Свидетелем у Кармен. Ее муж грузный, безобидный и вполне заурядный. Говорят, что раньше это был хороший игрок в бейсбол. Они выращивают салат, цветы и разводят птицу.

— Ах, куры! — воскликнул я.— Тогда все понятно.

— Ее муж — брат хозяйки, у которой она жила.

Я удивился, что Кана не было на панихиде. Теперь мне стало ясно, почему он отсутствовал. Хотел избежать идиотских вопросов. Я решил зайти к нему. Был обеденный час, и он в это время бывал свободен.

Я застал его в обществе Хольцера и Франка. Хольцер раньше был актером, а Франк — известным в Германии писателем.

— Как там похоронили Бетти? — спросил Кан.— Ненавижу похороны в Америке, поэтому и не пошел. Розенбаум, наверное, произносил свои дежурные речи у гроба.

— Его трудно было остановить. По-немецки и по-английски,— конечно, с саксонским акцентом. По-английски, к счастью, совсем коротко. Не хватало слов.

— Этот человек — настоящая эмигрантская Немезида,— сказал Кан, обращаясь к Франку.— Он был в прошлом адвокатом, но здесь ему не разрешают заниматься частной практикой, поэтому-то он и выступает везде, где только представится случай. Охотнее всего на собраниях. Ни один эмигрант не попадает в крематорий без слащавых напутствий Розенбаума. Он всюду вылезает без приглашения, ни минуты не сомневаясь, что в нем остро нуждаются. Если я когда-нибудь умру, то постараюсь, чтобы это произошло в открытом море, дабы избежать встречи с ним, но, боюсь, он появится на корабле как безбилетный пассажир или попытается проповедовать с вертолета. Без него не обойтись.

Я посмотрел на Кана. Он был очень спокоен.

— Он может разглагольствовать у меня на могиле сколько угод-

но,— мрачно бросил Хольцер.— Но только в Вене, после освобождения. На могиле стареющего героя-любовника с лысиной и юной душой.

— На лысину можно надеть парик,— заметил я.

В 1932 году Хольцер был любимцем публики. В утренних спектаклях он играл молодых героев-любовников, играл свежо и естественно. В нем счастливо сочетались талант и блестящая внешность. Теперь он отяжелел на добрых пятнадцать фунтов, у него появилась лысина, выступать в театрах Лондона он не мог, и все эти неудачи превратили его в мрачного мизантропа.

— Я уже не смогу показаться перед своей публикой,— сказал он.

— Ваша публика стала тоже на двенадцать лет старше,— сказал я.

— Но она не видела, как я старел, она не старела вместе со мной,— парировал он.— Она помнит меня, Хольцера, каким я был в тридцать втором.

— Вы смешны, Хольцер,— сказал Франк.— Подумаешь, проблема. Перейдете на характерные роли, и все тут.

— Я не характерный актер. Я типичный герой-любовник.

— Хорошо,— нетерпеливо прервал его Франк.— Тогда вы станете просто героем или как там это у вас в театре называется. Ну, скажем, пожилым героем. И у Цезаря была лысина. Сыграете, в конце концов, короля Лира.

— Но для этого я еще недостаточно стар, господин Франк!

— Послушайте! — воскликнул Франк.— Я не вижу в этом проблемы. Мне было шестьдесят четыре, как говорится, в пору творческого расцвета, когда в тридцать третьем сожгли мои книги. Скоро мне будет семьдесят семь. Я уже старик, не могу больше работать. Все мое достояние — восемьдесят семь долларов. Вы только посмотрите на меня!

Франк был немцем до мозга костей, поэтому иностранные издатели, иногда выпускавшие его книги в переводе, второй раз уже не рисковали это делать, так как его книги никто не покупал. К тому же Франк не мог выучить в должной степени английский, потому что для этого он слишком немец. Он с трудом перебивался случайными авансами и пособиями.

— После войны ваши книги снова будут издаваться,— заметил я.

Он с сомнением взглянул на меня.

— В Германии? В стране, которую двенадцать лет воспитывали в национал-социалистском духе?

— Именно потому,— сказал я, сам не веря в это.

Франк покачал головой.

— Я забыт,— возразил он,— им там нужны другие писатели. Мы им больше не нужны.

— Как раз вы-то и нужны!

— Я? В тридцать третьем году у меня было так много творческих планов,— тихо сказал Франк.— А теперь я ни на что не способен. Я стар. Это страшно. Пока старость не наступит, в нее трудно поверить. Теперь я понимаю, что это такое. И знаете, с каких пор? С того момента, когда я впервые понял, что война для нацистов проиграна и что, наверное, можно будет вернуться.

Все молчали. Я выглянул в окно. Там тускло светилось зимнее небо, от грохота грузовиков в комнате все слегка дрожало. Потом я услышал, как Франк и Хольцер простились и ушли.

— Какое утро! — сказал я Кану.— Какой чудесный день!

Он кивнул в знак согласия:

— Вы, разумеется, слышали, что Кармен вышла замуж?

— Да, от Танненбаума. Но в Америке легко развестись.

Кан засмеялся.

— Мой дорогой Роберт! Чем вы еще можете меня утешить?

— Ничем,— ответил я.— Так же как и Хольцера.

— И так же как Франка?

— О нет! Здесь, черт возьми, огромная разница! Вам ведь не семьдесят семь.

— Вы слышали, что сказал Франк?

— Да. Он конченый человек и не знает, что ему теперь делать. Он состарился незаметно для себя. А мы — нет.

Мне бросилась в глаза сосредоточенность и вместе с тем какая-то растерянность Кана. Я связывал это с Бетти и с Кармен. Я надеялся, что это скоро пройдет.

— Радуйтесь, что не присутствовали на панихиде у Бетти,— сказал я.— Было ужасно.

— Ей повезло,— задумчиво произнес Кан.— Она умерла вовремя.

— Вы думаете?

— Да, представьте себе, что было бы, если бы она вернулась. Она не вынесла бы разочарования. А так она умерла в ожидании. Я знаю, что в конце ее охватило отчаяние, но какая-то искорка веры, наверное, все же теплилась. Вера придает сил.

— Как и надежда.

— Надежда более уязвима. Сердце продолжает верить, а мозг уже глух.

— Не слишком ли вы осложняете себе жизнь?

Он рассмеялся.

— Когда-нибудь даже автоматы перестанут подчиняться человеку. Они не взорвутся, а просто остановятся.

Я понял, что убеждать его в чем-либо бессмысленно. Кан метался по кругу, как собака, страдающая запором. Любой, даже самый слабый, намек он улавливал своим напряженным и бдительным умом и отвергал еще прежде, чем он был высказан. Кана надо было оставить одного. К тому же я и сам чувствовал усталость. Ничто так не утомляет, как беготня по кругу, а еще более утомительно при этом следовать за кем-то.

— До завтра, Кан,— сказал я.— Мне еще надо зайти к антиквару посмотреть картины. Зачем вы позвали таких людей, как Хольцер и Франк? Вы ведь не мазохист.

— Оба пришли с панихиды по Бетти. Вы их там не видели?

— Нет. Там было полно людей.

— Они побыли там, а потом зашли ко мне, чтобы отвлечься. Боюсь, я предоставил их своей судьбе.

Я ушел. Чисто деловая, хотя и несколько своеобразная атмосфера у Силверса подействовала на меня благотворно.

— Твой знакомый с Пятьдесят седьмой улицы не собирается в зимний отпуск? — спросил я Наташу.— Во Флориду, Майами или Палм-Бич? Может, у него больные легкие, или больное сердце, астма, или какие-нибудь другие недуги, для которых климат Нью-Йорка слишком суров?

— Он не выносит жары. Летом в Нью-Йорке как в бане.

— Нам от этого не легче. Как трудно бедному человеку в Америке наслаждаться любовью! Без собственной квартиры это почти невозможно. Страна, наверное, полна безутешных онанистов. Проституток в этих стерильных широтах я тоже еще не видел. Богатырского

телосложения полицейские, освобожденные от военной службы именно благодаря своей комплекции, хватают эти хилые зачатки эротики на улицах, как собачники бродячих мопсов, и доставляют их безжалостным судьям, которые приговаривают их к большим штрафам. А где же людям заниматься любовью?

— В автомобилях.

— А тем, у кого их нет? — спросил я, отгоняя мысль о просторном «роллс-ройсе» со встроенным баром; может, Фрезер не умеет править сам, и тогда шофер — это мой ангел-хранитель.— Что делать здоровым молодым людям, если нет борделей? В Европе проститутки на любую цену кружат по улицам, как перелетные птицы. Здесь я пока еще проституток не видел. Как, впрочем, и общественных уборных. Думаешь, это случайно? В Париже эти интимные будки находятся в нескольких метрах друг от друга, стоят на улицах как бастионы из жести и, надо сказать, активно используются. Ночные бабочки вылетают на улицу уже в одиннадцать утра, французам неведомы психиатры. У них почти не бывает истощения нервной системы. Здесь же у каждого свой психиатр, нет общественных туалетов, а проституток могут вызвать только состоятельные люди по хранимым в тайне номерам. А что же делать более бедным людям со всеми этими полицейскими запретами, с бранящимися хозяйками, смиренными пресвитерианцами и жандармами, что им делать зимой без машины, без этого последнего прибежища загнанной в подполье любви?

— Взять машину напрокат.

Я сидел в расшатанном плюшевом кресле того же цвета, что и мебель в холле. Таинственный владелец гостиницы тридцать лет назад, по-видимому, ограбил вагон с плюшем, где, кроме того, везли, наверное, еще и контрабандное виски, иначе трудно объяснить, почему гостиница снизу доверху обита этим ужасным плюшем и везде темнеют пятна от виски.

Наташа лежала на кровати. На столе были остатки ужина, за который нам следовало благодарить американский магазин деликатесов, это великолепное заведение, утешителя всех холостяков, где можно купить горячих кур с вертела, шоколадные пирожные, нарезанную кружками колбасу, всякие консервы, роскошную туалетную бумагу, малосольные огурцы, красную икру, хлеб, масло и липкий пластырь — короче, где можно купить все, кроме презервативов. Последние можно приобрести в другом американском заведении, своего рода комбинации аптеки и закусочной — аптечном магазине, где их с заговорщическим видом вручает вам одетый в белое хозяин, будто он — сложивший с себя сан католический священник, совершающий символическое убиение младенца.

— Дать тебе кусочек шоколадного торта к кофе? — спросил я.

— Дать, и побольше. Сию же минуту. Зима пробуждает аппетит. Пока на улицах лежит снег, шоколадное пирожное для меня — лучшее лекарство.

Я поднялся, достал из чемодана, служившего тайничком, электрическую плитку, поставил на нее алюминиевый чайник с водой и тут же закурил сигарету «Уайт оул», чтобы запах кофе не был слышен в коридоре. Опасности никакой не было — хотя готовить в номере и запрещалось,— ибо никого это не волновало. Но когда Наташа была здесь, я проявлял осторожность. Невидимый хозяин гостиницы вполне мог шмыгать по коридорам. Он никогда этого не делал, и именно это меня так и настораживало. То, чего меньше всего ждешь, как раз и случалось в моей жизни слишком часто: это был один из неписаных законов эмиграции.

Когда я наливал кофе, в дверь тихо, но настойчиво постучали.

— Спрячься под моим пальто,— сказал я.— С головой и ногами. Посмотрю, что там стряслось.

Я повернул ключ в замке и чуть приоткрыл дверь. У порога стояла пуэрториканка. Она приложила палец к губам.

— Полиция,— прошептала она.

— Что?

— Внизу. Три человека. Может быть, они поднимутся и сюда. Будьте осторожны! Обыск.

— Что там произошло?

— Вы один? У вас нет женщины?

— Нет,— ответил я.— Полиция здесь из-за этого?

— Не знаю. Наверное, из-за Меликова. Но неизвестно. Вероятно, будет обыск. Если обнаружат женщину, ее заберут.

«В ванную»,— мелькнуло у меня в голове. Но если полиция устроит облаву и найдет Наташу в ванной, то это только ухудшит дело. Выйти вниз, в холл она не могла, если ищейки уже здесь. «Проклятье,— думал я,— что же делать?»

Вдруг рядом с собой я скорее почувствовал, чем увидел, Наташу. Как быстро она оделась, просто удивительно. Даже ее маленькая шапочка была уже на голове. Наташа держалась хладнокровно и спокойно.

— Меликов,— сказала она.— Они сцапали его.

Пуэрториканка сделала ей знак.

— Скорее! Вы — ко мне в комнату, а Педро — сюда. Понятно?

— Да.

Наташа быстро огляделась по сторонам.

— До встречи.— И она последовала за женщиной.

Из темного коридора вынырнул мексиканец Педро. Он на ходу пристегивал подтяжки и завязывал галстук.

— Buenas tardes [1]. Так-то оно лучше!

Я все понял. Если появится полиция, то Педро — мой гость, в то время как Наташа будет у пуэрториканки. Куда проще, чем драматичное англосаксонское бегство через окно в уборной по обледеневшим крышам. Я бы сказал, латинская простота.

— Садитесь, Педро,— предложил я.— Сигару?

— Благодарю. Лучше сигарету. Большое спасибо, сеньор Роберто. У меня есть свои.

Он явно нервничал.

— Документы,—прошептал он.— Плохо дело. Может, они все же не появятся.

— У вас нет документов? Скажете, что забыли.

— Плохо дело. У вас документы в порядке?

— Да. В порядке. Но кому приятно встречаться с полицией?

Меня самого временами пробирала нервная дрожь.

— Хотите водки, Педро?

— Слишком крепкий напиток в этой ситуации. Лучше сохранять ясность ума. Но чашечку кофе — с удовольствием, сеньор!

Я налил ему кофе. Педро пил торопливо.

— Что с Меликовым? — спросил я.— Вам что-нибудь известно о нем?

Педро замотал головой. Потом он наклонил ее набок, закрыл глаз, поднял руку, приложил ее к носу и будто втянул в себя воздух. Я понял.

— Вы верите этому?

Он пожал плечами. Мне вспомнились намеки Наташи.

---

[1] Добрый вечер *(исп.)*.

— Мог бы я что-нибудь для него сделать?

— Ничего! — ответил Педро, неотступно следя за мной взглядом.— Держать язык за зубами,— добавил он, бурно жестикулируя.— Иначе Меликову будет еще хуже.

Я уложил плитку в чемодан и огляделся вокруг. Не оставила ли Наташа каких-нибудь следов? Пепельница. Я бесшумно открыл окно и выбросил два окурка со следами красной губной помады. Затем я подкрался к двери, открыл ее и прислушался, пытаясь уловить, что происходит внизу.

В гостинице стояла мертвая тишина. Из холла до меня донеслось какое-то бормотание. Затем послышался топот поднимавшихся по лестнице людей. Я сразу понял, что это полиция. Я уже неплохо в этом разбирался, так как довольно часто слышал такой топот в Германии, Бельгии и Франции. Я быстро закрыл дверь.

— Идут.

Педро бросил сигарету.

— Они поднимаются сюда,— сказал я.

Педро поднял сигарету с пола.

— В комнату Меликова?

— Это мы посмотрим. Почему вы считаете, что полиция будет делать обыск?

— Чтобы хоть что-то найти! Ясное дело.

— Без ордера?

Педро вновь пожал плечами.

— Какой тут нужен ордер? Когда речь идет о бедняках?

Конечно, этого и следовало ожидать. Почему в Нью-Йорке должно быть не так, как в любом другом городе мира? Надо бы мне это знать. Документы у меня в порядке, но не совсем. И у Педро, видимо, тоже. Что до пуэрториканки, я очень сомневался. Только у Наташи было все в порядке. Ее бы отпустили. У нас же проверка затянулась бы. Я отрезал большой кусок шоколадного торта и запихнул в рот. Кормят во всех полицейских участках преотвратительно.

Я выглянул из окна. Напротив светилось несколько окон.

— Где окно вашей приятельницы? — спросил я Педро.— Его видно отсюда?

Он подошел ко мне. От его курчавых волос пахло сладковатым маслом. На шее у него был шрам от фурункула. Он посмотрел вверх.

— Над нами. Этажом выше. Отсюда не видно.

Мы то и дело прислушивались к звукам, доносившимся из холла. Все было тихо. Все, кто был в гостинице, по-видимому, знали: что-то произошло. Никто не спускался вниз. Наконец я услышал тяжелые энергичные шаги сверху. Они затихли внизу. Я приоткрыл дверь.

— Кажется, полиция уходит. Обыска не будет.

Педро оживился.

— Почему они не оставляют людей в покое? Стоит ли поднимать столько шума из-за какого-то мизерного количества порошка, если он приносит радость? На войне разрывают миллионы людей гранатами. Здесь же устраивают гонение на щепотку белого порошка, будто это динамит какой.

Я внимательно посмотрел на него, на его влажные глаза, на белки с голубым отливом, и мне пришла в голову мысль, что он и сам был бы не прочь понюхать.

— Вы давно знаете Меликова? — спросил я.

— Не очень.

Я молчал — а какое мне было до этого дело? Интересно, можно ли чем-то помочь Меликову. Но я едва ли мог что-то сделать — иностранец да еще с сомнительными документами.

Дверь открылась. Это была Наташа.

— Они ушли,— сказала она.— С Меликовым.

Педро встал. Вошла пуэрториканка.

— Пошли, Педро.

— Благодарю,— сказал я ей.— Большое спасибо за любезность.

Она улыбнулась.

— Бедные люди охотно помогают друг другу.

— Не всегда.

Наташа поцеловала ее в щеку.

— Большое спасибо тебе, Ракель, за адрес.

— Какой адрес? — поинтересовался я, когда мы остались одни.

— Где продают чулки. Самые длинные, какие я только видела. Их трудно найти. Большинство чересчур короткие. Ракель показала мне свои. Просто чудо.

Я не мог удержаться от смеха.

— А мне с Педро было не так весело.

— Разумеется. Он испугался. Он тоже нюхает почем зря! И теперь перед ним проблема: ему придется искать другого поставщика.

— Меликов был поставщиком?

— Мне кажется, не основным. Его принудил к этому тот гангстер, которому принадлежит гостиница. Иначе он вылетел бы отсюда. Нового места он никогда бы не получил — возраст не тот.

— Можно что-нибудь сделать для него?

— Ничего. Это под силу только гангстеру. Вероятно, он поможет ему выбраться. У него очень ловкий адвокат. Ему придется что-то сделать для Меликова, чтобы тот не изобличил его.

— Откуда тебе все это известно?

— Ракель рассказала.

Наташа оглянулась по сторонам.

— А куда девался торт?

— Вот он, я съел кусок.

Она рассмеялась.

— Голод как следствие страха, не так ли?

— Нет. Как следствие осторожности. Кофе выпил Педро. Хочешь кофе?

— Я считаю, мне лучше уйти. Не стоит дважды искушать судьбу. Трудно сказать, не нагрянет ли полиция еще раз.

— Хорошо. Тогда я провожу тебя домой.

— Нет, не провожай. Не исключено, что внизу оставлен наблюдатель. Если я выйду одна, объясню, что была у Ракель. Настоящая авантюра, верно?

— Для меня — даже чересчур настоящая. Ненавижу авантюры.

Она рассмеялась:

— А я — нет.

Я довел ее до лестницы. И вдруг увидел, что на глазах у нее слезы.

— Бедный Владимир,— пробормотала она,— бедная искалеченная душа.

Быстро, держась очень прямо, она твердой походкой спустилась по лестнице. А я вернулся к себе в каморку и стал приводить ее в порядок — убирать со стола. Почему-то это всегда настраивало меня чуть-чуть на меланхолический лад, так как, по-видимому, ничто в жизни не вечно, даже проклятый шоколадный торт. В порыве неожиданной ярости я распахнул окно и выкинул остатки. Пусть будет праздник кошкам, если мой праздник уже прошел. Без Меликова в гостинице сразу стало пусто. Я спустился вниз. Никого не было. Люди стараются избегать тех мест, где побывала полиция, как чумы. Я немного подождал и даже

принялся листать старый номер «Тайма», оставленный каким-то посетителем, но меня раздражало всезнайство этого журнала, который знал больше, чем сам господь бог, и преподносил все сведения в расфасованном виде, в готовых маленьких пакетиках под несколько вычурными заголовками. Я прошмыгнул по внезапно осиротевшему холлу, подумав, что человека начинают ценить лишь тогда, когда его больше нет,—чертовски тривиальная, но потому особенно гнетущая истина. Я думал о Наташе и о том, что теперь сложнее будет проводить ее тайком ко мне в комнату. Меня все больше одолевала меланхолия, и я, как бочка с водой в ливень, все больше наполнялся чувством сострадания к себе. День был мрачный, передо мной прошла череда минувших прощаний, а потом я подумал о прощаниях грядущих, и у меня стало совсем тяжело на душе, потому что я не видел выхода. Меня пугала ночь, собственная кровать и мысль о том, что назойливые сны в конце концов доконают меня. Я достал пальто и отправился бродить по морозному белому городу — хотел устать до изнеможения. Я прошел вверх по совершенно тихой Пятой авеню до Сентрал-парка. Справа и слева от меня светились, как стеклянные гробы, запорошенные снегом витрины. Вдруг я услышал собственные шаги и подумал о полиции в гостинице, а затем о Меликове, сидевшем в какой-то клетке; потом я почувствовал, что очень устал, и повернул назад. Я шагал все быстрее и быстрее, ибо усвоил, что иногда это смягчает грусть, но я слишком устал и не чувствовал, так ли это было на сей раз.

XXXII

События вдруг стали разворачиваться с удивительной быстротой. Недели таяли, как снег на улицах. Некоторое время я ничего не слышал о Меликове. Но как-то утром он появился вновь.

— Тебя выпустили! — воскликнул я.— Все кончилось?

Он покачал головой.

— Меня освободили под залог. Дело еще только будет слушаться.

— Против тебя есть какие-нибудь серьезные улики?

— Лучше, если мы не будем об этом говорить. А еще лучше, если ты не будешь задавать вопросов, Роберт. В Нью-Йорке всего надежнее ничего не знать и ни о чем не спрашивать.

— Хорошо, Владимир. Ты похудел. Почему тебя так долго не выпускали?

— Пусть это будет твоим последним вопросом. Поверь мне, Роберт, так лучше. И избегай меня.

— Нет! — запротестовал я.

— Да. А теперь давай-ка выпьем водки. С тех пор как я в последний раз пил водку, прошло довольно много времени.

— Ты плохо выглядишь. Похудел — и такой грустный. Будем надеяться, что скоро все изменится к лучшему.

— В тюрьме мне исполнилось семьдесят лет. Да и давление у меня чертовски высокое.

— Но ведь есть всякие лекарства!

— Роберт,— тихо произнес Меликов,— от забот еще не найдено лекарств. К тому же мне не хочется умереть в тюрьме.

Я молчал. За окном стучала капель.

— Ты не можешь...— сказал я тихо,— ты не можешь сделать то же, что я делал в минуту опасности? Америка велика, а обязательной прописки не существует. Кроме того, каждый штат пользуется большой самостоятельностью и имеет собственные законы. Это не предложение, я просто рассуждаю вслух.

— Я не хочу подвергаться гонениям и розыску. Нет, Роберт, мне надо попытать счастья. Я надеюсь на помощь людей, уже поддержавших меня однажды. Забудем пока обо всем.— Он судорожно улыбнулся.— Выпьем водки в надежде на инфаркт, пока мы еще на свободе.

В марте состоялась помолвка дочери Фрислендера с одним американцем. А в апреле она вышла за него замуж. Фрислендер решил дать по этому поводу два приема: один — как американец, а второй — как бывший эмигрант. Он, правда, был полон твердой решимости с каждым днем все больше американизироваться, считая брак своей дочери с настоящим, коренным американцем еще одним значительным шагом в этом направлении, но вместе с тем он желал показать и нам, людям без гражданства, что хотя он и умалчивает о своем происхождении, но все же не отрекается от него. По этой причине была устроена настоящая свадьба с приглашением родственников мужа — потомков тех, кто прибыл на «Мейфлаурс»,— и нескольких избранных эмигрантов: одни из них уже получили гражданство, другие просто были богатыми людьми; второй прием предназначался для простых смертных — короче, для более бедного люда. У меня не было желания идти на это торжество, но Наташа, охваченная неуемной страстью к гуляшу по-сегедски, приготовленному кухаркой Фрислендера, настаивала, чтобы я пошел, надеясь, что я снова принесу домой полную кастрюлю.

По выражению Фрислендера, это был своего рода прощальный вечер, знаменовавший одновременно начало новой жизни.

— Скитания в пустыне приближаются к концу,— сказал он.

— Где же Земля Обетованная? — иронически спросил Кан.

— Здесь! А где же еще? — Фрислендер удивился.

— Стало быть, здесь уже празднуется день победы, да?

— Евреи побед не празднуют, господин Кан. Евреи празднуют избавление,— сказал Фрислендер.

— Молодожены будут и сегодня? — спросил я у фрау Фрислендер.

— Нет. Сразу после свадьбы они отправились во Флориду.

— В Майами?

— В Палм-Бич. В Майами не так изысканно.

Я представил себе их зятя; он был банкиром, а его предки несколько веков тому назад прибыли сюда из Англии на овеянном легендами маленьком судне «Мейфлаурс», этом Ноевом ковчеге американской аристократии, который должен был бы раз в десять превосходить «Куин Мери», чтобы вместить всех каторжников и пиратов, чьи правнуки впоследствии утверждали, будто их предки прибыли на этом корабле.

Я огляделся по сторонам. С самого начала я почувствовал, что обстановка здесь сегодня не такая, как обычно. Фрислендер устраивал вечера для беженцев каждые два месяца. Поначалу он делал это, чтобы образовать нечто вроде эмигрантского центра. Постепенно стало ясно, что ассимиляция шла нормально — полная ассимиляция происходит ведь только во втором поколении. В первом же поколении люди еще держатся вместе.

Причиной этого является недостаточное знание языка, сохранившиеся привычки, кроме того, в пожилом возрасте трудно приспосабливаться к новым условиям. Дети эмигрантов, посещавшие американские школы, без особых усилий усваивали обычаи страны. С родителями же дело обстояло сложнее. Несмотря на всю благодарность за прием, им казалось, что они сидят в этакой приятной тюрьме без стен, и никто из них не отдавал себе отчета в том, что они сами воздвигли вокруг себя все эти преграды и барьеры. Страна же оказалась на редкость гостеприимной.

— Я остаюсь здесь,— сказал Танненбаум. Он приехал из Голливуда, чтобы сыграть в нью-йоркском театре роль эсэсовца.— Это единственная страна, где на нас не смотрят как на оккупантов. Здесь не чувствуешь себя чужестранцем. Во всех прочих странах было по-другому. Я остаюсь здесь.

Везель пристально посмотрел на него.

— А если вы больше не найдете работы? У вас ведь сильный акцент, и, когда кончится война, ролей для вас, очевидно, больше не будет.

— Напротив, тогда-то все и начнется.

— Вы не бог и не можете все знать,— резко заметил Везель.

— Так же как и вы, Везель. Но у меня есть работа.

— Прошу вас, господа,— воскликнула фрау Фрисленде р,— только не ссорьтесь! Сейчас, когда все у нас уже позади!

— Вы так думаете? — спросил Кан.

— Конечно, если только не возвращаться назад! — сказал Танненбаум.— Как, по-вашему, теперь выглядит Германия?

— Родина есть родина,— произнес Везель.

— А дерьмо есть дерьмо.

— А мне придется вернуться,— печально произнес Франк.— Что мне еще остается?

То был основной мотив этого унылого вечера, на который все пришли с думами о будущем. Вдруг случилось то, что и предсказывал Кан: решивших остаться именно потому, что вскоре они получат возможность вернуться, начало мучить какое-то смутное чувство утраты. Перспектива остаться в Штатах не казалась уже столь радужной, как ранее, хотя, в сущности, ничего не менялось. А те, кто намеревался вернуться и перед кем всегда маячила Европа, старая родина, вдруг почувствовали, что теперь это вовсе не рай, а разоренная земля, где полно самых разных проблем. Это походило на флюгер: то он поворачивался одной стороной, то другой. Трогательные иллюзии, которыми все они жили, лопались. И те, кто хотел вернуться, и те, кто хотел остаться, равно ощущали себя дезертирами. На этот раз они дезертировали от самих себя.

— Лиззи хочет вернуться,— сказал Кан.— Вторая из двойняшек — Люси — намерена остаться. Их всегда видели вместе. Теперь обе упрекают друг друга в эгоизме, и это подлинная трагедия.

Я посмотрел на него. Я ничего не знал об его отношениях с Лиззи.

— Вы не хотите уговорить Лиззи остаться? — спросил я.

— Нет. Идет великая ломка,— заметил он иронически.— И великое отрезвление.

— И для вас?

— Для меня? — переспросил он, смеясь.— Я просто лопну, как воздушный шарик. Не там и не здесь. А вы?

— Я? Не знаю. Еще достаточно времени подумать об этом.

— Вы же этим только и занимались, пока были здесь, Роберт.

— Есть вещи, раздумье о которых не способствует их прояснению. Потому и не стоит о них слишком долго рассуждать. Это только все портит и усложняет. Такие решения принимаются мгновенно.

— Да,— сказал он.— Это делается мгновенно, вы правы.

Фрисленде р отвел меня в сторону.

— Не забудьте, что я вам говорил о немецких акциях. После перемирия их можно будет приобрести за бесценок. Но они будут расти, расти и расти в цене. Можно ненавидеть страну в политическом отношении, но к ее экономике испытывать доверие. А в целом — это нация шизофреников. Толковые промышленники, ученые и организаторы массовых убийств.

— Да,— сказал я с горечью.— И часто все это сочетается в одном лице.

— Я ведь сказал — шизофреники. Будьте и вы шизофреником: наживите себе состояние, и можете потом сколько угодно ненавидеть нацистов.

— Не слишком ли это прагматично?

— Называйте как хотите. Зачем же давать промышленным концернам, посылавшим на смерть рабочих-рабов, наживать бешеные деньги?

— Они-то, будьте уверены, все равно не останутся в накладе,— сказал я.— Они все получат: и почести, и ордена, и пенсии, и миллионы в придачу. Как-никак я там родился. Мы видели все это после первой мировой войны. Ну, а вы вернетесь, господин Фрисленде?

— Ни за что! Свои дела я могу решать по телефону. Если вам нужны деньги. я охотно дам вам тысячу долларов. На этой основе там, за океаном, можно начать все что угодно.

— Благодарю. Вероятно, я приму ваше предложение.

Какое-то мгновение мне казалось, будто произошло короткое замыкание, но свет не погас, а лишь чуть замигал и сразу же загорелся вновь ярко и спокойно. Это был момент, когда тревожное, смутное желание, в котором был и страх и мысль о невозможности возвращения, вдруг неуловимо стало реальностью. Деньги, предложенные мне Фрисленде, нужны мне были, конечно же, не для бизнеса. Они таили в себе возможность возвращения, этих денег было даже больше, чем нужно, чтобы добраться до страны, которая надвигалась на меня, как черное облако. Я стоял под люстрами и, точно слепой, смотрел прямо перед собою, не видя ничего, кроме расплывающегося светлого пятна.

Мне еще требовалось время, чтобы прийти в себя. Казалось, будто на меня обрушился смерч огромной силы. Теперь все завертелось у меня перед глазами, свет и тени смешались, а надо всем плыл голос Кана:

— Кухарка уже накладывает гуляш. Берите свою порцию и давайте сбежим отсюда. Ну, как?

— Что? Бежать? Когда?

— Когда угодно! Если хотите — сейчас.

— Так-так! — Я снова начал понимать Кана.— Сейчас не могу,— сказал я.— Мне еще надо решить несколько вопросов. Я должен задержаться, Кан.— Мне хотелось собраться с мыслями, а это лучше всего делать в неразберихе, в толчее, среди гостей. К тому же мне не хотелось сейчас говорить с Каном. Все было еще слишком неопределенно, ново, призрачно и в то же время полно значения.

— Хорошо,— сказал Кан.— А я ухожу. Я не могу больше выносить этих восторгов, сантиментов, всей этой неопределенности. Сотни ослепленных птиц забились о прутья своих клеток, обнаружив вдруг, что эти прутья уже не из стали, а из вареных спагетти. И они не знают, что теперь делать — петь или жаловаться. Некоторые уже запели,— угрюмо добавил он.— Скоро они поймут, что чирикать им здесь нечего и что теперь они лишатся последней опоры — романтической тоски по родине и романтической ненависти. Оказывается, разрушенную страну уже нельзя ненавидеть — вот ведь как получается. Доброй ночи, Роберт.

Он был очень бледен.

— Я, наверное, зайду к вам попозже,— сказал я, испугавшись этой бледности.

— Не надо. Я иду спать. Приму несколько таблеток снотворного. Да не бойтесь,— сказал он, увидев выражение моего лица.— Ничего я над собой не сделаю. Желаю приятно провести время на этом торжестве, оказавшемся таким невеселым. Доброй ночи, Роберт.

— Доброй ночи, Кан. Я забегу к вам завтра днем.

— Буду очень рад.

Меня мучила совесть, я уже хотел броситься за ним, но был совершенно сбит с толку этим абсурдным, печальным праздником и тем, что в конце сказал Кан. Я остался и, не очень вникая, слушал Лахмана.

— Мой недуг пройдет, как страшный сон,— говорил он, усиленно мигая.

— А как твой католический бизнес? — поинтересовался я.— Четки и статуэтки святых?

— Там видно будет. Пока что я не спешу. Я лучший коммивояжер нашего времени. Чужая вера дает большую свободу действий. А это здорово помогает бизнесу. К тому же католики мне больше доверяют, потому что я не католик.

— Стало быть, ты не возвращаешься, а?

— Может быть, через несколько лет. Съезжу в гости. Но до этого еще есть время, много времени.

Я с завистью взглянул на него.

— Чем ты занимался раньше? — спросил я.— До нацистов?

— Был студентом и сыном зажиточных родителей. Ничему так и не научился.

Я не мог спросить, что стало с его родителями, но мне хотелось бы знать, что творилось у него в голове. Однажды Кан сказал мне, что евреи — народ не мстительный. Возможно, в этом есть доля истины. Они неврастеники, и их ненависть быстро оборачивается смирением, а ради спасения собственного «я» — даже сочувственным пониманием противника. Как любая крайность, да и вообще как любое общее утверждение, это соответствовало действительности лишь отчасти. И тем не менее слова Кана врезались мне в память. Евреи — не мстительный народ, они для этого слишком культурны и интеллектуальны. «Я совсем не такой»,— думал я. Я был одинок и казался самому себе троглодитом. Но на сей раз со мной творилось нечто такое, через что я не мог переступить; это странное чувство было так значительно, что все попытки избавиться от него лишь вызывали у меня зуд нетерпения. Это был почти непонятный голос крови, который, как я чувствовал, приведет меня к гибели. Я противостоял этой силе, пытаясь избежать ее, и порой мне казалось, что это мне почти удается. Но затем надвигалось что-то — воспоминание, тяжелый сон или возможность приблизиться к безмолвно поджидающему року,— и все иллюзии избавления оказывались раздавленными, как стая бабочек, побитых градом. Мне снова становилось ясно, что это «нечто» здесь, рядом со мной и что мне его не избежать. Оно было у меня в крови и требовало крови. Я мог при свете дня попытаться иронизировать над ним, подшучивать и насмехаться, но солнечный свет лишь ненадолго рассеивал его, голос крови продолжал звучать и ночью наверстывал свое.

— Не надо грустить, господин Росс,— сказала фрау Фрисленде р.— В конце концов это последняя наша встреча в качестве эмигрантов.

— Последняя!

— Скоро все кончится. Времена Агасфера миновали.

Я озадаченно посмотрел на славную толстуху. Откуда это у нее? Вдруг мне без особой причины стало весело. Я забыл Кана и собственные свои мысли. Я глядел в розовое лицо чистой, добродушной глупости, и мне как-то сразу стало ясно, сколь абсурдным был этот скорбно-торжественный вечер с его наивной помпезностью, волнением и растерянностью.

— Вы правы, фрау Фрисленде р,— вымолвил я.— Прежде чем устремиться в разные стороны, всем нам напоследок нужно было бы насладиться обществом друг друга. Наша судьба — судьба солдат после

войны. Скоро они опять будут только приятелями, но уже не фронтовыми друзьями, все опять будет так, как когда-то. Тогда на прощание нам придется еще раз порадоваться всему тому, чем мы были и чем не были друг для друга.

— Это я и имею в виду! Именно это! Рози уже приготовила вам в последний раз гуляш. Со слезами на глазах. Огромную кастрюлю.

— Великолепно! Мне всего этого будет очень не хватать.

На душе у меня становилось все радостнее. Вполне вероятно, что при этом где-то на дне души оставалось и отчаяние, но, если сказать по правде, когда его не было? Мне казалось, что теперь уже не может случиться ничего плохого, в том числе и с Каном.

Я взял свою кастрюлю гуляша и пошел домой. Мне вдруг показалось, что я могу, наконец, сбросить с себя то, что давило на меня свинцовым грузом, и я ощутил внезапный прилив жизненных сил, не думая о том, что еще может наступить и, вероятно, наступит.

XXXIII

Когда на следующий день я пришел к Кану, его уже не было в живых. Он застрелился. Он лежал не в кровати, а на полу возле стула, с которого, видимо, сполз. Был очень ясный день, яркий свет почти слепил глаза. Портьеры не были задернуты. Свет лился в комнату. А Кан лежал на полу. В первый момент эта картина показалась мне такой неестественной, что я никак не мог поверить в случившееся. Потом я услышал радио, все еще игравшее и после его смерти, и увидел размозженный череп. Когда я входил в комнату, лицо Кана показалось мне невредимым. И только подойдя ближе, я заметил рану. Кан лежал на боку.

Я не знал, как быть. Я слышал, что в подобных случаях следует вызвать полицию и что ничего нельзя трогать до ее прихода. Какое-то время я неподвижно глядел на то, что осталось от Кана, и где-то во мне гнездилось чувство, что все это неправда. То, что сейчас лежало здесь на полу, имело столь же малое отношение к Кану, как восковые фигуры в музее — к тем, кого они изображают. Я сам чувствовал себя восковой фигурой, но еще живой. И только потом я очнулся и ощутил ужасное смятение и раскаяние: у меня вдруг возникла невыносимо твердая уверенность в том, что именно я повинен в смерти Кана. Накануне вечером он мне все сказал — это было настолько мелодраматично и чуждо характеру Кана, что я не имел права успокаиваться.

Мне стало до ужаса ясно, как одинок был Кан и как он нуждался во мне, а я не замечал ничего только потому, что не желал замечать.

Я не впервые видел мертвеца, и не впервые им оказывался мой друг. Я видел многих людей в ужасных обстоятельствах, но здесь было нечто совсем иное. Для меня и для многих других Кан был чем-то вроде монумента — казалось, он был сделан из более крепкого материала, чем любой другой; он был кондотьером и донкихотом, робингудом и сказочным спасителем, мстителем и баловнем судьбы, элегантным канатоходцем и находчивым Георгием Победоносцем, обманувшим драконов времени и вырвавшим у них жертву. Вдруг я опять услышал радио и выключил его. Я искал глазами хоть какое-нибудь письмо, но мне сразу стало ясно, что я ничего не найду. Он умер так же одиноко, как и жил. И я понял, почему я искал какую-нибудь записку от него: мне хотелось облегчить свою совесть, найти от него хоть слово, хоть какую-нибудь малость, хоть что-нибудь, что могло бы меня оправдать в собственных глазах. Но я ничего не увидел. Зато я увидел размозженную

голову в ее ужасающей реальности, хотя казалось, будто я смотрю на нее издалека или через толстое стекло. Я был удивлен и растерян: почему он застрелился? Я даже подумал, что это странная смерть для еврея, но тут же вспомнил, что об этом, со свойственным ему сарказмом, говорил мне сам Кан, и раскаялся в своих мыслях. На меня снова обрушилась мучительная боль и самое худшее из всех ощущений: вот навсегда угас человек, будто его никогда и не существовало, и я волей-неволей виноват в его смерти.

Наконец я взял себя в руки. Надо было что-то предпринять, и я позвонил Равику. Это был единственный врач, которого я знал. Я осторожно снял трубку, будто и она была мертва и ею нельзя было больше пользоваться. В этот полуденный час Равик оказался у себя.

— Я нашел Кана мертвым,— сказал я.— Он застрелился. Не знаю, что делать. Вы можете приехать?

Равик некоторое время молчал.

— Вы уверены, что он мертв?

— Уверен. У него разможжен череп.

Я был близок к истерике, так как мне показалось, будто Равик размышляет, когда ему приехать — сейчас или после обеда; в таких случаях за какие-то секунды много мыслей проносится в голове.

— Ничего не предпринимайте,— посоветовал Равик.— Оставьте все, как есть. И ни к чему не прикасайтесь. Я немедленно выезжаю.

Я положил трубку. Мне пришла в голову мысль вытереть трубку, чтобы на ней не было отпечатков пальцев. Но эту мысль я сразу же отверг: кто-то ведь должен же был найти Кана и вызвать врача. «Как сильно кино разлагает наше мышление»,— подумал я и мгновенно ощутил ненависть к самому себе за возникшую мысль. Я сел на стул рядом с дверью и принялся ждать. Потом мне показалось трусостью сидеть так далеко от Кана, и я уселся на стол. Повсюду я наталкивался на следы последних мгновений жизни Кана — сдвинутый стул, закрытая книга на столе. Я открыл ее, пытаясь найти какой-то ответ на происшедшее, но это не была ни антология немецкой поэзии, ни томик Франца Верфеля, а всего лишь посредственный американский роман.

Тишина, странно усиливавшаяся приглушенным шумом с улицы, становилась все мучительнее. Казалось, она забилась в узкий темный угол под столом рядом с покойным и сидит там на корточках, будто ждет, когда всякий живой шум, наконец, смолкнет и позволит мертвецу, лежавшему в неудобной позе, выпрямиться, чтобы на сей раз умереть по-настоящему, а не наспех. Даже желтый свет, казалось, замер, парализованный, остановленный на лету какой-то невидимой, таинственной силой, и тишина стала более напряженной, чем самая бурная жизнь. В какой-то момент мне почудилось, что я слышу, как на пол падают капли крови; но сил убедиться в том, что это не так, у меня не было. Кан мертв, и это было непостижимо,— даже смерть кролика бывает трудно осознать, ибо она слишком близка к нашей смерти.

Неслышно вошел Равик, но я испугался так, будто на меня ехал паровой каток. Не останавливаясь, он подошел к Кану и стал его рассматривать. Он не нагнулся над трупом и не дотронулся до него.

— Надо вызвать полицию,— сказал он.— Вы хотите быть при этом?

— А это обязательно?

— Нет, я могу сказать, что я нашел его. Когда является полиция, возникает масса вопросов. Предпочитаете их избежать?

— Теперь уже нет,— сказал я.

— Ваши документы в порядке?

— Это тоже уже не так важно.

— Нет, до некоторой степени все еще важно,— возразил Равик.— Вот Кану теперь уже действительно все равно.

— Я останусь,— произнес я.— Мне безразлично, если даже полицейские подумают, что я его убил.

Равик повернулся ко мне.

— Вы, видно, сами так думаете.

Я в упор посмотрел на него.

— Почему вы так считаете?

— Нетрудно угадать. Не ломайте себе над этим голову, Росс. Если во всех случайностях видеть проявление судьбы, нельзя будет и шагу ступить.

Он смотрел в застывшее лицо Кана, которого никто из нас уже не смог бы узнать.

— Мне всегда казалось, что он не знал, чем заняться в мирное время.

— Ну, а вы-то знаете?

— Для врача это проще простого. Снова латать людей, чтобы они погибли в следующей войне.— Он снял трубку и позвонил в полицию. Номер и адрес ему пришлось повторять несколько раз.— Да, он мертв,— повторил он.— Да, хорошо! Когда? Хорошо.— Он положил трубку.— Приедут, как только смогут. Сержант сказал, что они очень заняты. Убийства в первую очередь. Это не единственный случай самоубийства в Нью-Йорке.

Мы сидели и ждали. Опять казалось, будто время мертвым грузом повисло между нами. На приемнике Кана я увидел электрические часы. Странно было подумать: приемник Кана, часы Кана. Это уже был анахронизм. Обладание связано с жизнью. А эти вещи не принадлежали больше Кану, ибо он утратил с ними связь. Они оказались теперь во власти великой безымянности. Они лишились своего хозяина и безымянные витали отныне во вселенной, как предметы, утратившие центр тяжести.

— Вы останетесь в Америке? — спросил я Равика.

Он кивнул.

— Мне дважды пришлось сдавать экзамены: в Париже и потом здесь. Если я вернусь, там могут потребовать, чтобы сдал их еще раз.

— Но это же невозможно.

Равик бросил на меня иронический взгляд.

— Вы так думаете? — Он указал на лежавшего на полу Кана, которому сейчас нельзя было дать и двадцати лет.— У него не было никаких иллюзий. Нас, наверное, ненавидят, как и прежде. Вы все еще верите сказке о бедных изнасилованных немцах? Загляните же в газеты! Они отстаивают каждый дом, хотя уже десять раз проиграли войну. Они защищают нацистов с большей яростью, чем мать своих детей, да еще и умирают за них.—Он сердито и печально покачал головой.—Кан знал, что делал. И не отчаяние двигало им, он просто был прозорливее нас.— Равик еле сдерживался.— Мне так грустно! — сказал он.— Грустно из-за Кана. Он спас меня в сороковом году. Я был в лагере. Во французском лагере для интернированных. Представьте себе людей, охваченных безумным страхом. Пришли немцы. Комендант не дал нам бежать. Я знал, что меня ищут. Если бы меня нашли, меня бы повесили. Кан разузнал, где я. В форме эсэсовца с двумя сопровождающими он явился в лагерь, накричал на коменданта-француза и потребовал, чтобы ему меня выдали.

— Ну и как? Получилось? Удачно?

— Не совсем,— сухо бросил Равик.— Комендант вспомнил вдруг о своей проклятой воинской чести. Он заявил, что в лагере меня нет, что меня уже выпустили. Он был не против передать нас всех скопом, но отдельных лиц пытался спасти. Кан взбудоражил весь лагерь, пока нашел меня. Это была комедия ошибок. Я спрятался, так как действительно думал, что пришли гестаповцы. Уже за пределами лагеря

Кан дал мне коньяку и объяснил, что́ произошло. Он выглядел так, что я его не узнал. Усы как у фюрера и перекрашенные волосы. Этот коньяк был лучшим напитком из всех, какие я когда-либо пил. Он раздобыл его неделей раньше...— Равик поднял глаза.— В трудных ситуациях он был самый легкий человек, какого я знал. Здесь же он становился все трудней и трудней. Спасти его было невозможно. Понимаете, почему я вам об этом рассказываю?

— Да.

— У меня больше, чем у вас, оснований обвинять себя. Но я не делаю этого. Куда бы мы зашли, если бы каждый думал, как вы? — медленно произнес Равик.

На лестнице послышался грохот.

— Топот полицейских сапог,— сказал Равик.— Это тоже незабываемо.

— Куда его отвезут? — спросил я.

— В морг, для вскрытия. А может, и нет. Причина смерти ведь очевидна.

Дверь распахнулась. Жизнь, грубая и примитивная, ворвалась к нам. Пышущие здоровьем люди с грохотом ввалились в комнату, в их неловких пальцах замелькали огрызки карандашей, послышались глупые вопросы. Кто-то принес носилки. Нас забрали в полицию. Мы назвали свои адреса и в конце концов были отпущены. А Кан остался.

— Хозяин похоронного бюро приветствует нас теперь, как своих старых знакомых,— с горечью произнесла Лиззи Коллер.

Я посмотрел на нее. Она была спокойнее, чем я ожидал. Странно, что Кан не производил на женщин особого впечатления. Равик дал знать Танненбауму, а тот сообщил Кармен, которая ответила, что это для нее не такая уже неожиданность, и продолжала заниматься своими курами. Отношения Кана с Лиззи были не такими продолжительными и близкими, и она была значительно менее подавлена, чем на панихиде по Бетти Штейн. Лицо у нее было розовое и свежее, будто все потрясения давно уже миновали. «Наверное, нашла себе любовника,— подумал я.— Какого-нибудь безобидного эгоиста, которого она понимает. Кан и ее не сумел раскусить: он ведь никогда не интересовался женщинами, которые его понимали».

Был ветреный день, на небе громоздились белые облака. С крыши капало. Я пригрозил Розенбауму, что выставлю его из часовни, если ему взбредет в голову произносить речь у гроба Кана, и он пообещал мне молчать. В последний момент мне удалось уговорить хозяина «дома скорби» не ставить пластинок с немецкими народными песнями. Он даже обиделся и заявил, что другие ничуть не стали бы возражать против этого, скорее наоборот: песня вроде «Ужель возможно это?» им наверняка бы понравилась.

— Откуда вы знаете?

— Во всяком случае было бы пролито больше слез, чем обычно.

«Все дело в том, как к этому относиться»,— подумал я. Хозяин сохранил пластинки после панихиды по Бетти и сделал на этом бизнес. После смерти Моллера он стал специалистом по похоронам эмигрантов.

— Немного музыки непременно должно звучать,— сказал он мне.— Иначе все будет выглядеть чересчур бедно.

Плата за похороны с музыкой возрастала на пять долларов. Я уже велел убрать лавровые деревья у входа, и теперь хозяин уставился на меня так, будто я вырывал последний кусок хлеба из его золотых зубов. Я просмотрел ассортимент его пластинок и отобрал «Ave verum» Моцарта.

— Вот эту пластинку,— сказал я.— А кадки с лавровыми деревьями оставьте, пожалуй.

Часовня была наполовину пуста. Ночной сторож, три официанта, два массажиста и одна массажистка, у которой на руках было только девять пальцев, какая-то неизвестная старуха в слезах — вот и все. Старуху, официанта, у которого раньше был магазин по продаже корсетов в Мюнхене, и массажиста, торговавшего углем в Ротенбурге-на-Таубере, Кан спас во Франции, уведя из-под носа у гестапо. У них никак не укладывалось в голове, что он мертв. Кроме того, было еще несколько человек, которых я едва знал.

Вдруг я увидел Розенбаума. Он пробирался позади жалкого маленького гроба, похожий на черную лягушку. Как завсегдатай похорон, он явился в визитке цвета маренго и в полосатых брюках. Он был единственным среди нас, одетым согласно траурному обряду, в своей визитке, оставшейся от прошлых времен. Он встал перед гробом, широко расставив ноги, покосился на меня и раскрыл рот.

Равик толкнул меня. Он заметил, что я вздрогнул. Я кивнул. Розенбаум взял верх: он знал, что я не рискну устроить драку перед гробом Кана. Я хотел выйти на улицу, но Равик снова толкнул меня.

— Вы не думаете, что Кан рассмеялся бы? — прошептал он.

— Нет. Он даже говорил, что скорее предпочел бы утонуть, чем позволить Розенбауму открыть рот на его похоронах.

— Именно потому,— сказал Равик.— Кан знал: с неминуемым надо смириться. А это неминуемо.

Никакого решения мне, собственно, принимать не пришлось. Одно как бы накладывалось на другое — так, как одна на другую ложатся страницы, а в результате получается книга. Месяцы нерешительности, надежд, разочарований, бунтарства и тяжких снов накладывались друг на друга и без каких-либо усилий с моей стороны превратились в твердую уверенность. Я знал, что уеду. В этом уже не было никакого мелодраматизма — это было почти как итог в бухгалтерской ведомости. Я не мог поступить по-другому. Я возвращался даже не для того, чтобы отомстить. И это прошло. Все было намного проще. Я возвращался, чтобы обрести почву под ногами. Пока я этого не сделаю, мне нигде не найти покоя. Иначе мысль о самоубийстве, отвращение к собственной трусости и самое ужасное раскаяние останутся вечными спутниками до конца моих дней. Я не мог не уехать. Я еще не знал, с чего начну, но уже был убежден, что не буду связываться с судами, процессами, требовать кары для виновных. Я имел представление о прежних судах и судьях в стране, куда собирался вернуться. Они были послушными пособниками правительства, и я не мог себе представить, что у них вдруг проснется совесть, ничего общего не имеющая с оппортунистической возможностью переметнуться на сторону тех, кто стоит у власти. Я мог рассчитывать только на самого себя.

Когда Германия капитулировала, я отправился к Фрислендеру. Он встретил меня с сияющим лицом.

— Ну вот, со свинством покончено! Теперь можно приниматься за восстановление!

— Восстановление?

— Разумеется. Мы, американцы, будем вкладывать в эту страну миллиарды.

— Странно, можно подумать, будто разрушения совершаются только для того, чтобы потом восстанавливать разрушенное. Или я рассуждаю неправильно?

— Правильно, только нереалистично. Мы разрушили систему, а те-

перь восстанавливаем страну. Здесь заложены колоссальные возможности. Взять хотя бы бизнес в строительстве.

Приятно было поспорить с человеком дела.

— По-вашему, система разрушена? — спросил я.

— Само собой разумеется! После такого-то разгрома.

— Военное положение в восемнадцатом году тоже было катастрофическим. И тем не менее Гинденбург — один из тех, кто нес ответственность за это,— стал президентом Германии.

— Гитлер мертв! — воскликнул Фрислендер с юношеским запалом.— Союзники повесят других или бросят их за решетку. Теперь нужно идти в ногу с эпохой.— Он хитро подмигнул мне.— Поэтому вы ведь и пришли ко мне, а?

— Да.

—Я не забыл того, что предлагал вам.

— Потребуется некоторое время, прежде чем я смогу отдать вам этот долг,— произнес я и почувствовал, как во мне загорается слабая надежда. Если Фрислендер сейчас откажет, мне придется подождать, пока я наберу достаточно денег, чтобы оплатить проезд. Это была отсрочка на короткое время, отсрочка в стране, где теперь, когда я собирался ее покинуть, мне опять почудилось слабое мерцание чужого рая.

— Я привык выполнять то, что обещал,— сказал Фрислендер.— Как вы хотите получить деньги? Наличными или чек?

— Наличными,— сказал я.

— Я так и думал. Такой суммы у меня при себе нет. Придете завтра и получите. А что касается выплаты, то время терпит. Вы хотите их инвестировать, да?

— Да,— сказал я после некоторого колебания.

— Хорошо. Выплатите мне, ну, скажем, шесть процентов. А сами заработаете сто. Это справедливо, не так ли?

— Очень справедливо с вашей стороны.

«Справедливо» было одним из его любимых словечек, хотя он и в самом деле был справедлив. Обычно люди прячутся за любимыми словечками, как в укрытии. Я встал, чувствуя облегчение и в то же время полную безнадежность.

— Большое спасибо, господин Фрислендер.

Какое-то мгновение я смотрел на него со жгучей завистью. Он стоял, цветущий, преуспевающий бизнесмен, в окружении семьи, этакий столп ясного, неколебимого мира. Потом мне вспомнились слова Лиззи о том, что он импотент. Я решил поверить в это хотя бы сейчас, чтобы преодолеть зависть.

— Вы наверняка останетесь в Америке? — спросил я.

Он кивнул.

— Для моих дел достаточно телефона. И телеграфа. А вы?

— Я уеду, как только начнут курсировать пароходы.

— Все это теперь скоро устроится. Война с Японией долго не продлится. Мы и там наводим порядок. Сообщение с Европой от этого не пострадает. Ваши документы теперь в порядке?

— Мой вид на жительство продлен еще на несколько месяцев.

— С этим вы вполне можете разъезжать, где захотите. Думаю, что и в Европе тоже.

Я знал, что все это не так-то просто. Но Фрислендер был человеком масштабным. Детали — это была не его стихия.

— Дайте о себе знать до отъезда,— сказал он, будто уже установился самый прочный мир.

— Обязательно! И большое вам спасибо.

XXXIV

Все было не так просто, как думал Фрислендер. Прошло еще более двух месяцев, прежде чем дело сдвинулось с мертвой точки. Несмотря на все трудности, это было самое приятное для меня время за долгие годы. Все мучившее меня оставалось и даже, быть может, усугублялось; но переносить все стало много легче, ибо теперь у меня появилась цель. перед которой я не стоял в растерянности. Я принял решение, и мне с каждым днем становилось яснее, что иного пути для меня нет. Вместе с тем я не пытался загадывать наперед. Я должен вернуться, все прочее разрешится на месте. Я по-прежнему видел сны. Они снились мне даже чаще, чем прежде, и были теперь еще страшнее. Я видел себя в Брюсселе ползущим по шахте, которая все сужалась и сужалась, а я все полз, полз, пока с криком не проснулся. Передо мной возникло лицо человека, который прятал меня и был за это арестован. На протяжении нескольких лет это лицо являлось мне в моих неясных снах, будто подернутое какой-то дымкой; казалось, жуткий страх, что я не перенесу этого, мешал мне ясно вспомнить его черты. Теперь я вдруг четко увидел его лицо, усталые глаза, морщинистый лоб и мягкие руки. Я проснулся в глубоком волнении, но уже не в той крайней растерянности, не в том состоянии, близком к самоубийству, как прежде. Я проснулся, исполненный горечи и жажды мщения, но подавленности и всегдашнего чувства, будто меня переехал грузовик, не было и в помине. Наоборот, я был предельно сосредоточен, и смутное сознание того, что я еще жив и могу сам распорядиться своей жизнью, преисполняло меня страстным нетерпением; это уже не было ощущение безнадежного конца, нет, это было ощущение безнадежного начала. Безнадежного потому, что ничего и никого нельзя было вернуть к жизни. Пытки, убийства, сожжения — все это было, и ничего уже нельзя ни исправить, ни изменить. Но что-то изменить все же было можно, речь здесь шла не о мести, хотя это чувство и походило на месть и взрастало на той же примитивной почве, что и месть. Это было чувство, свойственное только человеку. Убежденность в том, что преступление не может остаться безнаказанным, ибо в противном случае все этические основы рухнут и воцарится хаос.

Странно, но в эти последние месяцы я, несмотря ни на что, ощущал в себе какую-то удивительную легкость. Все темное, призрачное, нереальное, что было в моей жизни здесь, в Америке, вдруг отошло на задний план, и моему мысленному взору представилась тихая, волшебно-прекрасная картина. Как будто рассеялся туман, все краски мира засверкали вновь, заходящее солнце позолотило идиллию ранних сумерек, безмолвная фата-моргана витала над шумным городом. Это было сознание разлуки, которая все преображала и идеализировала. «Разлука существовала всегда»,— думал я; жизнь, полная разлук, на какой-то миг показалась мне схожей с мечтой о вечной жизни, с той лишь разницей, что монотонность Агасферовых скитаний сменилась общением с мертвыми, преображенными в нашем сознании. Каждый вечер был для меня последним.

Я решил только в самый последний момент признаться Наташе, что уезжаю. Я чувствовал, что она обо всем догадывается, но ничего не говорит. Я же предпочитал смириться с обвинениями в дезертирстве и предательстве, нежели терпеть муки бесконечно затянувшегося прощания, связанного с упреками, обидами, краткими примирениями и так далее. Я просто не мог себе этого позволить. Все мои силы были подчинены иной цели, я не мог расточать их в бесплодной скорби, спорах и объяснениях.

Это были светлые дни, наполненные любовью, как соты медом. Май врастал в лето, появлялись первые сообщения из Европы. Мне казалось, будто раскрывается склеп, долго остававшийся замурованным. Если раньше я избегал новостей или лишь поверхностно отмечал их в своем сознании, чтобы не быть ими поверженным, то сейчас я, напротив, с жадностью набрасывался на них. Дело в том, что теперь они имели прямое отношение к цели, которая засела во мне как заноза: уехать, уехать. Ко всему прочему я оставался слеп и глух.

— Когда ты уезжаешь? — вдруг спросила меня Наташа.

Я немного помолчал.

— В начале июля,— произнес я.— Откуда ты знаешь?

— Во всяком случае, не от тебя. Почему ты мне ничего не сказал?

— Я узнал об этом только вчера.

— Врешь.

— Да,— ответил я,— вру. Я не хотел тебе этого говорить.

— Ты мог бы преспокойно мне это сказать. А почему бы и нет?

Я молчал.

— Никак не мог решиться,— пробормотал я.

Она рассмеялась.

— Почему? Мы были некоторое время вместе и, надо сказать, не строили никаких иллюзий на этот счет: просто один использовал другого, только и всего. Теперь нам суждено расстаться. Ну и что же?

— Я тебя не использовал.

— А я тебя — да. И ты меня тоже. Не лги! В этом нет необходимости.

— Я знаю.

— Хорошо, если бы ты все-таки перестал врать. Ну хотя бы напоследок.

— Я постараюсь.

Она бросила на меня быстрый взгляд.

— Итак, ты сознаешься, что лгал?

— Я не могу ни сознаваться в этом, ни отрицать этого. Ты вольна думать все, что хочешь.

— Так просто, да?

— Нет, это вовсе не просто. Я уезжаю, правда. Я тебе даже не могу объяснить почему. Вот все, что я могу тебе сказать. Это как будто кто-то должен уйти на войну.

— Должен? — спросила она.

Я молчал, вконец измученный. Мне надо было выдержать.

— Мне нечего добавить,— выдавил я наконец из себя.— Ты права, если речь здесь может идти о правоте. Согласен, я лгун, обманщик, эгоист. Но, с другой стороны, это не так. Кто может во всем этом разобраться в такой ситуации, где правду трудно отличить от неправды?

— Какая сторона важнее? Что перевешивает?

— То, что я люблю тебя,— произнес я с усилием.— Хотя сейчас, может быть, и не время об этом говорить.

— Да,— ответила она неожиданно мягко.— Сейчас не время, Роберт.

— Почему? — возразил я.— Этому всегда время.

Я видел ее страдания, и они причиняли мне боль, словно я порезал руку острым ножом. Мне так хотелось все изменить, но в то же время я отчетливо понимал, что это всего-навсего жалкий эгоизм.

— Неважно! — воскликнула она.— Как видно, мы значили друг для друга меньше, чем нам казалось. Мы оба были лгунами.

— Да,— сказал я смиренно.

— За это время у меня были и другие мужчины. Не только ты.

— Я знаю, Наташа.

— Ты знаешь?

— Нет! — ответил я резко.— Я ничего не знал. Я этому никогда бы не поверил.

— Можешь поверить. Это правда.

Я видел в этом всего лишь выход для ее невероятной гордости. Даже сейчас я не верил ей.

— Я верю тебе,— сказал я.

— Вот уж не ожидала.

Наташа вздернула подбородок. Она мне очень нравилась в такой позе. Я был в отчаянии, как и она, только ее отчаяние было сильнее. Тому, кто остается, всегда хуже, даже если он — нападающая сторона.

— Я люблю тебя, Наташа. Я хотел, чтобы ты это поняла. Не для меня. Для тебя.

— Не для тебя?

Я понял, что снова допустил ошибку.

— Я беспомощен! — воскликнул я.— Неужели ты не видишь?

— Просто мы расходимся как равнодушные люди, которые случайно прошли вместе отрезок пути, никогда не понимая друг друга. Да и как нам было друг друга понять?

Я полагал, что снова подвергнусь нападкам за свой немецкий характер, но чувствовал, что она выжидает. Предвидеть она не могла только одного — что я не стану возражать. Поэтому она отступила.

— Хорошо, что так получилось,— произнесла она.— Я все равно собиралась тебя оставить. Не знала только, как это тебе объяснить.

Я знал, что должен ответить. Но не мог.

— Ты собиралась уйти? — наконец решился я.

— Да. Уже давно. Мы слишком долго были вместе. Такие связи, как наша, должны быть короче.

— Да,— согласился я.— Спасибо тебе за то, что ты не поспешила. Иначе я бы погиб.

Она обернулась ко мне.

— Зачем ты снова лжешь?

— Я не лгу.

— Все слова! Всегда у тебя слишком много слов. И всегда ведь к месту!

— Только не теперь.

— Не теперь?

— Нет, Наташа. Никаких слов у меня больше нет. Мне грустно и неоткуда ждать помощи.

— Опять слова!

Она встала и схватила свою одежду.

— Отвернись,— сказала она,— не хочу больше, чтобы ты так смотрел на меня.

Она надела чулки и туфли. Я смотрел в окно. Окна были распахнуты, было очень тепло. Кто-то разучивал на скрипке «La Paloma» [1], без устали повторяя первые восемь тактов, каждый раз делая одну и ту же ошибку. Я чувствовал себя мерзко, я ничего больше не понимал. Мне было ясно только одно: если б я даже остался, теперь всему пришел бы конец. Я слышал, как Наташа сзади меня натягивала юбку.

Я обернулся на скрип двери и встал.

— Не провожай меня,— сказала она.— Оставайся здесь. Я хочу выйти одна. И не появляйся больше. Никогда. Не появляйся больше никогда!

Я пристально смотрел на ее бледное чужое лицо, глаза, глядев-

[1] «Голубка» — популярная испанская песня.

шие куда-то поверх меня, на ее рот и руки. Она даже не кивнула мне, за ней еще не захлопнулась дверь, а ее уже давно здесь не было.

Я не побежал за ней. Я не знал, что мне делать. Я стоял и смотрел в пустоту.

Я подумал, что можно еще догнать Наташу, если взять такси. Я уже подошел к двери, но затем решил, что все это ни к чему, и вернулся. Я понимал, что это бессмысленно. Еще некоторое время я постоял у себя в комнате: сидеть мне не хотелось. Наконец я спустился вниз. Там был Меликов.

— Ты не проводил Наташу домой? — спросил он удивленно.

— Нет. Ей захотелось уйти одной.

Он посмотрел на меня.

— Это уладится. Завтра же все забудет.

— Ты думаешь? — спросил я, охваченный безумной надеждой.

— Конечно. Пойдешь спать? Или выпьем по рюмке водки?

Надежда еще теплилась. У меня ведь оставалось целых две недели до отъезда. Все вокруг растворилось в потоке радости. У меня было такое чувство, что если я теперь выпью с Меликовым, Наташа завтра позвонит или придет. Не может быть, чтоб мы вот так расстались навсегда.

— Хорошо! — воскликнул я.— Выпьем по одной. Как у тебя дела с судом?

— Через неделю начнется. Так что жить мне осталось еще неделю.

— Почему?

— Если меня засадят надолго, я этого не выдержу. Мне семьдесят, и у меня уже было два инфаркта.

— Я знал человека, который выздоровел в тюрьме,— позволил я себе осторожно заметить.— Никакого алкоголя, легкий труд на воздухе, размеренный образ жизни. Сон только по ночам, а не днем.

Меликов покачал головой.

— Все это для меня яд. Но мы еще посмотрим. Не стоит сейчас об этом думать.

— Правда,— сказал я.— Не стоит. Если б только нам это удалось.

Пили мы немного. У нас обоих было такое чувство, словно нам многое надо сказать друг другу, и мы уселись поудобнее, будто впереди у нас была долгая ночь. Но потом вдруг оказалось, что обсуждать нечего, и мы совсем умолкли. Каждый погрузился в свои мысли, говорить, собственно, было не о чем. «Не следовало спрашивать Меликова о процессе,— подумал я,— но не в этом дело». Наконец я поднялся.

— У меня на душе кошки скребут, Владимир. Пойду поброжу по улицам, пока не устану.

Он зевнул.

— А я пойду спать, хотя потом у меня наверняка еще будет на это достаточно времени.

— Думаешь, тебя осудят?

— Осудить можно любого человека.

— Без доказательств и улик?

— Можно найти и доказательства, и улики. Доброй ночи, Роберт. Следует остерегаться воспоминаний, тебе ведь это известно, не так ли, старина?

— Да, известно. Я этому уже научился. Иначе меня давно не было бы в живых.

— Воспоминания — чертовски тяжелый багаж. Особенно когда сидишь за решеткой.

— И это мне известно, Владимир. Тебе тоже?

Он пожал плечами.

— Да, как будто. Когда стареешь, многое иной раз забывается. А то вдруг воспоминания появляются вновь. Мне на память приходят такие вещи, о которых я не думал больше сорока лет. Странно все это.

— Это приятные воспоминания?

— Отчасти. Потому-то и странно. Приятные воспоминания плохи, потому что это прошлое, неприятные хороши опять-таки потому, что это прошлое. Думаешь, этим можно жить в тюрьме?

— Да,— сказал я.— Там убиваешь время. Если рассуждать так, как мы теперь.

Я ходил по городу, пока не ощутил смертельную усталость. Я прошел мимо дома Наташи, постоял около нескольких телефонных будок, но позвонить не решился. «У меня впереди еще две недели»,— думал я. Всегда самое трудное — пережить первую ночь, потому что в подобной ситуации кажется, будто ночь находится совсем рядом со смертью. Чего я, собственно, хотел? Мещански трогательного прощания с поцелуями у трапа загаженного парохода и обещания писать? Разве не лучше было так? Как это говорил Меликов? Не следует тащить за собой груз воспоминаний. Это тяжелый груз, если не состаришься настолько, что воспоминания будут единственным твоим достоянием. А как я сам рассуждал всегда? Не надо культивировать воспоминания, надо держаться от них подальше, чтобы они не удушили тебя, как лианы в девственном лесу. Наташа поступала правильно. А я? Почему я метался как сентиментальный школьник, облачившийся в жалкие лохмотья тоскливого ожидания и трусости, решительно ни на что не способный? Я ощущал мягкость ночи, чувствовал дыхание гигантского города, и вместо того чтобы легкомысленно идти по жизни, следовать ее течению, я блуждал и метался, как в зеркальном лабиринте, выискивая хоть какую-нибудь лазейку, но вновь и вновь натыкался на себя самого. Я прошел мимо «Ван Клеефа», и хотя не желал заглядывать в витрину, однако заставил себя остановиться. Я смотрел на драгоценности покойной императрицы в рассеянном свете июньской ночи, думая о том, как они выглядели на Наташе: взятые напрокат драгоценности на взятой напрокат женщине в мире фальшивомонетчиков. Я тешил себя иронией в те дни иллюзорного благополучия, а теперь я смотрел на сверкающие камни и не мог понять, не совершил ли я серьезной ошибки, не променял ли крохи счастья на запыленные и смешные предрассудки, которые ни к чему не могли привести, кроме донкихотской борьбы с несуществующими ветряными мельницами. Я пристально разглядывал драгоценности, не зная, что делать. Я был уверен только в одном: надо как-то пережить эту ночь. Я цеплялся за то, что мне еще целых две недели необходимо пробыть в Нью-Йорке, цеплялся за завтра и послезавтра, как за спасательный круг. Мне важно было пережить только эту ночь. Но как, если именно в эту ночь я мог быть рядом с Наташей? А если она ждет, чтобы я позвонил ей? Я стоял и шептал: «Нет, нет!» Я действительно шептал снова и снова, я произносил это так, что мог ясно слышать самого себя; это было нечто, уже изведанное мною однажды, раньше это иногда помогало, я говорил с самим собой как с ребенком — твердо и настойчиво: «Нет! Нет! Нет!» или «Завтра, завтра, завтра!» — и теперь я повторял это снова, монотонно, будто заклиная или гипнотизируя себя. «Нет, нет! Завтра, завтра!» — пока не почувствовал, что волнение мое притупилось и я могу идти дальше; я пошел сначала медленно, а затем все быстрее, задыхаясь, пока не добрался до гостиницы.

Наташу я больше не видел. Возможно, мы оба рассчитывали, что другой даст о себе знать. Я неоднократно порывался ей позвонить, но

каждый раз говорил себе, что это ни к чему не приведет. Я не мог перешагнуть через тень, сопровождавшую меня повсюду, и снова и снова повторял себе, что лучше никого больше не тревожить, не бередить свои раны, ибо ничего из этого не выйдет. Иногда мне в голову приходила мысль о том, что, вероятно, Наташа любила меня сильнее, чем она в том признавалась. От этой мысли у меня захватывало дыхание, становилось беспокойно на душе, но мои чувства тонули во всеобщем волнении, с каждым днем все нараставшем. Шагая по улицам, я искал Наташу, но ни разу не встретил ее. Я успокаивал себя глупейшими идеями, из которых идея возвращения в Америку представлялась мне самой невероятной. Меликову вынесли приговор: год тюрьмы. Последние дни я провел в одиночестве. Силверс презентовал мне премию в пятьсот долларов.

— Может, увидимся в Париже,— сказал он.— Я собираюсь туда осенью, кое-что купить. Напишите мне.

Я ухватился за это предложение и обещал написать. Для меня было утешением, что он приедет в Европу, да еще по столь уважительной причине. Теперь Европа представлялась мне не такой ужасной, как прежде.

Вернувшись в Европу, я столкнулся с теперь уже чуждым мне миром. Музей в Брюсселе стоял на прежнем месте, но никто не мог мне сказать, что произошло там за эти годы. Имя спасшего меня человека еще не было забыто, но никто не знал, что с ним сталось. Мои поиски длились несколько лет. Я искал и в Германии. Я искал убийц своего отца. Порой я с болью думал о Кане: он оказался прав. Самое тяжкое разочарование было связано с возвращением: это было возвращение в чужой мир, к безразличию, к скрытой ненависти и трусости. Никто уже больше не вспоминал о своей принадлежности к партии варваров. Никто не чувствовал себя ответственным за то, что совершил. Я был не единственным человеком, носившим чужое имя. К тому времени появились сотни таких, которые своевременно обменяли паспорта, образовав тем самым эмиграцию убийц. Оккупационные власти были доброжелательны, но довольно беспомощны. Давая справки, им приходилось рассчитывать на немецких сотрудников, которых не мог не мучить страх перед последующей местью и которые всегда думали о кодексе чести, чтобы не замарать собственное гнездо. Я не мог восстановить в памяти лицо человека, который орудовал в крематории; никто не был в состоянии даже припомнить их имен; никто не желал ни вспоминать о преступлениях, ни отвечать за них; многие забыли даже о существовании концентрационных лагерей. Я натолкнулся на молчание, на глухую стену страха и отрицания. Некоторые пытались объяснить это тем, что народ слишком устал. Многие, так же как и я, потеряли всех близких во время войны. Каждый за эти годы многое испытал, о других вроде бы можно было и не заботиться. Немцы не нация революционеров. Они были нацией исполнителей приказов. Приказ заменял им совесть. Это стало их излюбленной отговоркой. Кто действовал по приказу, тот, по их мнению, не нес никакой ответственности.

Мне трудно описать, чем я только не занимался в те годы. Но не об этом я стремился рассказать в настоящих записках. Странно, со временем в моих воспоминаниях все чаще стала появляться Наташа. Я не чувствовал ни сожаления, ни раскаяния, но только теперь я осознал, чем она была для меня. Тогда я не понимал всего происходившего, но теперь, когда я то ли очистился от многого, то ли сумел сплавить воедино разочарования, отрезвление и колебания, это становилось для меня все яснее и яснее. У меня появилось впечатление, будто из грубой золотоносной руды выплавляется чистый металл. Это не имело ничего общего с моим разочарованием, но зато я стал более наблюдательным, при-

обрел способность видеть со стороны. Чем дальше было то время, тем явственнее было убеждение, что, хотя я этого тогда и не сознавал, Наташа явилась самым важным событием в моей жизни. К этому убеждению не примешивалось никакой сентиментальности, никакого сожаления, что я познал это слишком поздно. Мне даже казалось, что если бы я понял это в Нью-Йорке, Наташа, наверное, оставила бы меня. Моя независимость, проистекавшая из того, что я не принимал ее всерьез, по-видимому, и заставляла ее быть со мной. Иногда я размышлял и о возможности остаться в Америке. Если бы я заранее знал, что́ меня ожидает в Европе! И все же эти мысли набегали и уносились, как ветер, они не порождали ни слез, ни отчаяния, ибо я твердо знал, что одно невозможно без другого. Возврата быть не может, ничто не стоит на месте: ни ты сам, ни тот, кто рядом с тобой. Все, что от этого осталось в конце концов, это редкие вечера, полные грусти,— грусти, которую чувствует каждый человек, ибо все преходяще, а он — единственное существо на земле, которое это знает, как знает и то, что в этом — наше утешение. Хотя и не понимает почему.

Самой знаменитой из своих книг «На западном фронте без перемен» Эрих Мария Ремарк предпослал следующий эпиграф: «Эта книга — не обвинение и не исповедь, это всего лишь попытка рассказать о поколении, которое было уничтожено войной, даже если оно избежало ее снарядов».

Каковы бы ни были многократно обсужденные заблуждения автора этой книги, не только сожженной на фашистских кострах, но и подвергшейся жесткой критике «слева»,— силу ее по-прежнему составляет беспощадная искренность рассказа — не обо всем поколении, конечно, но об определенной части поколения, ввергнутого в империалистическую войну.

Человек — о б ъ е к т истории, в той или иной степени жертва исторических событий — остался героем и всех последующих книг Ремарка.

Но какими бы значительными художественными и иными достоинствами ни обладали книги о судьбах поколения, носителей горького опыта первой мировой войны («Возвращение», «Три товарища»), в них все же не было той «ударяющей по сердцу» силы, какой обладала первая его книга — слово о своем горьком опыте, произнесенное в первый раз.

Еще более острое разочарование во всех общественных и моральных ценностях принесла Ремарку и его героям победа фашизма в Германии. Однако какой бы яркой ни была гротесковая сатира на «образ жизни» третьего рейха — «Черный обелиск», ощущение бессилия человека в борьбе с историческим «злом» не покидает автора и здесь.

Усталость, безнадежность, одиночество человека во враждебном мире — все эти мотивы звучат и в романах Ремарка, посвященных судьбам немецкой эмиграции из фашистской империи.

Несомненно, эмиграция из Германии, ставшей третьим рейхом, была тяжелейшей трагедией для всех, кто был вынужден принять участие в совершавшемся «великом исходе». И все же эту общую трагедию представители различных социальных слоев, люди разных убеждений переживали по-разному.

В эмиграции оказывались не только прямые и активные борцы против фашистского режима, но и те, которые не столько сами были противниками режима, сколько противником их был режим. Либеральные интеллигенты — врачи, писатели, актеры, журналисты, адвокаты, учителя и профессора университетов — попадали в рубрику «врагов науки» по причинам расистского характера и столь же часто, потому что гуманные убеждения, традиции, культурный «фонд» их были неприемлемы для главарей третьего рейха.

Эта неоднородность эмиграции стала ощущаться особенно резко в годы, непосредственно предшествовавшие второй мировой войне; 1938 год — год Мюнхена и других весьма шумных успехов фашизма — был ознаменован идейным кризисом некоммунистических и нереволюционных кругов немецкой эмиграции, тесно связанным с кризисными явлениями в среде западноевропейской интеллигенции.

Осенью 1938 года Вильгельм Пик писал в статье «Уроки Мюнхена»: «С единством немецкой политической эмиграции дело сейчас обстоит весьма печально. Именно в

дни величайшего обострения великой опасности это отсутствие единства проявилось в полной пассивности и паническихнастроениях некоммунистических кругов немецкой эмиграции».

Панические настроения эти рождали не только убеждение, что фашизм непобедим, но и вели к полному отождествлению немецкого народа с фашизмом, к мысли об уже совершившейся гибели его как цивилизованной нации. Отсюда шло и увлечение идеями, как французской, так и особенно немецкой «ветви» экзистенциалистской философии.

Конечно, не следует думать, что часть немецкой эмиграции — или некоторые круги европейской интеллигенции — прямо училась у Хейдеггера. Но мысль о возможности заниматься интеллектуальным и моральным самоусовершенствованием, как бы спрятавшись в свою раковину от политической и социальной действительности, пришлась по сердцу очень многим. Вообще мысль о том, чтобы укрыться, убежать от действительности, обрести хотя бы иллюзию чего-то прочного и бесспорного, все более настойчиво овладевала поэтами и мыслителями многих зарубежных стран. Отсюда в творчестве Ремарка звучит мотив «честной мужской дружбы» («Три товарища»), бегство в любовь к женщине — пусть непрочную, пусть недолгую, незащищенную от посягательств враждебного мира. Все это дается в романах Ремарка не без известной аффектации — той заносчивости слабого, которой прикрывается сознание своей слабости.

Но в романах этих есть и другое, что, как я думаю, обеспечило не их временный успех, а их долгую жизнь. Это — подлинная, бесспорно гуманистическая тема, которая по-разному звучит во всех книгах Ремарка и может быть определена как «защита жизни». Если уж нет надежды на покой и счастье, у человека остается еще одна, достойная его возможность: закрыть своим телом и сердцем беспомощное живое существо, находящееся рядом, бессознательно, не по своей воле и решению, втянутое в трагические события. Защита живого — жизни на земле — это сейчас одна из самых острых тем мирового искусства и литературы. Мне кажется также, что именно с нее начинается решение вопросов этики в произведениях многих художников разных стран. В «защите жизни», по справедливому мнению деятелей искусств, важно все — и большое и малое. Так, доктор Равик — герой романа «Триумфальная арка» — не только на практике, но и в теории воинствующе декларативно защищает права живой жизни, пусть воплощенной всего лишь в червяке, греющемся на утреннем солнце.

В такой защите есть своя правда, она сродни той, которая создала абсолютный закон врачей — хранить, поддерживать жизнь больного до последнего вздоха даже тогда, когда это всего лишь продлевает агонию.

Я думаю, что не случайно Равик — обладатель бесспорной с точки зрения гуманизма профессии, вновь приходит на страницы последнего романа Ремарка «Тени в раю». Не случайно также и то, что мужество, честность, бескорыстие, преданность своему делу и высокому долгу в романе этом отданы именно двум врачам — Равику и Грефенгейму.

Перед лицом «ницшеанской» ненависти фашизма к «слабому» — больному, калеке, ребенку, старику, перед лицом неисчислимых преступлений, совершенных фашистами против слабых, такая «первичная» защита жизни законна и достойна всякого уважения. Естественно также, что тема эта со всей силой и страстью зазвучала в творчестве Ремарка после крушения рейха («Триумфальная арка» увидела свет в 1946 году), когда деяния фашизма были разоблачены до конца, стали достоянием широкой гласности. Мы знаем, что эта первичная правда гуманизма в некоторых произведениях зарубежных стран становится «обратимой» — живая плоть с ее правами возносится над историей, над борьбой классов, и порою активный борец со злом подвергается осуждению, так как его активность вызывает ответную реакцию «зла», способного «походя» уничтожить и тех «малых» — «людей просто», которые в борьбу и не вступали.

К чести Ремарка надо сказать, что его гуманизм свободен от этой нечистой демагогии. Но во всех случаях повествование его ведется так, как будто бы организованной борьбы против фашизма никогда и не было. И это, конечно, по-особенному окрашивает образы тех противников фашистского режима, которые даны в его произведениях (особенно в посмертном романе «Тени в раю»).

Да, к 1943 году (время, когда начинается действие романа) в заокеанском «раю» США скопилось немало «теней» из числа немецких эмигрантов-гуманитариев.

За плечами остались травля, унижение, жизнь под непрерывной угрозой гибели — иногда тюрьма или концлагерь, где смерти удалось избежать только чудом. Там — в фашистском аду — погибло все, что было дорого, все, что составляло ценность жизни,— родные и друзья, дом, любимая работа, даже свое имя (большинство эмигрантов живет по чужим, липовым паспортам и удостоверениям).

Да, конечно, позади остался «ад», однако «рай», американский рай, встретил «тени» отнюдь не приветливо. Правда, угроза насильственной смерти уже не висит над беглецами, и основное, чем все они были заняты последние десять лет — стремление физически выжить,— тоже уже стало ненужным. Но рефлектирующие и высококультурные интеллигенты попали в мир, где основное житейское правило — нарочитая бодрость и показной оптимизм, где на лицо покойника (перед похоронами) на-

кладывают «жизнерадостный» грим, где женщины увечат себя косметическими операциями, дабы в любом возрасте соответствовать девическому стандарту.

Этот чужой мир, нарисованный в романе очень выразительно, старается вытолкнуть или хотя бы оттеснить на периферию своих непрошеных гостей. Работа? Но, во-первых, как может работать актер, писатель, журналист, учитель, не знающий языка? Да и, кроме того, отсутствие американского паспорта закрывает возможность легальной работы. Любое дело можно делать лишь от чужого имени и временно, подвергаясь бессовестной эксплуатации. Исключения нет даже и для людей, чья профессия не требует досконального знания языка. Равик или Грефенгейм — врачи с европейской известностью — тоже не имеют права на практику под своим именем.

«Тени» прозябают на обочине страшноватого американского «рая».

Не в трущобах, правда, но в том мире каморок, мансард, третьеразрядных гостиниц, где обитают люди случайных или сомнительных профессий, не уверенные в завтрашнем дне, преимущественно пасынки Америки — пуэрториканцы, мексиканцы, негры. Квартирантов такого рода нередко находят поутру либо висящими на люстре, либо не проснувшимися после смертельной дозы снотворных таблеток. К этому же ряду героев можно отнести и Владимира Ивановича Меликова — пожилого друга Роберта Росса, он — ночной портье третьеразрядной гостиницы, неизвестно почему эмигрировал из Советской России (в 1918 году); это тем более странно, так как «по ходу дела» выясняется, что он вовсе и не русский, а чех, крестьянин, чья деревня вдруг стала русской (?). Впрочем, несмотря на странности и авторскую недодуманность его биографии, сам Меликов вполне точно входит в общий круг этих — очень живых — героев «второго плана».

Думаю, что это жестокое и правдивое изображение задворок американского рая и составляет самое сильное и убедительное в последнем романе Ремарка. Многие герои — представители этой нереволюционной части эмиграции, изображенные одновременно объективно и с любовью,— свидетельствуют о большом мастерстве и гуманистической направленности творчества их создателя.

Братья Лоу — совладельцы крошечной антикварной лавки, Бетти Штейн — мать-покровительница всей эмигрантской братии, комическое в характере и действиях этих героев сочетается с добротой, человечностью и мужеством. Ремарк прекрасно понимает, что и эта часть эмиграции не была однородной. Среди его героев есть и трепачи-приспособленцы вроде Танненбаума, маленького актера, добившегося права играть в Голливуде роли фашистских злодеев, за которые не хотят браться американские актеры. Более того, в эмигрантской среде есть и преуспевающие богачи, заблаговременно переведшие свои капиталы в Америку и натурализовавшиеся в «раю». Таков патриархальный и демократичный по манерам банкир Фрислендер, для которого, однако, война, разгром фашизма и вообще все мировые события — это лишь новая возможность для спекуляций.

Иначе обстоит дело с теми героями, на которых Роберт Росс — от чьего лица ведется повествование — смотрит как бы «снизу вверх».

Мы разделяем его чувства по отношению к Грефенгейму или Равику — «друзьям человечества», осуществляющим, несмотря на все препятствия, основное дело своей жизни. Правда, для Росса естественно и его преклонение перед Каном. Этот, по определению его, кондотьер и донкихот Сопротивления — единственный активный противник фашизма в романе, и, несомненно, должен импонировать тому, скорее пассивному, противнику, каким, несмотря на авторские оговорки, является Росс.

Кан под видом иногда испанского консула, иногда фашистского офицера освобождал из концлагерей обреченных на смерть товарищей. Кроме того — правда, об этом говорит всего лишь одна строка — он в своей роскошной «консульской» машине перевозил листовки французского Сопротивления.

Но Кан появляется как человек опустошенный и обладающий всего лишь храбростью отчаяния не только в американском «раю».

Ретроспективно мы узнаем, что и во Франции он как бы вел с фашизмом свою личную малую, частную войну (une guerette, как выражались в таких случаях французские феодалы XVI и XVII веков), не веря в конечную победу, презирая не только смерть, но и жизнь. Закономерным итогом т а к о й общественной позиции становится самоубийство, чем Кан и кончает уже после разгрома фашизма.

Кан, как и другие герои этого романа Ремарка, переносит свое «отсутствие корней», разочарование, одиночество на весь ход мировой истории. Вот почему для него и для других (даже для Грефенгейма или Бетти) фашизм — естественное, закономерное завершение истории немецкого народа, и победа над фашизмом не изменит этой, вдруг открывшейся, сущности народа. Эта антиисторическая и антидиалектическая позиция подкреплена в романе еще и тем, что все зло фашизма, собственно, сведено к расизму и все преступления его против человечества — к преступлениям против еврейского народа. Я понимаю, что этой неверной точки зрения придерживаются герои Ремарка — немецкие интеллигенты еврейского происхождения, но ведь нигде не ощущается той дистанции между героями и автором, которая бы свидетельствовала о том, что художник-то знает об экономической, политической, классовой природе фашизма, о «диапазоне» творившегося им зла. Нет, я отнюдь не требую, чтобы герои или автор обладали марксистско-ленинской широтой кругозора. Но ведь художники,

в том числе и немецкие, причем отнюдь не марксисты, эмпирически наткнулись на факты решающего влияния магнатов Рура, Баварии, а также и США на приход к власти фашизма.

Трудно было не заметить и того факта, что ненависть и месть фашизма обрушились в первую голову на немецких коммунистов, немецких рабочих, а также, что в годы войны в лагерях уничтожения, в оккупированных областях, в партизанской борьбе погибли миллионы граждан всех национальностей. Но автор нигде не подымается над кругозором «ведущего» книги — Роберта Росса, отнюдь к тому же не самого живого из ее героев. Роберт Росс — немец, журналист. Прошлое его остается для читателя достаточно непроясненным. Он скрывался долгое время в запаснике Брюссельского музея (что стоило жизни директору музея), был и в концлагере, откуда был выпущен, «потому что он не еврей»,— мотивировка странная и мало правдоподобная. Впрочем, страшное прошлое это, где, по-видимому, остался и какой-то не очень достойный поступок, мы узнаем лишь по темным намекам в пересказе ночных кошмаров Росса. «Наяву» прошлое заперто в глубинах памяти. Ни вспоминать самому, ни говорить о нем другим он не позволяет. Эта «немота», «зажатость» делает неясной и причину возвращения Росса в Германию после разгрома фашизма (очевидно, в Западную зону). То, что он не нашел для себя пути и дела там, впрочем, понятно.

В общем, оказалось — в полном согласии со всей системой взглядов автора,— что на деле настоящим в его жизни была лишь любовь к Наташе Петровой — полуфранцуженке, полурусской, дочери эмигрантов второго поколения.

Впрочем, кроме некоторых элементов «загадочной русской души» в Наташе нет ничего, отличающего ее от давно известного литературе XX века образа «женщины-стихии», сильной своей пассивностью, «ночной», беззаконной природой всех своих устремлений. Несомненно, «вторичность» самого образа Наташи, а также и всех перипетий ее романа с Робертом делает эту линию повествования менее значительной, чем та, которая посвящена страшноватому американскому раю и его малым, грешным, человечным пасынкам.

Е. КНИПОВИЧ

«Новая поэзия» хинди

О «новой поэзии» в Индии заговорили в шестидесятые годы. Унаследовавшая от «чхаявада» его трепетную пристальность к тончайшим оттенкам человеческих чувств—«чхаявад» приближенно можно перевести: «игра теней»,—а от «прогрессивной поэзии» ее политическую остроту и размах, «новая поэзия» властно заявляет о себе.

Чем нова «новая поэзия»? Направление это, формировавшееся уже не в условиях борьбы за независимость, а в период построения нового общества, вобрало в себя конструктивную жажду действия. Ее герой не удовлетворен созерцанием и описанием мира. «Новая поэзия» вся построена на ощущении необходимости перемен, она беспощадно реалистична — нет недомолвок, нет запретных тем, нет «непоэтических» слов. «Новая поэзия» есть новая — для Индии — концепция личности.

Это новое качество позволяет отнести к «новой поэзии» таких разных поэтов, как темпераментный и глубокий Шрикант Варма, философски-ироничный Кайлаш Ваджпейи и раздумчивый и лиричный Сарвешвар Даял Саксена, наступательно-гражданственный Рагхувир Сахай и рассудочный Кедарнатх Сингх.

Всех их выпестовал в шестидесятые годы С. Х. Ватсайян — он подписывает свои стихи псевдонимом Агьейя,— редактировавший в то время журнал «Пратика», который и стал колыбелью «новой поэзии».

Агьейя — поэт большого и разностороннего дарования — повлиял на сегодняшнюю поэтическую молодежь новой ритмикой и лексикой стиха, умением сочетать сиюминутное с вечным, что, наверно, особенно значительно для литературы насыщенных переменами лет, невыразительно именуемых «переходным периодом».

Лет пятнадцать назад Агьейя сделал запись в своем дневнике:

«Средоточие западной культуры — «Я». В основе этого — выделение «Я» из всего остального...

Индийская культура идет из предположения тождественности «Я» и «Мы». Вопрос о взаимоотношении даже не возникает — есть только приятие бытия, как оно есть».

Одно из настоятельнейших требований «переходного периода» Индии как раз и заключается в необходимости не приятия, а реконструкции бытия, что и вызвало коренной пересмотр концепции личности у «новых поэтов».

Ортодоксальная критика мгновенно распознала в «новой поэзии» своего противника. На молодых поэтов обрушились обвинения в отрыве от национальных основ, в подражании Западу, в негативизме, в нежелании или неумении конструктивно мыслить, в непристойности, в вульгаризации языка хинди и т. д.

Поэты отбивались как умели — и стихами, и прозой, борьба шла с переменным успехом, пока ее исход не решила третья сила — читатель.

Число грамотных в Индии растет, как ни медленно, но необратимо, и читательская аудитория меняется. «Новая поэзия» предназначена для первого поколения свободной Индии — для тех, кто уже окончил школу на хинди и, хотя хорошо знает английский и гораздо лучше отцов знаком с мировой культурой, воспитан все-таки на культуре индийской. Стихи написаны языком, на котором говорит эта молодежь и понятным всем и каждому. В Индии невозможно прожить стихами, и все поэты, образующие направление «новой поэзии», работают в печати, на радио и телевидении

или преподают. «Новая поэзия» стремится сочетать традиционные индусские образы с хроникой повседневности. Она не возвеличивает повседневность, а ищет путей для объяснения великого через простое.

Одно сравнение: для прославленного поэта «чхаявада» Сумитранандана Панта единство Вселенной в строке:

Пыльца в бутоне — завязь звезд небесных.

Молодой поэт Кедарнатх Сингх говорит об этом по-другому:

Звездам больно
от гвоздя в моем ботинке.

Но иногда подчеркнутый, подчас утрированный, прозаизм может стать для поэзии и способом самоубийства. Чем теснее сближается поэтический язык с повседневным, тем прочнее должна быть тонкая пленка, разделяющая их. Что станется с поэзией, если она целиком вернется в океан хаотического языка, который изначально породил ее? И какая цель будет этим достигнута? Недавно аллахабадский критик Балакришна Рао писал об этом:

«Молодые поэты берутся за дело, которое кажется невыполнимым: пытаются рассказать об ужасе тупика языком просторных равнин и кипучих улиц... Основное, почему молодые поэты, внешне по крайней мере, идут к отрицанию поэзии в тех самых стихах, которые они пишут,— это попытка создания поэзии, тщательно депоэтизирующей себя и все же остающейся поэзией».

Однако эту опасность прекрасно осознают сами поэты, и сегодня «новая поэзия» остается властительницей дум тех, кто читает на хинди.

«Новая поэзия» — порождение большого города: «Безрадостное солнце блюет в мою ладонь, вонючий город просыпается». Но отвращение к стремительной урбанизации не заставляет «новую поэзию» искать убежища в развесистой буколике — молодые поэты не настолько еще оторвались от деревенской Индии, чтобы начать идеализировать ее. Они отлично понимают бессмысленность попыток плыть против течения истории и резко выступают против того направления в индийской литературе — и политике,— которое ратует за возврат прошлого, всего истинно индусского, включая кастовую систему, самосожжение вдов, неубиение священных коров и браки между детьми.

В индусской традиции поэт на протяжении тысячелетий считался святым. «Поэт — это флейта, что делает слышной дыхание Бога». Священным было и Слово; грамотность была эзотерическим знанием, к которому допускались только люди высшей касты — «брахманы». Священной была и Буква — полагалось невозможным писать стихи без помощи богини Сарасвати: она воплощалась в буквы алфавита, их созерцание высвобождало магическую силу Сарасвати и наполняло ею поэта. Мусульманская традиция, слившись с индусской, лишь слегка модифицировала ясновидческую роль поэта, соединив буйную одержимость дервишей с отрешенной созерцательностью индусских аскетов.

Индийский поэт был приучен взирать на себя и свое пророческое дело без малейшей тени иронии. Он мог позволить себе быть насмешливым и сатиричным по отношению к другим, даже, рискуя головой, посмеяться над правителем, но никогда — над собой.

«Новая поэзия» резко самокритична и безжалостно иронична. Может быть, причина в изменившейся функции поэзии — молодым поэтам в голову не приходит всматриваться вдаль и пытаться описать непосвященным вершины духа или вершины завтрашнего счастья. «Новая поэзия» занята условиями человеческого существования прежде всего сегодня и горько осознает, как немного она может сделать.

Пропись
моей эпохи —
«Ну что ж поделаешь!»
Часто
лица друзей, со мной сидящих,
расплываются в неясность
африканских рек
и те слова, что я хочу сказать,
уходят с языка
в зубные дупла.

(Кедарнатх Сингх)

Молодые поэты понимают — история поставила их перед необходимостью унаследовать собственную культуру и использовать культуру приобретенную. Поиск устойчивого сочетания индийского — с планетарным, прошлого — с современным, личного — со всеобщим и есть «новая поэзия» сегодня.

М. САЛГАНИК

АГЬЕЙЯ

Отплывшая лодка

Дрогнула лодка, снявшись с прикола.
Вечер пришел неожиданно скоро.
Солнце уже на воде не качалось.
Птицы в потемках едва различались.
И слышалось, как, приближаясь друг к другу,
они терпеливо летали по кругу.
А в небе далеком — раз время настало,—
друзей созывая, звезда замерцала.
И стихнувший ветер как будто бы ожил
и тихую воду чуть-чуть растревожил.
И боль расставанья, что прежде забылась,
сама по себе опять возвратилась.

День прошел

Истаял день, как вздох глубокий,
все вокруг благословляя.
Впереди была звезда — влажная и голубая.
И о тебе воспоминанья опять замучили меня.
О, как знакомо пораженье,
пришедшее с уходом дня.

■ ■ ■

Вечер. Горизонт почти исчез.
Слышен волн печальный переплеск.
Тени разрастаются в длину.
И тогда звезды холодный блеск,
заполняя пустоту небес,
возвращает миру глубину.

Хиросима

Нежданно, в какой-то день
вспыхнули солнца лучи
не там, где пустел горизонт,
а среди городской толчеи.

Земная разверзлась твердь,
и родился слепящий поток.
Тени бежавших людей
впечатались в камни дорог.
Не с той стороны, где восток,
вспыхнули солнца лучи,
а возникли — внезапно и вдруг —
среди городской толчеи.
Казалось, что солнце неслось,
как колесница, пока
последняя спица с оси
в горячую пыль не легла.
Совпали рассвет и закат,
на это секунды ушли.
И влажный полдень увял,
коснувшись сожженной земли.
А что было потом?
Тени стали длинней,
и люди, как белый пар,
отделялись от черных теней.
Тень человека тогда
каждый камень впитал,
а солнце — созданье людей
белый слизнуло пар.
Но каждый камень — скрижаль,
и свидетель — черная тень.
Никогда не забыть нам того,
что случилось в тот день.

Перевод АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

ШРИКАНТ ВАРМА

Лихорадочная поэма

Пробил час. Я банкрот.
Я избавлен теперь от потерь.
Вот и замерло эхо последнего смеха...
Дни — как в роще загубленной пни,
У всего есть предел:
И природа — всего лишь смена тени и света.
Я банкир пустоты. Что еще мне терять?
Амплитуды суждений, обиды, законы приличий?
Или женщину эту, которая стала привычкой?
Или бред узаконенный всех газетных тирад?

На потери — табу!
На потехи — табу!
Это бунт.
Пусть я пуст...
Но покаянно перед Эпохой помедлю...
Стала плахой толпе бесконечность орущих трибун,
А народ, как табун,
Сбился в кучу и внемлет поэту.
Что скажу я ему со своих опустевших небес?
Я толпе отупевшей предпочел одиночество строчек
(Их напишет любой, если он ничего не захочет).
Все я раньше имел,
Все умел... Но собой был не весь.
Для чего же ответ, если выпрямил спину вопрос
И утратил гипноз
сочинитель, уставший от века?
Пусть теперь математики ищут (якобы!) правду ответа,
Помогая политикам втиснуть
нонсенс в анонс.
Прост вопрос: где твой дом?
Ты его понимаешь с трудом.
Птичьи стаи, вопрос обронив, пролетели...
Где твой дом?!
На работе?! В отеле?!
В постели?!
В теле, отданном на ночь одну?!
Где твой дом??!!
Может, в лодке —
В затрепанном теле кокотки,
Что любому так искренне лжет: «Я твоя»?
Повидали немало гребцов эти лодки
И лежат у воды,
обессилев, как я.
Я один. Я ничей.
И о том не жалею ничуть.
Я один! Я ничей!
Но до боли сегодня мне жалко
Прошлых дней, где сжигала напрасная жажда:
Стать всеобщим навек или быть чьим-нибудь.
Обмануть...
Заглянуть
В приоткрытую дверь,
Чтоб увидеть пространства событий грядущих!
Но привыкшие к дани покорных потерь,
Как всегда, настигают
их тайну крадущих.
И настигли меня... Я услышал шаги...
Кто-то там
(по пятам)...
О, чутье осторожных!
Башмаки измерял мне проклятый сапожник...
Я бичами толпу разгонял — вот шнурки!
Есть судьба...
Что ты скажешь в отместку судьбе?
Есть судьба.
Кто в анналах ее разберется?
Для кого-то судьба — это нимб рогоносца...

Сам себе я наставил рога... Сам себе!
Я покинул цехов необычных сады,
Где я сам для себя бы назвался «рабочий»,
Где я был бы до странного дела охочий:
Перетаскивал ношу — своей же! — беды.
Я надеяться мог на свои же стихи,
Чтобы била — убила! — меня лихорадка,
Чтоб от собственных слов — и тревожно! И сладко...
Но живут ли стихи в государстве тоски?!
Вдовам — память дана,
А девчонкам — любовей лото,
А деревням — чумы и холеры атака,
А великим — кончина (конечно, от рака),
Ото лжи умирать не желает никто!

День опять. Дымный день. И в тумане — ни зги.
День опять... Тарахтит, ускользает... Который?
День опять.
День, бегущий и быстрый, как кролик,
Над витринами,
мертвыми
от тоски.

Стихи

Новый день, как чистый лист,
без единой морщины,
но невидимые машины,
задыхающиеся в гуде,
впечатывают в белизну
вечное:

стройкидомалюди.

Из оттисков улиц,
из непросохшего лета
выходит пес,
и его хвост —
метроном дней,
телетайпная лента
с бесконечным:

деликалькуттабомбей.

Вдруг дерево, где-то отпечатанное,
сникает, плоское и печальное,
пытаясь стряхнуть бумажную тяжесть,
мертвых листьев связки,
и шелестит:
«Не размажусь,
не размажусь... в типографской краске...»

Вдруг клишированная женщина,
роняя слезы с цинковых век,
шепчет машинам скрежещущим:
«Остановитесь!

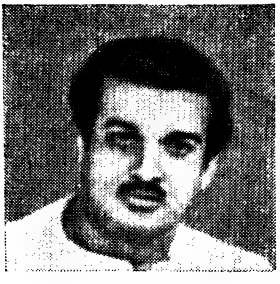
Остановите век... мой век...
не могу больше...
о боже...»
На автобусной остановке
все тот же автобус:
«Не стронусь... не стронусь...»

А вот, исполненный трафаретно,
в закусочной псевдобунтарь
принял позу удобную,
и застыла под ним сломанная табуретка...
И так далее и тому подобное.
Вдруг оттиснутый
на пруду невод
погрузился пустопорожний,
солнце никак не встретится с небом —
ниже балкона шлюхи,
на опечатку похожей,
а вот и ее кот
неподвижно идет.

А клерк среди этой бумаги, о боже,
сер, как оборванная обложка
от книги о собственной жизни,—
одни скулы и жилы.
Не может...

Ушел...

Перевод И. КАШЕЖЕВОЙ



САРВЕШВАР ДАЯЛ САКСЕНА

■ ■ ■

С тобой немало дней прожив,
я сам почти поверил,
что части света сблизились сейчас,
и что длина исчезла у дорог,
и сжался мир, в каморку превратясь,
где хлам набит под самый потолок.
А чтоб приткнуться — не найдешь угла,
останешься ни с чем, как ни вертись.
Любая вещь до малого мала,
растут деревья почему-то вниз.

И на верхушки положив ладонь,
хочу наставить их на верный путь.
Но здесь порядок заведен такой,
что даже небо мне уперлось в грудь.
А голову я повернул слегка —
и голова зашла за облака.
С тобой немало дней прожив,
я сам почти поверил,
что смысл хранят не мертвые слова,
а травы, что колышутся едва,
и ветер, что врывается ко мне,
и солнце, что сползает по стене.
С тобой немало дней прожив,
я сам почти поверил,
что всемогущим становлюсь теперь.
Пришла чудес волшебная пора:
толкнешься в стену — обнаружишь дверь,
и в дверь пройдет огромная гора.

Но если силу ограничить в нас,
то силы поубавится вовне.
А если руки наши коротки —
и океан не тот по глубине.
А мочь — одно и то же, что хотеть.
Земля, что замыкает жизнь и смерть,
из рук судьбы вдруг перешла ко мне.

Это не по мне

Между жарких ладоней
прошел холодок.
И вынести это
я больше не смог.
От жара избавясь,
живем теперь врозь.
Мое бытие
с твоим не спеклось.
А в мире, который я сам сотворю,
устрою ли жизнь — мою и твою?
Вот человек,
затоптавший костер в темных венах.
И оттого, словно в море студеном,
льдами затертый.
Тот самый,
кто, явившись на свет, пребывал нерожденным.
А в мире, который я сам сотворю,
устрою ли жизнь — мою и твою?
Спят слова на губах, как вулканы.
Я в сердце держать их не стану.
Весь горю, как леса.
Но едва ли
я спрячу пожары за высокие горы морали.

Когда море любви разольется
и смоет золу,
что лодкой легла
на прибрежный песок,
что делать я буду,
кого позову?

Зимнее солнце

На берегу пруда, в саду
утреннее солнце,
покрывшись испариной,
как ребенок после приступа малярии,
улыбается бессонными нездоровыми глазами
и, вздрагивая, жует каштаны холодных звезд.
Светится ночная темнота,
уцелевшая в очертаниях пасущихся коз.
Легкий туман поднялся над водой.
Между белесой землей и блеклым небом
затвердел утренний свет.
Пастух, обмотав голову чалмой,
греется
на солнце,
привалившись к глиняной стене храма.

Вот-вот послышатся колокольчики.
Белый свет вспыхнувшей камфоры
встрепенется в сырой и темной молельне
и заскользит там, где стоят боги.
Войдя в храм, человек с бледным лицом
сложит ладони и поднесет к богу огонь:
утро растает.

Перевод АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

РАГХУВИР САХАЙ

Женщина

Худая и усталая, стояла,
застыв на все, казалось, времена:
сама себя как будто изваяла
из этой неподвижности она.

Мне показалось — это завершенность,
а оказалось — просто отрешенность.

Я ждал — заговорит она... Но только
переглянулась женщина со мной.
И был ее зрачок упрям, как точка
в конце рассказа о себе самой.

■ ■ ■

Не знают о боли моей миллионы
живущих на свете,
даже если ее в миллионы стихов обращу
и стихи прокричу всеми шрифтами
в каждой газете,—
ни один не услышит и боли я не облегчу.
Живут миллионы по-разному: лживо и честно,
не зная, что боль их вмещает моя,
та, что им неизвестна.

Перевод И. КАШЕЖЕВОЙ

КАЙЛАШ ВАДЖПЕЙИ

■ ■ ■

Там, где дети, крича, гнездятся
и в лохмотьях из пепла бегают,
где скелеты земли стучатся
в бесхребетно
пустое
небо,
где у ног
в день рождения матери
боли все желторото сгрудились,
где потом уже взрослые мальчики
книги жгут и скупают «грундиги»,
там, где жажда
над всеми
правит,
жажда желтая лжи и золота,
где взрывается жажда Правды,
жажда Мести и жажда Молота! —
где распятые поездами
люди выброшены в пустыню
и прибиты они
к мирозданью
ночью
звездами
в черной
стыни,

там, где каждое утро солнце
на деревьях считает трупы,
где у подлости
голос
сорван,
но хрипит она все же в рупор,
где теперь
имя Рамы
только
у костров погребальных слышится
и о стройке
карточных домиков
в дерзких
анналах
пишется,
где разбитая маска времени
на лице
капитала
пляшет,
где хранитель культуры древней —
популярный актер
на пляже,
в этой голой стране безбрежной,
где-то в доме каком-то рухнувшем,
из-под всех
этажей
надежды
стонет горло бестелое:
Слушайте!
мне стыдно, что я — индиец...

Деревья из мяса

Я живу среди этих бесплодных людей,
собирающих
деньги
на ниве идей.
И хочу оторвать
от себя наконец
их лягушечьи пальцы в сверканье колец.
Даже страшно подумать —
какая же бредь
вдруг напала на бога, что стало темнеть!
И от нечего делать
в тени
опахал
он деревья из мяса на свете создал.

Перевод Ник. ЗИНОВЬЕВА

Критика

В. ЖДАНОВ

НЕКРАСОВ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

К 150-летию со дня рождения Н. А. Некрасова

Современники рассказывают, что в кабинете Некрасова в его квартире на Литейном проспекте висели на стенах в круглых ореховых рамах портреты Шиллера, Гете, Гейне, Диккенса, Лонгфелло. Если даже в самом подборе портретов есть некоторая случайность, то все-таки этот факт примечателен: он неоспоримо свидетельствует о большом и постоянном интересе русского поэта к западным писателям, к зарубежной литературе вообще.

Кто-то еще в давнее время назвал Некрасова самым русским из всех русских поэтов. Это представление несколько отодвинуло на второй план в глазах читателей вопрос о западноевропейских интересах Некрасова и, в частности, об его отношении к зарубежной литературе.

Может быть, по этой же причине авторы некоторых работ о Некрасове, вышедших на Западе, не находят в нем ничего «европейского». Например, Шарль Корбэ в обширном исследовании о Некрасове[1], во многом очень интересном, склонен считать русского поэта противником европейской цивилизации; ученый полагает, что Некрасов не был подготовлен к заграничному путешествию и вообще к восприятию культуры Запада.

[1] Charle Corbet, Nekrasov l'homme et le poète, Paris, 1948.

Многое в этих суждениях основано на простой неосведомленности.

Действительно, глубоко самобытная некрасовская поэзия, чуждая каких-либо сторонних влияний, уходит своими корнями в стихию народного поэтического творчества, она впитала все богатства русского национального языка, особенности крестьянского и городского просторечия. К тому же — в биографическом плане — Некрасов в отличие, например, от Тургенева не поддерживал личных связей с зарубежными писателями. Довольно часто путешествуя и лечась за границей, он постоянно общался лишь с Тургеневым, в Париже встречался с Л. Толстым, И. Аксаковым, публицистом и критиком В. Зайцевым, в Риме с русскими художниками.

И тем не менее есть все основания говорить о пристальном внимании к иностранной литературе со стороны Некрасова — передового журналиста, редактора «Современника», критика, увлеченно следящего за новинками текущей зарубежной литературы, просветителя-пропагандиста западной классики, поэта, проявлявшего постоянный интерес к стихотворному переводу.

■

И. Панаев, встречавший Некрасова в середине 40-х годов в кружке Белинского, засвидетельствовал интерес молодого поэта к романам Жорж Санд. Он очень увлекался этими романами, очевидно, их социально-утопической тенденцией, «как и все мы», добавляет Панаев. Правда, он не знал французского и читал их в русских переводах. Узнав об этом, Панаев позвал Некрасова к себе, обещав прочесть ему отрывки из романа «Спиридион», который он тогда переводил. «Некрасов вскоре после этого зашел ко мне утром, и я тотчас же приступил к исполнению своего обещания...»

Вскоре Некрасов начал вместе с Панае-

вым издавать журнал «Современник». С первых же шагов редакторы позаботились об организации в нем солидного отдела иностранной литературы. В объявлении о программе нового журнала сообщалось — правда, довольно кратко и еще не вполне уверенно,— что в этом отделе будут помещаться «отчеты о всех замечательнейших произведениях, появляющихся в немецкой, английской, французской и других литературах». В объявлении на следующий, 1848 год, подписанном Некрасовым вместе с Панаевым и официальным редактором А. Никитенко, говорилось уже более определенно о том, что опыт минувшего года указал на необходимость придать новый характер статьям об иностранной литературе: «Они будут составляться так, что ряд таких статей, вместе взятых, представит полный, последовательный отчет о движении иностранных литератур в данный период времени, а не отрывочные известия о некоторых книгах».

В последующих ежегодных обращениях к читателям, определяя содержание и характер журнала на будущий год, редакция не забывала коснуться и вопроса о том, что именно, какие романы и повести она намерена переводить с иностранных языков. Некрасов и Панаев заверяли читателей, что журнал не будет «увлекаться тем, что имеет мимолетный эффект, производит минутный шум, но в сущности лишено истинных литературных достоинств», а будет помещать произведения, «действительно заслуживающие перевода». Кроме того, для более глубокого ознакомления публики с иностранными литературами предполагалось систематически печатать критические статьи и биографии знаменитых писателей.

Уже в первом номере «Современника», начавшего выходить в 1847 году, сказался интерес Некрасова к творчеству Жорж Санд: среди тщательно подобранных материалов номера, посвященных современной литературе, появилась статья талантливого переводчика и критика А. Кронеберга «Последние романы Жорж Санд». В этом же году журнал начал печатать перевод ее романа «Пиччинино», однако цензура, напуганная революционными событиями во Франции, запретила публикацию, оборвав роман на средине; вместо последней части Некрасов был вынужден предложить читателям краткое изложение ее содержания. А друзьям своим — Белинскому, Тургеневу и Анненкову, находившимся в это время за границей,— он по этому поводу написал: «...к французским романам по обстоятельствам, не зависящим от редакции, мы с Панаевым почувствовали сильное нерасположение».

Но страстный почитатель Жорж Санд на этом не остановился. В том же году руководимый им журнал разослал своим подписчикам в качестве приложения роман того же полузапретного автора «Лукреция Флориани» (в переводе А. Кронеберга), а также роман Ч. Диккенса «Торговый дом «Домби и сын» (в переводе И. Введенского). Интересно, что продолжение этого романа Некрасов обещал[1] публиковать в журнале ежемесячно, «по мере появления в подлиннике»; работу Иринарха Введенского он назвал «верной и изящной передачей подлинника».

Может быть, есть своя закономерность в том, что сочинения двух видных современных романистов — Жорж Санд и Диккенса — объединились в некрасовском журнале. Диккенс был второй из ранних литературных привязанностей Некрасова. Переводы его сочинений систематически появлялись на страницах «Современника» — романы, рассказы, повести, статьи, «физиологические очерки». В 1851 году в качестве приложения были подготовлены «Давид Копперфильд» и рядом — Жорж Санд, повесть «Итальянские артисты». В 1854 году подписчики получили «Холодный дом» Диккенса, а также «Мой роман» Э. Бульвера-Литтона и повесть Теккерея. В 1855 году печатался в журнале роман Диккенса «Тяжелые времена». И в этих же номерах появлялась с продолжениями «История моей жизни» Жорж Санд, переведенная самим Н. Чернышевским.

Два столь разных писателя, видимо, привлекали редактора «Современника» именно своей несхожестью. Во всяком случае, через несколько лет, когда Некрасов начал вести журнальное обозрение (1855), его критическая мысль уже настолько созрела, что он мог свободно сопоставить произведения названных писателей, определив их сильные и слабые стороны. Поясним это словами самого Некрасова:

«Случилось так, что мы в одно время прочли роман Диккенса «Тяжелые времена» (в «Современнике») и роман Жоржа Санда «Лора» (в «Библиотеке для чтения»). Роман Диккенса превосходен, роман Жоржа Санда не более как посредствен, и, однако ж, последний пояснил нам, чего недостает в первом... В романе Диккенса вы постоянно чувствуете преобладание той положительности, против которой он сам ратует; эта положительность, *фактичность* пустила в самого автора слишком глубокие корни... Словом, во всем и везде — практичность, осязаемая польза, доказательство фактическое. Это в своем роде прекрасно и дельно, но есть нечто неотразимо обаятельное в том вольном, безотчетном, бескорыстном стремлении к идеалу, неуловимому, возвышенно и недостижимо прекрасному,— стремлении, которым проникнут названный нами роман французской писательницы!»

Критик отдает должное английскому писателю, он отмечает в его романе превосходные характеры, меткую наблюдательность, удивительную отделку частностей и целого, наконец, счастливое сочетание художественных достоинств с «полезной иде-

[1] В объявлении об издании «Современника» в 1848 году.

В. ЖДАНОВ

НЕКРАСОВ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ей»; он знает, что «Тяжелые времена» — один из лучших романов Диккенса. Больше того, он желает русской литературе как можно больше таких романов, очевидно имея в виду социально-критическую тенденцию Диккенса, его явно выраженные симпатии к угнетенным. И все-таки критику кажется, что этот роман не наполнит читательское сердце «таким избытком благородных ощущений и стремлений, такой горячей жаждой деятельности, как то произведение, которое в идеальной стороне человека видит не подспорье его материальному благу, но условие, необходимое для его человеческого существования!»

К этим суждениям о двух типах романа, впрочем, равно необходимых и благотворных для общества, прибавляются замечания о прозе Теккерея, который тоже становится предметом увлечения Некрасова. По его мнению, Теккерей «гораздо глубже» Диккенса, особенно он ценит его за отсутствие той «чувствительности», которая составляет слабую сторону автора «Домби и сына».

Некрасов с огромным интересом читает «Ярмарку тщеславия», переведенную тем же Кронебергом, и даст ее в качестве приложения к «Современнику» на 1850 год. В следующие годы на страницах журнала и в приложениях появляются все новые сочинения этого автора, в том числе романы «Ньюкомы», «История Барри Линдона», «Виргинцы», рассказы и очерки. Объясняя пристальное внимание журнала к современной английской литературе, Некрасов писал: «Каждому образованному русскому читателю известно, что романы Диккенса и Теккерея принадлежат к лучшим произведениям не только английской, но и всей европейской литературы нашего времени,— и вот настоящая причина, почему мы перевели их. Издавая журнал, мы... заботимся о том, чтоб ни одно замечательное явление в области литературы не осталось им (читателям.— *В. Ж.*) неизвестным... Если следующие произведения Диккенса и Теккерея будут так же хороши, то мы и впредь будем переводить их...»

Так писал Некрасов в 1850 году. Но интерес его к английским романистам не остывал с годами. В 1856 году в Риме, прочитав больше тысячи страниц «Ньюкомов», он писал Тургеневу: «Люблю Теккерея. После тебя это любимый мой современный писатель».

■

Ни один русский журнал в XIX веке не напечатал столько переводов из западноевропейской литературы, как некрасовский «Современник». В качестве приложений к журналу читателям, в соответствии с обещанной программой, действительно предлагались последние новинки, все наиболее значительное, что появлялось за рубежом. Кроме названных книг были переведены и изданы романы Г. Филдинга, Н. Готорна, Э. Троллопа, Г. Бичер-Стоу.

Некрасов собрал вокруг журнала всех лучших переводчиков того времени, в том числе и переводчиков поэзии. Систематически появлялись здесь стихи Шиллера в переводах А. Струговщикова и Н. Гербеля, стихи Гете, Фаллерслебена (переводы П. Вейнберга), А. Мицкевича (переводы Н. Берга). В 1865 году из номера в номер печатался «Дон Жуан» Байрона в переводе Д. Минаева.

Со второй половины 50-х годов, по мере того как «Современник» под влиянием Чернышевского и Добролюбова приобретал все более последовательную революционно-демократическую окраску, на его страницах все чаще появлялись переводные стихи, отвечавшие духу и направлению журнала. Среди них — сатирические песни П.-Ж. Беранже, переведенные В. Курочкиным; проникнутые иронией строфы Г. Гейне в переводах М. Михайлова, А. Плещеева, Вейнберга, Добролюбова; пламенные ямбы О. Барбье (переводы С. Дурова, Д. Минаева и др.), которого Некрасов назвал «грубияном по форме» и «силачом по содержанию», стихи Г. Гервега, а также В. Гюго (переводы М. Михайлова, С. Дурова и др.), который постоянно привлекал внимание Некрасова: в «Современнике», кроме стихов, печаталась также и его проза.

Когда Некрасов узнал, что во Франции готовится новый роман Гюго «Отверженные», он тотчас же написал в Париж Михайлову письмо с просьбой — немедленно приняться за перевод романа, причем, если можно, переводить по корректурам, не дожидаясь выхода книги. «Касательно романа Гюго, усердно прошу,— писал Некрасов.— Без всякого сомнения, это будет хорошо и во всяком случае очень эффектно; на цену за перевод я согласен на всякую, какую Вам угодно будет назначить, но бога ради, не пропустите времени, чтоб другой кто-нибудь не воспользовался. Всего бы именно лучше добывать корректуры; я за это согласен был бы платить особо... с нетерпеньем жду первых глав перевода».

В 1865 году в «Современнике» появился «Последний день приговоренного к смерти» Гюго. Позднее, уже в «Отечественных записках», Некрасов поместил роман «Человек, который смеется» (1869), а в 1874-м — «Девяносто третий год»; оба эти романа вышли на родине писателя в те же годы, что их переводы в России.

Отдел иностранной литературы в «Современнике» особенно расцвел после того, как Некрасов пригласил руководить им поэта и публициста, одного из крупнейших переводчиков — М. Михайлова. После поездки во Францию и Англию Михайлов выступил на страницах журнала с очерками, в которых пропагандировал боевую демократическую поэзию Беранже и П. Дюпона, а также Э. Потье, тогда еще неизвестного даже во Франции. Михайлов встретился и познакомился с ним в Париже. Пользовались огромной популярностью выполненные Михайловым переводы народных песен Р. Бернса, «Песни о рубашке» Т. Гуда, «Белого покрывала» М. Гартмана. Появление в «Современнике» (1861) переведенных им же «Пе-

сен о невольничестве» Г. Лонгфелло, направленных против рабовладения, было замаскированным откликом некрасовского журнала на «освобождение» крестьян (позднее, в 1868 году, Некрасов впервые в России опубликовал и «Песнь о Гайавате»). Когда же Михайлов был сослан в Сибирь как политический преступник и заговорщик, Некрасов продолжал печатать (под псевдонимом) его переводы, в частности сцену из трагедии Эсхила «Скованный Прометей». Уже самое название трагедии напоминало о недавней расправе правительства с руководителями передового движения 60-х годов — Чернышевским, Михайловым и другими. Именно так восприняла появление перевода и царская цензура.

■

Под руководством Некрасова было выполнено издание романа американской писательницы Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Некрасов понимал, какое значение может иметь такая книга в разгар борьбы против крепостного права, накануне крестьянской реформы. Он тогда же писал Тургеневу: «...вопрос этот у нас теперь в сильном ходу, относительно наших домашних негров» (25 декабря 1857 г.).

Некрасов не случайно писал именно Тургеневу о своих намерениях относительно «Хижины дяди Тома»: встретившись перед этим с Тургеневым в Париже, он, конечно, не мог не знать о только что состоявшемся знакомстве автора «Записок охотника», книги о «наших домашних неграх», с автором романа о неграх американских. Еще 5 декабря 1856 года Тургенев писал Дружинину из Парижа в Петербург: «...я был представлен г-же Бичер-Стоу; добрая, простая и — представьте! — застенчивая американка; с ней две дочки рыжие, в красных бурнусах...»

Но Некрасов не был уверен — пропустит ли роман отечественная цензура? И он решился на крайние меры: судя по всему, он попробовал подкупить цензора, но не просто, а довольно изысканным образом. Об этом говорят сохранившиеся гонорарные ведомости «Современника». Из них можно узнать, что один из переводчиков романа получил неслыханно высокий гонорар, во много раз превышающий нормы заработка других переводчиков. Например, если один литератор за переведенные им около двух печатных листов получил около 20 рублей (то есть примерно по 10 рублей за лист), то безвестный переводчик Новосильцев за пять листов получил 500 рублей! Но все становится понятно, как только мы узнаем, что П. Новосильцев был в это время (очень недолго) цензором «Современника»; естественно предположить, что он заранее обещал Некрасову пропустить роман, потому-то его и пригласили в качестве одного из переводчиков.

Интересно и другое: перевод романа выполнялся в самом срочном порядке. Некрасов привлек для этого шесть переводчиков! Он явно спешил — не только чтобы дать подписчикам «Хижину дяди Тома» в качестве приложения к началу нового, 1858 года, но и затем, чтобы временный цензор успел подписать книгу к печати. Вот почему он глухо упомянул в том же письме к Тургеневу, что у него «открылась возможность» перевести роман Бичер-Стоу, а в другом документе писал: «Редакция не могла упустить неожиданно представившейся возможности выдать роман «Хижина дяди Тома».

Эта неожиданная возможность не дешево обошлась Некрасову, но он придавал такое значение роману, что даже счел нужным «выдать» его подписчикам бесплатно.

■

В конце января 1856 года в квартире Некрасова собрались Л. Толстой, Гончаров, Фет, Анненков, Панаев, Григорович — они собрались для того, чтобы прослушать перевод одной из трагедий Шекспира, выполненный Дружининым, тогда еще принадлежавшим к кружку «Современника». Некрасову перевод понравился. В ближайшем же номере журнала, в заметке «Литературные новости» он писал по этому поводу: «Недавно А. В. Дружинин прочел нам свой перевод «Короля Лира». Если мы скажем, что такого перевода творений Шекспира еще не было на русском языке, то скажем немного в похвалу перевода г. Дружинина». В этой работе, по мнению Некрасова, сказались и даровитость переводчика, и его увлечение великим драматургом, и долговременность изучения его творений.

В «Современнике» из года в год появлялись переводы трагедий и комедий Шекспира. Некрасов его любил и чтил[1]. Он был убежден, что в солидном издании его сочинений «сильно нуждается русская публика». Он стал обдумывать возможность такого издания, начал переговоры с переводчиками. Подготовка тянулась долго. Но в конце концов совместно с переводчиком Н. Гербелем Некрасов выпустил «Полное собрание драматических произведений Шекспира в переводе русских писателей» (1865—1868) в четырех томах. В предисловии к первому тому, написанном по-видимому Некрасовым, говорилось: «Издавна у нас слышатся жалобы на то, что нет полного русского перевода драматических произведений Шекспира... Единственное средство дать нашей публике полный стихотворный перевод Шекспира состоит в том, чтобы соединить для разрешения этой задачи силы многих людей. Конечно, было бы луч-

[1] Первое представление о Шекспире Некрасов получил еще в ранней юности, когда слушал из уст матери, начитанной женщины, сказки «о рыцарях, монахах, королях». В поэме «Мать» об этом говорится так:

Потом, когда читал я Данте и Шекспира,
Казалось, я встречал знакомые черты:
То образы из их живого мира
В моем уме запечатлела ты.

В. ЖДАНОВ

НЕКРАСОВ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ше, если бы один человек исполнил весь труд, но когда мы дождемся этого...»

Соединив усилия лучших переводчиков, Некрасов сумел выпустить лучшее для того времени издание пьес Шекспира в стихотворных переводах (предыдущие переводы были преимущественно прозаическими). Заслуга огромная.

■

Даже беглый обзор позволяет сделать вывод, что, редактируя толстый ежемесячный журнал, отводивший первое место русской литературе и проблемам русской жизни, Некрасов в то же время находил возможность широко знакомить читателей с мировой литературой; осуществляя эту огромную по своему масштабу культурно-просветительную деятельность, он был далек от узкого или прямолинейного понимания литературы. Принцип строгого отбора, высокая требовательность помогали ему привлекать не просто «злободневные» произведения, хотя злободневность он очень ценил, а такие романы, поэмы и стихи, в которых актуальность и «тенденция» соединялись с высоким искусством.

На страницах некрасовских журналов оказывались созвучны их направлению и Гейне, и Беранже, и Лонгфелло, и прозаики реалистической школы. В самом выборе имен видны вкус и взыскательность. Некрасову случалось отклонять сочинения популярных на Западе авторов по причине их несоответствия программе и художественным требованиям журнала. Заботясь о серьезном воспитании читателя, он избегал «развлекательной» беллетристики. В «Современнике» не появлялись, например, романы А. Дюма, пользовавшиеся шумным успехом, но далекие от идейных позиций журнала. Его редактор был, может быть, даже слишком строг, когда в одной из рецензий пренебрежительно упомянул «калейдоскопический роман фабрики Дюма», подчеркнув, что он имеет мало общего с подлинным искусством. Без всякого интереса отнесся Некрасов и к рассказам немецкого писателя Б. Ауэрбаха; он отказался печатать их переводы в журнале, хотя об этом его просил Толстой. Пытаясь сгладить «некоторую шероховатость», возникшую в связи с этим, Некрасов писал Михайлову, жившему тогда (1868) в Берлине и встречавшемуся с Ауэрбахом: «Я дал согласие на один небольшой рассказ в виде пробы, оговорив все возможности таким образом, что если рассказ не будет подходить к «Современнику», то и даром его не надо».

В критических статьях Некрасов воевал против некоторых журналов, распространявших переводную мещанскую литературу. Например, в «Отечественных записках» Краевского в 1855 году печатался роман немецкого писателя Ф. Гаклендера «Европейские негры». Перевод немецкого романа был таким редким явлением, что Некрасов по одной этой причине не мог обойти его молчанием. В «Заметках о журналах» он писал: «Скука, бесцветность, сентенции столько же благонамеренные, сколько и лишенные жизни, холод и отсутствие малейших проблесков поэзии — вот характеристические свойства романа; манера изложения — или апатично резонерская, или пошло восторженная». Все это, по мнению критика, говорит об упадке немецкой литературы. «В политических романах Гуцкова есть хоть то достоинство, что они характеризуют настоящее состояние Германии,— у Гаклендера не нашли мы покуда и этого».

Суждения Некрасова о зарубежной литературе свидетельствуют о незаурядной осведомленности и критическом чутье, однако они носят, естественно, фрагментарный характер. В целом же на страницах «Современника» темы, связанные с развитием и состоянием современной литературы на Западе, нашли широкое и полное освещение. Помимо обстоятельных статей о классиках, биографических очерков, журнал систематически печатал обзоры литературы по странам, рецензии, очерки. Видное место среди них занимали работы Дружинина — его статьи о Шекспире, Шеридане, цикл статей о Дж. Краббе, серия очерков «Письма... об английской литературе и журналистике».

Дружинин познакомил Некрасова с творчеством Крабба, этого «поэта бедных», и Некрасов так заинтересовался его стихами, что собирался их переводить. В одном из писем он заметил: «Дружинина статья о Краббе очень хороша, а сам Крабб — прелесть!» Одно из его стихотворений — «Приходские списки» — возможно, дало толчок или зачин для некрасовской «Забытой деревни». Некоторая общность сюжетного мотива — помещика (у Крабба — владелицу замка), который не бывал в своем поместье, привозят туда хоронить — послужила поводом для суждений о переводном характере «Забытой деревни». Однако считать ее переводом нет оснований — сюжет разработан Некрасовым самостоятельно, нарисованная картина характерна для русской жизни, не говоря уже о том, что социальная острота стихотворения не имеет ничего общего с буржуазно-филантропическим настроением Крабба.

Позднее Некрасов задумал перевести стихотворение английской поэтессы Э. Барретт-Браунинг «Плач детей». В этом случае он несколько больше опирался на подлинник, использовал его тему —непосильный труд детей на фабрике, но и здесь говорить о переводе можно лишь относительно: русский поэт создал самостоятельное произведение — оно отличается от оригинала и резкостью нарисованной картины, и энергией стиха, и яркими деталями, и объемом. Очевидно, таков был метод Некрасова-переводчика; в тех немногих случаях, когда он собирался сделать перевод, он, отталкиваясь от оригинала, забывал о нем и создавал новое произведение, обогащенное его, некрасовской, мыслью, его стихом. По поводу «Плача детей» сам Некрасов сделал такую заметку: «Я имел подстрочный перевод в прозе и

очень мало держался подлинника; у меня оно наполовину короче».

Приблизительно так же поступил Некрасов и со стихами Гюго, которые оказались в его распоряжении летом 1872 года. Приглашая свою сестру в путешествие из Москвы в Ярославль, поэт, надеясь на ее знание французского языка, писал: «Купим «L'anée terrible» Виктора Гюго и будем перелагать в русские стихи дорóгой». После этого были написаны стихи («Страшный год» и «Смолкли частные...»), заключающие в себе отклик на события франко-прусской войны и расправу над парижскими коммунарами; но эти стихи нельзя считать даже переложением сборника Гюго, это лишь разработка некоторых политических мотивов его лирики. Впрочем, связи Некрасова с французским поэтом этим не ограничиваются. Недавно установлено, что в некоторых некрасовских стихах, рисующих уличную жизнь большого города, явственно откликнулись урбанистические темы Гюго.

Поэт в Некрасове явно побеждал переводчика. Однако, почти не занимаясь собственно переводами, даже с подстрочника, он все же интересовался вопросами переводческого искусства и высказал несколько суждений, сохраняющих доныне свое значение. Вот одна из его забытых мыслей о переводе: «Передавать близко стихи иностранного поэта русскими стихами вообще трудно, часто труднее, чем прямо писать русские стихи. Причин тому множество, и между прочим длина наших слов, особенно причастий, деепричастий, прилагательных и проч., так что переводить тем же размером, тем же количеством строк, сохраняя по возможности самый наружный вид стихотворения (а это-то и значит переводить близко), иногда почти невозможно!» По мнению Некрасова, Барбье, поэта «грубого» по форме, легче переводить, чем, например, изысканный стих Петрарки. Мицкевич труден для перевода в силу родственного сходства между польским и русским языками. «С итальянского, например, легче переводить иногда, чем с малороссийского. Невероятно, а между тем верно»,— проницательно замечал Некрасов.

■

А. Панаева рассказывает в своих воспоминаниях, как осенью 1861 года в редакцию к Некрасову пришли Михайлов, только что вернувшийся из-за границы, и офицер Сигизмунд Сераковский, сотрудничавший в «Современнике». Они принесли свои переводы — первый из Гейне, второй из Мицкевича — и тут же прочли их. После этого Некрасов попросил повторить стихотворение Мицкевича на языке подлинника.

Он с особым интересом слушал чтение Сераковского, потому что знал польский язык, свободно читал по-польски. С уважением и симпатией относился Некрасов к польскому национально-освободительному движению, к польской литературе. Об этом, в частности, сообщает в своих воспоминаниях литератор Генрих Квятковский, беседовавший с Некрасовым незадолго до его смерти. О том же говорят и переводы из польских писателей, появлявшиеся в некрасовских журналах.

В конце 50-х годов, как только был снят цензурный запрет, долго тяготевший над именем Мицкевича, редактор «Современника» напечатал перевод поэмы «Конрад Валленрод». Правда, он был недоволен этим переводом и сам же назвал его «дубовым», но все же поместил, соблазнившись, по собственным словам, «открывшейся возможностью печатать Мицкевича». Позднее, в «Отечественных записках» Некрасов опубликовал поэму «Пан Тадеуш» в переводе Н. Берга, а вслед за нею — перевод трагедии в стихах Ю. Словацкого «Мазепа», выполненный Н. Пушкаревым.

Впервые познакомив русских читателей с одним из лучших произведений великого польского поэта, некрасовский журнал в специальном предисловии разъяснял, что Словацкий принадлежит к школе Мицкевича, но отличается тем, что его протест и его «отрицание» «приняли гораздо более широкую и гораздо более резкую форму». Некрасов высоко ценил трагедию Ю. Словацкого, это видно из того, что он позаботился сделать ее русский перевод в стихах возможно более совершенным и потому сам тщательно отредактировал его в корректуре.

■

Летом 1855 года больной Некрасов жил с В. Боткиным в Москве, на даче в Петровском парке, лечился и усердно занимался самообразованием. «Я вообще азартно предаюсь чтению,— писал он Тургеневу, — обуреваем с некоторого времени жаждой узнать и того, и другого, да на русском ничего нет, особенно поэтов...» Именно в это время Боткин читал ему вслух «Илиаду» в переводе Н. Гнедича: поэма произвела огромное впечатление, вдвое усиленное тем, что это было время крымской войны, тяжелой осады Севастополя. Тогда же Некрасов передал свои ощущения в таких взволнованных словах: «...только одна книга в целом мире соответствует величию настоящих событий — и эта книга «Илиада»... Когда внимание всех трепетно приковало к театру войны... в это время «Илиада», как полнейшее выражение героического настроения, читается с наслаждением и сочувствием невыразимым».[1]

Тогда же Некрасову, обуреваемому жаждой «узнать и того, и другого», захотелось познакомиться с крестьянской музой

[1] Некрасов вообще высоко ценил поэзию Древней Эллады. В том же 1855 году он поместил в «Современнике» статью Е. Колбасина о замечательном переводчике греческих классиков И. И. Мартынове, который в 1823—1829 гг. выпустил 26 томов своих переводов. Некрасов был очень доволен этой статьей, о чем говорил Тургеневу.

В. ЖДАНОВ

НЕКРАСОВ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бернса, о котором он знал только понаслышке И он решил обратиться за помощью к Тургеневу: «У меня явилось какое-то болезненное желание познакомиться хоть немного с Бернсом, ты когда-то им занимался, даже хотел писать о нем: вероятно, тебе нетрудно будет перевести для меня одну или две пьесы прозой (по своему выбору). Приложи и размер подлинника, означив его каким-нибудь русским стихом (ибо я далее ямба в размерах ничего не понимаю),— я, может быть, попробую переложить в стихи. Пожалуйста, потешь меня, хоть страничку пришли на первый раз».

Тургенев сразу же откликнулся на эту просьбу. Он писал Некрасову: «Я уверен наперед, что ты придешь в восторг от Бернса и с наслаждением будешь переводить его. Я тебе обещаю сделать отличный выбор — и метр приложить. Бернс — это чистый родник поэзии». Дальше Тургенев с помощью русских стихов дал образец «любимого метра» шотландского поэта и прибавил: «Этот размер идет к элегическим и задумчивым вещам. Таким размером написано знаменитое стихотворение Бернса к полевому цветку, срезанному им при пахании плугом».

Спустя год стихотворение «К срезанной плугом маргаритке» появилось в «Современнике», но — в переводе Михайлова. Почему Некрасов не осуществил своего намерения перевести Бернса — неизвестно.

Тургенев, близко стоявший к редакции «Современника», не раз помогал Некрасову. Он жил подолгу за границей, встречался с писателями — поэтому редактор «Современника» и обращался к нему с просьбами об организации материалов на зарубежные темы для журнала. То он требовал от Тургенева, находившегося в Берлине, статью о немецкой литературе, уверяя, что она «крайне нужна» «Современнику», то просил его заказать в Париже статью о французской литературе: «В Париже есть г. Делаво, желающий писать в «Современнике». Закажи ему статью — нечто вроде о современном состоянии французской литературы (и журналистики, пожалуй). По первой увидим, будет ли стоить печатать его статьи». Критик и переводчик Ипполит Делаво, о котором говорит Некрасов, до этого долго жил в России; он переводил русских писателей, в том числе Тургенева и Герцена, на французский язык, а в 1858 году опубликовал в «Revue des deux Mondes» едва ли не первую за рубежом серьезную статью о Некрасове — «Русский поэт-сатирик»; статья примечательна тем, что в ней дано верное представление о некрасовской поэзии, о ее гражданственном содержании и критической направленности. Некрасов прочел эту статью, присланную ему из Парижа Михайловым, и остался доволен ею. Он отвечал Михайлову в январе 1859 года: «Благодарю Вас от души за присылку статьи обо мне... — все-таки любопытно... Скажите Делаво, что я удивляюсь, как он при совершенном и очевидном отсутствии помощи чьей-нибудь из русских литераторов все-таки сумел сказать много верного, и поблагодарите его от меня за лестный отзыв».

■

Известность Некрасова за рубежом при его жизни была невелика; во всяком случае, она не соответствовала реальному значению его поэтической деятельности. А немногие данные о переводах его стихов в разных странах, о влиянии его демократической музы на литературы славянских народов доныне у нас по существу не собраны (не исключено, что новые поиски в этом направлении могли бы дать интересные результаты).

Тем не менее существует документ, о котором хотелось бы напомнить, ибо он свидетельствует о несомненном авторитете, которым пользовалось имя русского поэта среди французских писателей. Примерно в середине 70-х годов Некрасов получил из Парижа, от поэта Катюлля Мендеса письмо, извещавшее о предстоящей организации международного общества поэтов. Некрасова приглашали содействовать этому начинанию в России.

Ответил ли на письмо Некрасов и какова была дальнейшая история будущей ассоциации, неизвестно. Но примечателен самый факт обращения к Некрасову от имени «интернационального общества поэтов», куда, судя по письму К. Мендеса, должны были войти видные поэты западного мира. Вот текст этого письма (с сокращениями):

«Дорогой собрат, от группы новых французских поэтов имею честь предложить Вам прилагаемые к сему соображения и устав. Французская секция уже организована: она работает под почетным представительством г-на Виктора Гюго, Леконта де Лиля и Теодора де Банвиля. Английская секция организуется под руководством английского поэта Джона Пэна... Организуются секции испанская, австрийская, немецкая, бельгийская, шведская, американская и т. д. и т. д.

Мы были бы очень рады, дорогой собрат, если бы Вы содействовали этому начинанию в России; нет сомнения в том, что заслуженная симпатия, которую вызывает Ваше имя, преодолеет все трудности... Пока же примите, сударь, от имени французской секции международной ассоциации поэтов уверение в нашей душевной симпатии и нашем глубоком восхищении».

Так, по отдельным штрихам и эпизодам восстанавливается своеобразная, хотя и далеко не полная, еще недостаточно изученная картина связей великого русского поэта с западноевропейской литературой. Он был ее усердным читателем, критиком и пропагандистом.

Публицистика

ЭДУАРД ПАРА, ЛЮДВИК НАПРАВА

МИХАЛ ПАНЕК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ...

Перевод с чешского Л. ЛЕРЕР

Ниже мы публикуем отрывки из документальной книги чехословацких журналистов Эдуарда Пары и Людвика Направы «Семнадцать лет чехословацким агентом на Западе», вышедшей в 1970 году в Праге в издательстве «Наше войско». В аннотации, сопровождающей книгу, говорится: «Эта книга — не только достоверный, но и в своем роде исключительный документ в литературе факта, посвященной разведчикам».

Воспоминания Михала Панека — бывшего чехословацкого дипломата, покинувшего в 1949 году родину и завербованного в Западной Германии американской разведкой для шпионской работы против Чехословацкой республики, а затем привлеченного к сотрудничеству органами чехословацкой разведки и после семнадцати лет работы в качестве агента-двойника вернувшегося в Чехословакию, убедительно разоблачают масштабы и методы подрывной деятельности ЦРУ в социалистических странах. И хотя действие книги завершается 1965 годом, сегодняшняя актуальность этого свидетельства более чем очевидна.

Прежде чем ударил гонг[1]

В свободное время я работал в отделе документации. Кроме обобщения и классификации сведений, поступающих из Чехословакии, я заполнял паспорта и удостоверения для наших агентов, направляемых через границу. Естественно, я писал вымышленные имена, и все остальные данные тоже были фальшивыми.

Эта работа доставляла мне немало беспокойства. Прежде всего потому, что американцы изготовляли роскошные по сравнению с оригиналом документы. Они печатали их на прекрасной, плотной, глянцевитой бумаге, идеальным типографским шрифтом, в то время как Прага использовала для этих целей чуть ли не газетную бумагу. Я был уверен, что агенту уж лучше идти прямо в полицию и заявить о себе, чем предъявлять подобный документ. Я обратил внимание Кашпара (Кенига) на это обстоятельство. Полковник выслушал меня спокойно, но без всякого интереса.

— Что вы хотите от американцев? — заметил он иронически.— Впрочем, я даю

[1] Публикуемым отрывкам предшествуют главы, в которых рассказывается, как М. Панек был завербован американской секретной службой и направлен в одну из шпионских организаций в Дармштадте, в которой работали преимущественно эмигранты из Чехословакии. Панеку вначале было поручено руководство политическим сектором этой организации, главным образом реферирование чехословацкой прессы.

курьерам паспорта скорее для их успокоения, чем на случай серьезной надобности. Уж если им придется предъявлять документы, то дело их плохо...

На все мои аргументы он больше не реагировал и не пожелал заняться вопросом качества удостоверений и паспортов.

Я продолжал заполнять эти никуда не годные бумажки. Позже мне стало понятно, что Кашпар, уделявший чрезвычайно большое внимание безопасности своей собственной и ближайших сотрудников по штабу, вообще не интересовался судьбой агентов и курьеров, если только их провал не наносил ущерба его карьере.

Эти волчьи законы потрясли меня. Теперь я вполне отдавал себе отчет в том, что мне действительно повезло, когда я попал на работу в штаб. Будь я простым курьером, мне тоже вписывали бы в заведомо негодный паспорт фальшивое имя.

Насколько тяжелее была жизнь курьера, я узнал очень скоро, в ближайшем будущем. Вместе со мной на первом этаже дармштадтской виллы жил словак Юрай Савик (Томми). Это был веселый паренек с большим чувством юмора, мы с ним подружились. Томми симпатизировал мне, видимо, потому, что принимал тоже за словака. В прошлом он — партизан и хорошо знал моего брата Фердинанда, который служил начальником снабжения Второй партизанской бригады имени Штефаника в Брезове под Брадлом.

Наши комнаты были рядом, и мы по вечерам, а порой и ночами, несмотря на запреты, проводили много времени вместе. Наедине мы — тоже тайком — говорили по-словацки; это были дорогие нам минуты душевной близости.

Юрай Савик был личным курьером сперва самого полковника Катека, а потом полковника Кашпара (Кенига). Он слыл удачником, привозил сведения и письма из Дубницы, Поважской Быстрицы и Братиславы.

Границу в районе Селб — Аш и Арзберг — Хеб он принципиально переходил без всяких документов. Он шел со скрипкой в футляре или с траурным венком на плече, чтобы быть похожим на местного парня, который торопится на вечеринку или похороны родственника. Только Юрай и два других курьера — Ярослав Бальник (Генри) и агент под кличкой Алоиз — имели право бывать в штабе части и открыто говорить с работниками штаба обо всем, что касалось их заданий. Не знаю, как с другими, но в разговорах со мной он часто пользовался этим правом.

Особенно хорошо я помню одну из наших ночных встреч. Юрай пришел тогда в приподнятом настроении, с бутылкой коньяку. Еще на пороге он заявил, что он сегодня как будто родился вторично и хочет отпраздновать это событие.

Мы просидели с ним почти до утра, пили, и Юрай рассказывал. Он только что вернулся из очередного путешествия по ту сторону границы, где его чуть-чуть не поймали. Его обстреляли, и надо быть просто дьявольски удачливым, чтобы выбраться из такой заварухи. Обиднее всего, что все это было напрасно — Закольский ему ничего не дал... Впервые после моего нелегального перехода границы я услышал это имя... Инженер Закольский из Братиславы... Мне не удалось скрыть заинтересованность и любопытство.

Не знаю, был ли Савик так потрясен стрельбой на границе, или он сознательно решил быть откровенным, потому что питал ко мне добрые чувства. Как бы то ни было, он нарушил все запреты Кашпара относительно секретности.

Сначала он подтрунивал надо мной, что я, мол, недавно замещал его на свидании с инженером и тоже не имел успеха. Закольский, мол, старый пройдоха, он нас всех водит за нос. У него всегда есть оправдания, но планов аэродрома и мостов он все же не дает. А Кашпару они так нужны! Сам Юрай отправлялся за ними уже семь раз.

Эта новость вывела меня из равновесия. До сих пор я верил, что отношения Кашпара (Кенига) и Закольского носят родственный или дружеский характер. А теперь, оказывается, речь идет о шпионаже. Во время поездки в Братиславу я думал, что улаживаю личные дела полковника, но эти же поручения Савик передавал Закольскому уже семь раз. Задним числом я понял, как смешно выглядел — и перед Закольским, и перед самим собой, и перед Савиком. Я был зол на Кашпара: способ, каким он воспользовался моей неосведомленностью, показался мне отвратительным. Но Савик (Томми) пытался меня успокоить. Он уверял, что Кашпар интересуется не только мостами и аэродромами, но заботится и о своих знакомых, хочет им помочь. Однако Янко, о котором и я выспрашивал Закольского, решительно отказался покинуть родину, хотя утратил свое высокое положение в обществе. Зато «профессор» уже находится на пути к нам: это Клара Федакова, сестра супруги Кашпара, бывшая служащая министерства народного образования. Полковник пригласил ее в Дармштадт и обеспечил ей место в штабе. Вскоре я буду иметь случай познакомиться с ней лично, говорят, она не только красива, но и умна.

Я поблагодарил Юрая за то, что он открыл передо мной такие приятные перспективы,— тогда я еще не подозревал, что мне действительно придется добиваться расположения Клары Федаковой.

— Во время последней поездки я разговаривал с Фердой,— бросил Савик как бы мимоходом.

Я не понял его и переспросил:

— С кем ты разговаривал?

— С твоим братом...

Если бы в эту минуту грянул гром, я вряд ли протрезвел бы так молниеносно. Вот где была причина ночных бесед Томми со мной!

— Я получил у него кое-какие твои документы... Партизанское удостоверение, два школьных табеля...

Я с трудом проглотил слюну. Вероятно, в моем лице не было ни кровинки. У брата не было никаких документов, которые могли бы мне повредить в глазах американцев. Но зачем все это им понадобилось?

— Полковник в тебя просто влюбился, но все-таки проверяет,— как бы угадав мои мысли, сказал Томми.

Я был ему бесконечно благодарен за предупреждение. Теперь я слушал рассказ Томми с пятого на десятое и пытался привести в порядок мысли, роившиеся в голове. Мучил один вопрос: знает ли Кашпар, что я был с 1931 года членом Коммунистической партии Чехословакии? После оккупации я состоял в смиховской районной организации в Праге, затем — в партийной организации министерства иностранных дел. Что ты ответишь, если тебя спросят, почему ты скрыл это обстоятельство? — задал я себе вопрос. Ведь при допросе в лагере достаточно перебежчику сообщить, что он был членом комсомола, Общества чехословацко-советской дружбы или профсоюза, и на него уже смотрели как на коммуниста. Да, конечно, все дело в этом. Я не хотел, чтобы меня считали коммунистом, не хотел сразу же закрывать себе пути к карьере. Кто бы взял меня в штаб Кашпара с ярлыком коммуниста?

Ну а что будет, если Ферда рассказал Томми об этом факте моей биографии? Как я смогу оправдаться в том, что утаил свою партийную принадлежность? Я боялся. Но боязливым здесь вообще не место. А кто может поручиться, что, если даже они еще не знают ничего, Ферда не проговорится в дальнейшем?

На другой день у меня буквально раскалывалась голова от всех этих вопросов. Я ловил каждый взгляд полковника и ждал, что он вызовет меня к себе. Но ничего необычного не происходило. Я обработал партию газетных материалов, послушал радио. День прошел спокойно. Назавтра тоже ничего не произошло.

Я понимал, что успокаиваться еще рано. Может быть, Кашпар выжидает благоприятного момента, чтобы нанести удар? Я не мог позволить усыпить себя мнимым безразличием. А может, он действительно ничего не подозревает?..

Меня совершенно не привлекала перспектива жить и дальше в таком напряжении. Инстинкт самосохранения заставлял искать выход, способ застраховаться против выпадов полковника и его сотрудников.

С каждым днем меня все более настойчиво преследовала мысль использовать возможности, связанные с Юраем Савиком. Я пошлю письмо Ферде. Юрай, конечно, согласится передать его во время своей ближайшей поездки. Я попрошу Ферду молчать и обеспечить молчание друзей и знакомых. Обратный адрес дам на Франкфурт до востребования; может быть, мне удастся таким образом утаить ответ брата от шефа.

Колебания сменились вскоре лихорадочным желанием поскорее написать Фердинанду. Причиной этого была и приветливость Кашпара, которую я истолковывал как затишье перед бурей, требовавшее контрмер.

Мой разум всячески противился такому неосторожному поступку, но в конце концов однажды перед обедом я неожиданно решился; взял листок бумаги и начал писать: «Дорогой брат! Со мною все в порядке. Я работаю, но живу не в лагере для беженцев...»

В этот момент ударил гонг, созывающий на обед. В штабе господствовала строгая воинская дисциплина, заведенная Кашпаром.

Работники штаба собрались в течение нескольких секунд. Все ждали, когда придет начальник группы и даст распоряжение занять места за столом. По времени прихода сотрудников Кашпар судил об их аккуратности, исполнительности и дисциплине. Мне пришлось сунуть листок в карман и поспешить на обед. Когда я спускался по лестнице в столовую, мною вдруг овладели сомнения в надежности Томми, хоть я и знал, что обычно он помогал беженцам посылать и получать письма от родственников в республике. А что, если Савик передаст письмо полковнику? Эта мысль привела меня в ужас, я заранее представлял себе сцену, которая разыграется вслед за этим.

Я тут же зашел в туалет, который находился рядом с гостиной, разорвал листок, бросил его в унитаз и спустил воду. Впервые за время моего пребывания в штабе шпионской группы Кашпара я допустил грубую ошибку: я ушел в гостиную, не удостоверившись, что обрывки листка исчезли. Вскоре за мной вошел полковник Кашпар (Кениг). По привычке он окинул взглядом присутствующих, чтобы убедиться, все ли на месте. Потом уселся в кресло и дал знак остальным, чтобы и те сели.

Гостиная наполнилась звуками голосов и шелестом разворачиваемых газет. Так называемая пятнадцатиминутка перед обедом обычно использовалась для чтения прессы и приветствий тех, с кем не удалось встретиться в течение дня, так как воинский распорядок не допускал свободного передвижения по вилле без особого на то разрешения.

Хотя я был еще сильно взволнован письмом, которое только что спровадил в унитаз, меня отвлек от моих мыслей громкий смех Ярмилы Юранковой (Энн). Полковник шептал ей что-то на ухо, она отвечала ему как всегда непринужденно — Юранкова за-

ведовала канцелярией Кашпара и вела всю его корреспонденцию. Эту должность выхлопотал для нее сам Катек. Некоторое время назад она работала его личным курьером,— во всяком случае в течение 1948 года ее неоднократно отправляли в ЧСР. Свою заслуженную славу она теперь хорошо использовала. Полковник, очевидно, нашептывал ей какие-то шутливые комплименты.

Я вытащил немецкую газету и пытался сделать вид, что погружен в чтение, чтобы меня никто не беспокоил. Тут я заметил на пальцах кляксу от авторучки, из которой протекали чернила, встал и пошел в туалет вымыть руки.

Подойдя к умывальнику, я увидел на полочке какую-то бумажку, прикрытую пепельницей. Я подошел ближе и узнал мое письмо к брату, сложенное по кусочкам.

На минуту у меня перехватило дыхание. Я понял, что допустил грубую ошибку, не проверив, смыла ли вода обрывки бумаги. Кто-то вытащил их и сложил под пепельницей.

Недолго думая, я сунул обрывки в карман и, не успев отмыть чернильное пятно, поспешил обратно в гостиную. Уселся на прежнее место, взял газету и уткнулся в нее. Вскоре открылись двери столовой и на пороге показалась повариха:

— Пожалуйте к столу, обед готов, приятного аппетита...

— Одну минутку, господа,— подняв руку, сказал Кашпар и снова закрыл дверь в столовую.— Попрошу внимания. Я много раз указывал на то, что безопасность штаба требует исключительной осторожности, особенно это касается тайны нашей национальной принадлежности. Сейчас я докажу вам, как легко может обнаружиться, что мы из Чехословакии. Пожалуйста, пройдемте...

Он направился в коридор, ведущий к туалету, открыл дверь и подошел к полочке. Но тут же вышел и, побагровев от гнева, сказал:

— Я хотел вам показать, что любой документ, даже разорванный и брошенный в унитаз, еще не уничтожен. Кроме того, я снова вам напоминаю о необходимости строго выполнять приказ, запрещающий разговаривать в помещении штаба на каком-либо славянском языке. Займите ваши места в столовой...

За обедом я механически глотал пищу, не замечая, что ем, и усиленно размышлял о том, что буду отвечать полковнику на его дотошные расспросы. Я боялся самого худшего. Полковник же во время обеда вел себя вполне спокойно, не подал и виду, что все еще думает об этом эпизоде. Я не знал, догадался ли он, кто автор злосчастного письма.

Ровно в тринадцать часов Кашпар позвал меня к себе в кабинет. Значит, все-таки!..

— Вильям, моментально и без размышлений ответьте мне на вопрос: кому вы писали?

У меня был заготовлен ответ:

— Господин полковник, я хотел писать в лагерь беженцев в Лехфельде Елинеку, с которым мы знакомы еще со времен первой республики...

Кашпар осклабился:

— Елинек — ваш брат?

— Перед войной мы вместе были в скаутской организации. Как вы, конечно, знаете, у скаутов обычно обращаются друг к другу — «брат». От этой привычки трудно отвыкнуть. В ней есть что-то от нашей молодости. Но когда я начал писать, я вспомнил о вашем запрещении вести переписку с кем-либо, разорвал письмо и бросил его в унитаз. Признаю допущенную ошибку — я не удостоверился в том, что обрывки письма смыты. Прошу извинения и надеюсь, что вы меня простите...

Откинувшись в кресле, Кашпар скептически качал головой. Я стоял перед ним как школьник. Он сказал, что сразу же узнал, кто писал,— по почерку и по словацкому языку. Он высоко ценит то, что я не отпирался и признал свое авторство. Но не может понять, как мне удалось устроить, что все клочки бумаги исчезли с полочки. Он последним зашел в гостиную. Я, как ему казалось, все время сидел поблизости и не двинулся с места. Он точно знает, что помещение никто не покидал, и не понимает, чем объяснить исчезновение обрывков письма. Я попытался пошутить:

— Это мой секрет, господин полковник, если бы я вам сказал, что сам ходил за этими бумажками, вы бы мне все равно не поверили. Но ведь так оно и было на самом деле...

— Исключено, доктор! Тут я вам действительно не могу поверить. Вы не вставали с кресла, я следил за вами. В конце концов, оставьте свой секрет при себе. Этот проступок я вам прощу. Прежде всего потому, что и совершив ошибку вы сумели блестяще замести следы. Вы вступили в борьбу как настоящий солдат.

Передо мной был снова прежний Кашпар; казалось, опасность миновала.

С тех пор полковник утверждал в присутствии других сотрудников, что Вильям лучше всех умеет скрывать свою деятельность в штабе. Хотя он и штатский, но проявляет более высокую бдительность, чем любой кадровый офицер.

Мне этот неприятный случай принес удовлетворение. Впервые я померялся силами с Кенигом в ситуации, когда шансы у обоих были равны,— и я выиграл. Кроме того, мне показалось невозможным, чтобы полковник не использовал этого инцидента, если бы подозревал, что я лгу. Впервые за долгое время я снова обрел веру в себя, в свои способности и в свое будущее.

Привет от Эльды

В штабе постепенно произошли большие перемены. Переводчиком с английского взяли майора Калину (Эрни), с которым я познакомился еще в «золотой клетке»[1]. Но он оставался на этой должности недолго. Вскоре Калина не поладил с Кашпаром, не разрешавшим ему жить в штабном объекте с израильской гражданкой, на которой он женился. Тогда Калина разорвал трудовое соглашение и уехал с женой в Англию.

Его место занял бывший майор чехословацкой армии Корда, под конспиративной кличкой Денис. Во время второй мировой войны он служил в штабе генерала Ингра. После освобождения был членом чехословацкой военной миссии в Италии, которая занималась чехословацким трофейным имуществом и обеспечивала репатриацию остатков войск, посланных сюда в свое время протекторатным правительством. Корда (Денис) владел английским в совершенстве и был хорошо знаком с военной и технической терминологией.

Кроме Корды к нам поступили еще несколько офицеров чехословацкой армии, большинство из них бежало весной 1949-го в Германию: капитан Венделин, бывший майор генерального штаба Ботлен, майор Чермак и другие. Венделин (Сирил) и Ботлен были прикомандированы к военному сектору полковника Чамбалы, но в то же время в их обязанности входила отправка агентов в ЧСР.

Среди них выделялся Ярослав Венделин: чтобы пользоваться бóльшим авторитетом у подчиненных, он выдавал себя за майора, хотя объявился в эмиграции в звании капитана. Он утверждал, что коммунисты отказались признать за ним высший чин, который принадлежал ему по праву. Венделин (Сирил) был военным с молодых лет. Перед войной он учился в военной академии в Границах, во время оккупации сражался в партизанском отряде в Моравии. После освобождения Венделин отправился в Западную зону Германии в качестве члена комиссии по репатриации, но вскоре вернулся в Прагу и снова начал учиться в военном учебном заведении. Тут его застигли февральские события. Еще до окончания учебы он бежал с помощью французского военного атташе генерала Филиппа, в апреле 1949-го, в Западную Германию. Вскоре мне довелось ближе познакомиться с Венделином при обстоятельствах, до известной степени комических.

На освободившееся место шофера, которое занимал подполковник Главса, пока он не эмигрировал, поступил майор Чермак, получивший конспиративную кличку Чарли. Должность шофера была очень важной: каждый шофер знал, например, все акции курьеров, которых он отвозил к границам ЧСР и поджидал при возвращении. Он должен был в совершенстве владеть английским, чтобы объясняться с работниками американской разведки и с сотрудниками американской полиции. Кроме должности шофера Чермак выполнял функции офицера связи и, так же как и я, занимался изготовлением фальшивых документов.

Руководство так называемым третьим сектором, занимавшимся сбором сведений относительно чехословацких органов госбезопасности и закрытых зон в приграничье, было возложено на бывшего капитана службы госбезопасности Зеленку. Одновременно он выполнял обязанности начальника полиции в лагере для беженцев Егергоф и в людвигсбургских казармах. Он не жил в штабе, но приезжал сюда и лично докладывал Кашпару. Учитывая расширение нашей группы, Катек выделил для нас вспомогательное помещение в Бенсгейме, которое получило конспиративное название «Роккихауз». Туда перебрался Юрай Савик и все руководители секторов, включая военный, так что в помещении штаба в Дармштадте остались только Кашпар, который сохранил за собой руководство сектором авиации, Чермак, в то время когда он не был занят выполнением своих обязанностей шофера, административные работники Юранеки и я в должности политического референта и пресс-референта.

Едва была проведена эта реорганизация, в штабе появился новый человек. Это был довольно высокий широкоплечий мужчина лет пятидесяти, в сером, хорошо сшитом костюме. Он прошел через здание штаба и исчез в кабинете полковника Кашпара.

Кашпар (Кениг) вечером устроил в его честь прием. Подавали коньяк, виски, красное и белое вино. Присутствовал только самый узкий состав сотрудников: Кашпар со своей женой Эленой, супруги Юранеки, Чермак и я.

— Полковник Чарльз,— с улыбкой представился вновь прибывший.

Я знал от майора Калины, что Чарльз — конспиративная кличка Катека. Он безупречно говорил по-чешски, вел себя вполне непринужденно и показался мне весьма симпатичным и приятным. Почти все время он улыбался. Попеременно обращался ко всем присутствующим и часто менял темы разговоров. Меня он расспрашивал об обстановке в Болгарии, хотел знать обстоятельства, сопутствовавшие аресту Николы Петкова, интересовался делом врача американского посольства, который был в 1947 году арестован болгарской полицией за антигосударственную деятельность.

— Я очень рад, доктор,— сказал мне Катек с улыбкой,— что вы работаете в группе полковника Джерри.

[1] Так М. Панек называет виллу в Геддернгейме, на которой оперативные сотрудники американской секретной службы в Западной Германии проводили свой вынужденный отдых.

Катек имел в виду Кашпара, Джерри — еще одна кличка нашего шефа.

— Нам очень нужен человек такой квалификации, как вы,— продолжал он.— Когда в марте меня спрашивал полковник Майкл из американского посольства в Праге, представляете ли вы для нас интерес, я тут же попросил его, чтобы вас переправили через границу. Надеюсь, вы теперь не жалеете о вашем тогдашнем решении?

Я ответил ему в том же тоне:

— Ни в коем случае, господин полковник. Я хотел бы выразить вам мою благодарность за все, что вы для меня сделали.

— Не стоит благодарности, доктор Вильям. Полагаю, что вы со временем вознаградите нас за наши заботы усердной работой в здешней группе. Так что, какие уж тут благодарности...

Я был рад, когда Катек обратился затем к супругам Юранекам. Теперь я знал, что не Кашпар меня рекомендовал Катеку, как он неоднократно подчеркивал, а, напротив, Катек — Кашпару. Кашпар, вероятно, вообще не имел понятия о том, что я хочу покинуть Чехословакию. Но он хвастал своими благодеяниями и умел прекрасно использовать ту благодарность, которую они должны были у меня вызвать.

В ближайшие дни я понял, почему нас посетил Катек. В районе Бора у Тахова при извлечении из тайника материалов был арестован Ярослав Бальник (Генри), мой надежный проводник во время путешествия в Братиславу. После недавнего ареста Алоиза мы потеряли еще одного отличного курьера, знавшего Катека и Кашпара и способного точно установить их личность по фотографиям. Кроме того, Генри знал многих других сотрудников штаба, мог подробно описать дармштадтскую виллу и вспомогательные помещения, маршруты переходов через границу, мог также выдать своих сотрудников на территории Чехословакии.

Поэтому Катек попросил Кашпара послать надежного человека в Нюрнберг к бывшему капитану органов национальной безопасности Венеру, который в прошлом работал в пражском министерстве внутренних дел. Тот был связным офицером группы Кашпара и регулярно переправлял Бальника в республику — в частности, к одному бывшему сотруднику органов национальной безопасности из округа Тахов, который добывал Венеру разного рода информацию, а теперь тоже был арестован. Представлялось более чем вероятным, что чехословацким органам удалось разоблачить Венера (он же — Эрих). Я ни минуты не сомневался в том, что была раскрыта и моя поездка в Братиславу, и сам инженер Закольский. Каждый арест курьера означал разгром, но теперь этот разгром был особенно чувствительным. Видимо, и Кашпар признал, как неосторожно было разрешать Генри пребывание в штабе и ничем не ограничиваемое общение с его работниками.

В Нюрнберг к капитану Венеру (Эриху) должен был по приказу Кашпара ехать я. Мне было уже не привыкать к таким поручениям: когда речь шла о каком-нибудь «деликатном» вопросе, который требовал абсолютной секретности, Кашпар большей частью выбирал меня и, вероятно, потому, что я действительно умел молчать. Например, я незаметно привозил чемоданы арестованных курьеров из лагеря в штаб, чтоб никто так ничего и не узнал толком. Кашпару, таким образом, удавалось добиваться исполнения приказа, запрещавшего упоминать об агентах, ликвидированных на территории Чехословакии.

И на этот раз Кашпар послал за мной машину с шофером Чермаком, и мы поехали. Я должен был сообщить капитану Венеру, что Кениг отзывает его в Геддернгейм, где он должен временно поселиться в «золотой клетке». Вопрос о дальнейшем его назначении решит после возвращения из Вашингтона полковник Катек, который установит, насколько Венер дискредитирован. По дороге в Нюрнберг Чермак выяснял, нельзя ли нам остаться хотя бы на полдня в городе; у него там знакомая, с которой ему хочется повидаться. Мы договорились, что сначала заедем к Венеру, потом каждый из нас отправится на часок в город.

После того как я выполнил поручение, я пошел пройтись по нюрнбергским улицам. Это было приятным нарушением обычного казарменного режима. Я прогуливался без определенных целей, разглядывал витрины, а так как погода испортилась, зашел в маленький кабачок.

Я всегда рад посидеть за стаканом хорошего вина, но кислое и водянистое пойло, которое мне здесь подали, не доставило обычного удовольствия. Последствия войны сказывались в Германии на каждом шагу: в голодных продовольственных пайках, в недостатке кофе и сигарет, в плохом качестве вин. Я не привык к этому — продукты, которые выдавали нам, имели американские этикетки, и даже теперь, через много лет, я могу назвать их превосходными.

Я задумался и не заметил пожилого мужчину, который остановился у моего стола с сигаретой в руке.

— Разрешите прикурить?

Склонившись надо мной, чтобы зажечь сигарету, он быстро и едва слышно произнес по-английски:

— Во внутреннем кармане пальто у вас письмо от брата. Прочитав, уничтожьте.

Прежде чем я успел прийти в себя от удивления, человек исчез. Провокация! Это было первое, что пришло мне в голову. Они хотели убедиться, что я действительно сжег за собой все мосты. Они испытывают мою преданность с помощью такого прими-

тивного средства. Кашпару, видимо, не дает покоя история с письмом. Ну что ж, увидим.

Я пытался вести себя как можно естественнее. Конечно, я постарался незаметно осмотреться. Никто из присутствующих в кабачке не показался мне подозрительным — а неизвестного человека и след простыл. Я заплатил, не торопясь взял пальто с вешалки и вышел. Во рту сохранился вкус кислого вина, а мозг сверлила мысль, что мне надо быть начеку...

У меня еще оставалось время. Через ткань я удостоверился, что в кармане действительно что-то появилось. На улице я не решался вынуть письмо. После примерно двадцатиминутной прогулки, когда я, все время оглядываясь, убедился, что за мной никто не следит, мне удалось обнаружить в развалинах на углу одной из улиц подходящее место. В задней стене полуразрушенного здания была глубокая ниша, я зашел туда и с нетерпеливой поспешностью разорвал конверт. Едва взглянув, я узнал почерк Фердинанда. Он писал:

«Миша! Наконец-то я нашел возможность написать тебе, не подвергая тебя при этом опасности. Во-первых, прими сердечные приветы от меня и особенно от матери. У нее, бедняжки, не очень хороши дела со здоровьем, годы дают себя знать. Но все же она не забывает тебя и требует, чтобы я как-нибудь передал тебе привет и пожелание всего лучшего.

В общем, мы живем неплохо. А как ты? Я все не могу понять смысл твоей эпопеи. Уж если тебя кто-нибудь знал хорошо, так, думаю, именно я. Ничто не сотрет из моей памяти совместно прожитые годы — и детство, и то время, когда мы сражались в партизанском отряде. Ведь и у нас, как у всякого другого, была только одна жизнь, но мы не боялись рисковать ею. Правда? Не представляю, как ты теперь живешь? Что делаешь? Как твои дела? На все эти вопросы мне бы очень хотелось получить вразумительные ответы.

Я нашел надежного человека, который обещал мне разыскать тебя и заверил, что это ни в коем случае не причинит тебе каких-либо неприятностей. Я не буду называть его, но мы договорились, что он в подходящий момент и в безопасном месте подойдет к тебе и передаст привет от ЭЛЬДЫ. От него ты можешь узнать о нас все. Но не позволяй застать себя врасплох. Если ты сочтешь мое предложение неразумным, не отвечай такому человеку вовсе. И, наоборот, если тебе покажется беседа с ним уместной, ответь ему: «Господи боже мой, что этот дикарь поделывает?»

Тогда он тебе сообщит кое-что, что тебя, по-моему, должно заинтересовать. Если ты захочешь — а мне бы этого очень хотелось,— ответь ему, как я тебе советую. Сделай это в наших общих интересах.

Еще раз шлет тебе привет твой Эльда.

P. S. Письмо немедленно уничтожь».

Я несколько раз перечитал письмо. До того как я распечатал его, я готов был дать голову на отсечение, что Кашпар мне подстроил ловушку. Потом меня удивил почерк Фердинанда. А что, если почерк брата кто-то искусно подделал? Савик в свое время мог ведь принести кроме моих документов и что-нибудь, написанное его рукою.

Но подпись уж наверняка не вызывала сомнений. Сегодня никто в целом свете, кроме меня, матери и брата, не мог знать, что в двухлетнем возрасте я назвал шестилетнего Фердинанда — «Эльда», что на ребячьем языке обозначало «Ферда». Это имя сохранялось и в то время, когда мы уже подросли. В шутку я называл так брата и будучи взрослым. Но никто другой этого не знал, это было мое изобретение, и я ревниво оберегал свои авторские права. И вот теперь Фердинанд воспользовался детским воспоминанием, чтобы доказать мне, что письмо написал действительно он. Но если это так, значит, всякая провокация исключается и Кашпар не имеет к этому никакого отношения.

Я аккуратно спрятал конверт в карман и стал напряженно размышлять. По логике моего положения, мне следовало бы передать письмо полковнику. Таким образом, инцидент был бы исчерпан и в том случае, если письмо фальшивое, и в том, если оно подлинное. Но только... Что-то во мне противилось такому решению. А может, это был страх. Двойной страх. Я боялся, что раскроется мое членство в КПЧ, если письмо подлинное и Кашпар предпримет расследование, и в то же время мне было страшно навсегда отрезать для себя путь к матери и брату. Я вынул конверт из кармана, чиркнул спичкой, закурил сигарету и поджег краешек бумаги... В конце концов, я могу информировать Кашпара и об уничтоженном письме.

Я направился к месту, где мы должны были встретиться с Чермаком. Мои мысли упорно продолжали вертеться вокруг только что происшедшего.

Я отлично понимал смысл предложения, если оно действительно исходило от брата, то есть с чехословацкой стороны, и попытался скомбинировать факты, казавшиеся мне бесспорными: Юрай Савик виделся с Фердинандом, а последний не оставил этот визит в тайне. Арестованные агенты Алоиз и Бальник (Генри) заговорили. Чехословацкая секретная служба меня, очевидно, наметила в качестве возможного объекта для сотрудничества. Чего они могут от меня потребовать? Как они поведут себя, если я откажусь?

Домой я вернулся в прескверном настроении. Были минуты, когда я проклинал

несправедливость судьбы. И даже когда переступал порог моей комнаты, я еще не решил, как быть: идти к Кашпару или нет.

В конце концов во мне победило естественное для каждого человека стремление хотя бы отдалить неприятности. Я прилег, успокаивая себя обычным для нерешительных людей аргументом: как-нибудь обойдется.

На другой день я опять не решился подать рапорт, а только внимательно присматривался к полковнику: не проявит ли он каких-нибудь признаков нетерпения, которые убедили бы меня в том, что письмо было только провокацией. Я был готов моментально отреагировать, предупредить шефа и в последнюю минуту спасти свою шкуру.

Время шло. Я старался отвлечься от своих мыслей и с удовольствием прочитал пачки только что прибывших газет. Полковник несколько раз заходил ко мне, чтобы узнать, над чем я работаю. Регулярно, контролируя работу каждого, он открывал двери неожиданно, без стука, появлялся на пороге в самое неурочное время, и горе тому, кто занимался не тем, чем ему полагалось. Мы привыкли к его методу контроля, и меня его визиты скорее успокаивали и укрепляли в убеждении, что не происходит ничего необычного.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды, примерно через неделю, Кашпар не объявился мрачнее тучи и на меня не обрушились новые неприятности. Он пришел сообщить, что в Чехословакии провалился еще один наш человек — Громадка, по кличке Тедди. Это было дурным известием, ведь Громадка — мой агент, я отправлял его в республику, а за ним и еще пятерых.

Кашпар недавно поручил мне кроме обработки газетных материалов и изготовления фальшивых документов функции офицера связи. Он прикомандировал ко мне шестерых агентов, которых я обучал, давал им задания, они должны были посещать определенных лиц по указанным адресам и передавать им письма от родственников, бежавших за границу, с предложением участвовать в шпионской деятельности. Постепенно я их начал посылать в Чехословакию. Громадка был первым.

Тедди, как выяснилось, арестовали прямо на квартире человека, которого он должен был привлечь к сотрудничеству с нами. Это был мой личный провал, и Кашпар дал мне это понять достаточно бесцеремонно. Если бы арестовали еще нескольких из посланных мною агентов, на меня пало бы серьезное подозрение...

Зная об этом, я мог точно предсказать свое будущее, потому что известна была судьба других неудачливых офицеров связи. С тяжелым сердцем я отправился в Людвигсбург, чтобы незаметно вывезти вещи Громадки из лагеря.

На этот раз я особенно тщательно старался утаить судьбу курьера. Чтобы не привлекать ненужного внимания, я не поехал в лагерь на машине, а вышел из нее на окраине города, чтобы пройти остаток пути пешком.

Я шел по хорошо знакомым мне улицам, направляясь к лагерю. На одном перекрестке ко мне приблизился человек средних лет и обратился по-немецки:

— Добрый день, извините, я ищу лагерь для чехословацких беженцев, но заблудился. Не покажете ли вы мне, как пройти туда?

Я ответил ему, что он может идти со мной. Он поблагодарил и довольно улыбнулся. После нескольких минут молчания он вдруг сказал:

— Я должен вам передать привет от Эльды.

Я остановился и почувствовал, как бледнею. Потом снова зашагал. Неизвестный внимательно смотрел на меня и выжидательно улыбался. Когда же он заметил, что я не способен промолвить ни слова, он быстро добавил:

— Я жду, господин Панек. Достаточно двух слов, и я тут же уйду, зная, что вы согласны....

В моем разгоряченном мозгу как молния мелькнула мысль: что, если это человек Кашпара? Я знал, о каких словах идет речь,— это был пароль из письма Фердинанда. Но что-то во мне все же противилось, мною овладел страх и возмущение одновременно. Кто бы он ни был, видимо, он считает меня совсем уж простачком, которого можно поймать на любую приманку. Так нет же! И я раздраженно отрезал:

— Я вас не понимаю... И мое имя не Панек...

У незнакомца, видимо, был заранее заготовлен ответ, потому что он тотчас же извинился:

— Простите, я, вероятно, вас спутал с кем-то. Не сердитесь, пожалуйста! До свидания.

Он перешел на другую сторону улицы и исчез среди прохожих.

По возвращении из лагеря я сдал личные вещи Тедди в штабную канцелярию и пошел прилечь, сказав, что почувствовал себя плохо. Мне действительно было нехорошо: голова буквально раскалывалась. Но уснуть все никак не удавалось. Мной снова овладели неотвязные мысли о мрачном конце, который меня, без сомнения, ждет.

Те или другие непременно прижмут меня к стене. Каждая разведка отличается настойчивостью и упрямством. Если я буду защищаться, меня просто-напросто устранят... или пустят по миру нищим. Я уже казался себе жалким зёрнышком между тяжелыми жерновами. Во всяком случае, мечтам о спокойной жизни теперь конец...

Дальнейшие события показали, что я был прав.

В воскресенье, как обычно, я пошел в Дармштадте в церковь. Кениг усиленно ре-

комендовал мне посещать ее, хотя сам был неверующим. Он говорил, что я не должен отказываться от духовных наставлений, даваемых религией, и, кроме того, он считал моей обязанностью хорошее знание церковной политики, точнее — ватиканских дел, многие познания в этой области я приобрел когда-то в Риме.

Я не возражал против посещения церкви. Да и что я мог иметь против? Минуты, проведенные в храме, были для меня идиллическими мгновениями спокойствия и возможности сосредоточиться, для чего обычно не было ни времени, ни подходящей обстановки.

Но на этот раз мне не суждено было насладиться покоем: только я успел сесть на свое обычное место на второй скамейке, ко мне подсел «мой человек» из Людвигсбурга. Я узнал его с первого взгляда, но не позволил отвлекать себя и углубился в один из молитвенников, лежавших на скамейках в большом количестве благодаря заботам церковного управления. Через минуту этот человек слегка коснулся моего колена и прошептал:

— Страница тридцать девять.

Не спеша, я перелистал молитвенник и на указанной странице нашел маленький листок бумаги, на котором было написано:

«Снова привет от Эльды. Осторожность — мать мудрости. Но будьте благоразумны. Вы послали на родину пять человек. Хотите потерять их? Я могу это устроить. Всякому терпению приходит конец. Время не ждет. Свое согласие вы можете выразить, оставив по окончании службы молитвенник открытым на странице тридцать девять. Даю вам сроку четырнадцать дней».

Я читал записку и притворялся совершенно спокойным. Но спокойным я не был. Предупреждение в записке было весьма красноречивым. «Там» понимали мою осторожность и недоверие, но торопились. Мне было дано только четырнадцать дней для размышлений. Видимо, их планы в отношении меня не терпели отлагательств. Они шли на риск, вынуждая меня немедленно принять решение. Если ты не возьмешься за ум, мы заберем твоих агентов и Кашпар тебя хорошо отблагодарит!

Невероятно! Они совершенно точно нащупали мое самое слабое место в данный момент. Арест Громадки должен был придать бóльшую убедительность их предложению и показать, что они могут принудить меня к чему угодно. Две встречи в одну неделю походили на ультиматум.

Приказ, сформулированный в записке, я исполнил в следующее воскресенье. Молитвенник остался после мессы открытым на странице тридцать девять.

Медальон

Хоть это может показаться удивительным, но я совершенно успокоился. Во-первых, я перестал подозревать Кашпара в том, что он подстроил мне коварную ловушку,— арест Громадки в Чехословакии и все, что с этим связано, нельзя было разыграть. Во-вторых, я фаталистически примирился со своей судьбой: пусть я буду просто пешкой на шахматной доске, на которой кто-то другой играет сложную партию. Пусть так, если ничего нельзя изменить, я не отвечаю за то, что произойдет. Я даже почувствовал себя лучше в положении зависимого человека.

Надо сказать, что я вовсе не испытывал тех чувств, которые приписывают обычно двойным, тройным и вообще работающим на многие разведки агентам. Никакого самовозвеличения, ничего похожего на упоение сложной игрой. Я скорее чувствовал себя машиной, которой кто-то искусно управляет. Только последние остатки человеческого заставляли меня искать какой-то близости с другим человеком.

Поэтому я очень обрадовался, когда Кениг предложил мне поехать во Франкфурт. Мне надо было там получить у связного паспорта, закупленные американцами у беженцев из Чехословакии,— кажется, пятнадцать штук. Я попросил полковника разрешить мне сделать один личный визит. Я слышал, что во Франкфурте живет женщина, которую я знал в прошлом,— Вера Земкова. Когда-то перед войной мы вместе учились в Братиславе. В Америке у нее были какие-то родственники со стороны отца. После бегства из Чехословакии она им написала в Кливленд и сообщила, что влачит жалкое существование в лагере для беженцев. Родственники попросили своего сына, офицера в американской зоне Германии, помочь ей устроиться и найти квартиру. Он устроил ее на хорошо оплачиваемую должность в американской военной комендатуре и подыскал приличную квартиру.

Я рассказал все это Кашпару, чтобы он понапрасну меня не расспрашивал. Он разрешил мне повидать ее и только пробурчал себе под нос что-то вроде того, что тщательно проверит мою информацию.

На другой день рано поутру я уехал на «мерседесе» во Франкфурт. Как обычно, я оставил машину на окраине и отправился пешком туда, где мне надо было получить документы. Я торопился, чтобы у меня осталось побольше свободного времени.

На первом этаже дома, где я бывал уже не раз, я позвонил в дверь, на которой красовалась табличка с надписью: «Карл Шнейдер».

— Приветствую вас, доктор Майкл, входите, пожалуйста...

Ни безупречный английский язык, ни конспиративная кличка не удивили меня. Оба — и Шнейдер, и я — при наших встречах тщательно выполняли инструкции, данные Кашпаром. Мы не очень доверяли друг другу и были знакомы только по службе. Отсюда известная холодность и в то же время корректность в наших отношениях.

— Вы пришли за посылкой? — строго спросил Карл и открыл маленький сейф. Он вынул пачку аккуратно сложенных красных книжечек.

— Тут должно быть пятнадцать штук,— заметил я.

Он подтвердил, снова закрыл сейф и опустился в массивное кресло. Затем он зажег сигарету и спросил меня, не тороплюсь ли я. Он хотел бы со мной кое о чем поговорить.

Я спешил, но мне неудобно было это показывать. Я сел в кресло напротив Шнейдера.

— Вы недавно получили частное письмо, не правда ли? — спросил он тихо.

Что такое?! Он испытывает меня, что ли? Не приготовил ли мне Кашпар именно здесь хорошенькую баню? И какое письмо он, собственно, имеет в виду? Первое? Или то, которое я получил в церкви?

Я постарался ответить как можно более равнодушно:

— Не знаю, о каком письме вы говорите, господин Шнейдер. Никаких частных писем я не получаю...

— Но, доктор Майк,— иронически усмехнулся он,— ведь всегда найдется путь для корреспонденции...

— К сожалению, я должен вас разочаровать. Путь, который вы имеете в виду, у нас строго запрещен.

Я старался изо всех сил, чтобы в голосе не было ни капли волнения. Но подсознательно чувствовал, что человек, сидящий напротив меня, знает больше, чем пока сказал. Кашпар, видимо, выбрал его посредником, который снова должен проверить мою безупречность. Не исключено, что задержали человека из Людвигсбурга и тот все сказал, пришло мне вдруг в голову.

— Но, дорогой Майк, письмо вам мог кто-нибудь подложить, скажем, во внутренний карман пальто, разве нет?

Это замечание уже было гораздо конкретнее и требовало высшей степени бдительности. Я тут же ответил шуткой:

— С вами тоже что-нибудь подобное случалось?

— А знаете, да,— быстро парировал он.

Настало долгое молчание. Мы внимательно наблюдали друг за другом. Я размышлял, не является ли мой агрессивный собеседник тем самым «надежным человеком», о котором писал Фердинанд. Подходящее место тут, конечно, было, да и времени с тех пор, как мне вручили письмо, прошло достаточно. Но Шнейдер, с которым мы беседовали сейчас полунамеками, все же не походил на такого человека. Исключено! Тот сразу же назвал бы пароль, а этот как-то глупо и бессмысленно петляет.

— Так вы действительно не получали никакого письма? — снова прервал ход моих смятенных мыслей его голос.

— Да ведь я вам уже сказал. Но если вы хотите продолжать эту игру, я ничего не имею против. Это очень забавно.

— Нет-нет, не хочу, доктор Майк,— поспешно перебил он меня.— Сменим пластинку. Я тут несу всякую чепуху и чуть не забыл главное: я должен передать вам привет от Эльды...

Шнейдер сунул руку в полуоткрытый ящик стола, вынул маленькую плоскую коробочку и протянул ее мне через стол:

— Это вам от Эльды, на память...

В коробочке лежал медальон, который когда-то носила моя мать. На меня пахнуло воспоминаниями о доме, о беззаботном детстве и семейном уюте.

Значит, это все-таки тот человек, о котором писал Фердинанд! Я готов был обнаружить его в каждом, но только не в Шнейдере. Больше я не мог молчать, я тоже произнес пароль и поблагодарил за подарок.

— Благодарность излишня, доктор,— сказал по-чешски Шнейдер.— Но я надеюсь, что теперь вы мне будете доверять. Этот медальон должен рассеять окончательно все ваши подозрения. И, пожалуйста, извините меня за начало нашего разговора, которое, вероятно, доставило вам несколько неприятных минут. Я должен был испытать вас как моего партнера. И немного наказать за Людвигсбург... С Фердинандом все в полном порядке... Привет от него я передаю вполне серьезно...

Беседа, которая последовала за этим, была похожа как две капли воды на все первые инструктажи разведчиков. Шнейдер мне объяснил, что нужно от меня чехословацкой стороне. Их интересовали, прежде всего, имена, задания и маршруты агентов Кашпара, отправляемых в республику. Специальным пунктом моей информации должен быть сам штаб. Предпочтительнее качество, чем количество информации. Я должен сообщать обо всех кадровых изменениях, а также о новых операциях штаба. Иногда им понадобится подтверждение сведений, получаемых из других источников, или дополнения к ним.

Все эти задачи соответствовали моим возможностям. И технические проблемы —

система передачи информации — были сформулированы так, что я мог легко освоить их. Я изучил планы тайников, способ шифровки, планы дальнейших встреч, условия вознаграждения и множество разных других вещей, о которых надо договориться с самого начала.

Потом Шнейдер спросил меня, как я себя чувствую в группе Кашпара и не буду ли теперь испытывать страх, который обычно бывает плохим советчиком. Я откровенно ответил, что Кашпар вызывает у меня некоторые опасения. С одной стороны, создается впечатление, что он мне безгранично доверяет, поручает самые деликатные задания; с другой — я не уверен, что он не знает о моем долголетнем членстве в КПЧ, которое я скрыл от него, и не собирается использовать эти сведения.

Шнейдер стал меня успокаивать. Для Кашпара, мол, самое важное, как ко мне относятся американцы. Отличную рекомендацию мне, как он сообщил, дали сами американские дипломаты, прежде всего посол Хит, пресс-атташе Кливленд и военный атташе полковник Яцевич, которые познакомились со мной в Софии. Что же касается страхов относительно моего членства в партии, то чехословацкие органы госбезопасности сами сделали все, чтобы скрыть его. Вскоре после моего визита к полковнику Майклу в американское посольство в Праге было дано негласное разрешение на мой отъезд за границу потому, что уже тогда не исключалась возможность установить со мной в дальнейшем сотрудничество.

Очевидно, я выглядел, выслушав это сообщение, довольно удивленным, потому что Шнейдер больше этого вопроса не касался. Он только повторил, что не надо предаваться излишним опасениям. Он сказал, что может мне сообщить абсолютно точную и проверенную данными разведки информацию: теперь, когда я езжу в служебные командировки, Кашпар не организует за мной слежку. Мне надо, конечно, очень дорожить доверием полковника и стараться не допускать каких-либо оплошностей, которые могли бы повредить моему положению. Не забывайте, внушал мне Карл, что ваша безопасность у Кашпара зависит от безупречного выполнения служебных обязанностей.

Разумеется, я это знал и без наставлений Шнейдера, так же как и то, что теперь меня ждет двойная работа для обоих моих хозяев. Шнейдер предупредил, что дальше меня будут контролировать и следить за мной и я не должен пытаться что-либо скрывать, главное, возможные неудачи. Они могут об этом узнать, и тогда уже доверие будет утрачено. Мои пять агентов в Чехословакии известны, но не будут арестованы, потому что разведка заинтересована главным образом во мне и моем положении. В конце беседы он подробно расспросил о том, что я делал все эти месяцы в штабе Кашпара и чем занимаюсь теперь.

Моя служба в чехословацкой разведке началась.

Освободительная армия

Месяцы и годы, которые за этим последовали, делятся в моих воспоминаниях на периоды невероятного напряжения, сменяемые коротким отдыхом и спокойствием. Время изгладило из памяти мелочи, остались только те акции, которые были вехами на пути подъема организации Кашпара и ее падения.

Моя жизнь походила на жизнь всех остальных — все мы жили сегодняшним днем, подвергаясь всякого рода опасностям, подстегиваемые стремлением выделиться, добиться успеха, вырваться из круговорота задолженностей и обязательств.

Люди вокруг меня быстро менялись, появлялись новые. Уход обычно означал конец. Только немногие оставались, и они создавали иллюзию прочного рабочего коллектива и спокойного дома.

Мое раздвоение было для меня ничуть не более тяжким бременем, чем, скажем, для других необходимость постоянно переходить границу или обеспечивать поступление шпионских сведений.

Но вернемся к тому времени в начале пятидесятых годов, к невозвратно ушедшему времени, которое тем не менее было реально и поэтому остается в памяти.

Во всех лагерях для беженцев в Западной Германии распространялись сенсационные новости о том, что якобы тайно создается новая чехословацкая армия, которая в подходящий момент должна выступить против коммунистического режима на родине.

Работники шпионских организаций полковника Катека не обращали серьезного внимания на эти слухи. Они принимали их за один из анекдотов, которыми беженцы в лагерях скрашивают долгие часы безделья. Болтали о том, что во главе армии стоит какой-то учитель откуда-то из Пардубице, бежавший из Чехословакии летом сорок восьмого года. Шпионские штабы и не подозревали, что у них вдруг ни с того ни с сего появился конкурент, который хотя и без благословения американских оккупационных властей, но собирался осуществлять свои планы со всей серьезностью.

Первые конкретные сведения об этом я получил от майора Венделина (Сирила). Однажды вечером он пришел ко мне и начал с увлечением рассказывать.

Несколько месяцев назад он познакомился с неким Жемличкой, объединившим вокруг себя довольно большую группу бывших унтер-офицеров и офицеров, а также дезертиров из чехословацкой армии. Его люди производили, судя по всему, вербовку в лагерях для беженцев и сформировали ударные части, которые начали проходить воинскую подготовку. Вместо ружей у них были пока жерди из заборов и прочие колья да палки, но Жемличка не скрывает того, что это временное, деревянное оружие может быть скоро заменено настоящим. У них, мол, имеется в некоем тайном складе вооружение для двух полков.

Штаб Жемлички, продолжал Венделин, разработал потрясающий план насильственного переворота в Чехословакии. Вооруженные части должны в нескольких пунктах внезапно вторгнуться на территорию Чехии и молниеносно овладеть районом между Ческими Будейовицами, Пльзенью и Карловыми Варами. Части освободительной армии немедленно займут почты, железнодорожные станции и национальные комитеты. На освобожденной территории будет сформировано правительство, которое объявит всеобщую мобилизацию. На следующем этапе должна быть освобождена остальная часть Чехословакии.

Венделин (Сирил) разглагольствовал с необыкновенным воодушевлением, которое стало мне более понятно после того, как он мне открыл, что начальником генерального штаба у Жемлички в результате долгих переговоров назначен он, майор Венделин. Кроме него там работает ряд бывших офицеров: старший лейтенант Кржетек, известный под именем «майор Вата», майор Ботлен, майор Брулер, работавший у Кашпара офицером связи, и многие другие бывшие чехословацкие военнослужащие. В большинстве случаев они были завербованы в лагерях для беженцев, где оказались без всякого дела. Сирила, как он сказал, избрали на должность начальника штаба потому, что он мог в нужную минуту установить связь с американцами.

Я осторожно спросил Сирила, знает ли о его новом назначении полковник Кениг. Мне хотелось его предостеречь, потому что инициатива такого рода находилась в противоречии со всеми приказами Кашпара и с принципами конспирации.

Он заверил меня, что Кашпар ничего не знает и что я — единственный человек за пределами штаба Жемлички, который посвящен в эту тайну. Он, мол, верит мне как себе и целиком полагается на меня. Кроме того, он говорил со мной так откровенно потому, что, мол, меня намечают на пост министра иностранных дел в будущем чехословацком правительстве. Мое дипломатическое прошлое и тот опыт, который я приобрел в последнее время, делают мою кандидатуру чрезвычайно подходящей.

Мне хотелось высмеять этого наивного штабс-капитана, самозваного майора, планы которого напоминали мне фантастический роман Жюля Верна. Но ситуация была сложной и не позволяла ограничиваться ироническим разбором перспектив, нарисованных Венделином.

— У меня есть одно условие,— заявил я серьезно.— Я хочу, чтобы вы дали мне честное слово офицера, что не скажете ни членам вашего штаба, ни вашему Жемличке ни слова о нашем разговоре. И нигде не будете упоминать о том, что я должен быть в будущем чехословацким министром иностранных дел. Особенно в разговоре с полковником Кенигом.

Я не мог знать, спасет ли меня честное слово Сирила от гнева Кашпара, но, во всяком случае, надеялся заткнуть таким образом рот «майору» — честное слово офицера было для него самым священным обязательством. Но в общем-то я предполагал, что планы Жемлички быстро рухнут из-за вмешательства американцев.

Однако в этом я просчитался. Через некоторое время ко мне снова поздно вечером пришел Венделин с каким-то листком в руке. Он положил его на стол и сказал:

— Читай, Михал, читай. Жемличка и наш генеральный штаб рассылают подобные письма надежным людям на родине, имеющим деньги...

С некоторых пор Венделин наедине называл меня Михалом и обращался ко мне на «ты».

В письме говорилось:

«Дорогой брат! Освобождение приближается семимильными шагами. Близится час решительных действий. Но подготовка требует много денег. Поэтому пошли через лицо, вручившее тебе это письмо, сто или двести тысяч крон.

Кржетек»

— Ты хорошо знаешь словацкий, переведи этот текст,— сказал мне Венделин.— В Чехию уже отослано много таких писем, и мы имеем на них прекрасные ответы в виде сотен тысяч крон. Но, конечно, нам нужен постоянный приток средств.

Психология солдафона не допускала никаких возражений, Венделин очень болезненно относился к критике своей деятельности. Поэтому не имело смысла разубеждать его или объяснять ему что-либо. Письмо я перевел на словацкий.

Когда я кончил переводить, Венделин взял бумаги и заговорщическим тоном сообщил мне, что дело движется действительно семимильными шагами, как об этом говорится в письме. Сегодня он проинформировал об этом Кенига. Полковник живо заинтересовался и обещал обеспечить помощь американцев. Но сказал, что это зависит не от него, а непосредственно от Катека. Кениг потребовал имена всех агентов,

работающих на родине на эту организацию. Венделин, как он сказал, передал ему список лиц, которые должны были в день X участвовать в проведении обусловленных акций. Полковник, мол, не скупился на похвалы и заявил, что все подготовлено чрезвычайно четко и скрупулезно.

Рассказ Венделина несколько испугал меня. Мне не оставалось ничего другого, как спросить, не сообщил ли он Кашпару, что я должен быть министром иностранных дел в будущем правительстве,— гордый своими успехами, начальник генерального штаба мог бы мне причинить большие неприятности. Но он заверил меня, что я могу быть совершенно спокоен, ведь мы ясно договорились.

Как только Венделин (Сирил) удалился, я взвесил снова все обстоятельства. И пришел к выводу, что если «майор» что-либо передаст Кашпару, полковник будет недоволен тем, что я утаил от него важную информацию об акции Жемлички, и подумает, что я пытаюсь его провести. Как мне тогда объяснить ему мое молчание? Я решил, что самым разумным будет информировать шефа прежде, чем это сделает Венделин.

Я тут же спустился вниз в гостиную. Там сидели за коньяком Кашпар, его жена Элена (Мадам) и ее сестра Клара Федакова. Я подсел к Кларе.

Свояченица Кашпара вскоре после поступления на работу в штаб в течение короткого времени осуществила мечту полковника, который хотел устранить из разведывательной службы лагерную импровизацию и основать архив, где вся информация была бы классифицирована по тематическому принципу. На основе такой документации, по мнению полковника, было бы легко в любое время составить справку на любую тему. Клара Федакова использовала свой опыт, накопленный во время работы в братиславском отделе министерства народного образования. Она разделила тематические разделы на подразделы и отделения, завела шифровку информации, секционные и центральный архивы, тематический и именной указатели. Кроме того, она оценивала поступающие сведения по степени их достоверности, разделила их на строго секретные, секретные, для служебного пользования, информативные и предназначенные для публикации. Весь аппарат шпионской группы она также разделила по квалификации и возможности использования. Она ввела систему сопоставления при написании обобщающих донесений. Когда, например, я получил от Кашпара приказ установить дислокацию домов для эвакуированной греческой молодежи на территории ЧСР, она предоставила мне архив из нескольких десятков донесений различных агентов.

Федакова также завела картотеку коммунистов по следующим разделам: коммунист по идейным убеждениям, бывший социал-демократ, коммунист из карьеристских соображений, коммунист по принуждению. Имена с обозначением занимаемых должностей она черпала из донесений агентов в Чехословакии. Она начала постепенно составлять картотеку работников национальных комитетов и руководителей различных предприятий и учреждений. Преимуществом этого архива было, как утверждал полковник Кашпар, прежде всего то, что в случае освобождения ЧСР можно было, согласно этим сведениям, физически ликвидировать прежде всего самых опасных лиц, а остальных интернировать.

Понятно, что я старался завоевать расположение Клары и получить доступ к ее архиву.

Кашпар приветствовал меня с необыкновенной сердечностью:

— Отлично, доктор. Вы появились в самый подходящий момент. К сожалению, сегодня вам спать не придется. Сирил принес списки, которые вам вместе с Кларой надо будет переписать...

Благодаря тому, что полковник завел речь о списках, представился удобный случай, который я тут же использовал, и сказал, что Сирил мне только что говорил о каких-то списках и об акции Жемлички. В правительстве Жемлички меня ждет портфель министра иностранных дел Чехословакии.

Жена полковника и Клара так и прыснули, потом стали меня шутливо поздравлять. Кениг тоже сначала не мог удержаться от смеха, но потом серьезным тоном сообщил, что по приказу полковника Чарльза мы должны всю эту банду разогнать. Они не имеют никаких шансов на успех. В своих планах Жемличка вообще не принимает в расчет военные силы коммунистов, подразделения которых, особенно в приграничье, очень сильны и могут быстро подтянуть резервы. Согласно мнению военных экспертов, наступающие полки Жемлички не продержались бы даже несколько часов. Таким образом, я утрачиваю шанс на мое кресло министра иностранных дел. Ему очень грустно, что он должен меня огорчить.

Я ответил, что воспринял предложение Сирила как забавный анекдот, но не хотел подрезать крылья его энтузиазма. Я даже перевел ему только что на словацкий язык какие-то письма к людям, готовым финансировать акцию Жемлички.

— Сирил сошел с ума,— рассердился Кашпар.— Я выгоню его. Безумцы всегда опасны. Вы возьмете на себя его участок работы...

Работу я должен был начать немедленно. Кениг передал мне венделиновские списки тайных агентов на чехословацкой территории, на которых Жемличка рассчитывал при осуществлении своих планов. Тут были десятки имен с адресами — мы переписывали эти списки вместе с Кларой действительно целую ночь.

Под утро Клара писала уже сама, а я проверял — не вкрались ли какие-нибудь ошибки. Я исправлял опечатки самопишущей ручкой, которую мне как-то подарил Кашпар и которая теперь благодаря стараниям Карла Шнейдера представляла собой одновременно миниатюрный фотоаппарат. Так я подготовил для чехословацкой разведки возможности крупной игры — как оказалось, списки получили не только Кашпар с Катеком, но также и английская и французская шпионские службы.

В дальнейшем я работал в качестве архивиста, офицера связи, фотографа и фотолаборанта. Кроме того, у меня были постоянные заботы с тайной и быстрой передачей множества материалов, которые я подготавливал для Праги.

А тут как раз чехословацкие газеты опубликовали известие о том, что в Дармштадте и других пунктах Западной Германии существуют конспиративные виллы, где бывшие чехословацкие офицеры занимаются организацией шпионажа против своей родины. В штабе наступила неописуемая паника. Катек строго запретил всякие отлучки в город. Никто из работников штаба не смел вплоть до отмены этого распоряжения покидать штаб.

Я искренне сожалел, что это известие появилось в пражских газетах, хотя прекрасно понимал, какую цель оно преследует. Я попал в невеселое положение. К тому же возникло подозрение, что через меня, да и через многих других работников, просачивается информация. А я должен был заполнить тайник во Франкфурте, и мне не оставалось ничего кроме, как нарушить запрет Катека.

Около полуночи в условленный день я вылез из окна виллы и поспешил к садовой ограде. У ворот американский часовой пропустил меня по предъявлении документа без всяких разговоров. Отсюда я сделал вывод, что часовой не был информирован о запрещении выходить. На американском такси я уехал во Франкфурт, извлек содержимое тайника, в котором нашел несколько американских и немецких банкнотов, и вложил туда свои сообщения.

Если бы я этой ночью не покинул виллу, я мог бы передать свою информацию не раньше чем через неделю, что было бы слишком поздно, а кроме того, мне казалось рискованным хранить у себя так долго компрометирующие материалы. От полковника Чамбалы я узнал, что, судя по всему, наша организация будет куда-то переезжать, потому что после демаскировки объекта невозможно дальше оставаться в Дармштадте на глазах у чехословацкой службы безопасности. Эта новость окончательно утвердила меня в убеждении, что необходимо рискнуть и предпринять опасную ночную экскурсию, даже при том, что Кашпар мог узнать о моем проступке.

После того как я наполнил своими материалами тайник, я поспешил к моей будущей жене Вере Земковой. Мне пришлось задержаться у нее до утра, чтобы в случае возможного разоблачения запрещенной отлучки прикрыть ее подлинные причины надежным алиби.

Это объяснение мне действительно пригодилось, так как полковник узнал, что я нарушил его запрет. Он позвал меня к себе в кабинет и потребовал изложить мотив моего проступка. Кашпар испытующе смотрел на меня и делал понимающий вид, когда я объяснял ему, что боялся долго не увидеть Веру, но потом он перешел к открытому нападению:

— Признайтесь лучше, доктор, мы все о вас знаем, и вы напрасно пытаетесь выкрутиться.

У меня мурашки пошли по телу. Ведь это, собственно говоря, допрос! Кашпар выглядел так уверенно, будто он располагал точными сведениями о каждом моем шаге во Франкфурте. Я почувствовал, что дело плохо. Мне не оставалось ничего кроме, как начать защищаться. В конце концов я мог совершенно откровенно говорить обо всех деталях моей ночной экскурсии, кроме одной — тайника. Я, мол, конечно, побывал не только у Веры, но и во франкфуртском «Долли-баре», где купил бутылку вина. Мы распили ее потом вместе с Верой у нее дома.

Не дав мне договорить, полковник продолжил заранее продуманное нападение. Он многозначительно заметил, что я, по-видимому, страдаю провалами памяти, потому что в «Долли» я не только покупал вино. Я пил там коньяк.

— Хотите услышать, какой марки? — добавил он поспешно. За мной следили, подумал я. А ведь Карл Шнейдер уверял меня, что Кашпар окончательно отказался от слежки. Не ошибался ли Карл? Я старался сохранять спокойствие. Если Кашпар действительно все знает, он вскоре приведет уличающие меня доказательства. Но пока похоже на то, что он ждет, не выдам ли я себя сам. Коньяк в баре я пил, но что из этого. Шеф запретил покидать виллу, а не потреблять алкоголь! Пока что мне нечего бояться. Если у них нет скрытой камеры возле тайника, они не могут меня поймать. А в сам тайник им вряд ли удалось проникнуть, потому что они не могли знать его охранительную систему, нарушение которой сразу же заметил бы я и мой связной.

Но это был мой первый допрос, когда я уже выступал в качестве агента чехословацкой разведывательной службы, и у меня были вполне основательные причины опасаться его исхода. Пока Кашпар не представит неопровержимых доказательств моей двойной игры, я буду отрицать даже наличие носа на лице, поклялся я себе мысленно. Без обиняков я предложил полковнику вместе перебрать все мои действия во Франкфурте шаг за шагом и минута за минутой — мне нечего скрывать от него.

Шеф вскочил с кресла и сказал непривычно повелительным тоном, что я, видимо, не хочу взяться за ум. Я продолжаю водить его за нос, а не выкладываю все как есть. На его вопросы я не отвечаю прямо, а пытаюсь обойти их с помощью моей обычной дипломатической игры словами. А между тем я влип по уши. Мне остается только откровенное признание. Чтобы доказать, что он знает больше, чем я думаю, он может мне сказать, что я пил коньяк не один, а вместе с каким-то парнем со светлыми волосами. Мы очень оживленно беседовали с ним.

— Признайтесь, доктор, не имеет смысла больше играть в прятки!

— Все, что вы сказали, правда,— ответил я.— Но вы не дали мне возможности доложить вам об этом, потому что все время меня прерывали. Если вы действительно все знаете, то мой рассказ полностью совпадет с вашими данными. Так вот, такси подвезло меня прямо к бару, куда я зашел за бутылкой вина и у стойки бармена выпил рюмку коньку. Возле меня сидел какой-то блондин. Я не знаю его, он просто подсел ко мне. Я разговаривал с ним около десяти минут. Все это время парень рассказывал разные истории о даме, которая тоже сидела у стойки совсем неподалеку от нас. Он без конца острил, и поэтому мы действительно много смеялись. Как только я допил коньяк, я пошел в туалет. Сразу же после этого я взял такси и поехал, прихватив бутылку вина, на квартиру к Вере.

Во время моего рассказа полковник начал улыбаться. Усмешка не сошла с его лица и тогда, когда он заметил, что мое признание интересно прежде всего тем, насколько точно оно совпадает с его информацией. Но его этим не проведешь. Я не первый и, надо думать, не последний человек в его штабе, на которого пало серьезное подозрение, что он работает не только на американцев. Потом как бы мимоходом он обронил замечание о том, что кроме меня дали тягу еще два работника штаба. И, как ни странно, по тем же причинам, которые привожу я.

— Им тоже понадобилось про-вет-рить-ся...

Последнее слово полковник произнес по слогам. Его самоуверенный и властный тон постепенно сменился обычным. Передо мной снова был прежний, жизнерадостный Кашпар, недоверчивый, настороженный, но вынужденный перейти на тон шутливой болтовни. Или он все же припрятал камень за пазухой?

Я рассказал ему действительно все — кроме одной мелочи. Перед уходом из туалета я извлек содержимое тайника и снова заполнил его своими донесениями. Вся операция продолжалась практически несколько секунд. За это время никто в туалет не заходил. Я не помнил никакой ошибки, которая могла бы меня выдать. Покаянным тоном я попросил прощения за свою недисциплинированность и глупость и ждал, не перейдет ли полковник снова в нападение.

Он не перешел. Он всегда высоко ценил меня, сказал полковник примирительно, и его огорчает, что я обманул его доверие. Все это очень серьезно. Он назначает мне строгий домашний арест. И мне следует учесть: до сих пор речь шла только о запрещении отлучек, а домашний арест, как я изволю знать, это более серьезно.

— Что ж, я арестован? — спросил я.

Полковник, не переставая улыбаться, ответил, что я могу понимать это, как хочу. Под домашним арестом я буду находиться и на новом месте работы, пока не выяснятся все обстоятельства моей ночной вылазки. Я, мол, вызываю подозрение, очень большое подозрение!

Все, что он говорил дальше, меня уже не интересовало. Значит, обстоятельства моей экскурсии Кашпару неизвестны! И он говорит о новом месте работы! Все во мне ликовало. Значит, я не влип, как мне сначала показалось! Конечно, он ничего не знает.

Неудачи

Теперь уже не было необходимости делать вид, что я иду на свидание, чтобы своевременно и хорошо выполнять свои обязанности перед Прагой. Во-первых, у меня значительно расширились возможности для выезда и пребывания вне объектов штаба. Это произошло благодаря тому, что Кашпар с Катеком предложили мне выполнять функции вице-президента центрального комитета чехословацких эмигрантов в Европе. Им нужно было иметь в этом органе своего человека, который бы мог на его заседаниях оказывать влияние на различные обсуждения в интересах американской секретной службы и, кроме того, доставлять информацию обо всем, что происходит в центральном комитете.

Эта деятельность не занимала у меня много времени, потому что функции вице-президента были довольно скромные. При моей двойной игре мне, конечно, очень подходило новое положение, когда я мог бесконтрольно ездить из одного лагеря в другой и устраивать различные дела в качестве официального представителя чехословацких эмигрантов. Таким образом я сталкивался со многими людьми — не исключая и чехословацких агентов,—не давая при этом повода в чем-либо подозревать меня.

Кроме того, Прага всячески шла мне навстречу. Тайники следовали, так сказать, за мной или же в места, которые я мог без риска посещать. Например, в Пз-

сове, куда я ездил в типографию Леопольда Маха за фальшивыми паспортами или же за их корректурами, я мог передать свои сведения при покупке сигарет в одной из местных табачных лавочек.

Но я, конечно, помню, что как раз в Пасове я пережил почти такие же страшные минуты, как и во время своего ночного побега к Вере Земковой.

Произошло это так: однажды ко мне пришел майор Чермак и сообщил, что мы поедем в Мюнхен покупать охотничье ружье, которое у Кашпара выклянчил типограф Мах. Именно в Мюнхене можно было достать чехословацкие охотничьи ружья, пользующиеся известностью в этих краях и тайно, контрабандой сюда доставляемые.

Ружье мы купили и намеревались сразу же отвезти его Маху. В городе нам повстречались бывший генерал Влк и Юрай Савик (Томми). Узнав, что мы направляемся в Пасов, они попросили нас взять их с собой. Чермак не возражал, и все мы уселись в машину.

Едва только машина тронулась, Чермак сообщил, что кончается бензин. Он, мол, думал, что есть в запасе еще канистра, но ошибся. Американская бензоколонка, которая находилась неподалеку, была по непонятным причинам закрыта, и нам не оставалось ничего другого, как отправиться по Мюнхену на поиски американской бензозаправочной станции.

Едва мы отъехали на несколько десятков метров, как Чермак увидел джип с американскими военными полицейскими. Он помахал им из окна машины.

— У нас кончаются соки, начальник,— сказал он по-английски полицейскому со своим типично оксфордским произношением, которое средний американец попросту презирает. Полицейский ответил раздраженно, чтобы Чермак оставил дурацкие шутки. Майор, однако, гнул свое и с тем же оксфордским произношением продолжал твердить, что у нас в бензобаке осталась самая малость на дне и нам надо срочно смотаться на какую-нибудь американскую бензоколонку.

Полицейский ухмыльнулся и со злорадством заявил, что этих комедий он уже нагляделся вдоволь. Он возьмет нас на буксир и отведет к коменданту города. Тот нам уж во всех подробностях объяснит, где находятся американские бензоколонки. Джип дал задний ход и подошел к нам поближе: шофер прицепил металлическим тросом наш «мерседес» к джипу.

Когда американская машина с нашим «мерседесом» на буксире покатила, меня охватила паника. В результате разгильдяйства Чарли я оказался в чудовищной опасности. В кармане огнем жгли сведения, которые я намеревался положить в тайник в Пасове. Они содержали помимо всего прочего информацию о бывшем штабном капитане Махаче: в ближайшее время он посетит Прагу и должен будет у нескольких сотрудников получить важную документацию.

Я искал выход. Мне надо было любой ценой избавиться от бумажного шарика. Не исключено было, что нас могут в комендатуре задержать и даже обыскать. Со вздохом вытащил я коробочку с таблетками от головной боли и мгновенно вложил пилюльку вместе с шариком в рот. Генерал Влк не замедлил поинтересоваться, сильно ли болит у меня голова. Я подтвердил и быстро проглотил, продолжая держать в руках коробочку с пилюлями. Я перевел дыхание, только когда застрявший было в горле неприятный комок исчез. В душе я благодарил немцев и американцев, вырабатывавших и продававших «съедобную» бумагу, которая в критических ситуациях легко переваривается.

Вскоре выяснилось, что полицейский везет нас не к американскому коменданту Мюнхена, а к начальнику военной полиции, который был так называемым «скорым судьей» и имел право арестовывать. Двое полицейских привели нас к нему.

Начальник стоял на возвышении за пультом. На вопрос, кто мы, ответил Чермак — с тем же оксфордским произношением. Он сказал, что мы состоим на американской службе и нам необходимо заправиться на какой-нибудь американской бензоколонке.

— Что?! — взревел начальник военной полиции.

Очевидно, его возмутило и произношение Чермака, и его странное заявление. Машина с американским военным номером должна обязательно иметь водителя, который знает, где находится бензоколонка американской армии! Однако Чарли действительно не имел о ней никакого понятия. Но что-либо объяснять уже не было времени — полицейский начальник смерил его взглядом и резко потребовал:

— Ваши документы!

И тут произошло то, чего никогда не смеет допустить офицер разведывательной службы: Чермак вытащил из нагрудного кармана все его богатое содержимое и принялся перебирать, отыскивая свое удостоверение личности. Американец с минуту разглядывал его с высоты своего пульта. Потом резко нагнулся и, вырвав у майора бумаги, принялся раскладывать их у себя на пульте: документы на машину, водительские права, английский паспорт, английское воинское удостоверение со времен второй мировой войны, берлинский паспорт и еще три других удостоверения организации Катека, каждое на другое имя. На всех были фотографии Чермака. Начальник полиции сравнил каждую фотографию на удостоверении с лицом майора, который пытался было что-то сказать, и заорал:

— Заткнись!

Потом он сделал знак головой, и все мы четверо вмиг были окружены военными полицейскими, которые заставили нас упереться руками в стену и стоять, широко расставив ноги, подальше от нее. Они обшарили наши карманы. У меня с собой не было ни бумаг, ни удостоверения. Только пятьдесят долларов и последние номера «Руде право», словацкой «Правды» и «Обраны лиду», которые я читал по дороге в Мюнхен. У генерала Влка было эмигрантское удостоверение и старое чехословацкое железнодорожное удостоверение. У Юрая Савика — чехословацкий паспорт, что-то около пятидесяти тысяч крон, а также пистолет чехословацкого производства.

Начальник военной полиции торжествующе улыбался, снова и снова раскладывая перед собой наши документы, считая, что задержал важных чехословацких агентов. Мысленно он, конечно, видел свое повышение и высокую денежную награду. Опершись руками о стул, он громко рассмеялся.

Влк все же оказался настоящим генералом. Он не утратил присутствия духа и изо всех сил заорал на полицейского начальника, требуя, чтобы тот позвонил в главный штаб во Франкфурте, где получит о нас всю нужную ему информацию. Американец испугался его мощного голоса, нахмурился, повертел скептически головой, но в конце концов подошел к телефону. Несколько минут с кем-то разговаривал. Потом положил трубку и смущенно приказал полицейским отпустить нас и показать дорогу к ближайшей бензоколонке.

Чермак наградил начальника военной полиции злорадной улыбкой. В машине, однако, ему пришлось худо. Генерал Влк и Юрай Савик напустились на него так, что пух и перья летели. Я не обращал внимания на их перепалку и с удовольствием поглаживал себе живот, размышляя, что было бы, если б полицейский начальник имел возможность контролировать и желудок задержанных лиц.

Ну, понятно, на этот раз я свое донесение пасовскому агенту не передал. Обычно, однако, подобных инцидентов со мной не происходило. И хотя я не раз ломал голову, как согласовать совершенно разного рода задания из Праги и от Кашпара, мне все же удавалось работать успешно для обеих сторон.

Конечно, мои «успехи» можно оценивать по-разному — все зависело от того, с какой точки зрения на них смотреть: то, за что меня хвалила Прага, имело в большинстве случаев неприятные последствия для Кашпара.

Остановлюсь только на истории с паспортами. В доказательство того, что неудачу это принесло скорее американцам, чем мне, приведу случай со штемпелем регистрации прописки.

В моей работе с паспортами для агентов неожиданно обнаружилось серьезное осложнение. В ЧСР была введена обязательная регистрация граждан по месту жительства в виде прописочных и выписочных штемпелей в паспорте. В штабах шпионских ограничений никто не знал, как выглядят такие штемпели. Даже от перебежчиков нельзя было получить точную информацию, потому что они в большинстве своем приходили без документов, либо же в их паспорте не было регистрации.

Положение становилось критическим. На столах у начальников противочехословацких шпионских групп росли пачки настойчивых требований американской разведывательной службы. Казалось, что этому не будет конца. Но однажды ночью меня разбудил Кашпар:

— Доктор, вас ждет внизу машина. Вам следует немедленно отправиться в Мюнхен. Там вы встретитесь с Джином. Это приказ полковника Чарльза...

Полковник Джин был начальником американского отдела документации. Несколько дней назад он приехал в Мюнхен, поселился в отеле «Регина» и разослал длиннейшие депеши резидентам в Вене, Линце и Берлине. Теперь он дожидался их ответов, убивая время за отменным виски в казино «Хауз дер кунст» и на костюмированных балах в «Регине».

Изрядно выпивший американец принял меня в маскарадном костюме египетского короля Фарука и сыпал проклятиями на английском, польском и чешском языках. Я вынужден был дождаться, пока он примет душ, чтобы протрезвиться. Когда же он в халате, наконец, уселся в кресло, то заговорил совершенно свободно по-чешски:

— У меня есть одна загадка. Помогите мне ее разгадать...

Он положил на стол три чертежа регистрационных штемпелей, резко отличающихся друг от друга. Один чертеж ему, мол, прислало американское посольство в Вене, другой — CIC [1] из Линца, а третий передал резидент с Мариенштрассе в Берлине. Все три отправителя клянутся, что это точная копия оригинала. Но, как это совершенно очевидно, они разнятся и форматом и оформлением. Однако, по достоверным сведениям, штемпель этот — единый для всей страны, точно определенных размеров и может отличаться только обозначением места жительства.

— Скажите, какой из них верный? — спросил Джин.

Я развел руками.

— Без оригинала, я полагаю, это сделать невозможно.

— Я того же мнения,— осклабился полковник.

Затем он заявил, что эти «дураки» в Вене и в Линце довольствуются всем, что

[1] Counter Intelligence Corps — служба контрразведки США.

им подсунут. Вот то, что прислали с берлинской Марienштрассе, по крайней мере, сделано по рисунку какого-то перебежчика, бывшего чиновника окружного национального комитета. Он, мол, хорошо знает новые штемпели. Джин поселил его в пансионе «Эбли» на Каульбахштрассе. Я должен отправиться к нему, поднять с постели и подробно все выспросить.

— Главное, попытайтесь установить, не является ли этот чертеж преднамеренной подделкой,— подчеркнул полковник.

Часек, бежавший из ЧСР, еще совсем зеленый юнец, казался боязливым и запуганным. Он был настолько молод, что мог и не знать толком условий и порядков в республике. Как я вскоре выяснил, вести с ним разговор о каких бы то ни было политических делах было напрасной тратой времени. Я дал ему бумагу, карандаш, линейку и попросил снова начертить этот злосчастный штемпель. Он охотно это сделал.

Через несколько минут я сравнил оба чертежика. Первый, «берлинский», с этим, вторым, точно совпадал форматом и оформлением. Шрифты, однако, разнились. Я решил заночевать в пансионе и на следующий день снова попросил Часека сделать чертеж.

Третий рисунок был, в сущности, также и третьим вариантом. Правда, все они в общих чертах совпадали, хотя каждый отличался типом шрифта. Было ясно, что тут нет подделки, но чертеж ни в одном случае не соответствовал в точности оригиналу.

Пришлось доложить Джину, что результат проверки не слишком успешный. Тем не менее полковник отбросил чертежи из Вены и Линца и принял решение в пользу варианта Часека.

— Полковнику Катеку необходимо иметь такой штемпель. Чертеж Часека кажется мне наиболее достоверным...

Конечно, Часеку придется пока быть в полной изоляции. Если агент не вернется, парнишку передадут органам CIC, которые уж знают, как в таких случаях поступать.

Заказывая в типографии Маха этот штемпель, я послал через тайник в пасовской табачной лавочке сведения о тревоге в штабах шпионских организаций. Шифрованная информация одновременно содержала предупреждение, что из центра Катека должна быть переброшена в ближайшие дни в ЧСР какая-то важная птица.

Вскоре я по подлинным документам установил, что чертеж Часека был и по формату и по оформлению совершенно неправильным. Если специальный агент Катека и вернулся, то только потому, что чехословацкая сторона умышленно выпустила его. Куда хуже пришлось тем, кто отправился туда после него,— уверенным, что у них паспорт в полном порядке. Новый регистрационный штемпель, изготовленный в точном соответствии с оригиналом, увидел свет гораздо позже.

И хотя речь тут шла о некрупной акции, она принесла чехословацкой стороне значительные выгоды. А ведь таких «мелочей» бывало по нескольку в месяц — особенно в начале пятидесятых годов. И не только в той области, которой занимался я сам, но иногда и в тех, которыми занимались мои коллеги.

Стоит вспомнить план «Эрнест» — аферу нашего военного сектора. Это тоже была «мелочь», которая очень заинтересовала Прагу.

После ухода Венделина (Сирила) весь военный сектор снова вел один только полковник Чамбала (Джо). Работал он очень успешно. Составил, например, для центра Катека подробную карту дислокации частей чехословацкой армии. По регулярно поступающим сведениям он дополнял и уточнял изменения в составе командиров частей и численного состава армии.

Подготовил он и карту западного приграничья с дислокацией пограничных войск, с именами соответствующих командиров, емкостью жилых помещений, с подробностями относительно контроля границ чехословацкими органами госбезопасности. Интенсивно собирал мало-мальски стоящую информацию о запретных пограничных полосах и закрытых военных зонах. Он специально интересовался так называемым военным учебным треугольником где-то восточнее Марианских Лазен.

Бесспорно, Джо был на хорошем счету в центре. Поэтому он очень легко получил разрешение полковника Катека создать в Селбе свою так называемую «передовую базу».

Этот проект, названный «Эрнест», он начал разрабатывать еще ранней весной 1950 года, когда бежал в Западную Германию сотрудник чехословацкой секретной службы сержант Йозеф Элиаш. Вместе с ним бежал и рядовой Ярослав Ванек. Элиаш был родом из Жилины, где когда-то служил под началом Чамбалы и с ним сблизился во время попоек, которые любило устраивать жилинское военное начальство. Элиаш, служивший затем в приграничном районе возле Аша, откуда и бежал на Запад, очень хорошо знал условия местности и военную обстановку западного приграничья и имел там много знакомых. Все эти преимущества Джо и решил использовать.

Он предложил создать вблизи чехословацкой границы закамуфлированный шпионский центр, который бы развернул деятельность в случае войны. А она, по мнению экспертов, должна была вот-вот начаться. Предполагалось, что, как только вспыхнет война, американская армия отойдет за Рейн (организации Катека должны были эвакуироваться в два этапа по трассе Майнц — Саарбрюкен — Верден) и тогда новый шпионский центр оказался бы в тылу наступающих армий социалистических держав и стал бы основой будущей более широкой сети.

Когда Чамбала представил этот план на рассмотрение полковнику Катеку, он подкрепил его утверждением, что в случае вооруженного конфликта только одна Чехословакия способна выставить на западных границах пятьдесят дивизий, наступление которых не смогут остановить несколько американских дивизий. Трезво рассуждающий практик Катек считал эти расчеты липовыми, но все же предложение Чамбалы одобрил, поскольку оно не шло вразрез с официальной американской военной пропагандой.

Чамбала добился своего и начал создавать «передовую базу». Он обратился к бывшему словацкому фашисту Кармазину, с которым был знаком еще со времен Словацкого государства, и с его помощью выяснил, что в Селбе владеет лесопильней некто Датес — карпатский немец из Словакии. Этот Датес согласился формально зачислить двух рабочих: одного — шофером, второго — лесником-контролером. Шофером стал Ярослав Ванек. Служебные обязанности Элиаша как контролера позволяли ему бродить по лесам вдоль границ, не вызывая подозрений.

Элиаш помимо пистолета был оснащен биноклем и фотоаппаратом с телеобъективом. Оба агента оплачивались через посредство Кашпара центром Катека. Им достали западногерманские документы, выданные в Оберурселе на фальшивые имена. Элиаш теперь стал Йозефом Эрнестом — отсюда и название проекта, а Ванек — Гельмутом Мюллером. Оба зарегистрировались в немецких полицейских органах как граждане немецкой национальности.

Проект был лишь в начальной стадии своего осуществления, когда Кашпар поручил мне переводить каждый месяц этим агентам в Селб жалованье и контролировать их деятельность. Он настаивал на немедленном расширении этой операции. Дело, конечно, не только в войне, а и в сегодняшних днях. Оба эти господина должны наблюдать за Ашем и всей его округой в бинокль и доставлять фотографии офицеров пограничной охраны. Они будут также изучать трассы обходов пограничного патруля, вести поиски лиц, занимающихся контрабандой, которых можно было бы в свое время использовать для нашей агентурной службы в качестве курьеров.

В этом был весь Кашпар. Он не допускал даже мысли, что кто-нибудь из его подчиненных мог «страдать» от недостатка работы — в чем он, конечно, подозревал Ванека и Элиаша.

По приказу Кашпара я тогда время от времени выезжал в Селб для контроля и выплачивал обоим агентам установленное вознаграждение. По возвращении в штаб я докладывал полковнику, что проект осуществляется полным ходом и, разумеется, в полном соответствии с планом.

Подобные же донесения я передавал и Праге. Почти один и тот же текст имел, однако, совершенно разный смысл: Кашпар получил информацию, что проект претворяется в жизнь; чехословацкая служба из этих же сведений заключила, что контроль за операцией она не выпускает из рук.

Игра в прятки продолжалась несколько месяцев. Потом унтер-офицер Элиаш с фальшивым паспортом сбежал со своей любовницей в Канаду и проект «Эрнест» приказал долго жить.

Конечно, провалившаяся операция «Эрнест» была не единственной. Такого рода затеи в штабе Кашпара рождались не раз. Венделин уже начал организовывать на территории Чехословакии шпионскую сеть, так называемую группу «Рафаэль», готовившуюся к деятельности на первой стадии предполагаемой войны. Группой руководил бывший капитан Венер, конспиративная кличка — Эрих, из Нюрнберга.

Некоторые ее участники, специально отобранные сотрудники, занялись сразу же после создания сети разведывательной деятельностью. Прежде всего, это был резидент Йозеф Крживка, действовавший под конспиративными кличками Пишта, Мацек, Новак и т. д. Был он родом из Часа, под Пардубице. При оккупации он добровольно записался в вермахт и ходатайствовал о признании его немцами. Стал тайным агентом гестапо и предал ряд чехов, которые нелегально работали против нацистов. Сразу же после войны он был отдан под суд, который, однако, за недостатком доказательств оправдал его. Примерно за год до февраля, летом 1947 года, когда Крживка служил уже в танковой бригаде в Жатке, его арестовали по обвинению в шпионаже против ЧСР. В военной тюрьме на Капуцинской улице в Праге его целый месяц допрашивали офицеры тогдашней военной разведки, им лично занимались начальники групп «А» и «Б» пятого отделения главного штаба и другие разведывательные органы.

Крживка на допросе признался, что вскоре после войны, когда его оправдал чрезвычайный народный суд за недостатком улик, он бежал в Германию. Там ему удалось установить связь с одной из секций «Интеллидженс сервис», резиденция которой находилась в Бремене, где он предложил свои услуги руководителю агентурной службы Фурнхагену. Тот принял его предложение и отправил снова в Чехословакию. Крживка опять поступил на военную службу в Жатке.

Во время допросов офицеры военной разведки ничего конкретного Крживке не сумели предъявить. Они действовали слишком опрометчиво и преждевременно прибегли к аресту, не имея убедительных доказательств его вины. Им не оставалось ничего другого, как привлечь его к сотрудничеству и выпустить. Крживка снова оказался в Германии, где прошел специальную выучку в американском учебном лагере для разведчиков. Позже он стал работать в шпионской организации Кашпара. Регу-

лярно каждую субботу он переходил в Баварию в районе Сваты Кжиж — Вис. Обратно уходил в воскресенье, разумеется, другой дорогой, чаще всего через Аш. Жил попеременно то в Баварии, то в Аше. Он перевел через границу десятки людей и доставлял всегда множество самых разных сведений.

Безусловно, он обладал большим опытом и способностями для работы в секретной службе. Именно поэтому Кашпар и Катек решили сделать его резидентом, который на территории Чехословакии руководил группой «Рафаэль». Его непосредственным начальником был сотрудник Кашпара Венер (Эрих), которого я переправил в «золотую клетку» в Геддернгейм, когда у него земля горела под ногами.

Шеф-агент Крживка завербовал много сотрудников, передававших ему действительно ценные сведения. Одним из них был пражский инженер Владимир Чабан. Он раздобыл для Крживки документ о новых мероприятиях по технике безопасности в промышленности; следующие доставленные им сведения касались чехословацко-польского сотрудничества — Чабан был членом комиссии, которая выполняла функции надзора за строительством электростанции в Дворах в Польше, и имел поэтому возможность ездить в Польшу и участвовать в важнейших переговорах.

В 1949 году и в начале 1950-го десятки специалистов работали над созданием проекта электростанций для комбината в Соколове. Чабан был в их числе, а также одним из тех, кто составлял основное ядро участников пересмотра проекта первого пятилетнего плана. Основательный материал о пересмотре пятилетки инженер списал, подробно прокомментировал и передал Крживке. Тот за такого рода услуги давал деньги, но прежде всего расплачивался дефицитными товарами — нейлоном, какао, шоколадом, кофе, дамским бельем и высококачественными тканями.

Среди всякой другой информации выделялись сведения, которые Чабан получал от своего знакомого, работника пльзенских энергетических предприятий Карла Пиши — также члена группы «Рафаэль». Он узнал, что в Праге ведутся переговоры о снабжении электроэнергией яхимовских урановых рудников. Дирекция рудников требовала подачи электроэнергии из разных источников — если выйдет из строя один, можно переключиться на другой, иначе подобная авария грозила бы затоплением шахт. В экспертную комиссию вошли Чабан и Пиша. Они установили, что для затопления шахты необходимо прервать четыре главные электролинии: от Вышкова, Тоужима, Соколова и Нового Седла.

Однако Крживке не удалось переправить через границу это детальное исследование с подробным планом. Точно так же ему не удалось передать Эриху килограмм яхимовской урановой руды в виде порошка. Не передал он и полный список имен и адресов сотрудников госбезопасности в Хебе и Карловых Варах. В первый же весенний день 21 марта 1950 года его застрелили в конспиративной квартире (точнее, в коридоре жилого дома в Карловых Варах) сотрудники чехословацкой контрразведки.

Крживка отказался сдаться и продолжал стрелять из двух пистолетов даже тогда, когда был несколько раз ранен. Третий, еще неиспользованный пистолет нашли у него за пазухой.

Своим бесстрашным сопротивлением, за которое он поплатился жизнью, Крживка помог скрыться напарнику — молодому поручику авиации Яну Гораку (Раулю), который на территории Чехословакии чаще пользовался конспиративной кличкой Власта. Горак несколько месяцев скрывался у знакомых на севере Чехословакии, а потом снова перешел границу и вернулся в Германию.

О смерти Крживки Кашпар еще и понятия не имел, когда отдавал капитану Венеру (Эриху) приказ о незамедлительной подготовке агента, который бы в операции «Рафаэль» стал главным связным. Он должен был принять на себя выполнение заданий Крживки (Пишты) и Горака (Власты), которым в ЧСР, очевидно, грозила тюрьма, и Кашпар хотел в ближайшее время перевести их в безопасное место. К этому решению он пришел после того, как из Жилины, Пльзени, Хеба, Градца Кралова и из Трутнова исчезло несколько человек, бывших сотрудников Крживки и Горака.

Полковник кипел от ярости. Он предполагал, что в группу «Рафаэль» пробрался хорошо замаскированный агент противника. Но напрасно он искал и прикидывал, кто бы это мог быть. Ни один след не вел прямо к кому-либо из сотрудников в ЧСР, потому что исчезнувшие люди — полковник правильно предполагал, что они арестованы,— находились в разных местах республики. Необходимо было проверить шпионскую сеть и выпавшие звенья восполнить способными и надежными людьми. Эту безмерно трудную работу должен был выполнить с помощью инженеров Чабана, Пиши и еще некоторых других сотрудников из Хеба и Карловых Вар агент Вацлав Луханек (Али).

Луханек не был новичком в таких делах. Родом он из Ческих Будейовиц, вскоре после освобождения перешел на службу в американскую армию в окрестностях Пльзени, а позже вместе с американскими частями уехал в Германию. Пройдя специальную школу, он начал работать на американскую разведку в Голландии, Норвегии и других Скандинавских странах. Весной 1949 года его взяла к себе одна из организаций полковника Катека — для него Луханек (Али) выполнил несколько курьерских миссий в Чехословакию. Все задания выполнил четко и уверенно. Поэтому было совершенно не удивительно, что на этого агента пал выбор Кашпара. Восстановить нарушенную связь предстояло именно ему.

Полковник решил, что переход границы у Луханека пройдет гладко, без каких-либо осложнений. Он попросил у Катека помощи и без особых трудностей получил в свое распоряжение команду американских солдат в гражданской одежде во главе с лейтенантом, которые должны были «ассистировать» Луханеку.

С южной стороны ашского выступа эти солдаты группами направились к чехословацкой границе. В нескольких метрах от пограничных столбов они залегли в укрытие за камнями и принялись стрелять. Вскоре здесь собралось много чехословацких пограничных патрулей, которые предположили, что на границу напала крупная воинская часть, и ответили на стрельбу.

Этого момента и дожидался Али. Примерно в трех километрах от места перестрелки он наблюдал в бинокль за пограничными патрулями. Вскоре он беспрепятственно оказался в лесу на чехословацкой территории.

Кашпар потратил много труда, чтобы подготовить безопасный переход Али через границу, и превосходно обдумал все детали военной операции, которая ему действительно удалась. Эрих усиленно обучал агента и готовил к сложным заданиям в ЧСР. И все впустую. В Хебе Луханек встретился с двумя сотрудниками чехословацкой госбезопасности и передал им списки людей, которых он должен был проверить или вовлечь в шпионскую сеть.

Чехословацкая разведывательная служба склонила Луханека к сотрудничеству уже в Норвегии, где он еще год назад выполнял особое задание для Катека. Никто тогда и не предполагал, что однажды, перейдя границу, Луханек принесет назубок выученный список наиболее важных сотрудников группы «Рафаэль».

Это решило судьбу всей шпионской группы. Я лишь частично способствовал успеху акции «Влтава» — так Прага назвала операцию против группы «Рафаэль». По-моему, главное тут сделали десятки работников чехословацкой контрразведывательной службы.

Должен заметить, что смерть Крживки и ликвидация группы произвели в нашем штабе впечатление разорвавшейся бомбы. Ведь из группы практически сохранились только двое, при драматических обстоятельствах они вернулись на территорию Западной Германии. Это были Ян Горак (Рауль) и Вацлав Луханек (Али), которого Прага снабдила хорошо продуманной легендой, подготовила к новым заданиям и отправила к американцам. Оба они сообщили одно и то же: ускользнули из всех ловушек и несколько месяцев скрывались у знакомых. Такие убежища имел, в конце концов, каждый агент и пользовался ими только при самой острой необходимости, когда ему грозил арест.

Горак и Луханек были немедленно подвергнуты допросу на только что введенном устройстве — детекторе лжи. Оба выдержали его. И во время нескольких дальнейших допросов не было установлено ничего, вызывающего подозрение. Поэтому они оба в начале 1951 года снова получили назначение: Луханек (Али) перешел в центр Катека, Ян Горак (Рауль) остался в штабе Кашпара, откуда выезжал в лагеря и вербовал для работы новых беглецов.

НЕВИДИМАЯ ПЕТЛЯ

Когда почти все операции Кашпара потерпели фиаско, возник хаос и в документации. Сотрудники центра Катека снова стали собирать у всех групп и подразделений на территории ФРГ, Австрии и Западного Берлина, возглавляемых чехословацкими офицерами, документальные материалы и сосредоточили их в едином временном центре, который помещался в казармах Паттона в Мюнхене. Вся эта документация находилась в полном ведении американцев.

Я стал сотрудником этого нового центра. Моим начальником теперь был американский полковник Джерри Берке.

Впервые я был представлен ему при ликвидации группы полковника Кашпара. Берке кроме английского языка владел еще немецким и слабо — чешским. Он был членом комиссии, которая решала судьбу отдела документации расформированной группы.

Вели тогда со мной переговоры трое: полковники Берке и Джек, затем еще какой-то высокопоставленный офицер немецкой контрразведки, которого мне не представили. Разговор касался передачи моего отдела документации западногерманской разведывательной службе. Работа на немцев мне не была предложена прямо, но намеки звучали довольно прозрачно. Однако чехословацкая сторона рекомендовала мне отказываться от любой службы вне рамок американской армии и настаивать на эмиграции. Я придерживался полностью этих инструкций. Требование эмиграции должно было снять с меня даже тень подозрений в том, что я из каких-то тайных побуждений хочу остаться на американской секретной службе. Но я знал, что американцы в данный момент сочтут меня совершенно незаменимым именно здесь, потому что Гавелку, бывшего офицера отдела документации шпионской группы генерала Моравца, послали на обучение в Соединенные Штаты и пока нет другой кандидатуры на мою должность.

И я вовсе не был удивлен, когда во время разговора о моем будущем полковник

Джек сказал, что они не могут без меня обойтись, поскольку у них нет замены. Другой специалист, мол, ныне отсутствует, и его возвращение в ФРГ планируется не раньше, чем через два года. Поэтому было бы лучше, если бы я повременил с эмиграцией.

Я прикинулся удрученным и попросил Джека дать мне возможность поговорить с Катеком, хоть и знал, что Катека нет в Европе. Полковник заверил, что понимает мое желание посоветоваться с человеком, которому я доверяю, но Катек вне досягаемости, а они и сами будут в состоянии выполнить мои условия и передать бывший отдел документации Кашпара американской армии. Конечно, я уже не буду жить в служебном помещении и я не буду состоять в какой бы то ни было шпионской группе.

Я попросил дать мне немного времени на размышления. Мне ультимативно дали двадцатичетырехчасовой срок — по истечении его я должен сообщить свое окончательное решение. Ночью комиссия офицеров отбыла, остался только полковник Джерри Берке. Он почти не отходил от меня, вместе со мной ужинал, а после ужина распил еще со мной несколько бутылок вина. И все же я нашел несколько минут, чтобы продумать условия, с которыми я должен буду на следующий день предстать перед американцами. Потребую себе отдельную квартиру, помощь в оформлении брака — мы с Верой Земковой хотели пожениться, но немецкие власти чинили нам всевозможные препятствия; попрошу также более высокое жалованье и гарантию перевода меня в Штаты, куда со мной должна поехать и жена.

Полковник Берке, встретившись со мной на следующий день, включил в трудовое соглашение все мои условия и подписал подготовленный текст документа от имени американского правительства. В тот же день он отвез меня в Мюнхен в заранее подготовленную для меня квартиру.

Через несколько недель Берке привел ко мне в канцелярию, находившуюся в американских казармах, Катека. Шеф заявил, что совершенно удовлетворен моим решением остаться на американской службе, и ручается, что все поставленные мною условия не останутся только на бумаге.

Своей работой в центре документации я был вполне доволен. Я выполнял здесь те же задания, что и у Кашпара. И хотя американцы теперь лишили меня контактов с Леопольдом Махом, я знал, что они продолжают сотрудничать с ним. Я это знал хотя бы по тем же безупречно изготовленным фальшивым паспортам, свидетельствам о гражданстве, метрикам и брачным свидетельствам, школьным аттестатам, партийным билетам, пропускам в запретные пограничные зоны и многим другим фиктивным документам. Мне были известны шрифты типографии Маха, а долгая корректорская практика выработала у меня особое чутье в распознавании всех тонкостей набора и печати.

Однако теперь эти фальшивые документы заполнял не я. В новом центре я уже не знал ни имен отправляемых агентов, ни дат их переброски и только как офицер, ведающий документальной частью, вырабатывал для каждого легенду на случай провала. Многие из моих прежних обязанностей взял на себя так называемый исследовательский отдел. Кроме американцев Рейнольда, Ника, машинисток Салли и Пегги тут работали еще два чеха под кличками Фред и Стив. У меня в центре документации работали тоже два чеха под конспиративными именами Пауль и Билл. Вскоре я выяснил их настоящие имена и передал пражскому центру, который позднее уделял особое внимание Ладиславу Стржижу (Стиву) и Милославу Чернику (Биллу).

Исследовательский отдел оценивал все сведения об условиях пребывания в ЧСР: обязательности прописки, возможности устроиться на работу, расписаниях поездов и автобусов и особенностях некоторых областей, где должны были действовать агенты. Отдел интересовали и имена многих общественных деятелей, которых, предполагалось, должен был знать каждый рядовой гражданин.

Когда какой-нибудь агент собирался в путь, соответствующий сотрудник получал у меня специально составленный формуляр с легендой и чистый паспорт с печатями и фиктивными подписями руководителей тех национальных комитетов, которые выдавали подобные документы. Он заполнял на агента паспорт, приклеивал фотографию и передавал его начальнику центра документации.

Прежде чем весь материал покидал стены нашего центра, его фотографировал по системе «Копи Рэпид» фотограф и картограф Пауль. В учебном центре документы снова фотографировались — уже с подписью агента и оттиском пальца, и копию посылали к нам. Когда же агент возвращался с задания, его паспорт прилагали к ранее сделанным фотографиям и прятали в сейф для использования в будущем. Если агент не возвращался, я должен был немедленно изъять из употребления печати и подписи, которые были на его документах.

Однако все эти предохранительные меры не спасали агентов от разоблачения. Хотя в отличие от прошлого времени я теперь не имел понятия ни об именах, ни о датах выезда, но все же я знал две реалии: номер документа, изготовленного в типографии Маха, и «расписание движения» с легендой агента, которая была моим собственным произведением.

Я составлял всегда каждому агенту план железнодорожного сообщения от двух удаленных одно от другого мест перехода через границу и обычно выбирал рабочие поезда, которые были бы для агента более безопасными. Разумеется, я никогда

не знал, какое именно направление будет использовано; угадать, однако, было нетрудно, потому что один план был основной, а второй — агент должен был осуществить в случае какой-либо неожиданности. Праге я, естественно, передавал оба плана.

Чехословацкой стороне этих данных было достаточно. Она знала, что в точно указанное время и по точно указанному адресу появится определенный человек. Это было началом конца каждого агента, поскольку потом чехословацкая секретная служба следовала за ним по пятам. При поимке его либо привлекали к сотрудничеству и посылали с заданием снова к американцам, либо же передавали в руки органов правосудия.

Это было единственным, что я в те месяцы мог сделать для Праги. В отличие от того времени, когда я располагал сведениями обо всей организации Кашпара и занимал, так сказать, ключевые позиции, я стал теперь лишь маленьким колесиком сложного механизма, гораздо более тщательно контролировавшегося.

С другой стороны, разумеется, через мои руки проходили документы всех агентов, засылаемых американской секретной службой в республику с территории ФРГ, Австрии и Западного Берлина. Речь шла тогда уже о профессиональной специализации. Поэтому я старался работать безупречно и овладеть своим делом во всех тонкостях; я, например, мог воспроизвести по памяти любую строку расписания поездов из приграничной зоны, разбуди меня ночью.

Чтобы получить доступ к каким-либо другим сведениям, интересующим чехословацкую службу безопасности, мне необходимы были друзья и доверительное общение с окружающими. Но после роспуска шпионских групп, руководимых бывшими чехословацкими офицерами, из моего прежнего круга знакомых теперь не осталось никого. Я вынужден был заново налаживать контакты.

В моем положении одиночество было невыгодно не только потому, что я лишался необходимой информации, но и потому, что я не мог заблаговременно определить, не угрожает ли мне разоблачение. Итак, я развил, как говорится, бешеную деятельность, чтобы войти в эту новую для меня среду и обзавестись приятелями. Как уже не раз, мне помогала моя способность быть приятным собеседником, раздавать мило поклоны и комплименты — просто, непринужденно льстить при всяком удобном случае.

Первым результатом этих усилий было приглашение на неофициальный прием к моему шефу — полковнику Джерри Берке.

Полковник с супругой жили в красивой вилле в Фрейсинге под Мюнхеном. Прежде он служил в американских военно-воздушных силах, во время войны участвовал в нескольких налетах на Дармштадт и Франкфурт, стало быть, на те самые города, в которых он, по иронии судьбы, теперь действовал как разведчик.

В разведывательном деле он был новичком — об этом легко было догадаться по некоторым его поступкам. И о Чехословакии он толком ничего не знал, хотя и говорил по-чешски. Помню, осенью пятьдесят третьего года он предложил мне и Ладиславу Стржижу, второму ассистенту исследовательского отдела, вопросник, над которым мы просто потешались. Особенно нас рассмешил вопрос полковника о том, какие существуют в ЧСР возможности для путешествия на лошадях и можно ли агенту использовать этот вид транспорта. Стржиж тогда съязвил, что пан шеф путает Чехословакию с американским Дальним Западом.

Попав впервые на виллу Берке, я был изумлен. Все здесь было оборудовано и обставлено с большим вкусом. В комнатах, в коридорах и холлах шаги гостей приглушали пушистые персидские ковры. Стены были увешаны прекрасными картинами.

В общем я мог себе представить, какой доход имеет полковник. Нетрудно было догадаться и о стоимости роскошной обстановки. Разница между предполагаемым доходом и размером возможных расходов била в глаза. Напрасно я ломал себе голову, где Берке брал на все это средства и кто из супругов был носителем изысканного вкуса. Вскоре я нашел ответ на свои невысказанные вопросы.

Один из них я считал решенным сразу, как только меня представили госпоже Берке. Молодая, приятная жена полковника была значительно выше по своему культурному уровню и остальных гостей, и своего супруга. После долгого перерыва я снова мог поговорить с человеком, который понимал искусство. Молодая американка, оставшаяся в одиночестве во время частых и долгих служебных поездок мужа, решила изучать изобразительное искусство. Вероятно, она была наделена и какими-то художественными способностями. Однако главным было желание избавиться от одиночества и тоски. По ее инициативе тогда и были собраны в жилище полковника все эти произведения искусства.

Но откуда?

Американский центр документации унаследовал остатки роскошной обстановки и картин концерна «ИГ-Фарбениндустри», награбленных во время войны в художественных коллекциях всей Европы. Я заметил, что время от времени несколько младших офицеров ходили по комнатам нашего центра с метром в руках и перемеривали ковры и картины или же дорогие предметы обстановки. На вопрос, зачем они это делают, отвечали, что выполняют приказ начальства. Не прошло и недели после этого обмера, и вся оригинальная мебель и картины исчезли, а вместо них была поставлена новая мебель — дешевая, но того же размера и, насколько возможно, такого же цвета.

Вот, значит, где был источник роскошного убранства дома Берке и, конечно, не одного только его.

Первая моя вечеринка на вилле у Берке ничем не отличалась от обычных приятельских встреч. Чувствовал я себя там хорошо. Дамы всегда бывают рады остроумным, а не солдафонским шуткам. Мужчин же восхищает готовность отвечать на самые острые вопросы. Из разговоров я почувствовал, что призванием нескольких офицеров вовсе не была разведывательная служба; были это, очевидно, офицеры военно-воздушных сил США, и Берке пригласил их как старых знакомых. Сами же они, несомненно, знали о секретной работе полковника, иначе бы не ехидничали насчет его нынешних обязанностей.

— Послушайте, полковник, вам бы следовало что-нибудь предпринять,— заявил ему один из гостей, когда вечеринка была уже в полном разгаре.— Говорят, этих ваших агентишек пристреливают, как собак. Проволока на границах вас здорово подвела...

Хозяин засмеялся.

— Но, господа, пусть это вас не тревожит. В эпоху технического прогресса мы вовсе не должны ломать себе голову, как преодолеть проволочные заграждения. Существуют и другие пути, чтобы перебраться через границу,— допустим, по воздуху...

— Вы думаете? — позволил себе возразить один из летчиков, имея в виду недавний инцидент, связанный с обстрелом американского истребителя над территорией Чехословацкой республики.

— Я не думаю — я знаю,— настаивал на своем полковник.— Впрочем, друзья, ведь мы не на совещании.— Он поднял бокал и, обращаясь к гостям, предложил выпить за здоровье своей жены.

Жаль, что Берке столь решительно прекратил дебаты. Вероятно, я мог бы тут узнать кое-что весьма существенное. Впрочем, я и так узнал...

Примерно через год после моего посещения супругов Берке, в пору, когда полковник уже не был моим начальником, я получил необычное задание: разработать для какого-то агента схему самого выгодного железнодорожного сообщения от Сушице, а затем — подобного же сообщения в треугольнике Литомержице — Мельник — Сланы. Значит, никакой тебе обычной двойной дороги из разных пунктов перехода границы.

Новинка безусловно заслуживала внимания. Всплыло в памяти забытое замечание Берке об отправке агента по воздуху. Итак, прежде чем фальшивые документы вышли за пределы моего кабинета, в Прагу было отправлено сообщение со всеми подробностями и моими собственными суждениями.

Позже я узнал, что в треугольнике Литомержице — Мельник — Сланы действительно был задержан агент, переправленный через границу свободно управляемым аэростатом.

Кстати говоря, я очень сожалел, когда полковник Джерри Берке перестал быть начальником нашего центра документации. Мне казалось, что мы понимали друг друга, и потом — я приложил слишком много энергии, чтобы завоевать его симпатию. И все это было напрасно.

Берке попал в довольно примитивную ловушку, которую ему подстроил его честолюбивый заместитель Марк Марковский. С опытным разведчиком такого произойти не могло, но Берке был новичок. Поэтому однажды он не заметил, что у него недостает ключей — Марковский тайком взял их у него и подбросил потом во дворе казармы. Когда полковник по окончании служебного дня собирался закрыть здание, он обнаружил, что закрывать его нечем. Принялся усиленно разыскивать ключи, Марковский и я помогали ему. После безрезультатных поисков в здании Марковский предложил попробовать поискать их во дворе казармы. Разумеется, связку ключей он там и «нашел».

На следующий день Берке был переведен в ведомство Катека во Франкфурт и начальником центра документации — моим новым шефом — стал прежний заместитель, Марк Марковский.

Этот знал чехословацкие условия еще хуже Берке, и поэтому я время от времени позволял себе в работе по документации довольно рискованные вещи. При подготовке удостоверений для агентов я умышленно менял имена чехословацких служащих, которые в тех или иных национальных комитетах скрепляли своими подписями выданные паспорта. Имя пршибрамского чиновника я, например, заменял остравским, братиславского — жилинским и тому подобное. На первый взгляд все было в порядке. Однако большинству посвященных такая «ошибка» бросалась в глаза. Например, я хорошо знал, что документ, выданный национальным комитетом в Остраве, подписывает некий Шольц. А я ставил подпись Бржезины или Дворжака. Эта «мелочь» приводила к тому, что хорошо информированный и внимательный контрольный орган сразу обнаруживал «липу».

Как впоследствии отмечали работники чехословацких органов безопасности, благодаря умышленной замене подписей на территории ЧСР были задержаны агенты даже тогда, когда о них в Чехословакии никто и не знал. Если к тому же они хотели беспрепятственно передвигаться по стране, то должны были зарегистрироваться в полиции, и этим уже наверняка рыли себе могилу.

Американцы приходили в ужас. Они никак не могли понять, в чем дело. Хоть и были основательно изменены шпионские организации, ликвидированы все подразделения, руководимые бывшими чехословацкими офицерами, вплоть до группы генерала Моравца, но цепь разоблачений, казалось, не имела конца. Где-то, по их мнению, должен был сидеть хорошо замаскированный разведчик противника.

Из центра документации отчислили ряд штатских сотрудников, среди них и Милослава Черника (Билла), которого в конце пятьдесят третьего года отправили с семьей к матери его жены в судето-немецкий лагерь в Штутгарте. Некоторые другие работники были отосланы в Штаты. Меня, однако, вынуждены были оставить на какое-то время: я был незаменим.

И все же я стал чувствовать, как вокруг меня начинает стягиваться невидимая пока петля. Об этом свидетельствовали сигналы, приходившие с разных сторон. Однажды в мою квартиру неожиданно заявился полковник Кашпар. Он утверждал, что только проездом в Мюнхене и зашел приветствовать мою будущую жену, которая уже жила со мной. Конечно, это был только предлог. Когда же, примерно через полчаса, он меня вдруг спросил, о чем говорил со мной Катек после моего нового назначения и подвергался ли я проверке на детекторе лжи,— мне стало ясно, зачем он пришел. Он хотел выяснить, насколько подорвала его позиции вся эта история с ликвидацией группы.

Уходя, Кашпар откровенно заявил:

— Катеку не верьте. Американцы сулят золотые горы, а подсовывают кукиш. Один начальник обещает, а его преемник и слышать об этом не хочет. У меня с ними довольно печальный опыт... На детектор лжи вас посадят определенно. Вы один из немногих, которые избежали этой проверки...

Почти то же слышал я и от других. Это говорилось доброжелательно, и, наверное, никто из них не предполагал, какие чувствительные струны он затрагивает.

Через несколько недель после посещения Кашпара ко мне пришел чешский эмигрант Венец (Ник), который работал в центре Катека, и даже сам полковник Чамбала. Он за несколько месяцев до этого выехал в США, а теперь снова вернулся в Европу,— мол, чтобы просто погостить здесь. И оба они удивлялись, как это могло быть, что я, выполняя такие функции, еще не проходил проверки на детекторе лжи. Чамбала, который был особенно хорошо информирован, не скрывал своего удивления.

— Михал, ты, должно быть, у амиков на хорошем счету. Вся американская противочехословацкая разведка в Германии погорела. Теперь они через детектор лжи пропускают и американских офицеров — вон Джордж, Майк. Джон, да ты и сам это знаешь. Амики не верят уже и своим людям, не то что эмигрантам. Заруби на носу — проверки тебе не миновать!

Я боялся детектора лжи. Чувствовал, что такой допрос будет выше моих сил. Любое колебание или нерешительность могут навести американцев на правильный след — ведь доводы против меня, пусть пока и скрытые анонимностью, им давала успешная деятельность чехословацких органов безопасности. И к тому же продолжительное время.

Я запросил через своего связного Прагу: нельзя ли мне тайно встретиться с каким-нибудь чехословацким специалистом по детектору лжи. Я хотел, чтобы меня детально ознакомили с действием этого аппарата, с методикой вопросов и разъяснили, можно ли вообще выдержать проверку.

Прага ответила мне незамедлительно. Только, к счастью, поспешность эта была излишней.

Обманутый детектор лжи

Прошло несколько месяцев, и я прочитал в немецкой газете объявление, лаконично сообщавшее, что «на исключительно выгодных условиях продается большое количество кроличьих шкурок». Объявление предназначалось мне. За шкурками невинных кроликов скрывалось сообщение, что Гавелка вернулся после двухлетнего обучения в США, а для меня это практически означало конец работы в центре документации. И действительно — не прошло и недели, как ко мне зашел мой шеф Марк Марковский. И, не присев, сообщил:

— По решению полковника Чарльза наш центр документации ликвидируется. Вы, однако, еще останетесь на полгода, хотя практически не будете заняты никакой работой...

Сведения, которые я получил посредством объявления, были точными. Возникает новый центр документации, в котором будет работать Гавелка. Американцам я уже не нужен, но, несмотря на это, они не спешат со мною расстаться. И понятно почему. В ближайшее время вполне определенно меня посадят на детектор лжи, которого я уже почти перестал бояться.

После многочасового разговора с чехословацким специалистом я утратил страх перед этим устройством. Но теперь, лицом к лицу с опасностью, я опять засомневался в своих силах. Я знал, что детектор может воздействовать только на человека,

не знающего его ограниченных возможностей и принципа, на котором он основан. Специалист убедил меня, что это всего лишь психологическое испытание, которое интеллигентный человек может легко выдержать, и устройство не обнаружит ничего подозрительного. Он показал мне и фотографию, чтобы я знал обстановку, в которой обычно происходит допрос с помощью этого устройства. Теперь я буду иметь возможность проверить все эти сведения на практике.

Вскоре после разговора с Марковским за мной пришел американский офицер Уайт, который заявил, что получил от Катека (Чарльза) указание переселить меня на новую квартиру во Франкфурте, потому что, мол, работа моя в мюнхенском центре документации кончилась. Слова Марковского «останетесь еще на полгода» теперь означали — жить с семьями американских офицеров и придерживаться инструкций центра, согласно которым я не имел права покидать своей квартиры без предварительного согласия Уайта.

Американец облегчал себе контроль тем, что звонил по телефону — и днем и ночью,— чтобы убедиться, не нарушил ли я приказ о запрещении прогулок. Время от времени он заходил ко мне «по-приятельски», но не предупреждая меня об этом. Вся эта система контроля утвердила меня в мнении, что в ближайшее время меня посадят на стул детектора лжи. Американцы, как это они обычно делали, хотели запрещением прогулок и домашним арестом создать условия, при которых наблюдаемый «обмякнет», нервы его не выдержат, и на детекторе лжи он скажет всю правду.

В моем случае это, конечно, полностью не могло бы им удаться, потому что я жил не один, а со своею будущей женой, а кроме того, я мог получить разрешение Уайта пойти в музей, на концерт, спектакль, что отвлекало меня и определенным образом укрепляло нервную систему. И в этом я руководствовался указаниями чехословацкого специалиста, который мне все эти развлечения рекомендовал.

Чехословацкая сторона временно, на шесть месяцев, прервала со мной всякие сношения и не требовала никакого сотрудничества. Не хотела в пору, когда я был подвергнут так называемому статическому наблюдению и содержался в изоляции, осложнять ситуацию. За эту предосторожность я был очень признателен Праге. Я рассматривал это как доказательство того, что чехословацкие органы безопасности относятся ко мне весьма серьезно.

Итак, я получил несколько недель заслуженного отпуска — пусть с различными ограничениями и с предостерегающими сигналами недоверия, но все же это был покой и семейное благополучие.

Уайт стал как бы связным между мною и центром американской секретной службы во Франкфурте. Учреждение это, согласно приказу полковника Катека, и должно было выполнять условия, которые я когда-то поставил при подписании трудового соглашения с правительством Соединенных Штатов. Одним из этих условий было решение формальных вопросов, относящихся к моему вступлению в брак.

Все это дело было сильно осложнено. У меня не было свидетельства о разводе, и поэтому я должен был обратиться в местный гражданский суд, который и должен был вынести решение. Американцы выделили мне адвоката д-ра Гетшке, который обычно представлял интересы американской секретной службы в немецком суде. Адвокат и Уайт позаботились главным образом о том, чтобы при вынесении судебного решения не были раскрыты место моего пребывания, предыдущая служба и некоторые другие данные. Кроме того, они должны были воспрепятствовать тому, чтобы франкфуртский суд получал информацию у соответствующего гражданского суда в Праге, где был расторгнут брак с моей первой женой.

Мне казалось, что оба моих защитника соблюдали тайну вокруг моей особы слишком заботливо. Немецкий суд во Франкфурте отказался дать на основе неполных сведений согласие на новый брак, он требовал наличия документа о расторжении прежнего брака. Нам с Верой не оставалось ничего другого, как ждать, пока американцы найдут способ обойти статьи закона и получить разрешение на брак.

Уайт безрезультатно пытался подыскать мне какое-нибудь место работы. Попробовал прежде всего в редакции немецкой газеты «Франкфуртер рундшау», где у него были какие-то связи. Редакция, естественно, не проявила никакого интереса к эксперту из эмигрантов, потому что у нее было вполне достаточно своих собственных знатоков чехословацкой проблематики. И следующая попытка Уайта — пристроить меня в качестве заведующего фотолабораторией в американском военном гарнизоне — не удалась. Да я и сам отверг бы это предложение — такая работа была связана с пятилетним трудовым соглашением, а это сделало бы невозможным мой близкий отъезд в США.

Вскоре, однако, оказалось, что вся активность Уайта в решении моих семейных и рабочих проблем была всего лишь спектаклем, трюком, чтобы немного меня успокоить и ослабить мою бдительность. Игра эта должна была утвердить меня в убеждении, что я вне всяких подозрений относительно сотрудничества с чехословацкой разведкой, чтобы потом, в момент, когда меня зажмут в тиски, я открыл свои карты.

В августе пятьдесят четвертого года — в ту самую пору, когда Уайт делал вид, что усиленно подыскивает мне работу,— он пригласил меня в одну из вилл в Геддернгейме возле Франкфурта. Как только я вошел в указанную мне комнату, я понял,

что́ последует дальше По фотографии детектора лжи, которую мне в свое время показывал чехословацкий специалист, я сразу же узнал его.

— Не бойтесь, доктор Петтина,— обратился Уайт ко мне, назвав меня моим конспиративным именем,— этот стул не электрический! Как и все сотрудники американской секретной службы, вы будете допрошены с помощью этого прибора.

Когда я сел, Уайт укрепил у меня на обнаженной груди широкий матерчатый пояс. Потом протер мне виски и ладони какой-то жидкостью. Вся процедура на этой стадии напоминала скорее медицинское кардиологическое обследование. В конце концов детектор лжи, собственно, и отмечал физиологические изменения, которые происходили в организме допрашиваемого: изменение в кровяном давлении и пульсе, электрической проводимости эпидермиса, увеличение сухости кожи, изменение в дыхании. Этот допрос содержал в себе нечто медицинское.

Я с интересом наблюдал, как Уайт подготавливает устройство. Он делал все медленно, очень внимательно и при этом инструктировал меня:

— Будьте во время проверки спокойны, не двигайтесь, на вопросы отвечайте кратко, одним словом — «да», «нет», ничего другого от вас не требуется.

Я чувствовал, с одной стороны, какой-то неопределенный страх за свою будущую судьбу, но, с другой — во мне росло озорное желание шепнуть Уайту, что все это — только психологический нажим, который уже выдержали десятки агентов чехословацкой секретной службы, и что этот прибор — за редким исключением — не сумел достичь цели: разоблачить их. Но вместо этого я сказал то, что не вызвало у Уайта никакого восторга.

— Вы будете задавать мне вопросы по-английски? — спросил я.

— Разумеется, а как же иначе? — ответил американец.

— Тогда прошу меня извинить, но ведь сейчас произойдет одно из самых важных событий в моей жизни, и поэтому я прошу, чтобы мне был выделен переводчик. Английским я владею все же не настолько, чтобы понимать любой специфический вопрос. Я не знаю, о чем вы будете меня спрашивать, но мне не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я нарочито медлю с ответом...

Уайт скорее осклабился, чем улыбнулся, и вышел. Он вернулся быстро, в сопровождении мужчины, который прилично говорил по-чешски. Я успокоился. Теперь у меня будет достаточно времени, чтобы обдумать ответы: Уайт сперва задаст вопрос по-английски, который я пойму раньше, чем переводчик произнесет мне его по-чешски, и не торопясь подготовлю ответ. И это сделать мне тоже посоветовал чехословацкий специалист. Еще до начала допроса я убедился, что все услышанное мной от этого специалиста полностью соответствовало действительности. Главное — я должен быть очень внимательным к так называемым усыпляющим вопросам, с которых начинается вся процедура, чтобы допрашиваемый сразу не догадался, на что допрос нацелен, и чтобы неожиданным предательским вопросом сокрушить его.

— Ваше настоящее имя — Михал Панек? — начал Уайт.

Я спокойно пережидаю, пока переводчик переведет фразу, которую отлично понимаю по-английски, и тогда отвечаю:

— Да.

— Вы родились в 1910 году в Липецке недалеко от Москвы?

— Да.

— Были вы когда-нибудь арестованы?

— Да.

— Вы немец?

— Нет.

— Вас арестовывало во время войны гестапо?

— Да.

Думаю, что уже скоро будет задан куда более жгучий вопрос. Он будет решающим. Когда он будет задан, я не должен ни в малейшей степени проявить волнение. Только бы не слишком испугаться! По совету специалиста, начинаю считать над головой Уайта темные точки — вернее заклепки, которыми укреплены настенные панели, герметически закрывающие все помещение.

— Пользовались вы когда-нибудь псевдонимом?

— Да.

— Вам нравятся молодые женщины?

— Да.

— Были ли вы членом коммунистической партии? —атакует меня Уайт следующим вопросом.

«Вот оно — начинается!» — говорю я себе и спокойно отвечаю:

— Нет.

— Вы — кавалер чехословацкого Военного креста 1939 года?

— Да.

— Был кто-нибудь из ваших родственников членом коммунистической партии?

— Нет.

Тут я рискую. Американцы могли что-нибудь нащупать про Фердинанда.

— Вы умышленно фальсифицировали или же просто скрыли детали своего прошлого?

— Нет.
— Вы были членом дипломатического клуба «Унион» в Софии?
— Да.
— Вы были посланы на Запад с разведывательной целью?
— Нет.
— Были вы во время войны членом партизанского отряда в Словакии?
— Да.
— Получали вы инструкцию принять предложение американской разведывательной службы?
— Нет.
— Вы курите?
— Да.
— Вы передали пятнадцатого июня прошлого года в Звиселе важные материалы относительно полковника Катека и его группы чехословацким или каким-то другим коммунистическим агентам?
— Нет.

Я в душе улыбнулся: в жизни своей никогда не был в Звиселе, уж это американцы могли знать. Почему же они не выбрали Мюнхен, или Франкфурт, или какой-то другой город Германии, который я неоднократно посещал? Однако не было сейчас времени отгадывать эту загадку, Уайт задал следующий вопрос:

— Работали вы когда-нибудь на одну из восточных секретных служб?
— Нет.
— Знакомы вы лично с бывшим начальником канцелярии президента Бенеша доктором Смутным?
— Да.
— Работаете вы на одну из восточных разведок?
— Нет.
— Чувствуете себя здоровым?
— Да.
— Находитесь в связи с кем-нибудь, кто работает на одну из восточных разведок?
— Нет.
— Лгали вы, отвечая на некоторые вопросы в ходе этого допроса?
— Нет.

Из инструкции знаю, что это последний вопрос. Теперь все зависит от того, не обозначил ли прибор на графике какие-нибудь отклонения, которые могли бы свидетельствовать о том, что я в какой-то момент проявил беспокойство и лгу.

Уайт проглядел бумажный валик, размотал его — на ленте были помечены темно-фиолетовые черточки.

— О чем вы думали во время допроса? — спросил он вдруг.

— Считал точки над вашей головой на панели,— ответил я почти правду.

— Ну и нервы же у вас,— процедил он и разрешил мне встать.— Можете идти домой,— добавил он и попрощался со мной.

Я с удовольствием бы взвизгнул от радости. Проверка прошла для меня, видимо, хорошо. Кто проваливался, тот из этого помещения шел куда-то в другое место, но только не в свою квартиру.

Это снова показало, что детектор лжи может действовать только на людей слабонервных, травмированных и особенно на тех, кто не знает об его ограниченных возможностях.

В кругах НАТО

На протяжении двух месяцев я трижды садился на стул детектора лжи. И безрезультатно. Доверие американцев ко мне возросло настолько, что в начале пятьдесят пятого года Уайт откровенно заявил мне:

— Более чем правдоподобно, что вы снова будете работать на нас. Но мы прежде пошлем вас на специальное обучение...

На этот раз Уайт уже не разыгрывал спектакля и говорил все, как было на самом деле. В феврале 1955 года меня отправили с рекомендательным письмом в Мариенберг, в бывший замок немецкого аристократического рода фон Зейм. Полгода я слушал нуднейшие лекции наставников евангелической социальной академии. Мое пребывание там и солидную зарплату мне оплачивала американская секретная служба. Уже в июле, еще до того, как было закончено обучение, я убедился, что оно не имеет ровно никакого практического значения.

Уайт был человеком сенатора Маккарти, который тогда уже утратил свое влияние в американском сенате и Пентагоне, и он на какое-то время пропал. Когда исчез Уайт, моим руководителем снова стал Джерри Берке, тот самый полковник, с которым я некоторое время назад работал в центре документации. Он перевел меня, новоиспеченного выпускника евангелической академии, в распоряжение американских военно-воздушных сил с местом пребывания в Висбадене. Полицейскую регистрацию я прошел в немецких учреждениях под собственным именем, однако в списках американ-

ских военно-воздушных сил значился как М. Петтина. На это же имя была нанята для меня квартира в районе вилл, где жили американские офицеры со своими семьями.

Берке с непостижимой быстротой добился полного поворота в затянувшихся переговорах с немецкими учреждениями, от которых я добивался разрешения на брак. В начале сентября 1955 года он появился на нашей висбаденской вилле, размахивая какой-то бумажкой.

— Господа, вы хоть завтра можете вступить в брак. Вот разрешение! Немцы все же прислушались к нашему совету. Если позволите, я был бы рад быть у вас свидетелем...

И Вера и я не имели ничего против этого предложения. На той же неделе нас обвенчал чешский священник-эмигрант, который жил в лагере «Валка». Свидетелями на свадьбе были Берке и какой-то высокопоставленный чиновник из западногерманского уголовного ведомства, которого полковник привел с собой.

Оказавшись в положении молодоженов, мы начали свой запоздалый медовый месяц, который, однако, длился не очень долго. Скоро нас снова навестил Берке и сообщил, что пани Вера в ближайшие дни выедет в Соединенные Штаты. А я, мол, временно останусь в Германии, где должен закончить какую-то школу.

Полковник не мог вразумительно объяснить нам, почему против обыкновения Вера уедет в Штаты одна, а я останусь в Западной Германии. Он говорил только о том, что я должен для своей работы в США хорошо подготовиться, и рекомендовал смириться с этим.

Через несколько месяцев я узнал от своего знакомого доктора Никки, что полковник Берке, который отвозил мою жену на аэродром, перед самым отлетом сказал ей, что в нью-йоркском аэропорту ее, вероятно, встретит доктор Папанек и отвезет в отель «Бельведер», откуда позже ее отправят в Калифорнию, где в Монтерейе она должна будет ждать моего приезда. По приезде жену действительно поселили в отеле «Бельведер», но она не хотела уезжать из Нью-Йорка. Вера сама нашла себе жилище в частном доме и отказалась от всяких контактов с чешским обществом. К ней приходили разные люди, ссылались на бывшую организацию полковника Кашпара (Кенига) и расспрашивали ее, но ни один не нашел в ней понимания, и все уходили несолоно хлебавши. Моя жена об организации Кашпара понятия не имела и потому подобных визитеров считала провокаторами и сомнительными личностями.

Я же тем временем прилежно учился в Гейдельберге, в школе для обслуживающего персонала гостиниц, несмотря на то, что к подобной профессии никогда не проявлял ни малейшего интереса. Берке мне, однако, объяснил, что школу я должен окончить, чтобы знать практику гостиничных работников, потому что позже в Соединенных Штатах я буду прикрываться работой в какой-нибудь гостиничной фирме.

Я не знал, какое занятие в Штатах подыскали для меня американцы, но я был доволен, что они согласны на мой отъезд туда. Я сам этого добивался — прежде всего потому, что на отъезде в Штаты настаивала чехословацкая сторона. Прага дала мне понять, что в США меня ждут новые задания. Все это заставляло меня смириться с тем фактом, что я трачу дорогое время в гейдельбергской школе, и с тем, что меня отделяют тысячи километров от жены.

Осенью 1956 года неожиданно позвонил в Гейдельберг полковник Кашпар. Мы встретились с ним во Франкфурте, в маленьком тихом винном погребке. Полковник заверял меня, что я действительно в скором времени уеду в Штаты: в Вашингтоне, мол, все уже подготовлено. Снова будет существовать наша бывшая организация — он и Катек усиленно заняты этим. Все будет как прежде, только ее сотрудники должны будут иметь американское гражданство.

Я осторожно прощупал полковника, не знает ли он еще чего-нибудь относительно моей работы в Америке. Его ответ меня смутил: буду, мол, я работать учителем чешского языка в языковой школе в Пресидио-оф-Монтерей в Калифорнии. Американцы уже оформляют меня. Это была правда.

Берке тоже недавно пришел с поразившим меня вопросом: какие отношения я поддерживаю с Витом Неедлы, сыном министра Зденека Неедлы? Прошло немало времени, пока выяснилось это недоразумение: Берке, комическая фигура специалиста по Чехословакии и плохой знаток чешского языка, обнаружил где-то в моем личном деле упоминание о том, что одна моя племянница вышла замуж за человека, который в пору моего ухода из ЧСР был членом Армейского ансамбля Вита Неедлы. Ошибка Берке и его незнание привели к тому, что стали подробно проверять мое прошлое. А зачем бы Берке это делать, если бы мне не предстояла важная работа?

Многое говорило о том, что по окончании гейдельбергской школы меня отправят за океан... Только все это получилось иначе.

До конца моей учебы оставалось еще несколько недель, когда в Европу неожиданно вернулась жена. В Штатах ей все опротивело — их образ жизни и непрерывные приставания агентов Катека. Она заявила, что в Америку больше ни за что не поедет.

Я чувствовал себя обманутым. Не только потому, что так запутались все планы американцев и чехословацких органов безопасности, но и планы мои собственные — я все время тешил себя надеждой, что все же покину после стольких лет Германию и погляжу хоть немного на белый свет.

Полковник Берке, однако, принял все Верины заявления буквально и решил, что моя семейная ситуация не позволяет включить меня в первоначальный план. Поэтому

после окончания гостиничной школы я получил от него предложение занять место администратора в квартирмейстерской части штаба главного командования американских вооруженных сил в Гейдельберге.

Я не успел еще отказаться от этого предложения, когда меня нашел мой пражский связной. Он объяснил, что это чехословацкая сторона через посредство своего агента в США сама посоветовала Вере — которая, конечно, и не подозревала, с кем она говорит,— вернуться в Европу. У Праги был теперь новый план, и потому решили отдалить мой отъезд. И должность в американской квартирмейстерской части в Гейдельберге мне устроили чехи.

В такой ситуации не оставалось ничего другого, как принять предложение Берке.

Скоро я понял, почему Прага так хотела иметь на этом месте своего человека. Почти два года я как администратор встречался с сотнями высших офицеров Североатлантического пакта. В гостиницу для приезжих военных чинов в Гейдельберге прибывало много офицеров со служебными делами в главную ставку. Я познакомился здесь с рядом сенаторов США — среди прочих и с заместителем министра обороны Слезаком, американцем словацкого происхождения. Время от времени в Гейдельберге появлялись и члены испанского генералитета.

Ко всем известным личностям чехословацкие органы госбезопасности проявляли большой интерес. И здесь информация, которую я пересылал, была бесценной. Значение моей работы было не только непосредственным, но сказывалось и в пору более позднюю.

Теперь уже можно сказать, что после долгого периода покоя и бездеятельности я вновь, как говорится, на полную мощность занялся своей разведывательной работой. Меня радовало сознание того, что я снова участвую в гигантской шахматной игре, пусть даже иногда в роли беззащитной пешки, которой распоряжаются другие.

Как раз поэтому я не отказывался также и от других возможностей применения своих усилий. Свободные дни я посвящал прежде всего деятельности в NCWC (National Committes Welfare Conference) — американской католической организации по оказанию помощи эмигрантам католического вероисповедания. Кроме кардинала Спеллмана во главе этой организации стояли еще некоторые американские сенаторы-католики. Я оставался членом комитета NCWC еще с той поры, когда мне поручила это задание американская секретная служба. Теперь мое участие в этой организации не было необходимо американцам, потому что им удалось полностью захватить руководство ею, но для меня было полезно не покидать NCWC. У меня здесь была уже отлично укрепившаяся позиция, и я мог использовать немало весьма влиятельных знакомств.

Кроме того, NCWC поддерживала оживленные международные связи и ежегодно созывала католический конгресс в Кёнигштейне. Благодаря этому я имел возможность время от времени заглянуть в карты агентов разных разведок, которые точно так же, как и я, использовали для своих целей церковь.

В кругах католической организации я считался одним из идейных лидеров. Ватикан не только согласился с моей деятельностью в комитете, но впоследствии и поддерживал ее, установив, что хотя американцы и не продвигают меня на эту должность, но не имеют ничего против.

Так же инициативно и деятельно работал я в качестве вице-председателя эмигрантского общества, называвшегося Движение молодых чехословацких христианских демократов. Общество финансировалось боннским министерством общегерманских дел.

Во время одного из торжественных заседаний общества в Кёнигштейне меня вдруг осенило, что я могу еще больше укрепить доверие к себе, которым меня почтили католики-эмигранты. Я стал инициатором решения об отправке участниками заседания в их родные края манифеста, который был бы неким программным заявлением эмигрантов о борьбе с коммунизмом. Мое предложение приняли с энтузиазмом, хотя каждый здравомыслящий человек должен был бы признать, что действенность такой акции весьма сомнительна.

Когда участники заседания утвердили текст и его торжественно подписал комитет, в котором заседал и я, манифест, спрятанный в закупоренную бутылку, я бросил в Пасове в дунайские волны, которые должны были доставить его на чехословацкую землю. Этот торжественный символический акт полностью отвечал тогдашнему образу мышления святых воителей против коммунизма.

Только мало кто из них предполагал, что копию этого манифеста сотрудники чехословацкой секретной службы получили прежде, чем многие члены этого общества. А также и фотографии ораторов, представителей общества, включая и кадр с торжественной церемонией у Дуная.

Информация относительно католических организаций, которую я тогда посылал в Прагу, представляет для чехословацкой разведки ценность и по сей день. Она будет иметь значение и в дальнейшем, потому что непрерывная деятельность тайных католических организаций против коммунизма продолжается.

Во второй половине 1958 года — хотя я работал успешно, к полному удовлетворению обоих моих работодателей,— чехословацкая сторона предложила мне послать американскому главному штабу рапорт с просьбой об увольнении. потому что меня ждут новые задания. Я подал такой рапорт двум американским офицерам — Кэргелу и Тенеру, которые, однако, отказались принять его. Тогда я обратился к на-

чальнику своей части майору Дункану. Аргументировать свое заявление пришлось тем, что я журналист — мои статьи о культурной жизни в то время часто печатали некоторые немецкие газеты — и хотел бы освободиться от служебных обязанностей, чтобы заняться творческой деятельностью. Майор с этим объяснением согласился и удовлетворил мою просьбу без особых проволочек.

Между тем кто-то постарался устроить так, что освободилась должность в лагере эмигрантов «Валка» под Нюрнбергом. И я ее принял в начале 1959 года.

Лагерь «Валка» принадлежал к самым известным в Чехословакии эмигрантским центрам, потому что в начале пятидесятых годов он был заселен преимущественно чехами. В ту пору там открылась и чешская школа. Конечно, с течением времени часть эмигрантов уехала в Соединенные Штаты и другие страны, и лагерь постепенно обезлюдел. Когда поток эмигрантов почти иссяк, существование чешской школы утратило смысл и вместо нее возник Дом молодежи «Каритас»[1], официально подчиненный епископу в Бамберге. И как раз здесь я и стал новым заведующим.

Жалованье мне платило федеральное правительство в Бонне, а программу деятельности утверждала американская католическая организация NCWC. Кроме пропагандистской работы среди молодых эмигрантов-христиан я еще помогал при допросах молодых перебежчиков как переводчик и знаток географических и политических условий Чехословакии. Я завязывал личные контакты с новоприбывшими эмигрантами, что имело большое значение для оценки достоверности того, что говорили допрашиваемые.

В то время когда еще существовала контролируемая американцами международная эмигрантская организация, вести разведывательную работу среди эмигрантов было довольно легко, потому что прибывшие сюда не были слишком информированы о своих правах. Позже, особенно в начале шестидесятых годов, преобладающее большинство из них уже знало, что можно отказываться отвечать на вопросы, которые не касаются их личности или же причин их бегства, хотя, конечно, и рисковали тем, что соответствующие органы не признают за ними права политического убежища и сделают невозможной их вероятную эмиграцию в США. На протяжении двух лет я имел достаточно возможности подробно познакомиться с конкуренцией и интригами различных секретных служб.

Шпионские организации вели допросы беглецов под самыми разными предлогами. Допрашивающие ставили в разных вариантах всегда одни и те же вопросы, так что перебежчики часто даже и не подозревали, что их как будто не представляющие никакого значения невинные ответы дополняли материалы американской, английской, западногерманской и других разведок. Лиц, которые занимали ключевые позиции в чехословацкой промышленности,— эти сплошь становились эмигрантами после дорогостоящих туристских поездок во время отпуска,— допрашивали специалисты по промышленности из американской секретной службы, так называемые ловцы патентов. Только после этого их могли допрашивать остальные разведывательные организации — французская, английская и, наконец, западногерманская. Ни французская, ни английская разведывательные службы не имели в лагере своих помещений и потому отвозили допрашиваемых во Дворец юстиции в Нюрнберге.

После ликвидации лагеря «Валка» я перешел в 1960 году в заново оборудованный эмигрантский лагерь в Цирндорфе.

Мою главную деятельность там, так же как до этого в Гейдельберге, определяла, конечно, чехословацкая секретная служба. В основном это была контрольная деятельность; необходимо было все видеть и слышать, следить за тем, чем особенно интересуются западные разведки, кто из чехословаков приходит в лагерь, чтобы вовремя предупредить, обратить внимание и ознакомить с каждой существенной мелочью. За это время я послал в Прагу бессчетное число информаций, многими из которых еще и сегодня пользуется чехословацкая секретная служба.

Через два года моя деятельность в Цирндорфе неожиданно прекратилась.

Наконец-то я смог достигнуть своей цели, которую десять лет назад поставил перед собой, уходя из Чехословакии,— уехать за океан...

13 августа 1961 года я улетел на американском военном самолете из Гамбурга в США. После долгих уговоров мне удалось убедить жену забыть свои неприятные впечатления о ее пребывании там и поехать со мной. Я надеялся, что для нас начнется новая, красивая страница жизни, а для меня — интересная работа...

Цепь прервалась[2]

Когда я сошел с судна в Бремерхафене, таможенный чиновник передал мне указание ехать в Мюнхен и поселиться в отеле «Вюртембергер гоф». Потом с непостижимой быстротой последовали одно за другим события хоть и касающиеся моей особы, но ни в коей мере от меня не зависящие.

---

[1] От латинского caritas — милосердие.

[2] Краткую «американскую» главу мы опускаем: Панек фактически не успел приступить к активной деятельности в США, когда с ним произошло несчастье — паралич левой ноги. В середине 1963 года он вместе с женой выехал в Европу.

Чиновник американского генерального консульства Смит передал меня международному секретариату Союза молодых христианских демократов — как мне тогда сгодилась моя прежняя деятельность в католическом движении! — откуда я отправился далее в судето-немецкую организацию «Аккерман гемайнде», пославшую меня в Регенсбург, где я занял должность заведующего общежитием для сотрудников, приезжающих из-за границы.

Из-за недостаточной информированности я объяснял свои перемещения из одной организации в другую тем, что американская секретная служба, которая насыщала своими агентами все политические и другие организации ФРГ, распоряжается моим будущим существованием в Германии, и я не должен сам стремиться к какому-либо сотрудничеству с немцами. Последующие недели подтвердили мои предположения о продолжающемся влиянии американцев во всех западногерманских организациях, но в то же время я убедился, что куда больше мной интересовались люди, которые находились в другом лагере. Для американцев моя болезнь была непреодолимой преградой, решающим фактором. Они списали меня, хотя и не окончательно.

Изменение политической обстановки в шестидесятых годах внесло перемены и в методы работы американской секретной службы. Размах туризма позволил использовать большее число сотрудников, сделать более разнообразными возможности разведывательной работы. Американцы на первом этапе сосредоточили свое внимание на судетских немцах, потому что вполне логично предполагали, что именно они первыми поедут поглядеть на свою «старую родину», на места молодости и могилы предков.

Был создан «тихий штаб» «невидимых» сотрудников, которые могли бы получать информацию от туристов, обрабатывать ее, оценивать и передавать в соответствующие центры. Перед отправкой туристов в ЧСР они также могли и инструктировать их.

На эту работу прежде всего принимались бывшие сотрудники американской секретной службы, которые по различным причинам не уехали в Штаты. Их связывало обещание хранить тайну, которое они скрепили своей подписью перед окончанием трудовых отношений, и, разумеется, учитывался профессиональный опыт. Предполагалось, что это не будут агенты с определенным жалованьем, как в организации Катека, но скорее обыкновенные служащие ФРГ, а на американцев работающие за вознаграждение.

В этой роли должен был выступать и я. При посредничестве руководителей американской информационной службы «Американ хауз» в Регенсбурге меня вызвал на собрание бывших сотрудников полковника Катека — Уайт, тот самый Уайт, который в свое время руководил мной и производил допрос на детекторе лжи. Уайт дал мне понять, что предполагает включить меня в подготовляемую сеть доверенных американской разведки. Позже он устроил мне тщательное медицинское обследование в военном госпитале в Фюрте: врачи установили затрудненную подвижность, а это значило, что я могу выполнять только функции связного и собирателя информации.

То, что я столкнулся именно с Уайтом как со своим начальством, было знаменательно. Он видел во мне старого знакомого и знал мои деловые качества. Как раз поэтому он и решил зачислить меня в свой центр для службы либо в Вене, либо в Западном Берлине, где я снова должен был работать в фотолаборатории или же в отделе документации, классифицировать информацию, собранную туристами или агентурой. Такая работа не требовала много движений и делала возможным постоянное врачебное наблюдение. Я приветствовал это предложение.

Уайт добился, чтобы я прошел испытания, которые были необходимы для поступления на специальную службу в американской армии в Западной Германии. Я заполнил длинную анкету с бесчисленными назойливыми вопросами обо всем на свете. Снова сел на стул детектора лжи во Франкфурте; вопросы повторялись те же, что мне задавались несколько лет назад, с той только разницей, что их было гораздо больше. Проверка прошла отлично — несмотря на то, что я снова в полную силу сотрудничал с чехословацкой разведкой.

Состояние моего здоровья не позволяло мне слишком много движений, но я все же не был настолько плох, чтобы прекращать функции связного чехословацкой секретной службы в ФРГ. Напротив, очевидная с первого же взгляда серьезная болезнь и служба заведующего общежитием были отличными предпосылками для выполнения таких функций.

Иностранные рабочие, живущие в общежитии, работали на разных промышленных предприятиях города и его окрестностей. Это были сплошь люди, которые не знали немецкого,— испанцы, итальянцы, турки, алжирцы, марокканцы, югославы,— они часто менялись, приезжали и уезжали. Они и друг с другом-то не общались, не знали даже тех, кто жил с ними по соседству в комнате. Общежитие помещалось в большом длинном строении, которое при Гитлере служило казармой летчикам. Входить туда можно было через десять входов, причем каждый имел доступ на чердак. В этом здании я и жил. Как связного меня кто угодно и когда угодно, днем и ночью, совершенно незаметно мог посетить и отдать на хранение материалы, о дальнейшей судьбе которых я легко мог позаботиться сам.

После успешной проверки на детекторе лжи американцы вызвали меня в Гейдельберг, где Уайт подверг меня еще испытаниям психологическими тестами. В конце 1964 года в фотолаборатории в Мюнхене он удостоверился в моих фотографических и кар-

тографических познаниях, был удовлетворен результатами всех проверок и улетел в Штаты, где, очевидно, хотел получить окончательное согласие на мое зачисление на специальную службу в американской армии, дислоцированной в Германии.

Возвратившись из Штатов, он мне несколько раз звонил по телефону. Тем временем состояние моего здоровья стало ухудшаться, о чем Уайт, вероятно, узнал от некоторых чиновников американской информационной службы «Американ хауз» в Регенсбурге. И вдруг он окончательно замолк. Вблизи своего дома я, правда, несколько раз замечал его служебную машину, которая меня когда-то возила на собрания в Мюнхен,— Уайт или какой-то его сотрудник контролировали мое место жительства.

Из всех этих деталей я делал логический вывод: ухудшение моего здоровья помешало Уайту добиться разрешения вовлечь меня в активную деятельность американской секретной службы.

По правде говоря, я и не очень огорчился.

С каждым годом все больше росла усталость, проявлялись обычные признаки старения, усиленные к тому же комплексами, вызванными болезнью. Как ночные кошмары, меня донимало одиночество. Жена ушла от меня... мы перестали понимать друг друга.

Все чаще вспоминал я о дочери — я не видел ее семнадцать лет, а она меня вообще не знала. Между нами — непреодолимая стена моей профессии и моего прошлого. Я не имел права переступить эту разделяющую нас черту, не смел самовольно нарушить законы, по которым жил.

Итак, я просто жаждал спокойствия, радостей и забот обыкновенного человека. Мне так хотелось иметь под ногами твердую почву, не озираться то и дело, проверяя — не следит ли кто за мной. Ночью я хотел засыпать с уверенностью, что пробуждение не принесет мне никаких неожиданностей.

Но даже эти скромные желания были для меня невыполнимы. Между тем...

В начале ноября 1965 года рано утром у меня зазвонил телефон. Мужской голос на другом конце провода коротко представился:

«Говорит Вагнер... Сегодня утром состоится торжественная месса в регенсбургском соборе... Вы должны непременно прийти...»

Я заверил, что он может надеяться, и сделал это самым спокойным голосом. Я положил трубку и тут же бессильно упал в кресло. Пароль, который я услышал по телефону, прозвучал как гром среди ясного неба. Он означал, что я должен немедленно уничтожить все материалы, которые у меня есть, и безотлагательно отправляться в путь — на Прагу.

Это был сигнал тревоги, крайней опасности. Где-то между моими сотрудниками произошло короткое замыкание. Кто-то застрял в сети ловушек. Цепь прервалась. Отыскивать, где произошло замыкание, не было моей обязанностью. Не смел я и колебаться и терять зря время. Я отдавал себе отчет, что дело не только в безопасности моей особы, но и целого ряда людей, которых я как связной чехословацкой секретной службы знал, включая их адреса и задания.

Меня охватила паника. Что, если к моему дому уже направляется машина с сотрудниками американской контрразведки, которые меня арестуют? Я подошел к картине, висевшей на стене против двери. Отклеил ее заднее покрытие, вынул оттуда несколько дисков микрофильмов и быстро сжег их. В квартире теперь не осталось ничего компрометирующего. Поспешно оделся. Поглядел на часы — они подтвердили, что предупрежден я был вовремя, что еще успею утренним поездом выехать в Вену.

С маленьким чемоданчиком в руке я поспешил к вокзалу. Мой американский паспорт не требовал австрийской визы, что было одним из преимуществ моего недолгого проживания в Соединенных Штатах. Исполненный невыразимого страха и тревоги, я через несколько часов прибыл на Западный вокзал Вены.

Всю дорогу я мысленно повторял подготовленную легенду: я еду к своему венскому другу, католическому священнику Бауэру. Ведь я на свете один как перст, жена от меня ушла, и я вдруг сильно затосковал по своим старым друзьям, с которыми провел долгие годы в изгнании. Легенда, однако, не потребовалась. Американцы обо мне, очевидно, еще ничего не знали. В тот момент, когда я получил сигнал к бегству, они только начали допрос арестованного чехословацкого агента, который отчасти знал о моей тайной деятельности и мог своими показаниями поставить меня под угрозу.

В Вене я в несколько минут получил чехословацкую визу. На вокзале один из сотрудников сунул мне в руку билет и шесть плацкарт: я понял, что в купе буду один.

Все шло хорошо, по давно составленному плану. Работа каждого агента требует заблаговременно продумать и способ его безопасного отхода. Ничто не должно быть предоставлено случаю, и я — так же, как и другие,— знал, как должен себя вести при бегстве, в котором мне будут помогать несколько человек. В зубчатой передаче спасательной акции ничто не заело; итак, я уже сидел в венском экспрессе, который уносил меня из зоны опасности.

Через неполных три часа я услышал на границе республики чешскую речь:

— Паспортный контроль... Документы, пожалуйста...

Таможенный служащий даже не поинтересовался моим скромным багажом. Только окинул меня взглядом и сухо произнес:

— Благодарю. Счастливого пути!

Я открыл окно. Возле вагона стояло несколько сотрудников госбезопасности в форме. Я услышал, как один из них сказал:

— Опять какой-то деятель...

Я рассмеялся. Деятель...

Рано утром 9 ноября 1965 года я вышел из вагона на главном вокзале Праги. Едва только я ступил на перрон, как сразу же встретил в толпе знакомое лицо — Карла. Шнейдера. Сделав несколько шагов, я буквально упал в объятия своего «учителя Карла», который здесь, в Праге, отказался от фальшивого немецкого имени, но не от заботы обо мне.

— Приветствую вас на родине, доктор,— поздравил он меня и принялся успокаивать, видя, как я расчувствовался.

Он вел меня потихоньку мимо вокзальных зданий, нес мой чемоданчик и дал мне время прийти в себя.

Перед вокзалом нас ждала темно-синяя «волга». Меня сразу же охватила паника, тяжело опираясь о палку, я сдавленным голосом спросил:

— Куда мы поедем? В Панкрацкую тюрьму?

— Что вы, доктор... За кого вы нас принимаете?.. Я уверен, что вам когда-то очень хотелось еще хоть раз пройтись по Вацлаваку. Вам по-прежнему хочется этого?

Я утратил способность произнести хоть слово. «Волга» медленно проехала по Вацлавской площади, и потом мы вернулись по другой ее стороне к музею. Я вышел с другом на парапет и смотрел на статую святого Вацлава и дальше — на пробуждающийся город.

Потом Карл отвез меня в уютную, хорошо натопленную комнату в одном из особняков министерства внутренних дел; когда я хорошенько высплюсь, мы пойдем на прогулку и опрокинем по рюмочке.

В предвечерний час мы поставили нашу машину на Староместской площади и зашли в винный погребок «У золотого кувшина» на Мелантриховой улице. В ту ночь мы распили не одну бутылку красного вина. По соседству пили какие-то американцы — они, вероятно, очень бы удивились, если бы узнали, с кем сидят почти за одним столом.

На следующий день в чехословацких газетах появилось короткое сообщение:

«Возвращение бывшего чехословацкого дипломата.

Прага. 9 ноября. (ЧТК) Во вторник возвратился в Чехословакию после семнадцати лет пребывания в ФРГ и США Михал Панек, бывший чехословацкий дипломат.

За границей он активно работал как функционер эмигрантских организаций и как сотрудник американской службы шпионажа».

Через несколько дней я переехал в небольшую однокомнатную квартиру. Теперь я живу в Праге со своей дочерью и внуком. Наконец я дождался простого человеческого счастья.

БОРИС ГАЛАНОВ

ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ

Заметки о современном западном кино

Экран-71.. Какой он сегодня? Какие проблемы волнуют кинематограф буржуазных стран (а речь в этих заметках пойдет о нем)? В каком направлении ему развиваться и двигаться дальше?

Однозначным ответом здесь, конечно, не обойтись. Слишком сложен современный мир. Слишком много людей доброй и отнюдь не доброй воли нынче распоряжаются судьбами фильмов и кинопроизводства. Да и сами художники поразному судят о положении человека в современном обществе. И о задачах кинематографа, разумеется, тоже.

Режиссер, набивший руку на изготовлении «розовых», развлекательных комедий, будет лезть из кожи, стремясь внушить нам, зрителям, что мир совсем не дурно устроен, что жить на земле можно беспечно и весело, как живется героям его непритязательных комедий.

А вот Федерико Феллини в новом своем фильме «Клоуны» с грустью утверждает прямо противоположное: веселый смех все реже и реже раздается на нашей планете. Покинули арены цирков великие клоуны, те, что умели заставить смеяться род человеческий. Разыскивая их следы, Феллини посещает цирки Парижа и Рима. Печальное путешествие! Недаром же один французский критик назвал фильм Феллини «Реквием по исчезнувшему миру». Одни клоуны давным-давно умерли, другие, состарившись, прозябают в забвении. А новые? Дождемся ли их когда-нибудь?

И англичанин Альберт Финни, постановщик горько-иронического «Чарли Баббла» (его показывали на VII Международном Московском кинофестивале), заставит своего героя в финале фильма — то ли во сне, то ли наяву — вдруг взять да и взмыть в небо на громадном оранжевом воздушном шаре, чтобы никогда больше не возвращаться назад на землю. Жить на земле ему невесело, а

Федерико Феллини на съемках фильма «Клоуны».

писать свои книги (я не предупредил, что Чарли Баббдз — известный, преуспевающий писатель) и вовсе наскучило.

Я думаю, что, сравнивая между собой не только отдельные фильмы, но и состояние кино в старейших кинематографических державах, мы увидим, как трудно будет подвести некую общую черту. Слишком различны слагаемые. На минувшем Каннском фестивале французская кинематография выступала, например, сразу с шестью фильмами (из них четыре конкурсных). Однако, к огорчению хозяев фестиваля, ни один французский фильм не был отмечен премией. Я видел все шесть. Эстетизация старины, психологический детектив, коктейль из вестернов и комедий плаща и шпаги... Мило, занятно, трогательно, изящно. Иногда, как в фильме «Рафаэль развратный», мелодраматическая подделка под Мюссе с любовным обыгрыванием интерьеров и дамских мод середины прошлого века. Иногда, например, в фильме Луи Малля «Слабое сердце» (сам режиссер охарактеризовал его как историю сексуального воспитания подростка), с оттенком публичного скандала, с преднамеренным желанием шокировать своих зрителей. Но в общем ничего сколько-нибудь примечательного. Как будто тень усталого, разочарованного Чарли Баббдза все время бродила где-то рядом, как будто заняться жгучими остросоциальными проблемами и впрямь не было охоты, и на смену таким фильмам пришли изящные безделки, ставящие чуть ли не единственной своей целью поразвлечь публику.

Серьезные фильмы критического направления вроде «Убийц именем закона» Марселя Карне сейчас редки на французских экранах. Да они и не в большой чести. По 20-балльной системе, которую установил журнал «Синемонд» и согласно которой семь известных французских кинокритиков ежемесячно на страницах журнала выставляют свои оценки новым фильмам, «Убийцы именем закона» получили весьма низкую оценку, не набрав даже восьми баллов. Еще тревожнее другое — многие признанные мастера социального, политического кинематографа в последнее время отходят от него или же под предлогом социального анализа преподносят чисто развлекательные истории. Рене Клеман, постановщик почти классической «Битвы на рельсах», на этот раз в Канне показал весьма посредственный детектив «Дом под деревьями». А перед этим он тоже сделал детектив «Пассажир, пришедший из дождя». И хотя критика отозвалась об этом фильме как о ювелирной работе, где механизм действует с удивительной точностью, Самюэль Лашиз в «Юманите диманш» пришел к следующему невеселому заключению: «То, что режиссер класса Рене Клемана вынужден ради хлеба обращаться к такому банальному сюжету... говорит куда больше о положении французского кино, чем самые длинные речи». Боюсь, что «Дом под деревьями» не прибавил ничего нового к оценке критика.

Разумеется, все это отнюдь не означает, что во Франции социальный, политический кинематограф сейчас вообще отсутствует. Он есть. Ему посвящает свои усилия большая группа молодых, талантливых кинематографистов. Подробный анализ их творчества дал на страницах журнала «Имаж э сон» французский критик Робер Грилье, чья статья недавно перепечатана в журнале «Искусство кино». Но работать в кино тем, кто упрямо идет против течения, выбранным ими путем, нелегко.

У меня в памяти еще свеж пример молодого французского режиссера Паскаля Обье, постановщика фильма «Вальпараисо!.. Вальпараисо!..» — злой сатиры на гошистов, так во Франции называют троцкистов, левых фразеров, крикливых сторонников анархических действий, которых Обье, откровенно пародируя приключенческие ленты, сравнивает с персонажами доморощенных детективов. Главный герой фильма — модный поэт-интеллектуал Балтазар — фигура характерная. Он сочувствовал испанским республиканцам и в разгар гражданской войны, кажется, сам побывал в Испании. С тех пор, как мне рассказал о своем герое Паскаль Обье, Балтазар носит берет Хемингуэя и курит любимые сигареты Мальро. Кроме того, он сочиняет стихи о любви и революции, которые имеют успех в домах вполне обеспеченных и преуспевающих друзей Балтазара: «Пока на земле останется хоть один король и хоть одна корона, мы будем революционерами». Впрочем, сам Балтазар вполне искренен и честен в своем намерении служить революции. Однако он абсолютно оторван от реальной действительности и очень плохо представляет себе, что же происходит в его собственной стране. Вот почему он так легковерно прислушивается к демагогическим призывам гошистов делать революцию повсюду, где остался еще хоть один пролетарий, и с такой наивной готовностью снаряжается в Латинскую Америку, где, по уверениям его новых друзей, станет вождем революционеров.

Безошибочно точно сделан финал фильма: в порту Гавра, спеша на корабль, отплывающий в Вальпараисо, Балтазар враждебно и отчужденно пробирается сквозь толпу бастующих докеров. Ему нет до них дела. А в этот момент с экрана, как призыв и как сигнал к борьбе, звучат мощные звуки «Варшавянки», старой песни революционных рабочих.

В фильме Обье причудливо соединились элементы политического плаката с откровенным гротеском и буффонадой. В нем много злободневных политических намеков, хорошо понятных французскому зрителю. В дни Каннского фестиваля я видел, как молодая, темпераментная аудитория смехом, аплодисментами встре-

чала острые реплики героев. Фильм демонстрировался в Канне в дни фестиваля, на Московском кинофестивале, однако на экраны Франции он в ту пору так и не был выпущен. Однажды высказанное мнение о том, что кино должно быть антиусталостью как в смысле комфорта в кинозале, так и в отношении фильмов, по-видимому, стало распространенным. Ведь и популярная актриса Мишель Морган, которая в середине 30-х годов прославилась своим участием в остросоциальных фильмах, начиная со знаменитой «Набережной туманов», нынче в качестве Madame la presidente жюри Каннского фестиваля заявила корреспондентам: «Пусть в кино нам дадут возможность дышать и переводить дыхание. Место улыбке».

Увы, призыв к передышке, к созданию «комфортабельных» фильмов на деле обернулся для французского кино затяжным драматическим кризисом, который коснулся всех или почти всех жанров, в том числе и комедии. Пожалуй, она даже раньше других опустилась до уровня коммерческого, чисто развлекательного зрелища, не заключающего в себе сколько-нибудь серьезных идей и мыслей.

И здесь по контрасту уместно обратиться к кинематографии Италии и США, где в искусстве кино за последнее время произошли заметные сдвиги. Но сначала о прогрессивном кинематографе США.

В 1970 году на Венецианском кинофестивале зрители дружно аплодировали двойному дебюту молодой американки Барбары Лоден, выступившей одновременно в качестве постановщика фильма «Ванда» и исполнительницы заглавной роли. Правда, сравнивая декларацию постановщика с тем, что мы увидели на экране, приходишь к выводу, что фильм получился гораздо скромнее первоначального замысла — показать современное общество, где люди разделены на богатых и бедных, где коммерческое искусство и «массовая культура» унижают человека и затемняют его сознание, где проповедь христианства соединяется с пропагандой войны и пуританство — с проституцией. Однако история молодой женщины, трогательной и жалкой, упрямой и покорной, в конечном счете беззащитной и бесконечно одинокой в людской толпе, так и не нашедшей счастья в личной жизни, прилепившейся к бандиту и обреченной на гибель в этом жестоком, равнодушном мире, была рассказана Барбарой Лоден с беспощадной правдивостью. Я еще не видел тогда фильм Сиднея Поллака «Загнанных лошадей ведь пристреливают?..». Но, в сущности, «Ванда» рассказывала о том же — о судьбе женщины, не выдержавшей тягости жестокого, бесчеловечного марафона, сломленной, растоптанной, сошедшей с круга. И рассказывала в той сдержанной, без тени сентиментальности манере, когда глаза остаются сухими, но горло не раз перехватывает ярость.

Фильмы Барбары Лоден и Сиднея Поллака можно считать типичными для целого направления современного американского кино, тяготеющего к социальной тематике и в последнее время даже начинающего теснить традиционных рекордсменов американского экрана — вестерны, фильмы ужасов и т. д. В чем же причина этих перемен, которые американские режиссеры, приезжавшие на Московский кинофестиваль, в беседах со своими советскими коллегами даже называли своеобразной революцией в американском кино?

Критики и социологи, анализируя современную аудиторию американских зрителей, указывают на омоложение ее состава, на бо́льшую ее разборчивость в выборе фильмов, на малочисленность по сравнению с той, которая еще несколько лет назад поддерживала старую голливудскую империю. Если в 1947 году в кино еженедельно ходило 87 миллионов американцев, то год-полтора назад кино посетило всего 15 миллионов. Раньше люди ходили вообще в кино, проницательно заметил один американский киноделец, теперь они идут смотреть какой-то определенный фильм.

Примем эти рассуждения за следствие. А причина изменившегося отношения к кинематографу кроется, по-видимому, в тех бурных процессах, которые происходят сейчас в самом американском обществе, где все более массовый характер приобретает движение протеста против войны, борьба за социальный прогресс и гражданские права. Молодые люди, нередко выступающие в авангарде этой борьбы, ищут в кино отражения молодежной темы. И постановщик фильма, отнюдь не чуждый бунтарских настроений молодежи, непосредственно обращается к этой аудитории. Новое кино ставит под вопрос старое. Как писал журнал «Ньюсуик», меняется среда, обстановка, сам герой: «Новые фильмы фокусируют внимание не на каком-то фантастическом студийном ландшафте, а на площади Таймс-сквер, на Куинс-бульвар, на подвалах, кегельбанах и дворах средней Америки... В этих фильмах действуют мужчины, чья заурядная внешность всего десяток лет назад обрекла бы их на второстепенные характерные роли,— как хилый лысоватый Джек Никольсон или отнюдь не эффектный Дастин Хоффман (мы видели его на Московском фестивале в фильме «Маленький большой человек»),— и проявляют заметный талант новые актрисы, чья нестандартная красота столь же непривычна, как и роли, которые они играют».

Дополняя этот перечень, можно назвать имя Джейн Фонда, чья обществен-

«Рафаэль развратный», режиссер Мишель Девилль. Небольшая роль сенатора в этом фильме стала последней ролью Жана Вилара.

ная позиция непосредственно связывается с ее работой в кино. После ослепительной «Барбареллы», где усилия режиссера Роже Вадима были сосредоточены на том, чтобы утвердить за актрисой репутацию новой сексбомбы, для американцев было неожиданным ее появление в фильме Сиднея Поллака в роли Глории. Ведь внешние данные актрисы тут никак не эксплуатируются режиссером, и внимание целиком сосредоточено на драматургии внутреннего действия.

Итак, переоценка господствующих жизненных ценностей, морали, привычек, отношений человека и общества. В Канне демонстрировался фильм «Поезжай, говорит он» Джека Никольсона, одного из молодых американских актеров и режиссеров, чья гражданская совесть сегодня разбужена. Герой фильма Габриэль симулирует безумие перед медицинской комиссией, чтобы избежать службы в армии. Он готов расплатиться за это сумасшедшим домом, тюрьмой. Вся Америка представляется ему тюрьмой. Он один из тех новых героев американского кино, о которых знаменитый актер Пол Ньюмен как-то сказал: «Старые герои обычно защищали общество от его врагов. Теперь этот враг — само общество».

Парадоксальность нынешнего этапа развития американского кино заключается, между прочим, в том, что новые эти веяния заметно сказались на кинобизнесе. Самые влиятельные кинокомпании, которые никак не упрекнешь в пристрастии к молодым бунтарям, нынче вынуждены скрепя сердце взяться за финансирование и таких фильмов, которые им прямо противопоказаны. Постановка дорогостоящих боевиков с популярными кинозвездами в главных ролях при нынешних запросах американских зрителей оборачивается сплошными убытками, тогда как остросоциальные фильмы, бросающие вызов всем устоям, обещают большие коммерческие барыши.

Новые тенденции американского кино выражаются сегодня в фильмах не только талантливых молодых режиссеров, но и мастеров старшего поколения, постановщиков многих известных картин, чьи общественные, художнические позиции и прежде внушали симпатии и уважение.

На Каннском фестивале среди самых значительных оказался фильм «Джонни дали винтовку» Дальтона Трамбо, того самого Трамбо, который в годы наступления маккартизма в числе десяти прогрессивных деятелей американского кино

«Благослови детей и зверей», режиссер Стэнли Крамер.

был занесен в «черные списки» Голливуда, что практически означало для всех десяти исключение из списка действующих — пишущих сценарии, снимающих и ставящих фильмы. Теперь 66-летний маститый кинодраматург впервые выступил в роли режиссера, экранизировав свою повесть. О фильме Трамбо мне уже довелось однажды писать. Здесь хотелось бы напомнить, что у книжного и экранного Джонни был реальный прототип — английский сержант, в конце первой мировой войны доставленный в госпиталь с таким тяжким ранением, что его близким решили даже не сообщать о том, что он жив. И в фильме Джонни тоже умер для родителей, для всего мира. Он был вычеркнут из числа живых. А между тем он жил, жил, навечно прикованный к больничной койке, под марлевым абажуром, скрывающим обезображенное лицо,— слепой, глухой, лишенный дара речи, изолированный от внешнего мира. Больной или узник? Герой войны или ужасное о ней напоминание? Такое ужасное, что беднягу Джонни и впредь лучше скрывать от людей.

Те, кто дал Джонни винтовку, послал его на фронт империалистической войны, остались за кадром. Их нет среди других персонажей. Но они-то и являются главными обвиняемыми. Их-то художник и вызывает на суд общества в своем сильном антимилитаристском фильме.

Впрочем, если встать на позиции тех, кто дал Джонни винтовку, он, пожалуй, и окажется единственным обвиняемым, потому что плохо воспользовался доверенным ему оружием. Ведь если ты начал игру, то для того, чтобы выиграть ее. Если ты научишься хорошо обращаться с оружием, оно поможет тебе уничтожить врага. Оно станет твоим другом. Это правило игры так или примерно так сформулировано в новом фильме Стэнли Крамера «Благослови детей и зверей». Я не собираюсь проводить аналогии между двумя этими фильмами. Они очень разные. И всякие аналогии неизбежно показались бы искусственной натяжкой. Я хочу сказать о другом. С точки зрения стопроцентных, не знающих сомнений и колебаний американцев, которых вывел в своем фильме Крамер, Джонни тоже оказался бы никчемным, бесполезным, ненужным человеком. Таким же, как ше-

«Вальпараисо!.. Вальпараисо!..», режиссер Паскаль Обье.

стеро подростков из фильма Крамера, не сумевших выдержать в летнем юношеском лагере в Аризоне испытание «на прочность».

Зачем воспитатель решил показать им охоту на бизонов? Чтобы укрепить в мальчиках мужество и решимость. Но результат получился прямо противоположный. Мальчики пожалели беззащитных и, как им объяснили, все равно обреченных на вымирание, бесполезных животных, которых так эффектно, так празднично расстреливали бравые охотники. У всех шестерых даже зародилась безумная идея выпустить бизонов на свободу. Человечность они противопоставили бесчеловечности, гуманные чувства — миру насилия, где загнанных лошадей ведь пристреливают. Джонни дали винтовку, и его собственная вина и беда, что он не сумел ею воспользоваться как надо. Посмотрите, сколько «штатских» людей в фильме Крамера носят оружие. Как они метко целятся, как хладнокровно убивают и бизонов и мальчика, который вздумал освободить бедных животных. И если говорить о «сверхзадаче» художника, то вспомним здесь слова самого Крамера, сказанные им в одном интервью: в этом фильме речь для него шла и о выстрелах в Кенте, и о Сонгми.

Само собой разумеется, что, как бы энергично ни развивалось прогрессивное направление в американском кино, попрежнему на кинорынок пачками выбрасываются изделия «массовой культуры» и в колоссальных масштабах ведется откровенная пропаганда войны и насилия, процветает оголтелый антисоветизм и антикоммунизм в его самой грубой и вульгарной форме. К постановке модных нынче фильмов, где разоблачаются происки «красных» агентов, стараются привлечь знаменитых режиссеров. Их список возглавил Альфред Хичкок, мастер фильмов ужасов, на этот раз поставивший антисоветскую фальшивку «Топаз», героем которой является перебежчик из Советского Союза, расстраивающий козни русских агентов в Америке и во Франции.

Еще один фильм из той же шпионской серии — «Председатель». Место действия — Китай, куда заброшен американский разведчик с заданием похитить китайского ученого-атомщика, за каждым шагом которого следит сам председатель Мао, или же, на худой конец, выкрасть схемы и чертежи. В свое время такого рода фильмы откровенно были рассчитаны на определенную провокационную роль. Дело в том, что по воле авторов фильма действия американской разведки ведутся в самом тесном контакте с советской разведкой и с ее ведома. Избитый тезис китайской пропаганды о тайном сговоре Америки и России против Китая как

«Стратегия паука», режиссер Бернардо Бертолуччи.

бы получал здесь «доказательство». И опять-таки на дешевую голливудскую поделку зрителей приманивали не только «сенсационным» сюжетом, но и популярным именем. На этот раз актера Грегори Пека. Несколько лет назад я видел его в фильме, снятом по известному роману «Убить пересмешника...». С тех пор для меня и, наверно, не только для меня образ актера надолго соединился с образом благородного, смелого, неподкупно честного адвоката Аттикуса Финча, которого он сыграл. Тем большее огорчение доставила мне нынешняя встреча с Грегори Пеком в фильме, унижающем его талант и его имя.

Справедливости ради надо сказать, что произведения вроде «Топаза» или «Председателя», как правило, не прорываются на экраны больших международных кинофестивалей из-за своей одиозности, а часто и скандальной репутации. Но зато в сети коммерческого проката, наряду с чисто развлекательными лентами, кровавыми детективами и порнографическими фильмами, им обеспечены наиболее выгодные условия показа. Ведь это с их помощью кино ведет наступление на массового зрителя, в определенном политическом духе его воспитывает, не только потрафляя мещанским вкусам, но и культивируя такие вкусы.

Сейчас на Западе много говорят и пишут о «вседозволенности». Некоторые видят в этом чуть ли не начало новой эры в кинематографе: полное его раскрепощение, освобождение от всяких нравственных пут.

Но о чем, собственно, идет речь?

В первую очередь об изображении на экране всякого рода насилий, зверств, порнографии, сексуальных извращений.

Когда-то Илья Эренбург в своем нашумевшем памфлете «Фабрика снов», перечисляя штампы буржуазного, коммерческого кинематографа, писал, что созерцание голого колена красавицы, переодевающейся за ширмой, такой же обязательный элемент, как погони, драки, слезы. Дела давно минувших дней! В наш не слишком-то стыдливый век ширмы убрали вовсе, красавиц оставили, и не только раздевающихся. Появилось даже новое жанровое определение «сексэксплуатация», «сексэксплуатационный фильм», то есть фильм, где на первый план выдвигается публичное изображение полового акта, а все остальные эпизоды не имеют сколько-нибудь существенного значения. Ратуя за «чистоту» жанра, сторонники такого рода фильмов всерьез доказывают, что эксплуатация

БОРИС ГАЛАНОВ
ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ

секса здесь так же правомерна, как, скажем, в жанре комедии — эксплуатация одних лишь комедийных положений и ситуаций. Ведь никто не упрекает за это комедиографов. Сетуют же о другом, горюют, что сексфильм еще не имеет своих великих режиссеров, своих Гриффитов, что до сих пор никто еще не создал эротического шедевра в кино. Шедевры чувственности были. Шедевра секса нет.

Так или иначе, а подпольное кино вышло из подполья. Теперь его показывают не в подозрительных забегаловках и не на специальных дополнительных сеансах после полуночи для приглашенных. В Канне порнофильмы широко демонстрировались и не менее широко открыто рекламировались (с ударением на самых соблазнительных сценах) шведские, датские, западногерманские, японские, целая обойма новых американских порнографических лент.

Конечно, всякий содом имеет свои оттенки. И нынешний «сексуальный взрыв» на Западе — тоже. Порнофильмы снимают и циничные коммерсанты, любители легкого заработка, обратившие секс в статью дохода и твердо убежденные в том, что чем откровеннее будет воспроизведен на экране половой акт (как в американском фильме «Эротические грезы Казансвы»), тем прибыльней для кармана; снимают анархически настроенные бунтари, которые под флагом обличения «стерильной» буржуазной любви преподносят зрителям откровенную порнографию; полулюбительские ленты снимают незрелые юнцы, уверовавшие в то, что «сексуальная революция» чуть ли не означает ниспровержение существующих порядков. Есть во всем этом определенное намерение — оглушить, одурачить зрителя, в первую очередь зрителя молодого, под предлогом обсуждения проблем сексуальных отвлечь от обсуждения жгучих проблем и противоречий действительности. Но нередко прибивается к порнокинематографу и заблудившийся, запутавшийся, растерявшийся художник, который, опасаясь оказаться «заживо погребенным», хватается за модную тему секса.

Впрочем, и в фильмах, как будто бы осуждающих порнографию в искусстве,— а один из них, «Кожа сатаны», я видел,— по существу, используется весь привычный арсенал сексэксплуатационного фильма. Не знаю, что должно было послужить в той же «Коже сатаны» главной приманкой для зрителей: благородные, но, увы, постные, скучные пуритане (действие фильма развертывается в XVII веке), неукоснительно преследующие разврат, оргии и порожденную сатаной распущенность нравов, содержащую прямые аналогии с днем сегодняшним, или же изображение сцен грубого насилия и сатанинской распущенности?

Надолго ли сохранится засилие секса в буржуазном кино? Вопрос чисто риторический. Появившись на экране чуть ли не одновременно с изобретением кинематографа, секс всегда считался товаром, имеющим широкий спрос. Журнал «Филмз энд филминг» засвидетельствовал, что на побережье Англии до сих пор еще можно посмотреть в кинескоп «Что видел дворецкий?» — блеклое, с крупным зерном изображение раздевающихся красавиц — праотца современного стриптиза.

И тем не менее «вседозволенность» приедается. Сколько бы ни пророчествовали насчет пришествия в сексэксплуатационный фильм своих Гриффитов и Орсонов Уэллесов, талантливым художникам в мертвой пустыне антиискусства делать нечего.

Для многих оказался весьма неожиданным сюрпризом шумный успех книги, а затем и фильма «История любви», до той поры почти никому не ведомого молодого американского писателя Эриха Сигала. Этот весьма банальный, но зато весьма чувствительный фильм по числу зрителей, его посмотревших, стал настоящим рекордсменом. Эрих Сигал в одно утро проснулся знаменитым. Однако есть определенная закономерность в том, что слащавый фильм о любви сына богатого бостонского банкира и скромной дочери булочника-итальянца, на которой юноша женится вопреки воле отца, а она вскорости умирает от лейкемии, так и не успев полностью насладиться привалившим ей счастьем, что этот фильм (люди приходят смотреть его, предварительно запасшись большим носовым платком) стал своего рода знамением времени. Что же здесь привлекает? Извечная сказка о Золушке, на этот раз заокеанской? Наверно, отчасти и это. А может быть, повторившаяся в обновленном варианте печальная история Маргариты Готье — «Дамы с камелиями»? Но главное, фильм этот, рассказывающий историю чистых и даже по-старомодному сентиментальных отношений двух молодых людей, воспринимался как своеобразная реакция на бесчисленные порнофильмы или, как писали о нем зарубежные газеты,— романтическое приукрашивание отнюдь не романтической действительности.

Герой порнофильма если и заслуживает упоминания, то как одна из разновидностей столь распространенного на Западе антигероя. К целой веренице антигероев порнофильм добавляет своих — крепких, бездуховных молодцов, о которых мы знаем только одно: едва повстречавшись с ними, женщины сами начинают их поспешно раздевать. А следом появляются страдающие половым бессилием юнцы, которых лечат наперебой и добродетельные женщины и проститутки. Затем — грубые, жестокие насильники, как в японском фильме «Секс-Джекки»

или же, напротив, как в скандальном датском фильме «Тихие дни в Клиши» — нервные, мечущиеся, страдающие от всевозможных комплексов молодые люди, словно бы взятые в этот порнофильм напрокат у режиссеров «новой волны». Собственно говоря, почти во всех без исключения порнофильмах жестокости и насилия хватает с лихвой, так что они давно уже перестали считаться привилегией одних лишь жестоких лент. А те, в свою очередь, изображая сцены любви, не гнушаются порнографией. Да и сами сцены любви в жестоких фильмах становятся лишь новым подтверждением вопиющей бессмысленности, грубости жизни, животных инстинктов, насилия.

Среди фильмов, демонстрировавшихся в дни Каннского фестиваля, едва ли не самым жестоким, я бы добавил — вызывающе, отталкивающе жестоким оказался фильм Фернандо Арробаля «Да здравствует смерть». Недаром кто-то из рецензентов полушутливо, полусерьезно советовал тем, кто отправится смотреть этот фильм, предварительно выпить для бодрости стакан вина. Действие фильма развертывается как бы в двух планах: реальном и воображаемом. Но от того, что только половина событий происходит наяву, зритель не испытывает никакого облегчения. Тем более что страшные, кошмарные видения в духе Сальватора Дали родятся в голове мальчика, совсем еще ребенка, который, пережив трагедию гражданской войны в Испании, арест франкистами отца-революционера и заподозрив в предательстве свою мать, представляет себе отвратительные шабаши с ее участием. И даже любовь рисуется ему как акт скотоложества. Хотел того Арробаль или не хотел, но маленькому герою фильма он не оставил ничего привлекательного, детского. Юный Фернандо по существу такой же антигерой буржуазного кино, как и многие другие, лишенные чувства гуманности и человеческой общности.

Нередко авторы этих жестоких, странных, модернистских фильмов заявляют о своем намерении обличать язвы и пороки буржуазного общества. Есть социальный, политический подтекст у Арробаля. Но какой усложненный, головоломный кинематографический язык и он и другие постановщики избирают, какими модернистскими ухищрениями пользуются и наконец каких неприятных героев выводят на экран, чтобы поведать нам, зрителям, истории, больше смахивающие на тяжелые клинические случаи и подлежащие скорее вниманию врача-психиатра, чем художника.

Фильм «Скрывшийся человек» испанского режиссера Альфонсо Унгриа предваряет эпиграф: «Как увидеть огонь свечи, которая погасла?» Мы не знаем, что заставило героя фильма запереться в своей комнате. Да это и не имеет существенного значения. Достаточно простого намека. Страшный, жестокий мир за стенами дома обрек человека на добровольное заточение. А дальше, с завидным усердием, режиссер копается в душе своего героя и нескольких близких ему людей, таких же больных, изломанных, как и главный герой. И вот мы погружаемся в странный мирок мелочных дел, вечных дрязг, бессильных желаний, страхов и подозрений, туманных полунамеков и обрывков фраз, когда пустоту бытия, оказывается, нечем заполнить и стрижка ногтей на ногах (изображенная крупно, во всю ширину экрана), а затем собирание остриженных ногтей в специальную коробку превращается в событие первостепенной важности.

В конечном счете общественный пафос фильма приглушается, выхолащивается, подменяется нудным, назойливым копанием в тайниках больной души. Погасшая свеча осталась погасшей свечой. Трагедия человека, вступившего в конфликт с обществом, по существу не обернулась ни трагедией, ни драмой. Зато гадливое чувство к герою окрепло.

Во французском фильме режиссера Кристиана де Шалонжа «Союз» ставится другой клинический опыт. Молодой ветеринарный врач постепенно заполняет свою квартиру редкостными, экзотическими зверями и птицами, пытаясь отыскать у своих пациентов какие-то чувства, доселе неведомые людям, с их помощью познать себя, свою молодую жену, отношения с которой отравлены взаимными обидами, недоверием, ревностью. Но здесь-то в фильме приоткрывается его второй, символический план, и неожиданно устрашающий смысл обретает мир чудищ, живущих своей таинственной жизнью и наполняющих дом страшными воплями, ревом, визгом, хрюканьем, так что в конце концов отсюда в ужасе бежит самая нормальная его обитательница — служанка Эллен.

Итак, к одинаково страшным последствиям приводит и полная изоляция от жизни, и попытки распахнуть перед ней двери своего дома, потому что все эти монстры в фильме Кристиана де Шалонжа есть ведь не что иное, как искаженный, перевернутый образ самой действительности, человеческого общества, стоящего на грани тотальной катастрофы. В масках феллиниевских клоунов (но злобных, отвратительных, вульгарно раскрашенных) как предвестники близкого конца уже смешиваются с уличной толпой Рыцарь, Смерть и Дьявол — три всадника Апокалипсиса, которых сделал героями сюрреалистского фильма «Апокаль» западногерманский режиссер Пауль Анциковски.

И все-таки доподлинный герой — тот, которого кое-кто из западных критиков десять раз похоронил, списал в расход, поспешил объявить несуществующим,—

БОРИС ГАЛАНОВ
ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ

«Сакко и Ванцетти», режиссер Джулиано Монтальдо. Сакко — артист Рикардо Куньола, Ванцетти — артист Джан Мария Волонте.

полным голосом заявляет о себе в фильмах прогрессивных режиссеров Запада. И что особенно важно, авторы таких фильмов не усложняют искусственно, не зашифровывают свой язык, но и не подсказывают схематичных элементарных решений — берутся ли они за темы современности или же обращаются к событиям далекой истории. Кстати говоря, снятые ими исторические фильмы не имеют ничего общего с костюмными, помпезными боевиками коммерческого кино, весьма далекими от дел и забот современного человека.

Ведь вот, например, фильм известного греческого режиссера Михаэля Какояниса «Троянские женщины», представляющий экранизацию одноименной трагедии Еврипида, сегодня воспринимается как прямой политический вызов режиму «черных полковников». Во всяком случае, знаменитый гамлетовский вопрос «Что мне Гекуба?» не остается тут без ответа. Трагедия побежденной, униженной, но гордой, не смирившейся и не покоренной Гекубы (в прекрасном исполнении актрисы Кэтрин Хебберн) для нас, сидящих в зрительном зале, наполняется глубоким смыслом и значением.

В связи с проблемой положительного героя несколько слов о социально-политическом кинематографе Италии.

В послевоенные годы итальянское кино долгое время развивалось под знаком неореализма, выдвинувшего целое созвездие талантливейших режиссеров, актеров, сценаристов. Потом неореализм как единое направление сошел со сцены. Многие художники из числа тех, что были его зачинателями и завоевали ему всемирное признание, оторвались от него, стали искать свой собственный, отдельный путь в искусстве. По-прежнему итальянское кино украшали имена Феллини, Антониони, Висконти. И тем не менее слово «кризис» все чаще и чаще мелькало в прессе. Широко пошли в ход псевдоисторические фильмы и убогие фарсы. В 1969 году, оценивая состояние итальянского кино, критик Линно Миччике охарактеризовал его как удручающее. На несколько хороших фильмов по его подсчетам приходилось не менее полусотни беспардонных «комедий по-итальянски» и столько же «макарон-вестернов», кинодвойников вестернов заокеанских, с ковбоями из Рима и свирепыми индейцами из Милана или Неаполя.

Сейчас итальянское кино, по-видимому, вновь набирает силы. И не только в

Кадры из фильма «Люди против», режиссер Франческо Рози.

фильмах отдельных художников, но, как во времена расцвета неореализма,— сразу целой группы мастеров, увлеченных идеей создания политического кинематографа.

Восприняв в своем творчестве многие заветы неореализма, его опыт и традиции, его верность натуре, любовь к простым людям, умение внимательно приглядываться к социальному окружению героев фильмов, они, однако, гораздо шире и острее судят о жизни, решительнее в своих обобщениях, дальше неореалистов идут в своих выводах. И вот что характерно: идея политического кинематографа увлекает и таких режиссеров, как Франческо Рози, который своими лентами «Сальваторе Джулиано» и «Руки над городом» еще несколько лет назад заявил себя решительным сторонником политического кинематографа, и таких, как Микеланджело Антониони. По-разному можно оценивать фильм «Забриски пойнт», снятый Антониони в США, но одно ясно: тут многое принципиально ново для Антониони — и прямота постановки вопросов, и выбор героя. Столько ненависти, вражды и презрения накопилось в душе этой молоденькой девушки к «обществу потребления», что одним своим взглядом, как в библейских преданиях, она испепеляет шикарную виллу бо-

гача вместе с самим хозяином и пирующими у него гостями. Пусть пока только мысленно, символически. Все равно пути назад, к примирению, к подчинению для героини «Забриски пойнт», по-видимому, уже нет.

Но в целом для итальянского политического кинематографа характерен герой мыслящий и борющийся, действующий во имя тех высоких целей, которые он перед собой поставил. С этой точки зрения интересен фильм Бернардо Бертолуччи «Стратегия паука», вокруг которого в Италии разгорелись горячие споры. На Московском кинофестивале зрители видели другой фильм этого молодого, талантливого режиссера — «Конформист», беспощадное исследование психологии трусливого буржуазного интеллигента, который, избрав для себя приспособленчество, стал послушным слугой итальянского фашизма и постепенно от мелких подлостей и предательства дошел до убийства политических противников режима Муссолини. В «Стратегии паука» автор возвращает нас к начальному этапу антифашистского движения в Италии, ставя перед зрителями проблему: правильно ли поступил один из антифашистов, который, опасаясь, что сил для борьбы может не хватить, добровольно приносит себя в жертву, чтобы у движения появились свои люди-символы, свои герои? Можно ли оправдать такой выбор? Не лучше ли было пройти путем борьбы до конца, не прибегая к паучьей стратегии? Сложный вопрос, на который авторы фильма и не дают прямого ответа.

Однако мне кажется, что сама по себе этическая, нравственная, чисто человеческая сторона поведения героя, связываясь с более общей проблемой — каков же он, герой современного итальянского политического фильма, не случайно волнует художника. И как правило, чаша весов склоняется к людям, быть может, сложно думающим, но действующим прямо и недвусмысленно.

Ведь, скажем, в фильме Джулиано Монтальдо «Сакко и Ванцетти» Бартоломео Ванцетти, приговоренный к казни на электрическом стуле, размышляет о том, что историей ему предназначено стать символом борца, что имя его, как знамя, будет вдохновлять других людей на борьбу. Но разве сражению, схватке сам Ванцетти предпочел бы добровольную жертву? Плохо это вяжется с образом рабочего-революционера, который создает в фильме замечательный актер Джан Мария Волонте, внешне чем-то напомнивший Горького, а по внутренней своей сути — Петра Заломова. В облике Ванцетти как бы воплощается нравственная сила идей, которым посвящают себя истинные революционеры. И в то же время это живой человек со всеми живыми своими ухватками — внутренне собранный, спокойный, уравновешенный, в любых обстоятельствах сохраняющий достоинство рабочего человека. По сравнению со своим другом Сакко более импульсивен, часто ему не хватает сдержанности, выдержки, хотя и Ванцетти может вдруг в бешенстве разрыдаться от нелепости обвинений, воздвигнутых против них, от страшной этой комедии, именуемой судом... Образ Ванцетти — живое опровержение теорий о наступлении эпохи антигероя в киноискусстве западных стран.

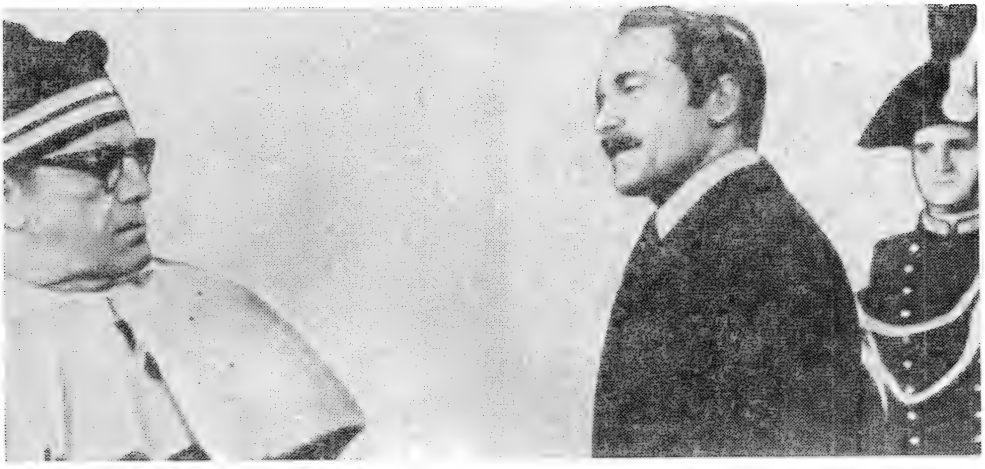
А следом можно назвать двух лейтенантов из фильма Франческо Рози «Люди против» — Оттоленги (кстати говоря, эту роль тоже играет Джан Мария Волонте) и Сасси, взбунтовавшихся в 1917 году против бессмысленных кровопролитий на фронтах мировой империалистической войны; можно назвать комиссара полиции Джакомо Бонавиа из фильма режиссера Дамиано Дамиани «Признание комиссара полиции прокурору республики», человека, осмелившегося вступить в неравную борьбу с могущественной мафией.

Я вспоминаю разные фильмы и очень разных героев — от убежденных последовательных революционеров до тех слуг порядка и закона, которые, сохранив честь и совесть, безуспешно пытаются противостоять беззаконию буржуазного общества; вспоминаю потому, что каждый из них в отдельности личность крупная, цельная, привлекательная.

Комиссар Бонавиа не просто принимает эстафету от длинной вереницы своих предшественников по борьбе с мафией в итальянском кино. Он лучше других знает, что выиграть сражение невозможно: сам Генеральный прокурор подкуплен преступниками. В конце концов комиссар берет в собственные руки функции закона, приговаривая к смерти одного из вожаков мафии Ломунно и единолично приводя приговор в исполнение. И хотя, в упор из пистолета расстреливая Ломунно, комиссар понимает, что одновременно обрекает на смерть самого себя, другого выхода он не видит.

А в том, что это так, убеждает не только фильм Дамиани. Одновременно в Москве демонстрировался фильм Элио Петри «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» — еще одно очень сильное и талантливое произведение, убедительно подтверждающее, что нравы мафии проникают в государственный аппарат, заражая и разлагая его.

Я не задерживаюсь специально на фильме Элио Петри. Мне хочется попутно отметить лишь одно обстоятельство. Разбирая содержание фильма и игру исполнителя главной роли (трижды на протяжении Московского фестиваля зрители встречались с актером Джан Мария Волонте), критики не раз вспоминали Достоевского, отмечая его влияние и в стилистике, и в обрисовке персонажей. Я думал о «Преступлении и наказании».



«Признание комиссара полиции прокурору республики», режиссер Дамиано Дамиани.

Только на экране Раскольников и Порфирий Петрович как бы поменялись местами. В фильме полицейский следователь решает для себя проблему: может ли он, переступив через все нравственные барьеры, стать убийцей, сам повторить одно из тех преступлений, которые он столько раз расследовал, и будет ли изобличен и наказан охранитель порядка, гражданин, по роду своей деятельности освобожденный от всяких подозрений?..

Но возвратимся к проблеме положительного героя.

Разве не симптоматично, не знаменательно, что наиболее сильные и цельные характеры художник открывает для себя в среде революционеров, борцов за лучшее будущее — Сакко и Ванцетти, итальянских офицеров из фильма Франческо Рози, на фронте империалистической войны прошедших школу революционной закалки. Шведский режиссер Бу Видерберг снял фильм о Джозефе Хилстроме, молодом шведе, в начале нынешнего века эмигрировавшем в Америку и под именем Джо Хилла завоевавшем любовь рабочих окраин. Образ этого талантливого профсоюзного вожака, пламенного агитатора, поэта, композитора и певца, чья жизнь и героическая смерть сама стала песней, вдохновил художника на фильм, напоминающий своеобразную поэтическую балладу. А бразильский режиссер Глаубер Роша, следуя, по собственному его признанию, традициям Эйзенштейна, показал в фильме «Семиглавый лев» коллективного героя, массы людей, поднявшихся на борьбу, весь африканский континент, сбрасывающий с себя иго колониализма. И если Бу Видерберг внимателен к подробностям, к деталям, потому что, как сам он говорил, ему важно показать человека, революционера, который не изолируется от простых забот и житейских интересов, присущих каждому человеку, то Глаубер Роша рисует своих героев широким, свободным, плакатным мазком, без детализации и подробностей. Ведь в его фильме люди целиком, без остатка поглощены главным делом своей жизни. А вне этого дела у них нет других интересов и забот. Но герой Видерберга и герои Роши на экранах Запада стоят сегодня в одном ряду.

А когда Глаубер Роша говорит об «эстетике голода», определяя двумя этими словами принципы «нового кино» Бразилии, рожденного в условиях голода и нищеты, не только физической, но и духовной, и решительно противопоставляющего свои фильмы официальному буржуазному кинематографу, он, в сущности, своеобразно, по-своему выражает чаяния и стремления, общие для многих художников Запада.

«Люди против» назвал свой фильм Франческо Рози, в самое его название заключив и протест, и вызов: против бессмысленной империалистической бойни, против буржуазной пропаганды. Люди против волчьих законов буржуазного общества. Люди против! И прогрессивные художники мира в этой борьбе с ними заодно.

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

КРИЗИС КНИГИ ИЛИ КРИЗИС ОБЩЕСТВА?

Некогда динамичный, полный сил капиталистический Запад давно уже вступил в эпоху потерь. Ощущение неуверенности в завтрашнем дне внушает ему подозрения в жизненности, казалось бы, вечных вещей. Об этом свидетельствуют, в частности, разговоры о судьбах книги, о кризисе книжной культуры, о гибели «Гутенберговой галактики»[1], которые ведут в последнее время «капитаны мысли» (так именуют на Западе ученых и публицистов).

Вначале дело ограничивалось сочинением эффектных афоризмов, которые чаще всего воспринимались как кассандровские пророчества. «Джентльмены! — восклицал английский поэт Кристофер Лог.— Взглянем фактам в лицо: книга обречена. Недалеко время, когда на вечеринки будут специально приглашать человека, «умеющего читать». Настойчивая «эскалация» зрелища вдохновила американского социолога Д. Кросби на пессимистическое изречение: «Все — для зрения и ничего — для ума. У наших потомков глаза будут размером с дыню, но не будет никаких мозгов». Французский публицист Луи Мерлен язвил: «Не станем ли все мы видиотами?» Англичане дали телевизору недвусмысленное определение «кретинометра». Кое-кто стал поговаривать о «телекратии»... Очень скоро, однако, кокетливо-иронический и искусственно-драматичный тон уступил место озабоченно-серьезному стилю рассуждений.

Именно в таком стиле размышляет большинство участников недавней дискуссии о судьбе книги. Жан Фурастье в статье, опубликованной в газете «Фигаро» под заголовком «Масс-медиа» подрывает развитие научного мышления», пишет:

> «...многие элементы жизни нашего общества отнюдь не благоприятствуют углублению и распространению научного мышления, а наоборот — противодействуют этому процессу, облегчая возврат к примитивно-мифологическому мышлению.
>
> Один из наглядных тому примеров — регресс «Гутенберговой галактики» под влиянием кино и телевидения... Возврат к галактике изображения — что действительно является одним из первых результатов современной технической эволюции — чреват большой опасностью. Не вернет ли он в какой-то степени наших детей в то состояние, когда человек был только наблюдателем непрерывных, бессмысленных для него зрелищ, не восстановит ли он тот духовный климат, в плену которого наши предки оставались много тысячелетий?»

Точку зрения Фурастье разделяет подавляющее большинство западных философов и публицистов, но некоторые настроены гораздо оптимистичнее и более чем уверены в вечной жизненности письменной культуры. К ним следует, очевидно, отнести Эдгара Фора, бывшего когда-то премьер-министром Франции и министром национального образования. Почти одновременно с Фурастье он опубликовал в еженедельнике «Нувель литерэр» обширную статью, где заявил:

[1] Название одной из книг Маршалла Г. Маклюэна, в которой он дает научно несостоятельную трактовку развития цивилизации. Согласно его классификации, «Гутенберга галактика» обозначает эпоху от изобретения книгопечатания до распространения средств массовой коммуникации, или «масс-медиа», как их называют на Западе.

«Несмотря на развитие зрелищно-слуховых средств, рано еще петь отходную книге... Рискуем ли мы после «Гутенберговой галактики» вступить в период истории, когда книга потеряет свое значение, когда книгопечатание перестанет существовать, превратится в археологическую достопримечательность?

Лично я в это не верю по двум причинам:

во-первых, потому, что книги и все написанное, напечатанное ничем не заменимо;

во-вторых, потому, что все формы культуры, взаимодействуя, дополняют друг друга.

Книга — вещь незаменимая, поскольку к ней можно возвращаться. С другой стороны, ее можно выбирать, можно держать на столе сразу несколько книг, тогда как смотреть одновременно две-три телепередачи невозможно даже в тех странах, где работают несколько каналов...»

Легко заметить, что безоговорочный оптимизм Э. Фора обусловил и откровенную легковесность его аргументов. Помимо тавтологии он прибегает в своих доказательствах к давно скомпрометированному приему ad hominem, вся «логика» которого основана лишь на чувствах убеждаемого (в данном случае — убеждающего). Желаемое Э. Фору кажется уже реальным, и, имея в виду западное общество, он утверждает:

«Мы только накануне настоящего успеха книги, ибо она распространяется все шире».

Если учесть, однако, что оперирующий цифрами опросов институт Гэллапа уже давно свидетельствует об обратном, то оптимизм Э. Фора придется признать необоснованным.

Не надеясь, в отличие от Э. Фора, что все уладится само собой, английский публицист Хью Уильямсон, выступая в дискуссии на страницах еженедельника «Таймс литерари сапплмент», предлагает конкретный и вполне реальный вариант «технической помощи» книге:

«Текст может сохранить такую же длину, но он будет сопровождаться иллюстрацией в виде магнитофонной ленты, которая даст цветное, движущееся, синхронное со звуком и стереоскопическое изображение. Оно будет иметь мало общего с современной иллюстрацией и выйдет далеко за пределы возможностей современной печатной книги — а также и механической аппаратуры,— и тем не менее это будет эволюцией книги как средства коммуникации. В тех попытках, которые делаются для преодоления ограниченных возможностей книги, ответ на вопрос о ее будущем».

Но, хоть и любопытные, рецепты Уильямсона не меняют существа дела: предложенные им спасительные средства — это ведь именно элементы новой «галактики изображения». Вариант Уильямсона — скорее всего разрешение проблемы не в пользу книги.

Размышляя о книгопечатании, Томас Гоббс писал: «Это было полезное изобретение для продления памяти о прошлом и для взаимной связи человеческого рода». С этой точки зрения, существенной разницы между «Гутенберговой галактикой» и «галактикой изображения» нет. Почему же все-таки, как считает Фурастье, «техническая эволюция» столь решительно изменяет именно «письменную цивилизацию»?

...Известно, что на рубеже двух последних веков общий социальный прогресс подготовил мощный взрыв эстетических потребностей масс. Известно также, что классово-антагонистическое общество лишает народ возможности развивать свои эстетические способности, отрывает народ от искусства и искусство от народа. Длительное отчуждение от искусства, на которое капитализм обрек народные массы, не только затормозило развитие их эстетического мышления, но существенно перестроило его природу. Это тот самый случай, когда количественные изменения оборачиваются качественными. На исходе минувшего столетия Лев Толстой провел с яснополянскими крестьянами знаменательный эксперимент, в результате которого пришел к выводу, что, воспринимая книжный образ, эстетически малограмотный (в смысле восприятия письменной культуры) человек нуждается не только в более простых «словесных формулах», но и в наглядных, зрелищных эквивалентах каждого слова. Специфическая условность книжного, словесно-абстрактного образа оказывается для такого человека менее доступной, нежели зрелищная конкретность.

Можно смело утверждать, что эта «тоска» по наглядности среди прочих других факторов «подсказывала» на рубеже XIX и XX веков идею открытия новых видов зрелищ — кино, телевидения.

Возврат к «галактике изображения» имел, таким образом, конкретную эстетико-психологическую причину, и разница в восприятии книги и зрелища связана с этим самым непосредственным образом. Однако большинство участников дискуссии не придают данному обстоятельству сколь-либо серьезного значения. Английский критик

Джордж Стейнер, выступивший в «Таймс литерари сапплмент» с огромной статьей, ограничился довольно спорной репликой, вопросом без ответа:

> «Почему даже самые хорошие фильмы после третьего-четвертого просмотра становятся нестерпимо скучны — сложный вопрос. И почему печатный текст великого поэтического произведения или романа, имеющий зафиксированную форму и воспринимаемый как уже знакомый, действует по-другому? Каковы бы ни были объяснения, факт остается фактом».

Мне хотелось бы здесь привести объяснение, которое дал в свое время А. Потебня: «...слово вначале есть знак... конкретного образа, который, однако, в силу представления тут же получает возможность обобщения»; особенность словесного образа в том, что он постоянно развивается «в понимающих», значение его — «в неисчерпаемо возможном содержании»... То есть сама специфика литературного образа требует «силы представления», определенной художественной образованности, именно того, чего широким массам (надолго «отлученным» капитализмом от искусства) и не хватало.

Книга оперирует емкими символами — образами. Они требуют большей активности для своего восприятия, предполагают бóльшую свободу выбора эстетически-смыслового содержания. Конечно, существуют и фильмы-шедевры, фильмы «на все времена», которые отнюдь не «становятся скучными после третьего-четвертого просмотра», и наоборот — существуют низкопробные книги-однодневки, не требующие от читателя никаких мыслительных усилий и никакого эстетического образования. Специфическая разница между великим фильмом и текстом великого произведения письменной литературы заключается, на мой взгляд, в том, что воздействие первого из них носит определенный, конкретно-категорический, так сказать, «постоянный» характер и эстетический эффект «третьего-четвертого просмотра» заключается обычно в «воспроизведении» самого процесса рождения уже испытанных чувств, уже разгаданных мыслей. Между тем книга — и в этом, мне кажется, Стейнер прав — «действует по-другому»; вряд ли стоит доказывать, что благодаря особой емкости словесного образа один и тот же великий роман воспринимается более или менее по-разиому не только в различные эпохи, но даже одним и тем же человеком в различные периоды. (Говоря об этой разнице, вовсе нет необходимости принижать один вид воздействия за счет другого.)

Однако, занимаясь поисками чисто психологических причин упадка популярности книги, вряд ли стоит преувеличивать их значение, как это делает, например, Дж. Стейнер. Рассуждая о закате «классического века книги»,— когда книга, по его мнению, «являлась воплощением энергии и способностей цивилизованного общества»,— Дж. Стейнер чуть ли не главную причину этого процесса усматривает в особых — общепсихологических — факторах:

> «Сам процесс чтения в его традиционном понимании следует рассматривать в сочетании с факторами собственности и досуга. Гравюры и картины XVIII века, на которых изображают чтение, подчеркивают изысканность, исключительность этого занятия. Оно требовало соответствующей обстановки, так же как и музицирование. Оно также требовало определенной тишины, а с развитием индустриального, урбанистического общества тишина становится предметом роскоши. И производство и потребление книг в классическом понимании диктует особые финансовые, домашние и архитектурные условия, характерные сначала для античной цивилизации, а потом для развитых буржуазных обществ XIX века».

Такого рода объяснения, как бы правдоподобно они ни выглядели,— явно «мелкотравчаты», и чем больше им уделяется внимания, тем сильнее затушевывается основной — в конечном счете социальный — момент «кризиса книги».

Между тем именно социальные причины и предопределяют возникновение любых, в том числе и психологических, факторов, изменяющих судьбу книжной культуры.

Итак, по мнению многих западных критиков, философов, социологов, «Гутенбергова галактика» (Дж. Стейнер называет ее «классической культурой») медленно, но неуклонно закатывается, по крайней мере популяриость ее в западном мире сходит иа нет. Вместо нее восходят звезды «новой» галактики — «галактики изображения», которую не очень удачно называют «массовой культурой».

Свою статью в «Нувель литерэр» Эдгар Фор озаглавил призывом: «Не стреляйте по массовой культуре!» Почему же все-таки по ней стреляют? Почему разговор о кризисе книги, о гибели «классической культуры» воспринимается по существу как разговор о духовном кризисе Запада?

Очевидно, ответ здесь может быть только один.

Во имя собственного спасения капитализм вынужден создавать свои мифы и распространять их с помощью наиболее доступных и популярных зрелищно-слуховых средств коммуникации. Весь пафос этих мифов направлен на подавление критичности народного мышления, на его унификацию.

Австрийский экзистенциалист Г. Андерс в своих «Философских размышлениях о радио и ТВ» приходит к такому выводу:

> «Каждый потребитель является неоплачиваемым надомником для производства человека массы», несмотря на то, что «массовое потребление происходит ныне индивидуализированно».

Составители телепрограмм бомбардируют «человека массы» «непрерывными и бессмысленными зрелищами», как выразился Фурастье. «Бессмысленность» этих зрелищ, однако, весьма условна. Хаотичный и бессвязный, на первый взгляд, но по существу строго продуманный и согласованный поток информации (эстетической и не эстетической) направлен на разложение «здравого ума» зрителя (как определил американский публицист Г. Оверстрит), на разрушение его нормальной логики, на утверждение деиндивидуализированного, стадного стиля мышления и, конечно, на подавление волевого начала.

Совершенно прав Э. Фор:

> «Чтение — это всегда выбор; чтобы прочесть хоть одно слово, необходимо сначала желание его прочитать. Тогда как все, что мы слушаем или смотрим по телевизору, сидя в кресле, не предполагает выбора...»

Можно, конечно, делать хорошую мину и по логике плоского эволюционизма верить в наивный тезис «все к лучшему», можно сочинять лозунги вроде «Не стреляйте по массовой культуре!». Можно заявлять, что вместо старой «Гутенберговой галактики» утверждается более «демократическая», технически более совершенная, электронная «галактика изображения». Истина, наверное требует иного отношения к проблеме. Письменная цивилизация — это принципиально значительное завоевание человеческого гения. Развитие книги было связано с ростом индивидуальной значимости человека, с утверждением личностного подхода к миру, с возможностью совершенствования эстетического сознания масс.

Кризис книги на Западе вызван прежде всего духовным кризисом самого общества. Именно поэтому буржуазные «капитаны мысли» заняты сегодня сочинением новых «оправдательных вердиктов». За кризис личности, за кризис духа ответственность несет-де не структура буржуазного мира, но новая форма «коммуникативного вируса» (У. Блюм), новые средства информации, технический прогресс в целом. Между тем сам по себе технический прогресс — это лишь относительно пассивное, точнее — отраженно-активное средство, это — та самая вещь, которая, по выражению В. Шкловского, «делает с человеком то, что он из нее делает». Техника вовсе не «обязана» разрушать «Гутенбергову галактику». Напротив — в принципе она может даже значительно усовершенствовать письменную цивилизацию, нынешний уровень развития которой был бы попросту немыслим без ее «услуг»...

Нынешняя «девальвация» личности, а вместе с тем «смерть книги» являются неизбежным результатом развития буржуазного общества и к подлинному прогрессу цивилизации не имеют никакого отношения.

НОДАР ДЖИНДЖИХАШВИЛИ

СУДЬБЫ «НЕГРИТЮДА» И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Возвращение темы «негритюда» на страницы популярного журнала «Презанс африкэн» может вызвать у читателя некоторое удивление. В самом деле, эпоха бурных дискуссий, отмечавших зарождение и первые шаги этого своеобразного культурного явления, миновала, да и сама проблематика «негритюда» была оттеснена на задний план более актуальными и острыми вопросами практической истории негритянских народов. Между тем опубликованная в одном из последних номеров журнала статья Ж. Корцани «Гваделупа и Мартиника: сложные пути негритюда и антильского самосознания» посвящена судьбам «негритюда» в непосредственной связи с современными проблемами и историческими перспективами стран Карибского бассейна.

Более того, автор статьи считает, что именно сейчас сложившееся на Антильских островах положение диктует необходимость нового обращения к темам «негритюда». По его мнению, настало время произвести трезвую переоценку «негритюда», чтобы либо отвергнуть его как бесплодный миф, либо же попытаться перекинуть мост между его общими принципами и исторической реальностью данных стран.

По этому вопросу в позиции самого Корцани ощущается некоторая двойственность: беспощадный анализ, вскрывающий внутреннюю несостоятельность «негритюда»,

вступает в явное противоречие с эмоциональным тяготением к нему. Однако значительность затрагиваемой проблемы, несомненная компетентность автора во всем, что касается специфической истории «негритюда» в районе Антильских островов, наконец, прямота постановки вопроса об исторических возможностях и перспективах «негритюда» дают все основания отнестись к данной работе с серьезным вниманием.

Одним из основополагающих тезисов статьи является тезис об исключительной роли антильского «негритюда» в современной истории негритянских народов. По мнению Корцани, в становлении негритянского самосознания, в формировании тех черт, которые позволяют сегодня говорить о негритянском народе как о чем-то целостном — несмотря на его географическую разорванность,— огромную роль сыграли писатели — выходцы с Антильских островов, начиная от Р. Морана с его знаменитым романом «Батуала» и кончая такими поэтами, как Сезэр, Дама и Дегро. В их творчестве специфические черты Африки — не континента, а особого типа человеческого бытия и человеческих отношений — проступили с отчетливостью, которой, на взгляд автора, никогда не удавалось достичь писателям собственно африканским. Четкость и ясность этой национальной идеи послужили, по его мнению, катализатором в борьбе африканских народов за независимость.

> «Молодая и гордая Африка,— пишет Корцани,— не посетует на нас, если мы напомним, что один из самых громких призывов, обращенных когда-либо к третьему миру, призыв к сопротивлению и борьбе за утраченное достоинство, лозунг объединения в негритянский Интернационал, который авторы этого лозунга назвали «негритюдом», исходил со знаменитой Мартиники, «заклинательницы змей...»[1]

Интенсивность национального чувства у антильских писателей была обусловлена, по мнению автора, общим для антильцев чувством неукорененности и их неспособностью противостоять натиску культурной «ассимиляции», проводимой французскими колонизаторами. В данном случае, продолжает Корцани, налицо было не просто культурное и литературное течение с антиколониальной политической окраской. Нет, это была отчаянная попытка самоспасения, предпринимаемая умирающим народом — жертвой «культурного геноцида».

> «Огромна пропасть между Сенгором, прочно опирающимся на землю своей родины, и умирающим Сезэром, который видит возможность полного очищения бытия лишь в возврате к источнику жизни. Сенгор воплощает «негритюд» первоистоков, саму несомненность негритянского бытия; Сезэр — борьбу за признание себя как негра, сопротивление белому хозяину; Сенгор воплощает непрерывность, Сезэр — внутреннюю революцию».
>
> «...страны Карибского моря, лишенные собственного лица и жизненных соков, принесли с собой динамизм отчаяния, ту энергию, без которой не удается воплотить даже самые прекрасные замыслы».

Однако, считает Корцани, вдохнув жизнь в национально-освободительное движение африканского континента и сильно повлияв на борьбу американских негров за свои права, антильский «негритюд» оказался — и в этом он усматривает трагический парадокс — поразительно бесплодным у себя дома.

Сейчас, спустя 30 лет после зарождения «негритюда», пишет он, в антильской литературе господствует тема безысходности, исторического застоя и непричастности к развитию современного мира. А «успехи» культурной ассимиляции просто устрашают.

> «Налицо бесспорный факт: тогда как в других местах «негритюд» принес плоды, более или менее удачные, во всяком случае не бесполезные, на Антильских островах — если не говорить о литературных достижениях...— он потерпел самое полное поражение. За исключением Сезэра, ни один писатель, ни один политик не хочет больше пользоваться этим термином, до такой степени извращен его смысл корыстными и сомнительными истолкованиями. И последнее доказательство его дискредитации: во всем районе Карибского моря только лишь нацист и расист, «пожизненный президент» Республики Гаити доктор Дювалье[2] осмеливается употреблять его. Следовательно, стоит вопрос о причинах такого поражения».

Выяснить причины описанного краха — значит для Корцани существенно способствовать преодолению духовного кризиса своего общества.

Уточняя первоначальный смысл термина, замутненный последующими истолкованиями, автор пишет:

> «Негритюд» — это прежде всего утверждение несомненности негритянской сущности... и особой культуры. Это также специфическая гордость негра, всту-

---

[1] «Мартиника, заклинательница змей» — название книги А. Бретона и М. Лейриса. В книге значительное место занимает описание встречи с Эмэ Сезэром.

[2] Диктатор Гаити. Умер в 1971 году.

пающего в контакт с другими народами, гордость за свою культуру, свободная от комплексов неполноценности или расового превосходства. Это, наконец, открытие культурного родства между различными народами негро-африканской семьи».

Однако историческая реальность внесла свои коррективы, да и собственная логика «негритюда», как подчеркивает Корцани, толкала его к самопроверке через практическое историческое действие. Начав с утверждения общих культурных ценностей негритянской расы, он неизбежно должен был столкнуться с проблемой политической деколонизации как необходимой предпосылки деколонизации культурной. Такая связь, позже проанализированная в творчестве Ф. Фанона, ощущалась уже и основоположниками течения — Сенгором, Сезэром, Рабемананхарой и другими.

«Негритюд», следовательно, мыслил себя первым шагом в процессе развертывания освободительной борьбы — необходимейшего условия расцвета самого «негритюда», ибо только свободный народ может развиваться в соответствии со своими устремлениями, своими этническими особенностями, своим гением, наконец».

Однако, продолжает автор, если подходить к оценке явления с таких позиций, то приходится удивляться близорукости антильской культурной элиты, не сумевшей разглядеть полное несоответствие основной мифотворческой установки «негритюда» конкретным историческим условиям и проблемам данного района.

Та незначительная аудитория, которую имел «негритюд» на Антильских островах, была приобретена, считает Корцани, благодаря влиянию французских писателей, и восприятие основных идей «негритюда» неизбежно осуществлялось в заимствованных у них схемах.

«Нужно иметь смелость признать, что «негритюд» никогда не интересовал антильцев всерьез, за исключением, конечно, незначительного количества студентов, приобщившихся к творчеству Сезэра за время своей учебы в метрополии».

Эти авторские наблюдения представляются тем более интересными, что в них ощущается скрытая полемика с целым рядом положений, развитых в свое время Ж.-П. Сартром в его известном эссе «Черный Орфей» и до сих пор широко распространенных в некоторых кругах французской интеллигенции.

Действительно, если оставить в стороне отличающий все сартровское исследование пафос противопоставления негритянского и европейского «способов быть» как «подлинного» и «неподлинного», то можно выделить в качестве одной из его наиболее отличительных особенностей настойчивое подчеркивание революционного и освободительного значения именно мифологизирующих аспектов «негритюда».

Согласно сартровской концепции, сюрреалистская поэтика «негритюда» оказывается языком, на котором органически выражает себя негритянская революция, единственно возможным языком бунта колониальных народов и средством выражения революционных идей. В этом для Сартра коренное различие в судьбах собственно французского сюрреализма, доступного лишь посвященным, и сюрреализмом «негритюда».

Корцани решительно порывает с этими укоренившимися представлениями, и в первую очередь — с расхожим мнением об органичности системы образов и языка «негритюда» для мироощущения широкой массы негров. Исходя из анализа долгого пути развития, пройденного «негритюдом», автор дает самую резкую оценку именно мифотворческим и сюрреалистским установкам последнего, справедливо усматривая в них одну из причин его исторического бесплодия.

«...Сезэр, Мениль, Дегро, Депорт — и я говорю только о лучших — сделали попытку открыть путь к психологическому освобождению как необходимой предпосылке всех остальных форм освобождения. «Тропики» и «Каравелла» блистают темными драгоценностями, соблазнившими — увы! — лишь Бретона и европейцев... Эти ученики чародея, играющие волшебным оружием сюрреализма и «негритюда», оказались весьма неумелыми врачами. Дикие крики — Бомбайя! Бомбайя!..— оттолкнули больных, которых намеревались погрузить в гипнотический сон. Поэзия «негритюда», несмотря на все усилия своих жрецов, не смогла завоевать массы... Она оставалась замкнутой в себе религией для посвященных, аристократическим святилищем в духе Малларме».

Как полагает Корцани, горячечные фантазии на тему Африки, столь высоко оценивавшиеся в свое время Бретоном и Сартром, являлись выражением не силы, а внутренней несостоятельности антильского «негритюда», его неспособности установить связь с реальной исторической почвой.

«Лишенный почвы, из которой он мог бы черпать жизненные соки, лишенный сколько-нибудь значительного отклика у трудящихся масс Мартиники и Гваделупы, «негритюд» должен был окостенеть, превратиться в великолепный, но бессмысленный призыв к «потустороннему», к Африке, которая день ото дня становилась все менее похожей на современную Африку и все более — на Африку мифическую, на легендарный континент ностальгических упований».

Но в чем же основная причина равнодушия трудящихся масс Антильских островов к призывам «негритюда»? На взгляд Корцани — в самой его центральной идее, закрепленной и в его названии. Антилец — прирожденный метис, причем, подчеркивает автор, последний термин следует понимать в смысле не только этническом, но и культурном. Потомки вывезенных с африканского побережья рабов давно смешались здесь с индейцами, белыми, китайцами.

Автор пишет:

«...говорить антильцу о «негритюде» и говорить так, как говорил Сезэр, с очевидным восхищением перед Африкой, ее культурой, ее прошлым, ее обычаями, значило глубоко шокировать его и вызывать в нем инстинктивный протест... На Мартинике знают, сколько насмешек обрушили мулаты на Сезэра и «негритюд», иронизируя над ношением бубу, над культом дикости и примитивизма и т. д.».

«Негритюд» был так же абсурден в качестве конечной цели, как зачарованный взгляд в сторону Парижа и Европы, распрямление волос и жесткие воротнички...»

Защитной реакцией антильцев на «негритюд», отмечает Корцани, стала ирония (что, в частности, нашло выражение в творчестве раннего Фанона), а сделавшись смешным, «негритюд» уже вряд ли мог притязать на сколько-нибудь значительное влияние. Вследствие этого, продолжает автор, на Антильских островах политическое движение послевоенного периода, конечно, стимулированное в известной мере «негритюдом», сразу же пошло в противоположную от него сторону, нащупывая переход от его отвлеченных и в конечном счете расово ограниченных построений к символам и программам, способным передать конкретные проблемы данного района. Характерно, что политическая деятельность оставшихся на позициях «негритюда» политических организаций, главным образом студенческих, питалась по преимуществу событиями, происходившими вне Карибского бассейна, и в этом отношении нисколько не отличалась от деятельности студенческих организаций метрополии.

Можно ли говорить о какой-либо политической роли «негритюда» в настоящее время? Политическую ситуацию Антильских островов сейчас определяют, на взгляд Корцани, две основные силы.

«Человек из народа предпочитает неспешную стратегию компартии, озабоченной улучшением условий жизни населения, его образованием и избегающей преждевременных лозунгов независимости, могущих повлечь за собой эксцессы гаитянского типа. И, нам кажется, близится решительный раскол: с одной стороны, масса населения и компартия, не слишком резко выступающая за автономию; с другой стороны, буржуазия, посматривающая — совсем без ужаса — в сторону дювальйийской авантюры и поддерживаемая гошистским меньшинством».

Такое положение даже у автора статьи оставляет мало надежд на политическое возрождение «негритюда».

Однако для Корцани теория «негритюда» все-таки не потеряла окончательно своей привлекательности. Ему трудно примириться с крушением всех своих надежд, и он пытается найти выход в очищении «негритюда» путем сурового и трезвого самоанализа.

«Можно ли говорить об окончательном поражении «негритюда»? — задается вопросом Корцани.— Был ли он всего лишь безобидным течением, блистательным фейерверком... был ли он всего лишь камуфляжем колониализма? Так или иначе, следовало бы попытаться затормозить его упадок и хотя бы с помощью магии слов поддержать дыхание эпоса и героики в стране, которой угрожает смертельная болезнь полного бессилия».

При всей психологической оправданности этих авторских упований его собственный анализ заставляет усомниться в том, что патетические жесты и даже акты насилия в духе короля Кристофа, героя известной трагедии Э. Сезэра, могут хоть в какой-то мере способствовать разрешению столь беспощадно и выпукло очерченной самим Корцани проблемы. Кроме того, именно эта беспощадность и трезвость анализа свидетельствуют о большом духовном потенциале представляемой им страны, а следовательно, и о возможности подлинного и плодотворного исторического поиска. И наконец, следует отметить, что отчаяние автора в значительной степени связано с его тезисом об исключительном значении антильского «негритюда» для послевоенного развития стран африканского континента. При таком подходе мнимая или реальная бесплодность «негритюда» на Антильских островах должна действительно казаться особенно трагичной. Однако в данном случае можно только присоединиться к редакции журнала «Презанс африкэн», которая в специальной сноске ставит под сомнение этот достаточно распространенный тезис. Видимо, та работа по самоочищению «негритюда», на необходимости которой настаивает автор, должна включать и преодоление довольно сильных в нем мессианских устремлений и иллюзий.

К. МЯЛО

Среди книг

Издано в СССР

В ТРУДЕ И БОЮ

Крылья. Рассказы. Перевод с вьетнамского. Составление Н. Никулина и М. Ткачева. Вступительная статья Бориса Полевого. Справки об авторах Н. Никулина. Москва, «Художественная литература», 1970. 255 стр.

На суперобложке этой книги тринадцать портретов писателей. Вглядываюсь в их лица, узнаю друзей, с которыми было проведено немало бесед во Вьетнаме и в Москве.

В сборнике представлен тридцатилетний путь вьетнамской новеллы. Разные периоды жизни Северного Вьетнама. Разные особенности стиля. Лирика. Юмор. Беспощадная сатира. Вьетнам дореволюционный. Вьетнам, стонущий под пятой японских, французских колонизаторов. Вьетнам, отбивающий вражеские налеты американцев. Вьетнам свободный, вдохновенно строящий новую жизнь.

Если представить все рассказы как единую сюиту, написанную тринадцатью авторами, ярко вырисовывается героический характер вьетнамского народа.

Рассказы реалистичны, хотя включают в себя и элементы романтики, и легенду, и сказку.

Сборник открывается двумя произведениями старейшего вьетнамского писателя, участника войны Сопротивления Нгуен Конг Хоана. Первый, «Как у начальника тонга пропали туфли», из прошлого, дореволюционного Вьетнама — острая сатира на чиновника, начальника нескольких деревень (тонга), взяточника и мздоимца. Второй рассказ, «Хлебное дерево», наряду с обличением вьетнамских помещиков и чиновников показывает и те резкие изменения, которые внесла в жизнь Вьетнама революция и связанная с ней аграрная реформа. Нгуен Конг Хоану, большому мастеру прозы, особенно удался портрет старого крестьянина Лунга, которого не могли сломить суровые испытания.

Нгуен Туан — лауреат национальной премии, большой знаток русской литературы. Он перевел на вьетнамский язык рассказы Чехова, написал эссе о Чехове и Толстом. Меня всегда привлекала и огромная эрудиция Нгуен Туана, и его искрометный юмор. Свои знания народного быта Вьетнама, народных сказаний, фольклора он использовал в рассказе «Чайники из Поднебесной». Второй его рассказ публицистичен, посвящен борьбе с американскими захватчиками.

Друзья давно уже шутливо называют Нгуен Туана «специалистом по американским летчикам». В жанре острого, убийственного памфлета написан этот рассказ, само название которого глубоко символично: «И грабители, и нищие». Нищие духом, нищие в своем моральном существе: «Я открыл ...одну особенность характера американских захватчиков: они одновременно и грабители, и нищие! Нагло нарушая воздушные и сухопутные границы, они, чуть сорвется их бандитский налет, тотчас меняют тон и заводят песню профессиональных нищих...»

Нгуен Туан рассказывает о знаменательном военном трофее, который лежит у него на письменном столе. Это лоскуток ткани, найденный в кармане комбинезона сбитого американского пирата. На лоскутке оттиснут американский флаг и текст на четырнадцати языках: вьетнамском, таиландском, лаосском, бирманском, малайском, китайском, английском, французском и других: «Я американский гражданин. Я не говорю по-вьетнамски. Мне не повезло, я вынужден просить вас, почтенный господин (госпожа), помочь мне найти пищу и убежище... Наше правительство найдет способ оплатить услугу почтенного господина (госпожи)».

«Отутюженные и тщательно сложенные», пишет Нгуен Туан, эти платочки «лежат в карманах тех асов, чья воздушная карьера

оборвалась над землей Северного Вьетнама»...

Тхань Тинь — прозаик и поэт старшего поколения, лауреат национальной премии. Его перу в сборнике принадлежит лирический рассказ «Любовные письма» — о разбитой судьбе двух молодых людей (из прошлой жизни Вьетнама) — и рассказ «Буйволы вернулись», повествующий о разорении вьетнамских деревень в годы французской оккупации, о людях, сохранивших истинное человеческое достоинство, и о предателях, подкупленных колонизаторами. Небольшой рассказ особенно убедителен благодаря колоритным художественным деталям.

Нам Као — один из активных участников войны Сопротивления, расстрелянный за революционную деятельность. В рассказах своих он прекрасно изображает быт старой, дореволюционной вьетнамской деревни («Пара свиных ножек»). Особенность Нам Као — искусство портрета, мастерство психологической детали («Смех»). В известном сатирическом рассказе «Горе розовощеких красавиц». Нам Као обличает прислужников колонизаторов.

Нгуен Хонг — автор одного из первых вьетнамских романов («Воровка»[1]), на его творчестве сказывается влияние Максима Горького. Участник войны Сопротивления он много сил отдал обучению молодых литераторов в Народной школе искусств, находившейся в глубоких джунглях. Долго сидел в тюрьме, в концлагере. Нгуен Хонг написал свыше двадцати книг. В сборник включены рассказы «Желтый пес» — лаконичное психологическое повествование из беспросветной жизни дореволюционного Вьетнама — и «Огонь» — из времен японской оккупации Вьетнама — страшная картина издевательства захватчиков над населением.

Буи Хиен — тоже участник войны Сопротивления. Он много ездил, побывал в Советском Союзе. Рассказ его, вошедший в сборник, «Первый рабочий день маленького Ти» посвящен жизни сельского кооператива в Северном Вьетнаме, началу трудовой деятельности маленького Ти.

«Девушка из джунглей» Ким Лана — пожалуй, один из самых выразительных рассказов сборника. Это, по-существу, маленькая повесть. Трагическая история девушки Ням, ее бесправной, унизительной, тяжелой работы у помещика; потом побег, суровая жизнь в джунглях, встреча с юношей Зунгом. И только августовская революция приносит народу освобождение, а молодым — счастье любви. «Теперь,— говорит своим вернувшимся детям отец Зунга,— вы неразлучны как две палочки, которыми едят рис. Я радуюсь, глядя на вас. Я уже стар, дни жизни моей сочтены, и я подобен светильнику, в котором кончается масло. Достаточно порыва ветра, чтобы загасить огонь. А вам жить и жить еще. Любите друг друга... и помогайте друг другу...» Красочный язык Ким Лана ощущается в хорошем переводе Н. Никулина.

Наш старый друг То Хоай — заместитель генерального секретаря Союза писателей Вьетнама, лауреат национальной премии, романист и новеллист; он пишет и для взрослых и для детей. Его книга «Приключения кузнечика Мэна» — любимая книга вьетнамских ребят. Его перу принадлежат и книги о Советском Союзе: «Чайка», «Город Ленина». Много рассказов и очерков посвятил он теме борьбы с американскими захватчиками.

Вошедший в сборник рассказ То Хоая «Человек из предместья» — едва ли не целая летопись борьбы с агрессорами — захватчиками Вьетнама. Старый До (его сочный, народный язык умело передан в переводе И. Зимониной и М. Ткачева) рассказывает ребятам с различных этапах борьбы с французскими колонизаторами. В рассказе отражена история семьи старика До, вся жизнь которой связана с борьбой, с Сопротивлением. Слушая рассказы деда, маленький внук сопоставляет их с тем, как сейчас его отец, два дяди и два брата — они тоже ушли в армию, в партизаны,— «точно как дед, ищут повсюду американцев... Американцам тоже не спрятаться в нашем поле!..».

Рассказы сборника органически связаны между собой. Все они посвящены борьбе героического вьетнамского народа в разные периоды истории страны. Вот и за рассказом То Хоая идет зарисовка «Крылья» Нгуен Динь Тхи, давшая заглавие всему сборнику, о борьбе вьетнамских летчиков с американскими «фантомами».

Советские читатели знают творчество этого участника войны Сопротивления с юных лет, генерального секретаря Союза вьетнамских писателей. Мы много раз встречались с ним во Вьетнаме, и в Советском Союзе, и на Красной реке, и на Москве-реке. Он поэт, романист, публицист. Широко известна его «Черноморская поэма» — о подвиге Тон Дык Тханга, нынешнего президента Демократической Республики Вьетнам, который в бытность моряком французского военного флота в 1919 году поднял красное знамя на восставшем французском крейсере

[1] Рецензия на русское издание романа «Воровка» была опубликована в «Иностранной литературе» № 6 за 1966 год.

в Черном море Повести Нгуен Динь Тхи «В огне» (1966) и «Линия фронта прочерчивает небо» (1967) печатались в «Иностранной литературе» и в «Роман-газете».

Мы уже говорили о тематическом и жанровом разнообразии сборника. Особый интерес представляет «Дом у дороги» Ву Ту Нама. Писатель более молодого поколения рассказывает о мирном труде сельскохозяйственного кооператива в условиях жестоких налетов американских интервентов. Рассказывает о семье, живущей в «доме у дороги», на стенах которого висят три грамоты: «Нгуен Ван Лонгу, шоферу управления связи провинции Н., передовику труда... Нгуен Тхи Ван, ученице 1 «Б» класса начальной школы Хоа-Тан за хорошую учебу... Чан Тхи Суан, помощнику бригадира и командиру взвода женского ополчения деревни Нган, за высокие показатели в труде и бою...»

В центре рассказа обаятельный образ молодой женщины Суан (Весна), работающей в поле и одновременно, во главе отряда женского ополчения, защищающей свою деревню от американских налетов. Лирический рассказ Ву Ту Нама показывает людей сегодняшнего Вьетнама во всей их многогранности, «в труде и бою».

О психологических процессах, происходящих в душе крестьянина, о переменах, происшедших в жизни вьетнамской деревни после августовской революции, говорится в рассказе участника войны Сопротивления Нгуен Кхая (советский читатель знает и его произведения) «Как быть с буйволами». Победа кооперативного начала показана без прикрас, глубоко и убедительно.

Рассказ «Письмо из дома» Хо Фыонга возвращает ко временам сопротивления французским колонизаторам. Разоренные дотла вьетнамские деревни. Бесчинства и насилия. Героическая борьба партизан. Действие происходит в уезде Донгчьеу шахтерского района Хонгая. Рассказ этот особенно привлек мое внимание, так как мне пришлось побывать там в разгар борьбы с американскими бандитами и видеть героический труд хонгайских шахтеров и ополченцев. Трагический рассказ Хо Фыонга полон веры в победу, в светлое будущее народа: «Уже четыре раза враги сжигали нашу деревню, а мы четыре раза ее восстанавливали. Борьба не прекращается — мы уже к этому привыкли...»

И, наконец, завершается сборник рассказом молодого писателя Нгуен Нгока «Высоко в горах». Рассказ напоминает легенду. Он посвящен малой народности мео, живущей высоко в горах, в деревне, в которую пришел и вдохновил ее жителей на борьбу дядя Хо (Хо Ши Мин). Рассказ этот о том, как творил революцию в горах старик Кам, ставший председателем общины и партийным секретарем, и как ушел воевать с захватчиками его племянник: «Кам, ты должен вернуться в горы и там, у себя, проводить Революцию. Пусть Революция придет и в вашу общину». Рассказ этот о том, как распространялась в высокогорных районах газета партии «Нян зан»: «В дождь и зной, в ветер и бурю газета партии не задерживалась ни на один день в здешних горах — крутых и неприступных, то и дело утопавших в тучах». «Вот что Партия говорит о происках американцев и Нго Динь Дьема»,— читал Кам жителям деревни газету. «Слышите, соседи, они по-прежнему убивают наших людей...— Кам стоял, опершись о винтовку, голос его звучал все громче.— Революция еще не закончена. Враги убивают людей Революции там, на Юге»...

Таков этот сборник, который мне не случайно хочется назвать сюитой о жизни и борьбе героического вьетнамского народа.

АЛЕКСАНДР ИСБАХ

СУД СОВЕСТИ

Франсиско Сионил Хосе. Притворщики. Роман. Перевод с английского И. Подберезского. Редактор перевода В. Смирнов. Предисловие Г. Левинсона. Москва, «Молодая гвардия», 1971. 272 стр.

Франсиско Сионил Хосе — один из наиболее видных филиппинских литераторов среди пишущих на английском языке. Он известен как новеллист и романист, издатель и общественный деятель, нередко выступает с литературно-критическими статьями в издаваемом и редактируемом им литературно-публицистическом ежемесячнике «Солидэрити» («Солидарность»). Он — пропагандист лучших произведений нашей литературы у себя на родине, в частности, один из номеров этого журнала был целиком посвящен русской литературе (см. интервью с филиппинским поэтом Леонидасом Бенесой в № 10 «Иностранной литературы» за 1970 год). В книжной лавке Фр. С. Хосе в Маниле есть английские переводы произведений В. И. Ленина, книги писателей дореволюционной и советской России.

Биография Фр. Сионила Хосе в какой-то степени типична для филиппинских писателей его поколения. Он родился в 1924 году в небогатой семье. Детство прошло в небольшом городке Росалесе, что в провинции Пангисинан, описанном в романе «Притворщики». По национальности он, как и герой этого романа Антонио Самсон, илоканец. Участвовал во второй мировой войне. По окончании университета стал журналистом. И вскоре появились первые рассказы Сионила Хосе, посвященные, как правило, тематике общественно-политической, питавшиеся немалым жизненным опытом писателя.

Роман «Притворщики» (1962) считается лучшим произведением Фр. С. Хосе, в котором с наибольшей силой отразились его гуманистические и патриотические взгляды, проявилась тревога за судьбы филиппинской интеллигенции.

Роман начинается с самоубийства, квалифицированного полицией как несчастный случай. От главы к главе писатель убедительно показывает, как условия, в которых жил и работал д-р Антонио Самсон, привели к жестокому суду над самим собой.

Тони выучился на медные деньги и окончил университет. Он «хотел выяснить для себя, из того же теста он сделан, что и его отец, или нет...» Его отец и дед — бунтовщики. Тони старательно скрывает, что отец все еще сидит в тюрьме за то, что убил притеснявшего его помещика и сжег в приступе отчаяния муниципалитет. Сын — против бессмысленного бунта. Четко представляя себе обманчивость видимости экономического и культурного прогресса страны, он тоже хочет бороться, бороться, пока жив, но «по-другому, не тем оружием...» Однако он оказывается «не из того теста» и не находит ни иного пути, ни своего оружия. Безволие, бесхарактерность — вот его главная беда.

Тони старательно пишет диссертацию по истории филиппинской революции 1896 года. Наставники и друзья прочат ему научную карьеру, считая, что он подает большие надежды. Еще до сорока лет, по словам его наставника декана Лопеса, ему можно было бы стать полным профессором, а затем и ректором в родном университете. Однако Антонио Самсон выбирает участие в «деле» своего богатого тестя. Именно там ему суждено было загубить талант.

«Вездесущее Прошлое и Социальная Ответственность» преследуют Самсона по пятам. Но у него нет настоящего дела, нет прочных убеждений, он бессилен что-либо предпринять, хотя и причисляет себя в своем дневнике к людям действия. «Когда только ваш брат — способные мальчики, громко именующие себя интеллектуалами,— перестанет болтать и примется за дело?» — откровенно говорит ему университетский товарищ, журналист Годо, призывая «покончить с мифами».

Отец его жены, дон Мануэль Вилья, промышленник компрадорского толка, спекулирующий всем, в том числе и патриотизмом, сенатор Рейес, старый, прожженный политикан, сделавший карьеру на национализме, изменяющая ему в силу привычки жена Кармен — все они медленно, но верно вынуждают Антонио Самсона отказаться от благородных устремлений, лишают уважения друзей. Тем, для кого мера жизненного успеха — собственные дома в Форбс-парке, рекламные автомобили, личные яхты, деньги, совершенно непонятна причина самоубийства Тони. «У него было все, о чем можно мечтать»,— говорит один из них.

С некоторых пор, не видя иного выхода, Антонио Самсон начинает задумываться о возможном уходе из жизни. Он даже теоретически рассматривает этот вопрос в рукописи своей так и не увидевшей света книги. Вначале он считает способными на это только душевнобольных, позже, в минуты сомнений, спрашивает себя: «Может, действительно проще убить самого себя?..»

Антонио Самсон постепенно терял веру, утрачивал надежду, частицу за частицей. Он хватал руками воздух, нигде не находя опоры. «В жизни каждого человека наступает момент, когда он видит себя таким, как есть, а не таким, каким старается казаться другим»,— говорит ему однажды тот же Годо, которого окружающее общество озлобило настолько, что он готов «уничтожить, взорвать весь этот проклятый миропорядок».

Тони осточертело постоянно делать вид, притворяться, следовать только доводам «благоразумия», установленным стандартам поведения. Все вокруг него словно носят приличествующие их роли маски. Со всеми приходится быть настороже. И только в предсмертный миг, на железнодорожных рельсах ему впервые в жизни стало безразлично, как он теперь будет выглядеть.

Тони не выдержал этой постоянной лжи, этого каждодневного притворства. Недаром в последней тетради его дневника оказалась такая запись: «...главное быть честным с самим собой». Не сумев сохранить своего достоинства, он не смог «быть только путником в этом холодном мире». Все чаще и чаще у него перед глазами мелькают две колеи, четыре стальные полосы, которые он постоянно видел из окна, гостя у сестры.

Франсиско Сионил Хосе верно показал, что нельзя уйти от решения вопросов реальной жизни, которые встают перед филиппинцами. И сегодня, десятилетие спустя, описанные проблемы, как подтвердили последние события (выступления молодежи, студентов), стали только острее. И сегодня в Маниле немало таких самсонов, мятущихся или «притворяющихся» безвольных интеллектуалов, не способных на решительные действия.

Самообман возможен до поры до времени. Можно обмануть многих, может быть, даже всех, но только не себя, не свою совесть («Кто может избежать цепкой хватки совести?» — спрашивает себя Тони однажды). Вместе с тем писатель не видит или не предлагает никакой позитивной программы, руководствуясь которой можно бы-

ло бы исправить этот мир притворства и лицемерия. Однако он недвусмысленно осуждает безволие Тони, его уход из жизни.

Нельзя не приветствовать выход на русском языке романа «Притворщики». Но нельзя не сказать и о некоторых огрехах издания. Отдельные места переведены далеко не лучшим образом. Например, в русском тексте стоит: «Он любил свои истоки (?), но прежнего мальчика уже не было, мужчина взял над ним верх» (стр. 26), вместо: «Он любил вспоминать свои юные годы, но прежнего мальчика уже не было, на смену ему пришел мужчина». Или еще: «Отыщи свой корень и мой корень» (стр. 32) вместо: «Отыщи тот корень, от которого пошли и ты и я». И еще: «неумирающая печаль» вместо «угрызения совести» (стр. 194). А чего стоят такие русские фразы: «Годо — толстый, трясущий мясом и словами» (стр. 64), «они опустились до предметов первой необходимости и теперь искали в потемках утраченные сущности» (стр. 67).

На стр. 30 и далее главный герой романа Тони обращается к своему отцу на «ты» — вещь, совершенно невозможная для филиппинца, разговаривающего с родителями в любой ситуации только на «вы». Точно так же нельзя филиппинке «менять мужей чуть ли не каждый месяц» (стр. 17) и не по причине исключительной нравственности, а просто потому, что в этой единственной в Азии католической стране развод законодательно запрещен и по сей день. Даже названия двух частей романа Сиониля Хосе по непонятным причинам изменены: «Глава хора» и «Хор» вместо «Хор» и «Антихор» в оригинале.

Приветствуя выход книги «открытого» советским читателям «Молодой гвардией» талантливого филиппинского литератора, мы не могли не сказать об этих недочетах перевода, имея в виду будущие издания на русском языке произведений Фр. Сиониля Хосе.

В. МАКАРЕНКО

Издано за рубежом

«ПУСТЬ НАША ПАМЯТЬ ПРАВИЛЬНО ЖИВЕТ...»

Яннис Гуделис. Та эфивика. Афины, Дифрос, 1971 (на греческом языке).

Дети вступили в трудную, беспокойную пору отрочества. На их усложнившиеся вопросы о жизни нужен ответ — серьезный, но без отпугивающей дидактики. И в поисках такого ответа, в поисках открытых, чистосердечных, искренних слов о смысле жизни, о назначении человека Яннис Гуделис обращается к своим отроческим стихам — он как бы говорит своим детям и их сверстникам: так думал я в ваши годы, в это я верил, этим жил. Выпуская сборник «Отроческие» сейчас, более чем четверть века спустя после их написания, зрелый поэт и прозаик вновь подписывается под строками, выражающими убеждения, с которыми он начинал самостоятельный жизненный путь. Отроческая исповедь призвана найти кратчайшую дорогу к юным душам, захватить их своей неподдельной страстностью и максимально приблизить их к пониманию поколения отцов.

Отрочество отцов совпало с годами гитлеровской оккупации Греции. В предисловии к сборнику «Отроческие» Гуделис подчеркивает, что эти годы предопределили судьбу его поколения. Идеалы свободы, которые «путеводной звездой прорезали непроглядную мглу», сгустившуюся над порабощенной страной, сохранили несломленными юные души, привили им неистребимое стремление к нравственной высоте, к самоотверженному служению благородным целям. «И проводник твой — цель, подъем — твоя судьба»,— писал в те годы Гуделис. Гордая горная ель, ближе всех подошедшая к небу, вырастает у него в символ стойкости перед лицом невзгод:

Завидую высоте, бескрайним ее просторам,
завидую солнцу, его ласкающим взорам,
подаренным только тебе на заре.
И в зимнюю пору одна на горе
ты выдержишь бурю, и снег, и мороз,
и все, что лихая година приносит [1].

(«Ель»)

Каким должен быть человек? В ответах на этот вопрос ощущаются максимализм, запальчивость, романтическая возвышенность ранней юности. Человек должен быть сильным; горе и беды он обязан преодолевать безмолвно: «Сильные страдают молча...» («Один»). Он должен быть человеком действия, а не слов: «Словами можно создать лишь бумажные замки...» («Слова»). Освобожденный от предрассудков, он должен разрубать сковывающие мысль и волю человека гордиевы узлы, но он же должен быть добрым: «Доброта — ты могучая сила, ты — сила святая...» («Гордиев узел», «Доброта»). В его душевном мире должно быть место и красивым цветам, и деревьям, и звездам, свободному полету птиц и полету человеческого разума, прекрасным женщинам, книгам, невинному взгляду детей и еще — «безумцам с огромным сердцем» («Я люблю»).

Осмысливая человеческую жизнь как одиссею, юный поэт не поддается увещеваниям сирен, его не прельщают их посулы и

[1] Здесь и далее перевод стихов автора рецензии.

не устрашают предсказания ожидающих впереди испытаний. Пессимистическому толкованию человеческой судьбы:

Победитель морей, неужели ты так и не понял,
сколько скорби скрывает в себе удел человека?
(«Песня сирен»)

он противопоставляет твердую решимость не согнуться под любыми тяготами пути к прекрасной мечте — «свободе», «миру, прогрессу, культуре»:

Угрозы и мольбы мне путь не преградят,
с богами я сразиться не страшусь...
(«Никто»)

Читая ранние стихи Гуделиса сейчас, вслед за его более поздними поэтическими сборниками и повестями, невольно обнаруживаешь скрытые в первых пробах пера крупицы реализованных потом замыслов. В несколько идеализированном образе лирического героя проглядывают черты главного персонажа повести «Отрок» (1966) — не случайно названия повести и сборника так близки.

Истощенный голодом, больной, но сильный духом, безупречно честный, прямой, с развитым чувством личного и национального достоинства, начинающий поэт — этот образ, явно созданный на автобиографическом материале, дополняет живыми деталями и конкретными обстоятельствами эскиз из отроческих стихов Гуделиса. Отрок из его поздней повести осуществляет заложенную в стихах жизненную программу: он активно участвует в движении за спасение голодающих, первым возлагает венок на могилу выдающегося национального поэта Греции Костиса Паламаса (похороны Паламаса вылились в один из самых ярких актов антифашистского Сопротивления), идет в первых рядах антифашистской демонстрации и падает, раненный пулей оккупантов.

Одно из «Отроческих» стихотворений — «Отец» — приводит нас к истокам другого замысла Гуделиса:

Когда ногой касаюсь я земли,
твоих корней касаюсь я, отец.

В этих строках — осмысление связи человека с родной землей, ее историей, ее традициями, накладывающими на потомков определенные обязательства. Родной край Гуделиса — южная Греция, Мани, область голых суровых гор, где на крутых склонах подобно птичьим гнездам ютятся крошечные клочки возделанной земли. Люди здесь — бедные и гордые. Гордые своим свободолюбием, своим независимым нравом, а также—славным вкладом предков в освободительную борьбу греков против многовекового турецкого ига: в горной Мани есть ущелья, куда никогда не ступала нога завоевателей.

Живым воплощением народной мудрости, силы, достоинства, носителем лучших традиций Мани был для поэта отец, бедный учитель, глава большого рода, ценой немалых жертв давший образование всем своим сыновьям. Его благородный образ мы встречаем и в «Отроке», и в автобиографической повести о детстве «Рая» (1967); в повести «Старик» (1964) он занимает центральное место.

Пусть наша память
правильно живет,—
(«Пролог к концу»)

пишет Гуделис в одном из поздних своих стихотворений. Повесть «Старик», рассказывающая о последней трагической странице жизни его отца, пронизана этой мыслью.

Действие повести происходит в период нового национального потрясения, в годы гражданской войны (1946—1949). В Мани действуют террористические банды правых. И когда приходит время сбора маслин, сыновья, обосновавшиеся в Афинах, уговаривают отца не ехать в родную деревню, не подвергать себя очевидной опасности. Однако отец все-таки решает ехать. Он движим не чувством собственности, боязнью потерять урожай, а врожденным уважением и любовью земледельца к плодам земли и человеческих рук и, кроме того, чувством собственного достоинства, нежеланием поддаться страху. В Мани он оказывается в атмосфере разнузданного произвола и насилия и вскоре становится одной из его жертв. В числе заложников он попадает в застенок, здесь обрывается его жизнь.

Что сохранит «правильно живущая» память из страшных картин финала повести? Прежде всего героическую фигуру старца, непреклонного в своем неподчинении насилию, возвышающегося над ним как символ непобедимой человечности, нравственной силы, которая не должна угаснуть.

Думается, что этот мотив, ведущий в творчестве Гуделиса, побудил его сейчас к изданию сборника «Отроческие». Юное поколение, вступающее в жизнь в период еще одного национального испытания, должно не только понять своих отцов, но и воспринять их нравственные уроки, их жизненные принципы, сложившиеся в горниле Сопротивления. Память отцов должна стать его памятью.

С. ИЛЬИНСКАЯ

ИСПЫТАНИЕ ПРАВДОЙ

Molnár Géza. Vasárnap mindig esik az esö. Budapest, Szépirodalmi könyvkiado, 1968.
Molnár Géza. Vasárnap mindig esik az esö. Budapest, "Kortars" № 12, 1970, №№ 1—2, 1971.

Не так-то легко найти самого себя. Нелегко бывает в трудную минуту не изменить себе, своим идеалам. Об этом все время думает журналист Иштван Мади, герой повести и одноименной драмы Гезы Мольнара «По воскресеньям все идет дождь».

Иштвану кажется, что стремление к правде и справедливости определило его жизненный и творческий путь, сделало писателем, революционером, человеком.

С душевной болью Иштван вынужден признаться, что в последние годы в нем охладел пыл молодости и порой, сам того не замечая, он рад был бы «скроить правду по своей фигуре так, чтобы она во всем ему подходила, была удобной и комфортабельной, как квартира». «Но ведь счастье нельзя обставить, как квартиру...» — сознается он. Быть может, потому-то счастье, годами казавшееся прочным и надежным, неожиданно ускользает от него.

Обман и измена жены, которую он на протяжении десяти лет считал самым близким другом, помощником и советчиком, враждебность начальства, не любящего Иштвана за прямоту и завидующего его славе, а главное — стремление начать жизнь по-новому — все это заставляет героя уехать из Будапешта.

Такова вкратце предыстория героя Мольнара, с которой мы знакомимся в повести и драме. Хотя сюжетные линии и действующие лица во многом тождественны, пьесу нельзя рассматривать лишь как сценический вариант повести. В драме основной конфликт острее, напряженнее, картина жизни — оптимистичнее, совсем иначе звучит финал. Но вместе с тем в повести — что, впрочем, отчасти определяется самой спецификой жанра — образы героев многостороннее, в ней удачнее воплотился богатый душевный мир Иштвана Мади, сложная гамма его настроений, мыслей и чувств. Здесь и грусть, и острое недовольство собой, и любовь, и мечты о совсем иной жизни — суровой и честной, где не будет никаких компромиссов и «правды», похожей на модный, по фигуре сшитый костюм. В драме же весь этот сложный психологический процесс лишь угадывается, уходя вглубь и образуя скрытое, подводное течение. Сгущая события, Мольнар не предоставляет здесь своим героям простора для раздумий.

Итак, перед нами два произведения Мольнара. В обоих мы знакомимся с Иштваном Мади в момент, когда, оказавшись на перепутье, он заставляет себя взглянуть на жизнь другими глазами и придирчиво-строго судит о себе и собственном творчестве. Вот тогда-то Иштван и оказывается в провинции и поступает в редакцию областной газеты города Медервар, где, как ему кажется, жизнь бурно кипит.

Есть ли такой городок на карте Венгрии или его название выдумано автором? Это не так уж и важно. Важно, что жизнь его — настоящая, не выдуманная. Иштван Мади с увлечением пишет о больших людях, строителях будущего. И здесь во внутренний монолог героя неожиданно врывается публицистика — острая и злободневная. Иштван рассуждает об актуальных проблемах строительства социализма, думает о судьбах литературы и своем творчестве.

Однако Иштван видит не только «страну в лесах». На его пути встречаются и дипломированные жулики, окопавшиеся в министерстве и редакции областной газеты. Все больше интригуют его темные слухи вокруг дела Лукаша — Куташа, арестованных за аферы с загородными виллами.

Вместе с сотрудниками милиции, ведущими следствие, Иштван стремится придать дело гласности, однако «кто-то наверху» упорно мешает этому. Среди этих загадочных «кого-то» оказывается и главный редактор Сухаи, и главный бухгалтер Винце, и его жена Эдина, которой не на шутку увлечен Иштван. Эдина умоляет его отказаться от публикации своих статей. Не умнее ли пойти на компромисс? Ведь очень скоро он сможет стать главным редактором и «своим» в их узком кругу...

Но Иштван никогда не присоединится к этим ничтожным, эгоистичным людишкам и не станет молчать; статьи его, гневные и бичующие, будут опубликованы во что бы то ни стало. А Эдина должна расстаться с мужем и тем нечестным, что их связывало, или же порвать с ним, Иштваном.

Драматическая сцена, особенно удавшаяся Мольнару в пьесе,— сцена саморазоблачения Эдины Винце, когда с ее лица падает маска порядочности. В острой сюжетной ситуации, запоминающейся своей внезапностью и вместе с тем психологической обоснованностью, обнажаются характеры. Эта неглупая, обаятельная женщина, оказывается, лишь артистически играла в любовь, и теперь она предстает перед Мади в подлинном обличии: лживая и хищная, она слишком привязана к своей вилле и положению «в обществе», чтобы сделать выбор в пользу Мади; их разрыв неизбежен.

Мастерски вылеплена Мольнаром отталкивающая фигура главного редактора Сухаи — бездарного журналиста и тонкого интригана, ловко удящего рыбку в мутной воде. Увидав в Иштване возможного конкурента, он с «отеческой заботливостью» начал строить ему козни.

Всем этим мелким и крупным хищникам противопоставлен секретарь обкома Чеге: умный, принципиальный человек, сразу же

ставший союзником Иштвана Мади. К сожалению, этот образ, который по замыслу должен был стать одним из центральных, по силе художественного изображения в повести уступил фигурам отрицательным. Пессимистичным и незавершенным представлялся и финал повести. В самый решающий момент писатель неожиданно отправлял Чеге в длительную заграничную командировку, словно для того, чтобы в трудную минуту оставить своего героя без поддержки и дать возможность Сухаи безнаказанно уволить Иштвана.

Быть может, поэтому картина жизни создавалась несколько мрачная, хотя, несомненно,— «горькая и смелая», по утверждению венгерской прессы, высоко оценившей страстность, правдивость образов и мастерство Гезы Мольнара.

Перерабатывая повесть по просьбе Театра имени Чоконаи, уже осуществившего интересную постановку одной из драм Мольнара — «Именины Анны», писатель нашел отчасти иной поворот темы и иные средства к ее воплощению. Теневые стороны жизни отнюдь не сглажены, однако композиционно бо́льшая роль в пьесе принадлежит секретарю обкома Арону Чеге и самому Иштвану Мади.

Читатель повести невольно задумывался: где и когда будут опубликованы разоблачительные очерки Мади? В пьесе совершенно очевидно: они появятся в следующем номере. Скоро, очень скоро все эти «калифы на час» займут по праву принадлежащее им место на скамье подсудимых. Залогом этому — такие люди, как Иштван Мади и Арон Чеге, залогом этому — сама социалистическая действительность.

Ситуация, в которой оказывается Иштван в драме, отнюдь не представляется пессимистической. Вернется ли он в Медервар, в редакцию той же газеты, после того как снимут Сухаи, или же будет работать в каком-нибудь другом месте — не в этом суть дела и не это волнует зрителя. В самую трудную минуту Иштван Мади выдержал испытание и чувствует себя непобежденным. Его жизнь, его творчество никогда не разойдутся с великой правдой молодости.

Е. УМНЯКОВА

ВОСПОМИНАНИЯ АНДРЕ МОРУА

André Maurois. Mémoires. Paris, Flammarion. 1970.

Когда Моруа задавали вопрос: «Ваше любимое занятие?» — он неизменно отвечал: «Писать». Трудился он самозабвенно, переделывая рукопись по пять-шесть раз. Каникулами называл время года, когда лучше работается. За полвека им было написано около двухсот произведений, тысячи статей. Перу Андре Моруа принадлежат жизнеописания великих людей, психологические романы, путевые очерки, книги по истории, литературные портреты, работы по искусству, стихи, пьеса, сборник афоризмов. Центральное место бесспорно принадлежит биографиям. В 1970 году — три года спустя после смерти автора — вышла последняя биография, его собственная. Перед нами «Мемуары» Андре Моруа.

Жизнь Моруа — это прежде всего история созданных им книг. Но меньше всего его можно назвать кабинетным писателем. Он был свидетелем и участником двух мировых войн. Ему довелось руководить принадлежавшей семейству фабрикой, преподавать, заниматься журналистикой, выполнять дипломатические поручения. Моруа был знаком с крупнейшими государственными деятелями Западной Европы и Америки, поддерживал дружественные отношения со многими большими писателями. Воспоминания Моруа — не только ценный источник для изучения его жизни и творчества: они проливают свет иа литературную и общественную жизнь Франции XX века.

Собственно говоря, мы уже были знакомы с частью «Мемуаров»: в 1941—1942 годах в издательстве Дома французской книги в Нью-Йорке вышли два томика воспоминаний. В окончательном варианте Моруа не ограничился переработкой первых частей, он написал две новые, доведя повествование до осени 1967 года. Перед читателем разворачивается драма жизни в четырех действиях. В этой, казалось бы гладкой, жизни были падения и взлеты, солнечная идиллия сменялась острыми драматическими конфликтами, связанными с самим характером нашего тревожного времени.

Детство писателя никаких бурь не предвещало. Отец, Эрнест Герцог, человек твердых правил, передал сыну чувство патриотизма, обостренное после военного поражения. Герцоги были выходцами из Эльзаса: в 1871 году они не пожелали остаться под немцами и переселились в местечко Эльбеф под Руаном. Здесь, в Нормандии, 26 июля 1885 года у Эрнеста родился сын. Мальчика — будущего писателя — нарекли Эмилем.

Первая часть «Мемуаров» называется «Годы ученичества». В прямом смысле слова: в руанском лицее Эмилю посчастливилось попасть в класс философа Алена, который до конца своих дней останется его наставником. «Годы ученичества» в более широком, гетевском смысле: университетами писателя была мировая война. В действующей армии он начал писать и опубликовал в 1918 году свой первый роман «Молчаливый полковник Брембл» под псевдонимом Андре Моруа. Андре—имя двоюродного брата, павшего в бою; пришлось по душе и название прифронтовой деревни — Моруа, в котором слышалась «звонкая грусть».

Годы ученичества закончились в тысяча девятьсот девятнадцатом, когда с фронта пришел рано поседевший человек. Его жизнь круто переменилась. Опыт, приобретенный в дни войны, помог понять: к пре-

жнему существованию — провинциального фабриканта — возврата нет. Драматически развязался узел личных отношений, распался «семейный круг». Внезапно скончалась жена Моруа, красавица Жанина. Несколько лет спустя он вступил в брак с Симоной де Кайаве, верным спутником до конца дней. Жанина и Симона стали прообразами героинь первого психологического романа Моруа «Превратности любви»: два зеркала, в которых попеременно отражается судьба мужчины... Начались «Годы работы», работы литературной.

Обстоятельно рассказывает Моруа о том, как складывался и воплощался в жизнь замысел трилогии об английских романтиках — Шелли, Байроне и о посредственном литераторе и известном государственном деятеле Дизраэли. Мы входим в творческую лабораторию писателя, можем проследить, как формировался его реалистический метод, как под его пером возрождался древний биографический жанр.

Моруа знакомит нас со своими друзьями — Мориаком, Роже Мартен дю Гаром, Полем Валери, Жироду; правда, постепенно рассказ о писателях и книгах все более уступает место описаниям путешествий и картин светской жизни. Дело в том, что в середине 30-х годов художнические помыслы отходят у Моруа на второй план. «Потерянное время» — так называется соответствующая глава воспоминаний. Моруа оказался перед лицом серьезного творческого кризиса. Увенчанный академическими лаврами, он чуть было не сделался модным писателем, законодателем правил хорошего тона на литературном Олимпе. И потребовались годы тяжелых испытаний, прежде чем Моруа снова вышел на дорогу настоящего искусства.

Третий акт драмы — «Годы несчастья». Моруа считал изгнание самым большим несчастьем, которое может постигнуть человека. Для него изгнание началось в июне 1940 года, когда военное министерство откомандировало его в Лондон. Во время «странной войны» лейтенанта Моруа назначили французским наблюдателем при британском экспедиционном корпусе — теперь он хотел поведать англичанам правду о трагедии Франции, добиваться эффективной помощи в борьбе против нацистской Германии. Но было слишком поздно — гитлеровцы оккупировали его родину. После недолгого пребывания в Англии писатель отправился в Америку. Он возлагал большие надежды на вступление в войну Соединенных Штатов и хотел всеми силами этому вступлению содействовать.

В рассказе о годах, проведенных в эмиграции, не всегда чувствуется трагический пульс времени, частное порой заслоняет всеобщее. Тем не менее не лишено интереса повествование о жизни Моруа в кругу других изгнанников — Метерлинка, Томаса Манна, Стефана Цвейга и особенно Сент-Экзюпери, с которым он в ту пору сблизился. Моруа много пишет, ездит по стране, выступает с речами, читает лекции в университетах. Поддерживала вера в победу над гитлеризмом. В патриотической речи, произнесенной в январе 1943 года, писатель говорил о «Париже, городе большого сердца, Париже, городе мятежном и страстном, Париже, городе захваченном, но не покоренном».

Не покидала мысль: надо вернуться в строй. Такая возможность представилась в 1943 году после высадки союзных войск в Северной Африке. Офицеры запаса Сент-Экзюпери и Моруа заявили о желании служить во французской армии. Участник десанта на острове Корсика капитан Моруа оказался в числе первых французов, вступивших на освобожденную французскую землю. За Корсикой — Италия, поездки на линию фронта. В конце года по распоряжению командования писатель вернулся в США. В Америке продолжалось чтение лекций, пока — в 1946 году — не пробил долгожданный час возвращения на родину.

Четвертая часть мемуаров — «Годы покоя» — позволяет наглядно проследить изменения в мировоззрениях и художественной практике Моруа.

Пора изгнания не прошла для писателя даром, он освободился от груза сословных предрассудков: «Несчастье... излечило меня от некоторых предупреждений. Начав свой жизненный путь в стане тех, кому принадлежит власть, я долгое время оставался глух к недовольству тех, кто лишен власти». В испытаниях окрепла вера в людей, антифашистские убеждения стали еще более определенными. «Наша цель,— говорит Моруа,—видеть в каждом человеке человека. Ужасы мира концентрационных лагерей, земного ада, где жестокость, пытки, убийства считались законными, все эти ужасы были возможны лишь потому, что бесчеловечные теории отрицали право людей всех стран, классов и рас именоваться людьми».

Эволюция общественных взглядов, преодоление известного консерватизма мышления благотворно сказались и на творчестве.

Расширился круг тем, зазвучали новые мотивы. Написав биографию изобретателя пенициллина Александра Флеминга, Моруа впервые обратился к людям науки. Он был склонен критически оценивать свои ранние произведения, где общественный фон не всегда просматривался. Теперь, и это главное, Моруа обращается к прогрессивной национальной традиции. Так возникла трилогия о французских романтиках — «Лелия, или Жизнь Жорж Санд», «Три Дюма», «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго». И, наконец, лебединая песнь Моруа — «Прометей, или Жизнь Бальзака».

Воспоминания Моруа свидетельствуют о том, что в последние годы жизни укрепились его связи с передовыми кругами Франции. Он сотрудничает в прогрессивных изданиях, публикует вместе с Арагоном «Параллельную историю США и СССР» (Моруа принадлежит часть, посвященная Америке).

В 60-е годы устанавливаются дружественные контакты с советскими литераторами. Моруа рассказывает об издании его книг в СССР, о статьях, написанных для советских газет и журналов. «Мои переводчики приезжали ко мне в Париж; я получал письма от своих читателей из Москвы, даже из Сибири. Я радовался этим связям, установившимся со страной Толстого и Чехова, Пушкина и Горького». Великолепный знаток русской классической литературы, Моруа проявлял живой интерес к произведениям советского искусства, восхищался «эпическим характером и здоровым духом советских фильмов». Престарелый писатель не раз говорил о своем желании приехать в нашу страну. Этим планам не суждено было осуществиться.

Моруа продолжал напряженно работать. В 1966 году вышла книга «Открытое письмо молодому человеку», где он утверждал: «Не в моих силах помешать войне, но тем, что я говорю и пишу, я оказываю определенное воздействие; приумноженное миллионами других, оно сделает угрозу войны менее вероятной». Было немало других замыслов. Развязка последнего действия наступила внезапно.

Заключительная глава «Мемуаров» названа по известной строке из «Цветов зла» Бодлера: «Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!». Лето 1967 года было омрачено болезнью жены. Уже после того как 20 сентября Моруа поставил точку под предисловием к «Мемуарам», ему самому пришлось обратиться к врачу, который предложил немедленную операцию. «То был удар грома среди ясного неба. Годы покоя все больше становились годами бедствий. За себя не тревожусь. Мне и раньше делали операцию; я знаю, что приходится немного помучиться, претерпеть боль, но затем, после перенесенной опасности, наступает облегчение. Но я опасаюсь потрясения». Это последние слова воспоминаний.

«22 сентября отец лег на операцию в одну из парижских клиник»,— рассказывает писательница Мишель Моруа, побывавшая в этом году в нашей стране.— Сама операция прошла благополучно, но диагноз не оставлял надежды: рак. Несколько дней отец чувствовал себя хорошо. Просил обязательно опубликовать «Мемуары». Потом наступило резкое ухудшение. 9 октября его не стало».

Осенью прошлого года — именно тогда вышли в свет «Мемуары» — мне посчастливилось побывать в местечке Эсандиера в Перигоре, где Моруа с давних пор проводил большую часть года. Меж столетними дубами дорога подымается к увитому диким виноградом двухэтажному дому. В конце XIX века дом был пристроен к старинному замку со средневековой башней. У подножья замка вьется узенькая речка Ля Лу — Волчица. Кирпично-красные, темно-фиолетовые, лиловато-серые черепицы ферм, белые стены замков да высокие колокольни выглядывают из раскинувшихся по холмам лесов. Только пение петухов или крик иволги изредка нарушает тишину. Здесь, в уединении, недалеко от знаменитой башни, где некогда трудился над «Опытами» Мишель Монтень (Моруа называл его своим соседом), создано немало жизнеописаний великих людей. Не так давно гостеприимный хозяин принимал в Эсандиера своих друзей — писателей Мориса Дрюона, Клода Мориака, Жана Дютура, известного биолога доктора Альбера Делоне.

Теперь дом принадлежит миллиардеру Сильвену Флуара, который выплачивал Моруа пожизненную ренту. Судя по всему, новый хозяин поместья (так и хочется сказать «вишневого сада») меньше всего думает о том, чтобы увековечить память о большом французском писателе. Не сохранился даже рабочий кабинет Моруа... Покидаешь Эсандиера с двойственным чувством — радости от встречи с прошлым и огорчения от встречи с настоящим. И невольно приходят на память слова писателя, разделявшего мудрость Вольтера, принявшего его девиз: «Надо возделывать свой сад». «Не знаю,— говорил Моруа,— кому будут принадлежать мои сосны, когда вырастут,— очередному владельцу или колхозу». И в духе автора «Кандида» добавлял: «Франция будет всегда. Давайте же сажать леса».

Ф. НАРКИРЬЕР

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС ТУНЬОН: НА СЛУЖБЕ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

В руках поэта — одна из его последних книг, не так давно изданная в Буэнос-Айресе. На фотоснимке, занявшем чуть не всю обложку, можно, хотя и не без труда, узнать Рауля Гонсалеса Туньона, еще молодого, стоящего среди каких-то людей у многоэтажного дома. «Случайно сфотографировали, в тридцать пятом году, в Мадриде, на улице Алкала́»,— поясняет он, предупреждая вопрос.

— И на обложку, Рауль, этот снимок попал тоже случайно?

— О нет! На этот раз не было случайности. Молодые товарищи, издавшие книгу, предпочли сопроводить ее фотографией автора ранних лет и, конечно, хотели, чтобы снимок как-то перекликался с тематикой, содержанием сборника,— вот и подыскали.

— А название книги? Как истолковать — «Флюгер и антенна»?

— Книга названа по стихотворению, включенному в сборник.

В этом стихотворении — очень небольшом, но созвучном, по-моему, с остальными, вошедшими в книгу,— я пишу о флюгере, показывающем направление ветра и помогающем ориентироваться, и об антенне, которая, перехватывая гул вселенной, в свой хрупкий каркас вмещает все, чем живет мир, сегодняшнюю и вчерашнюю историю... Флюгер-ориентир как бы позволяет мне в потоке воспоминаний найти, выделить что-то нужное, дорогое. С помощью антенны связываешь далекое с близким, прошлое с настоящим, держишь руку на пульсе мира... Что сказать о снимке испанских лет? В двух словах трудно оценить, какое влияние, какое воздействие на мою жизнь, на мою работу оказала революционная Испания, когда народ сражался с оружием в руках. Там многое стало понятным, по-новому взглянул на мир... В этой книге перелистываю страницы собственной жизни, как бы беседую со своим временем, с прошедшим и нынешним...

Сорок пять лет назад появилась первая книжка — «Скрипка дьявола» — тогда двадцатилетнего поэта, мятежного, взбунтовавшегося против несправедливости, царящей в буржуазном обществе, и бросившего вызов этому обществу. В сложных условиях того времени, когда Аргентина переживала последствия глубокого политического, экономического и социального кризиса, а в духовной жизни ее господствовал идейный разброд, юный поэт, сознававший необходимость бороться с окружавшим его чужим и враждебным миром, не сразу разобрался, как и с каких позиций нужно вести борьбу.

— Таким образом, в двадцатых годах,— вспоминает Рауль Гонсалес Туньон,— началось мое сотрудничество в литературном журнале «Мартин Фьерро», вокруг которого в ту пору собрались Хорхе Луис Борхес, Рикардо Молинари, Кóрдова Итурбуру, Улисес Петит де Мурат, Эдуардо Мальеа, ныне покойные Леопольдо Маречаль, Эвар Мендес, Оливерио Хирондо... Они входили в группу литераторов, преимущественно поэтов, известную как «Флорида». Был связан с ними и Эсекиэль Мартинес Эстрада. Одно время сближался с этой группой наш прекрасный прозаик Рикардо Гуиральдес, роман которого «Дон

Сегундо Сомбра» издан в Советском Союзе...

Так поэт-бунтарь, родившийся в квартале трудового люда Буэнос-Айреса, делая первые шаги в литературе, поначалу примкнул было к тем, кто, хотя и выпускал журнал под именем героя знаменитой классической поэмы Хосе Эрнандеса — вольнолюбивого гаучо Мартина Фьерро,— но не имел ничего общего ни с ним, ни с другими крестьянами-пастухами во плоти и крови. Журнал издавали «авангардисты», проповедовавшие «аполитичность», «искусство ради искусства»; характерно, что, взяв для своей группы наименование элегантной, аристократической улицы аргентинской столицы — Флорида, где, кстати, находилась редакция их печатного органа, они вели полемический огонь против группы молодых литераторов, в основном прозаиков, выходцев из трудовых слоев, символически избравших для себя название улицы тогдашнего пролетарского предместья Боэдо. По выражению видного писателя Альваро Юнке, «приверженцы «Боэдо» хотели изменить мир, тогда как сторонники «Флориды» довольствовались новшествами в литературе».

— С той поры — поры юношеских баталий,— продолжает Рауль Гонсалес Туньон,— прошло много лет. Эти литературные группы — или, как их еще обозначают, школы — формально распались давно, однако их тенденции и поныне сказываются в нашей поэзии и прозе, тем более что многие ветераны живы, работают. Былые приверженцы «Боэдо», выдвинувшие лозунг «искусство для народа», сегодня стоят в рядах боевой прогрессивной литературы — это тот же Альваро Юнке, не прекращающий активной деятельности в свои восемьдесят лет, тот же Леонидас Барлетта, как всегда неуемный и как всегда горячо отстаивающий идеалы демократии, тот же Хосе Портогало, выступающий со стихами и по сей день... А судьбы тех, кто был в группе «Флорида», оказались иными. В свое время лучшими сторонниками «Флориды», точнее — лучшими из «мартинфьеристов», было внесено и кое-что новое, иной раз полезное, прижившееся в области литературной формы, в области поисков изобразительных средств. Позднее участники этой группы — конгломерата различных эстетических взглядов — рассыпались по разным направлениям, очутились даже по разные стороны баррикады. Тот, кто ранее стоял спиной к аргентинской действительности, в конце концов забрел в тупик, морально и творчески обанкротился, потерял престиж; кое-кого начинают забывать или уже забыли...

Наш собеседник упоминал имя Хорхе Луиса Борхеса. «Суперинтеллектуал» и рафинированный эстет, Борхес как-то признался, что он «сформирован за высокой стеной, в саду и в библиотеке с бесчисленными английскими книгами»; самоизоляция от жизни аргентинского народа привела этого поэта и прозаика в лагерь правых, а затем и в трясину реакции, слепо ненавидящей все прогрессивное,— особую его ненависть вызывают коммунизм, Советский Союз. В латиноамериканской печати отмечалось, что не было такого антикоммунистического, антисоветского или антикубинского «заявления» либо «протеста», под которым не фигурировала бы подпись Хорхе Луиса Борхеса, считающего себя стоящим «над схваткой».

— Когда-то буэнос-айресская буржуазная пресса превозносила Борхеса как «мэтра» литературной молодежи. Как сегодня к нему относятся молодые поэты Аргентины?

— Что ж, его траектория логически завершается. Стиль его произведений, как известно, ювелирно отточен, но в языке обычно не хватало человеческих эмоций, страсти; образы его не идут к сердцу. Он был признан мастером слова, но в слове его не ощущается пульсация крови. Он всегда писал для очень узкой элиты, запродавшей свою душу Лондону, Нью-Йорку или Парижу, предпочитающей все неаргентинское и в этом видящей свой «национализм». Такого рода элите, естественно, близок «англизированный» Борхес, некогда воспевавший Буэнос-Айрес — каким он хотел бы его видеть,— и отделявшийся не только от аргентинского народа, но и от Аргентины. Поэтому не нашел сколь-нибудь значительного отклика в общественной и литературной жизни страны его семидесятилетний юбилей. Поэтому от Борхеса отошла и литературная молодежь Аргентины, окончательно убедившись в том, что у него она не найдет ответа на свои вопросы. Многое значит в этом свете недавний крах литературного журнала «Сур», со страниц которого Борхес и его единомышленники пропагандировали свои концепции. «Сур» растерял читателей. Журнал пришлось закрыть на сороковом году издания.

— Путем Борхеса, похоже, не последовали остальные писатели, принадлежавшие к группе «Флорида» или близкие к ней?

— Конечно нет. Об этом свидетельствуют позиции, скажем, поэта Леопольдо Маречаля или эссеиста Эсекиэля Мартинеса Эстрады. Оба они, пусть на склоне лет, нашли в себе достаточно сил и, если хотите, мужества, чтобы пересмотреть свои взгляды, переосмыслить свое отношение к действительности, к происходящим событиям в Латинской Америке, к борьбе народов против североамериканского империализма. Оба они старались понять кубинскую революцию — и встали на сторону первого социалистического государства на нашем континенте. А ведь отношение к социалистической Кубе сегодня, как и к революционной Испании вчера, позволяет оценить многое...

Рауль Гонсалес Туньон, вполне понятно, не может не вспомнить Испанию — борьбе испанского народа против фашизма посвящены многие произведения поэта. К испанской тематике он обратился, впервые увидев Испанию, бурлящую, гневную и скорбную, вскоре после восстания асту-

рийских горняков 1934 года, жестоко подавленного реакцией.

Испанию революционных лет можно с полным правом определить своеобразным водоразделом в творчестве Рауля. На испанской земле прежний бунтарь (а в его книгах — «Предпоследний день карнавала» и «Улица дырки в чулке» — проскальзывали даже анархистские нотки) стал революционером. Перед появившимся незадолго до отъезда в Испанию Хуансито Странником — героем книги «Все пляшут»,— простым, добрым и вместе с тем гордым человеком из народа, прошедшим по многим, долгим и нелегким путям-дорогам родного края, других стран и испившим из родника народной мудрости, открылись новые горизонты. Правда, на этот раз Хуансито Страннику — Раулю Гонсалесу Туньону — пришлось покинуть родину не по своей воле: реакционные власти возбудили против поэта судебное дело по обвинению в публикации «подрывной» поэмы о Советском Союзе «Ударные бригады».

«В Мадриде,— писал впоследствии Рауль Гонсалес Туньон,— мы провели почти весь 1935 год. Однажды нас представили Долорес Ибаррури, которая занималась организацией помощи сиротам шахтеров, убитых марокканцами и наемниками из «иностранного легиона». Она подробно рассказала о фактах, известных нам лишь в общих чертах из скупых информационных сообщений, и о том, чего мы не знали,— о героизме и мученичестве астурийских горняков. Потрясенный до глубины души этой страшной драмой, я рискнул выразить мои чувства так, как смог...»

Так из-под пера Рауля появляется поэтический сборник «Роза в броне», знакомый и советскому читателю.

На испанской земле, где развернулась героическая битва с мировой реакцией, он участвует в Международном конгрессе писателей-антифашистов. Хуансито Странник не может оставаться сторонним наблюдателем: он — активный участник борьбы против фашизма. О национально-революционной войне испанского народа он пишет в прозе — «Врата огня», в стихах — «Смерть в Мадриде». Теперь он знает, где враг, понимает, как нужно с ним бороться. Созревает и крепнет его революционное сознание. Вполне закономерным был его приход в коммунистическую партию.

Рауль опять берет в руки «Флюгер и антенну».

— Кроме моих стихов здесь помещены два стихотворения, которыми я особенно дорожу. Написанные примерно в одно и то же время, они открывают оба раздела книги. Одно из них принадлежит Мигелю Эрнандесу. В конце 1935 года Федерико Гарсиа Лорка устроил мне прощальный ужин — я должен был уехать из Испании и тогда не знал, что через какое-то время вернусь сюда, и не представлял, что через какие-нибудь полгода фашисты убьют Федерико, что это наша последняя встреча. За ужином поэт Хэрардо Диэго неожиданно прочел стихотворение Мигеля, адресованное мне. До этого Мигель писал лирические стихи в традиционном духе, и мы — Пабло Неруда, служивший в Мадриде чилийским консулом, другие испанские коллеги и я — много и часто спорили о том, какая поэзия нужна в наше время. Я спрашивал Мигеля Эрнандеса, почему он не хочет взглянуть, что делается вокруг,— а обстановка в Испании накалялась буквально по часам,— почему он об этом не говорит в своих стихотворениях. Вначале он отшучивался, а потом стал расспрашивать меня о поэзии борьбы в Латинской Америке. Можно вообразить, как все мы, собравшиеся за ужином с Федерико, были донельзя поражены, услышав стихотворение Мигеля, насыщенное революционным огнем! Два года спустя я возвратился в Испанию в качестве корреспондента одной прогрессивной, антифашистской газеты и встретил совсем иного Мигеля-человека — он был политическим комиссаром — и Мигеля-поэта,— мне он читал боевые, политические стихи... Федерико Гарсиа Лорка познакомил меня с автором другого стихотворения, включенного в этот сборник. Стихотворение, также адресованное мне, написал Робер Деснос, французский поэт, один из основателей сюрреализма, позднее включившийся в антифашистскую борьбу и павший жертвой гитлеровского нацизма. Такие люди, как Робер, не умирают...

Словно обращаясь в будущее, Робер Деснос писал много лет назад в стихотворении, ныне открывающем сборник Рауля:

Мой дорогой Гонсалес Туньон
Лишь вода течет не зная куда
А вот нам не сбиться с пути
По дороге идем в направлении одном
И скажу нет не к смерти а к жизни...

— Как Мигель Эрнандес, так и Робер Деснос,— проговорил после минутной паузы Рауль,— сумели найти себя, избрали свою позицию в бою, сражались — и ушли в бессмертие. Мы не забываем и других, к штыку приравнявших перо. Однако гигантом среди них по-прежнему высится Владимир Маяковский, которым увлекается, у которого учится наша поэтическая молодежь. В творчестве Маяковского молодые поэты латиноамериканской революции ищут и находят горючее для своих поэтических ракет, столь нужных ныне в битве идей...

Рауль с жаром рассказывает о поэтах-соотечественниках, наших современниках, но умалчивает о себе. А кому, впрочем, неизвестно, что одно из первых мест в латиноамериканской революционной поэзии уже десятилетия — десятилетия! — занимает по праву Гонсалес Туньон, о котором журнал аргентинских марксистов «Куадернос де культура» недавно писал: «Наш выдающийся поэт стал знаменем новой поэзии, тесно связанной и с человеком и со временем». Ясностью, искренностью, оптимизмом, юношеским горением отличаются и последние — лирические и политического накала — стихи поэта-борца: ему

всего лишь шестьдесят шесть лет! Недаром молодое поколение Аргентины видит в Рауле своего наставника и... чуть ли не ровесника. В каждой из книг — будь это «Пороховой гимн», почти целиком посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне (четверть века назад в Буэнос-Айресе Рауль, вручая том автору этих строк, надписал: «Советский Союз — имя Надежды»), будь это «Первая аргентинская песнь» или «Осенняя соната в Москве», «Все люди земли — братья» или «Флюгер и антенна» — поэт служит своему времени, как служит народу. Он как-то заявил: «Меня не интересует само по себе это деликатное, а иногда тяжелое ремесло поэта: в наше время для меня не имеет большого смысла поэзия без борьбы за то, чтобы изменить жизнь». «Диалогом человека со своим временем» назвал он одно свое произведение — а ведь именно таким воспринимается все его творчество. Отдаваясь своему большому и важному труду — находясь на передовой,— он не считается с годами, со здоровьем (в стихотворении «Старый поэт» — из сборника «Флюгер и антенна» — автором сказано: «...он молодеет, когда умирает осень»). И его влекут уже новые замыслы.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

ПОСЛЕ ПЕРЕОЦЕНКИ ЦЕННОСТЕЙ

(Гость редакции — Гюнтер де Бройн)

de Bruyn. Де Бруин, де Брюин, де Брюйн... Споры начинаются уже по поводу имени автора: по-русски — как написать его, по-немецки — как произносить (на этот счет нет единого мнения даже в семье писателя, получившего свою фамилию от голландских предков и называющего себя де Бройном). Что уж говорить о его романе «Буриданов осел»!.. Хотя, казалось бы, о чем там спорить? Сколько их в мировой литературе, этих «треугольников», этих влюбляющихся в своих молоденьких подчиненных отцов семейств, носящихся с мыслью начать с новой (молодой!) женой новую жизнь, в которой «все будет по-другому» (хотя и «старая» была построена по собственной воле, на любви и течет вполне благополучно и в полном благоденствии, по им же самим заведенному порядку), и в последнюю минуту (ну, не совсем в последнюю, не «без пяти двенадцать», а немного позже, скажем, пять минут первого, все же успев немного насладиться этой новой жизнью и сумев слегка поломать жизнь своей возлюбленной, сцена прощания с которой могла бы надорвать душу, если бы в завершение мы вдруг не увидели, как герой провожает «в добровольное изгнание» свою несостоявшуюся мечту: «С кровоточащим сердцем! С кровоточащим сердцем, с которого свалился камень») возвращающихся к привычному очагу... И тем не менее споров, горячих дискуссий — и на страницах газет и журналов, и во время бесчисленных встреч автора с читателями — было предостаточно. Это неудивительно: уж очень важные моральные и социальные проблемы ставит автор, о многих острых и сложных вопросах современной жизни, жизни социалистического общества, заставляет он задуматься; умным и точным пером, с любовью и без прикрас воссоздает он жизнь в сегодняшней ГДР (иной раз и с прелюбопытнейшими экскурсами в прошлое); и делает он это в такой изящной, слегка иронической манере...

Эта легкая, никогда не звучащая резко ироничность в соединении с необычайно привлекательной мягкостью отличает и характер самого автора, Гюнтера де Бройна. Он, правда, любит больше слушать, чем говорить, и его во все времена года загорелое лицо и то и дело мелькающие в глазах лукаво-иронические блики показывают, какой внимательный и активный слушатель перед вами. Он органически деликатен, его благожелательное, искреннее отношение к людям, его интерес к собеседнику не наигранны: он именно таков, без

всякого усилия над собой. При этом он начисто лишен «прекраснодушия», его никак не назовешь добреньким. Он не только обладает тонким чувством юмора, он умеет быть вполне отчетливым в своих суждениях и оценках. Перечитайте роман «Буриданов осел» — и вы почувствуете, что за кажущейся снисходительностью писателя кроется определенная и твердая нравственная позиция.

Споры о его романе еще не утихли, они продолжаются и сейчас. И сейчас еще автор получает огромное количество писем («Большинство писем от женщин»,— уточняет он). За три года роман выдержал пять изданий в ГДР, дважды — в журнале «Иностранная литература» (1969, № 11 и 12) и отдельным изданием — вышел он в Советском Союзе, опубликован в ФРГ, скоро будет издан в Польше, в Болгарии, в Венгрии и Румынии; Ростокский театр (один из лучших в Германской Демократической Республике) готовит инсценировку по книге. Но для автора она уже «пройденный этап», он весь в заботах о том, чтобы новая книга была «не хуже» предыдущей. О чем же она, эта новая книга? — спросили Гюнтера де Бройна.

— О счастливом браке,— ответил он.

— Но ведь утопические романы — вовсе не ваша стихия! — возразил ему кто-то, кого в свою очередь некий пессимист обозвал оптимистом, поскольку он отваживается считать, будто у брака все же есть будущее.

Итак, новый роман будет опять о браке, о жизни семьи. Так ли уж часто встречаются в жизни счастливые браки и настолько ли необходимо об этом так много писать? Во время встречи в редакции эта тема вызвала много шуток. Кто-то привел данные из английской печати, что в последнее время все большее число мужчин — причем чаще всего это так называемые «идеальные мужья» — убегает от своих жен, называлась даже цифра: 80 000 (неизвестно только, за какой период). Шутки шутками, но ведь известно, что семья — маленькая, первичная ячейка общества.

— Ни с каким другим институтом,— поясняет Г. де Бройн,— людям не приходится так постоянно и непосредственно сталкиваться, как с браком, нигде общественные условия не сказываются с такой отчетливостью и устаревшие отношения между людьми не сохраняются так долго, как в браке. Меня интересует будущее брака. Являются ли беды, столь часто связанные с браком, признаком распада или же признаком прорыва в новые сферы человеческих отношений?

— Почему вы пишете о браке, а не о любви самой по себе?

— Когда я пишу о браке, я, само собой разумеется, пишу и о любви. С тех пор как у любящих на пути друг к другу не стоят больше труднопреодолимые препятствия, брак ведь в общем и целом и есть та форма отношений, где любовь и должна проявить свою состоятельность, где и возникают конфликты. Вот и новый роман, задуманный как повествование о счастливом браке, по мере претворения замысла претерпел некоторую метаморфозу.

— Когда вы предполагаете закончить роман? — спросили мы у писателя.

— Собственно говоря,— отвечает Г. де Бройн,— он уже был закончен, но в прошлом году я его прочитал и сам забраковал,— начал заново переписывать. В некотором отношении этот роман близок к «Буриданову ослу»: здесь тоже речь идет о повседневной жизни. Действие происходит в среде литераторов. В центре — муж, жена и 17-летняя дочь, их как будто счастливая жизнь. Но в один прекрасный день всем троим приходится произвести определенную переоценку ценностей. Роман называется (во всяком случае — пока) «Присуждение премии». Но речь не о присуждении премии за книгу (плохую ли, хорошую) — автор выдает премию тому из членов семьи, который предлагает наилучшее решение создавшейся сложной ситуации.

— Чем кончается роман?

— Тем, что упомянутый прекрасный день кончается и наступает вечер... Я не умею рассказывать содержание собственных книг. Прошу меня извинить. Мне еще и потому трудно говорить о новой работе, что, как человеку другого поколения, мне необыкновенно сложно перевоплотиться в образ 17-летней девушки. Третью попытку делаю, но не уверен, что она последняя,— это в сказках благие дела обязательно удаются с третьего захода.

Трудности такого перевоплощения тем более понятны, что юность поколения, к которому принадлежит 45-летний Гюнтер де Бройн, протекала в условиях фашистского режима; этому поколению пришлось решительно и бескомпромиссно пересмотреть все идейные и моральные ценности, какими их пичкали в детстве, какие преподносила им национал-социалистская школа и юношеские организации третьего рейха. И не только пересмотреть и отказаться от прошлых взглядов. Надо было еще отыскать иную нравственную позицию, иные духовные ценности. Г. де Бройн обрел эту позицию — он один из тех писателей ГДР, кто напряженно ищет в человеческой душе качества, совершенно необходимые строителям подлинно нового общества. Вот почему ему никак не удается осуществить свою лелеемую в часы досуга мечту о том, чтобы «писать исторические романы»,— его неотвратимо тянет к тому, что происходит сегодня, здесь, сейчас. И вот почему он снова и снова обращается к современности, пишет — и не может не писать — о дне сегодняшнем.

Е. КАЦЕВА

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

РАДИОПЬЕСА «СТРАНСТВУЮЩИЙ ТОРГОВЕЦ»

Недавно отдельной книгой издана радиопьеса Дж. Ардена «Странствующий торговец» (она была написана для радио в 1969 г. и вышла вместе с более ранней пьесой «Подлинная история сквайра Джонатана»). По словам рецензента газеты «Морнинг стар» Дж. Сазерленда, писатель создал «притчу о роли драматурга, как Арден себе ее представляет, в современном капиталистическом обществе».

Пьеса «Странствующий торговец» повествует о драматурге, получившем от нищей старухи мешок, в котором оказывается кукольный театр. Куклы разыгрывают пьесу о бедных и богатых. Когда богачи той страны, где живет драматург, узнали, что он показывает эту пьесу, они начали плести против него интриги. Сначала его старались подкупить,

Ванесса Редгрейв в фильме «Дьяволы» режиссера Кена Рассела. Фильм раскрывает безумие религиозного фанатизма во Франции XVII века. Сценарий основан на книге О'Хаксли «Луденские дьяволы» и пьесе Джона Уайтинга. Настоятель монастыря — влиятельная политическая фигура в небольшом провинциальном городке — организует процесс над монахинями, обвиняя их в связи с дьяволом. Ванесса Редгрейв играет в фильме мать Иоанну от Ангелов, главную обвиняемую на процессе. Английская газета «Таймс» считает, что «немногие фильмы сравнятся с ним по силе воздействия... на многих кадрах лежит отсвет ада... это поэма безумия».

(«Таймс», 24.VII.1971)

но, видя неудачу, решили учинить над ним физическую расправу...

В предисловии к книге Арден говорит, что пьеса «Странствующий торговец» довольно полно отражает его взгляды в 1969 г., но не позднее. Поэтому Арден намеревался переписать конец пьесы, но счел более целесообразным «продемонстрировать свои взгляды в 1971 г. в новой пьесе, которая будет написана». Но он хочет, чтобы читатель понял общую направленность пьесы «Странствующий торговец»: в ней он считает своим врагом «человека сытого, одетого, обутого, имеющего крышу над головой, чьи жизненные блага получены ценой голода, нищеты и лишений миллионов других людей; этот человек допускает, чтобы в книгах и на сцене о нем говорили что угодно, лишь бы в его распоряжении оставались еда, платье и жилье».

Сазерленд пишет, что пьеса блистательна, исполнена юмора, написана прекрасным языком и содержит множество глубоких мыслей. Он называет Ардена необычайно цельным драматургом, напоминая, что его всегда волнуют остросовременные темы: война, мир, насилие и поведение человека в современном обществе. «Как и другие прогрессивные драматурги, Арден сталкивается с проблемой буржуазного театра, с отсутствием аудитории, к которой он хотел бы обратиться»,— пишет Сазерленд.

Рецензент считает, что получившая известность пьеса Ардена «Танец сержанта Масгрейва» — лучшая из написанных в послевоенный период пьес.

«КОЕ-ЧТО О ТЕЛЕВИДЕНИИ»

Под таким заголовком в «Таймс литерари саппмент» появился фельетон писателя Спайка Миллигена. В шутливой форме на конкретных примерах он прослеживает влияние телевидения на жизнь англичан.

По мнению Миллигена, ни одно изобретение в области бытовой техники не оказало столь разрушительного воздействия на семью, как телевидение: «это была бомба, подложенная под семейную жизнь», «результаты только теперь начинают сказываться», «была изобретена машина для заполнения досуга». Машина эта «совершенно бесчеловечна и может показывать все что угодно».

«Телевидение развращающе действует на литераторов и, прежде всего, на драматургов, — утверждает Миллиген. — За одну телепьесу они получают столько денег, сколько за год работы для театра, и ради барыша готовы стать литературными поденщиками». А количество пьес, потребляемых телевидением, бесконечно. Вспоминая плодовитость Шоу как драматурга, Миллиген пишет, что всю продукцию Шоу, если бы он творил сейчас, телевидение поглотило бы за полгода. «В свете этого интересно, неужели мы так же разделываемся с современными Шоу и даже не замечаем их таланта в великом море бесконечных телепьес?!»

Но не только это тревожит автора. Он представляет себе, как в кресле с сигарой и с бокалом вина сидит сытый зритель и смотрит на экран ленивым взором. Зритель бесстрастно проглатывает не только ужасы кино, но и трагическую хронику Вьетнама, Суэца, картины голода, землетрясений, убийств и грабежа. Зритель привычно восклицает: «Как это ужасно!» — но для него это только зрелище, а не страшная реальность. После всего этого развращающее влияние бессодержательных развлекательных фильмов — сущий пустяк, замечает Миллиген.

БЕЛЬГИЯ

ХУДОЖНИК РАЗМЫШЛЯЕТ

Бельгийский художник Роже Сомвиль (о его творчестве см. «ИЛ» № 5, 1971) — активный сторонник реалистического искусства. Избранные статьи, лекции, маннфесты Роже Сомвиля, создававшиеся им на протяжении 20 последних лет, собраны в книге «За реализм. Художник размышляет», вышедшей в издательстве «Павийон».

«Реализм — созидательное и протестующее искусство одновременно,— пишет Сомвиль,— он всегда стремится выразить человеческое единство; он объединяет и разрушает, неся в себе самом диалектическую силу обновления».

Сомвиль резко выступает против нефигуративного искусства и «ловушек современного формализма, прикрывающихся алиби новаторства». Художник утверждает, что реализм всегда был центральным явлением в искусстве и подвергается нападкам потому, что несет в себе революционное начало.

Сборник «За реализм» очень разносторонен: Сомвиль пишет об архитектуре, монументальной живописи, урбанизме, домах культуры и о многом другом.

«Книгу Сомвиля нельзя упрекнуть в недостатке мужества и энтузиазма, — пишет критик Жан Роллен в «Юманите».— Она заставляет читателя размышлять о ключевых проблемах современного искусства».

ВЕНГРИЯ

«ЗАЛП»

Вышел из печати роман «Залп» Лайоша Барата, который до сих пор был известен читателю как автор рассказов. Роман посвящен шахтерам, его события развертываются в первые дни после падения Венгерской советской республики 1919 г. Четырнадцать горняков из шахтерского поселка стали жертвами контрреволюции — в знак протеста все жители поселка вышли на демонстрацию...

«Роман Лайоша Барата воссоздает время, когда рабочие брали в руки спрятанное оружие и пытались восстановить народную власть — в некоторых шахтерских поселках это удалось сделать на короткое

время, — пишет рецензент Иожеф Таши в газете «Непсабадшаг». — В основу романа положены подлинные документы, главным образом протоколы судебных разбирательств. В нем сталкиваются два класса: капиталисты с рабочими. Автор объективно изображает как рабочих, участвующих в демонстрации, так и их врагов... Он хорошо знает психологию рабочей массы — это особенно чувствуется в описании кульминационного момента демонстрации».

В книгу включены также два рассказа «Девушки Кусенды» и «Песни», созданные на основе личных впечатлений Лайоша Барата, который сам несколько лет проработал в шахте.

ГАБОН

МУЗЕЙ В ЛИБРЕВИЛЕ

В городе Либревиль находится небольшой этнографический музей. В его собрании насчитывается около 900 произведений искусства и кустарных ремесел (образцы изобразительного искусства, музыкальные инструменты, мебель, оружие, украшения), а также несколько тысяч доисторических изделий из камня.

Габон стоял у истоков искусства Черной Африки, в Габоне же это искусство достигло своего совершенства, пишет корреспондент бюллетеня «Новости ЮНЕСКО». В музее экспонируются образцы всего традиционного изобразительного искусства, дополняющие существующие о нем сведения, в основном почерпнутые в больших музеях Европы. В Европе уже много лет любителям искусства Черной Африки были известны статуи и маски Габона. Скульптура Габона занимает видное место во всех крупных собраниях традиционного искусства.

Однако если скульптуры Фанг и маски Бапуну были одними из первых образцов африканской скульптуры, привезенных в Европу, то сокровища Котамахонгве были открыты лишь недавно, а в большинстве других африканских стран произведения древних мастеров давно уже исчезли.

Многие жители Габона входят в своего рода товарищества посвященных. В ритуалах используются маски, чтобы привлечь «духов» к участию в жизни общества. Маска — конкретное отображение концепции о духах. Часто это — лесной дух, полузверь-получеловек, либо упырь, либо живой или мертвый человек, обладающий сверхъестественной жизненной силой. Стиль масок в Габоне чрезвычайно разнообразен. Однако можно различить три основных типа: стиль долины Огове и Южного Габона, совершенно покрывающие голову маски-шлемы племени бакота и, наконец, большие фантастические маски Фанг.

Габонская скульптура представлена в музее в основном двумя категориями предметов: масками духов и изваяниями, изображающими предков. Культ предков был сильно распространен повсюду до появления христианских миссионеров и представителей синкретических верований.

Габон справедливо считается родиной скульптурной традиции. По качеству и разнообразию находимых там произведений изобразительного искусства он является одним из самых характерных источников культуры Черной Африки.

ГДР

ИНТЕРВЬЮ С РАЙНЕРОМ КЕРНДЛЕМ

Газета «Берлинер цайтунг» поместила интервью с драматургом Райнером Керндлем, известным своими пьесами «Его дети», «Необычайное путешествие Алоиза Фингерлейна», «Я встретил девушку» и другими (см. «ИЛ» № 12, 1963; № 2, 1968; № 6, 1970 и др.) Беседа в основном касалась решений VIII съезда Социалистической Единой партии Германии и тех задач, которые они ставят перед литераторами.

«Для меня съезды партии всегда время подведения итогов, критического обзора того, что я сделал. Сейчас у меня такое впечатление, что мы поработали неплохо. Думаю, что наша совместная работа пойдет успешно и дальше. Я и мои товарищи ощущаем себя частью большого коллектива, с которым связано все наше творчество. Главное в этом творчестве — отражение важнейших процессов нашей жизни. Оно тесно связано с нашей действительностью, и чем точнее мы ее изображаем, тем оно реалистичнее, тем активнее мы участвуем в построении нового, социалистического общества».

Далее Керндль рассказал: «Сейчас я занимаюсь тем, что хожу по улицам, сижу в кафе и размышляю. Это похоже на отпуск, но это обманчивое впечатление. Так я систематизирую свои мысли. Недавно я закончил пьесу «Когда придет честный человек?». Ее принял к постановке Театр имени Максима Горького. Телевидение вскоре начинает работу над моим новым фильмом, и я немного сам не свой, так как не знаю еще, как я его закончу. В моем новом произведении речь снова пойдет о моральных проблемах. Это будет небольшая пьеса с немногими действующими лицами. Я надеюсь, что эта пьеса заинтересует и исполнителей и зрителей».

ИЗДАТЕЛЬСТВА НА ОСЕННЕЙ ЛЕЙПЦИГСКОЙ ЯРМАРКЕ

750 издательств представили свою продукцию на осенней ярмарке в Лейпциге. Среди них — издательства СССР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Нидерландов. Германская Демократическая Республика представила продукцию 80 издательств. Из 8250 названий, показанных на выставке, 1600 — новинки.

Газета «Нойес Дойчланд»

Кадр из фильма «ДЕФА» «Время аистов» по одноименной повести Герберта Отто. Режиссер фильма — Зигфрид Кюн. В главных ролях — Гейдемари Венцель и Винфрид Глацедер (на снимке).

(Газета «Берлинер цайтунг»)

поместила интервью с руководителями крупнейших издательств ГДР, которые рассказали о работе издательств, о новых книгах, о планах на будущее. Ганс Бенцин, директор издательства «Нойес лебен» сказал: «Мы стремимся издавать книги, которые читаются с интересом и появления которых ждут,— о нашей действительности, о наших буднях. Этому посвящены такие произведения, как том рассказов Бенито Вогацкого «Цена девушки», книга Вернера Хайдушека «Марк Аврелий, или Семестр нежности», рассказы Гельмута Заковского «Два центнера легкости». Все эти книги уже распроданы. Большое внимание сейчас мы уделяем антологиям, в частности, интересен опыт с антологией, в которой принимают участие несколько издательств. Называется она «Четвертый фонарь», издает ее «Миттельдойчер ферлаг» при активном участии издательств «Ауфбау», «Хинсторф», «Грайфен-ферлаг», «Дер морген» и нашего издательства. В антологии представлены 17 молодых авторов с их первыми прозаическими опытами. Эта совместная работа, по-моему, очень полезна. Мы хотим продолжить ее и в области лирики и выпустить сборник «Избранное 72-го года».

Директор издательства «Ауфбау» Фриц Георг Фойгт остановился на издании повести Анны Зегерс «Переезд», на книгах стихов Уве Бергера, Гейнца Калау и Рейнгарда Вайсбаха. Главный редактор издательства «Хинсторф» Курт Батт отметил книгу дебютанта Клауса Шлезингера «Михаэль», отнеся ее к жанру «проблемной литературы».

О произведениях молодых авторов рассказала главный редактор издательства «Миттельдойчер ферлаг» Хельга Дути: «В нашем издательстве вышла первая книга Джона Эрпенбекка — том лирики «Формула фантазий» — и первый роман Йоохена Лаабса «Дом из травы, или Распределение 35 000 женщин на двух мужчин», освещающий жизнь с веселых, юмористических позиций. Этот оптимистический роман обращен к нашей молодежи. Мне хочется отметить и произведение Зигфрида Вайнгольда «Алло, золото!» Это его вторая книга, а известно, что вторая книга — тоже очень важная ступень в творчестве писателя. И еще об одной книге мне хочется упомянуть — о повести Гельмута Рихтера «Бракоразводный процесс».

БИБЛИОТЕКЕ — 275 ЛЕТ

Центральной университетской и земельной библиотеке старинного немецкого города Галле исполнилось 275 лет. Это богатейшее книгохранилище древних франкских памятников, в котором собрано свыше двух миллионов манускриптов, свитков и печатных документов. Среди них — описания подробностей кровавых битв между римлянами и франками, отношений между бургундами и вестготами, вандалами и гуннами; здесь же находятся оригиналы указов Карла Великого и Хлодвига.

В библиотеке хранится также обширное собрание восточной литературы, насчитывающее 55 тысяч томов. Жемчужиной коллекции считается отдел, где собраны сингальские (цейлонские) рукописи на специально обработанных пальмовых листьях, египетские папирусные свитки, а также древнейший армянский манускрипт, нанесенный на плотную бумагу, изготовленную из хлопка. Частыми гостями отдела бывают ученые из ОАР, Сирии, Ирака и других стран Востока.

С библиотекой в Галле поддерживают постоянную связь свыше ста тысяч научных работников из восьмидесяти стран мира. По сообщению корреспондента ТАСС, в течение последних месяцев в кабинете франкских памятников библиотеки побывали научные сотрудники и студенты из Уфы, молодые преподаватели университета в Оломоуце (Чехословакия), специалисты-этнографы и историки из Братиславы, Кракова, Бухареста и Хельсинки. Ученые Германской Демократической Республики и их зарубежные коллеги работают сейчас, в частности, над проблемами взаимоотношений жителей древнего Галле со своими соседями.

ВНИМАНИЕ: СЕРИЯ «ЛАНДЗЕР»

Спустя несколько месяцев после того как в казармы бундесвера вступили первые новобранцы ФРГ, издательство «Пабель-ферлаг» в г. Раштатте выпустило осенью 1957 г. первый номер серии милитаристского чтива «Ландзер» (на солдатском жаргоне «ландзерами» называли друг друга солдаты вермахта.

В издательском предисловии к выпуску серии говорилось: «Наша литературная серия не преследует иной цели, кроме реабилитации зачастую несправедливо унижавшегося немецкого «ландзера» и обрисовки в правильном свете его образа молодому солдату нашего сегодняшнего бундесвера и общественности...» Прямая связь между созданием бундесвера и выпуском серии «Ландзер» очевидна, пишет рецензент газеты «Дойче фольксцайтунг» Эрхард Вайль, цитируя высказывание самого владельца издательства, г-на Пабеля: «Создание бундесвера и породило серию».

После выхода первых номеров «Ландзера» гамбургский журналист Люциан Хейтцель, выступая по телевидению, назвал новую продукцию пабелевского издательства «лживым хвастовством» и «тупой националистической халтурой», обвинив издателя в том, что он «загребает жирный куш на бизнесе убийства». Издательство сочло себя оскорбленным и заявило, что «критика его продукции — коммунистические происки, подрыв обороноспособности Федеративной Республики», и обратилось в суд с ходатайством о запрете повторной телепередачи Хейтцеля. Адвокат журналиста заявил на процессе истцу: «Если мы больше не имеем права называть дерьмо дерьмом, значит, нам надо изменять конституцию». Земельный суд Карлсруэ не удовлетворил иска Пабеля.

Восемь номеров «Ландзера» были изъяты из продажи, однако на этом все и кончилось; Пабель отделался легким испугом, смягчил кое-какие формулировки (например, перестал называть русских «недочеловеками»), и «Ландзер» вновь расцвел пышным цветом. Если вначале журнал выходил дважды в месяц, то теперь он стал еженедельным; выпуски сделались объемистее (60—80 страниц), в них помещают фотоснимки военных эпизодов, рисунки и описания вооружения и наград гитлеровского вермахта.

К настоящему времени вышло 687 выпусков серии общим тиражом около 50 млн. экземпляров. «Непонятно,— замечает рецензент газеты «Франкфуртер рундшау» Ульрих Макензен,— почему с официальной стороны ничего больше не предпринимается против зверских, воспевающих войну описаний в этой макулатуре, где даже Геринга любовно называют «нашим толстяком»...»

В «Ландзерах» участвуют все роды войск, охвачены все театры военных действий 1939—1945 гг. Любимый герой выпусков — унтерофицер или ефрейтор — «стройный, подтянутый голубоглазый блондин», превосходящий по всем статьям противника, словом, лучший солдат в мире...

«Пабель-ферлаг» называет свои печатные изделия «аутентичными рассказами о пережитом», полными драматизма военных событий, но не говорит ни единого слова о преступлениях и о безумии войны. Ни слова о штрафных ротах и переполненных полевых госпиталях. Ни малейших размышлений о социально-исторических предпосылках войны, не говоря уже о моральных проблемах. Война изображается как своеобразная «усложненная игра в индейцев» с частыми, к сожалению, сопутствующими явлениями в виде смерти в своих окопах.

«Происхождение лексики «Ландзера»,— пишет рецензент,— не оставляет сомнений. Частично она могла быть заимствована из брошюр худших времен нацистских бесчинств. Рисунки на обложках нередко напоминают образчики геббельсовской пропаганды».

Одна из обложек журнала «Ландзер».

(Газета «Дойче фольксцайтунг»)

Один из типичных и постоянных авторов «Ландзера» — бывший эсэсовец Мартин Грабач, живущий в Дюссельдорфе. Он служил в отрядах имперской службы безопасности и был награжден рыцарским крестом. «А кто «потребляет» писанину Грабача и ему подобных? Небольшой опрос киоскеров показал,— пишет рецензент «Франкфуртер рундшау»,— что возраст основной массы покупателей «Ландзера» от 45 до 70 лет, однако очень часто журнал покупают подростки и юноши».

Поразительно то, отмечает рецензент, что редакция получает письма детей и подростков, которые охотно читают «Ландзер». В. Бём из Ниферна пишет: «Мне только 14 лет, но, по-моему, я знаю, что такое война. Этим я обязан «Ландзеру». Другой, 13-летний мальчик восклицает: «...хочу, чтобы серия «Ландзер» была еще долго-долго!» И еще один отзыв: «Ваши «ландзеровские» романы— силища неимоверная!..»

«Пабель-ферлаг» отказало рецензенту «Дойче

фолькскайтунг» в его просьбе ознакомиться с читательскими письмами: на его вопрос, каков в настоящее время тираж «Ландзера», издательство ответило: «Тираж высокий и постоянно растет».

«Бывшие ландзеры постепенно вымирают,— заключает рецензент,— но то, что тираж «Ландзера» тем не менее растет, является тревожным симптомом. «Ландзер» продается почти в каждом газетном киоске ФРГ».

КЛАУС МАНН — ПОД ЗАПРЕТОМ

В течение восьми лет борется мюнхенское издательство «Нимфенбургер ферлаг» за роман Клауса Манна «Мефистофель». Роман известного немецкого писателя, сына Томаса Манна, переведенный на многие языки, в том числе и на русский (см. рецензию в «ИЛ» № 6, 1971), запрещен в Западной Германии. После того как «Нимфербургер ферлаг» в 1965 г. издало среди других произведений Клауса Манна этот роман, наследники известного артиста Густава Грюндгенса обратились в суд с протестом. Они возражали против издания романа, который, по их словам, «оскорбляет память артиста». Несмотря на сопротивление издательства, суд вынес тогда решение о запрещении романа, а недавно это решение было еще раз подтверждено федеральным судом в Карлсруэ.

Действительно, в своем сатирическом романе, написанном в эмиграции в 1936 г., Клаус Манн использовал некоторые черты Грюндгенса, придав их главному герою романа Хендрику Хефгену. (Он сам писал об этом в своей автобиографии.) Однако он вовсе не преследовал цели дать точный портрет артиста. В образе Хендрика Хефгена писатель показал собирательный образ интеллигента, который пошел на сговор с фашизмом. Во многом Хендрик Хефген отличается от Грюндгенса, и ни о какой идентичности речи быть не может.

Подробно разбирая эту историю в еженедельнике «Ди цайт», Рихард Шмид пишет: «Судьи забыли, что они имеют дело с произведением искусства, а не с документом, причем с произведением искусства, художественные достоинства которого не вызывают никаких сомнений. Ведь молодые читатели прочтут этот роман и не увидят в образах романа реальных людей, а читатели старшего поколения, которые помнят Грюндгенса, сумеют разобраться, что́ в романе явилось художественным вымыслом и фантазией писателя. Неужели надо ориентироваться на ту малочисленную группу читателей, которая не может различить «поэзию и правду», которая все принимает упрощенно и реакция которой крайне примитивна?»

ДАНИЯ

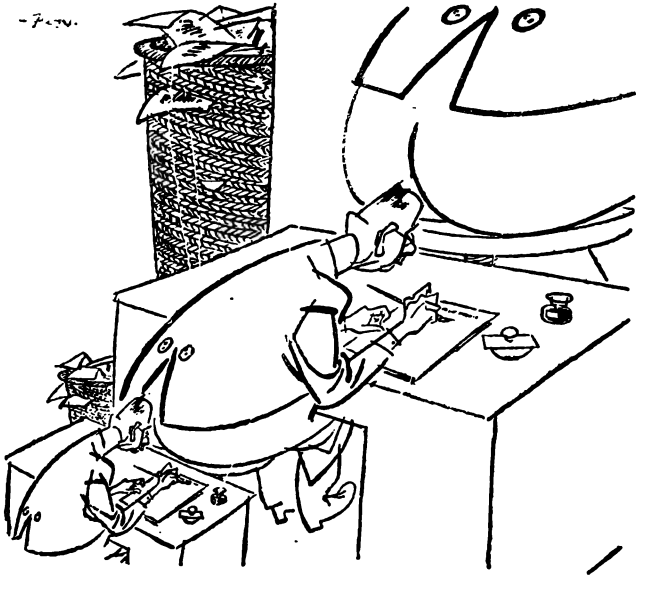
НЕОБЫЧНАЯ ИНСЦЕНИРОВКА «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ»

Музей знаменитого датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1768—1844) стал недавно местом необычного театрализованного представления, осуществленного шведским режиссером Микаелем Мешке. В зале музея среди произведений замечательного скульптора шведские актеры показали драматическую композицию, в основу которой положена «Божественная комедия» Данте.

«Скульптуры Торвальдсена олицетворяют собой мир Данте и его «Божественной комедии» и служат прекрасным фоном для пьесы»,—сказал Микаель Мешке журналистам. Часть представления разыгрывается прямо под открытым небом в саду, окружающем музей. Там, рядом с могилой Торвальдсена постановщики устроили то самое «чистилище», откуда Данте и Вергилий начали свой необычный путь. Актеры поодиночке препровождают туда зрителей, чтобы те «стали добрей и великодушней». Впечатление от игры актеров еще более усиливается благодаря световым эффектам (представление начинают в темноте, после девяти вечера).

По сообщению корреспон-

«Пирамида бюрократов» — так называется карикатура, опубликованная газетой «Ди вельт», отражающая систему общественно-производственных отношений в странах Запада.



Артисты Стокгольмского театра марионеток в музее Торвальдсена.

(Газета «Ланд ог фольк»)

дента газеты «Ланд ог фольк», этот интересный сценический эксперимент осуществил Стокгольмский театр марионеток — один из многих любительских театров, который до недавнего времени ставил исключительно детские пьесы. «Божественная комедия» — первый настоящий «взрослый» игровой спектакль, без кукол. В нем заняты 25 человек, из них только трое — актеры-профессионалы.

Еще до того как труппа приехала в Копенгаген, спектакль с большим успехом в течение нескольких месяцев шел в Стокгольме и стал, по словам корреспондента «Ланд ог фольк», «крупным событием в нынешнем театральном сезоне шведской столицы».

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

СОЗДАНИЕ АКАДЕМИИ АРАБСКОЙ МУЗЫКИ

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», Совет Лиги арабских стран утвердил устав Академии арабской музыки. Этот устав был разработан на первом съезде академии, состоявшемся в этом году в Триполи (Ливия). Там же делегации арабских государств избрали членов исполнительного совета академии. Его председателем был избран видный музыковед, директор тунисской консерватории Салех аль-Махди, а генеральным секретарем — представительница Египта доктор Самха эль-Холи. В исполнительный совет вошли также представители Ливана, Ирака, Марокко, Алжира и Кувейта, которые будут возглавлять специализированные комитеты академии (по музыкальному творчеству, наследию, воспитанию, народной музыке и т. д.). Почетным председателем академии избран доктор Махмуд эль-Хакни.

«РАССКАЗ В АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

В Каире вышла новая книга крупнейшего арабского писателя-новеллиста Махмуда Теймура, на этот раз — литературоведческого характера. Она носит название «Рассказ в арабской литературе и другие исследования».

ИНДИЯ

ПРИЗНАНИЕ ЯЗЫКА РАДЖАСТХАНИ ЛИТЕРАТУРНОЙ АКАДЕМИЕЙ

Корреспондент журнала «Индиан ПЕН» сообщает, что в Дели состоялась церемония вручения премий, которые ежегодно присуждаются Литературной академией («Сахитья академи») за лучшие произведения года (романы, повести, поэмы, сборники стихов, литературно-критические работы), созданные на основных языках Индии.

Премии «Сахитья академи» присуждаются также работам, написанным на языках, которые признаны этой организацией в качестве «литературных», имею-

щих богатую литературную традицию и развитую современную литературу. В 1965 г. признания Литературной академии был удостоен язык майтхили, прежде считавшийся диалектом, сначала — бенгальского, затем — языка хинди. В последующие годы Литературной академией были признаны языки магахи и догри, ранее квалифицировавшиеся как диалекты — соответственно — хинди и пенджаби.

Этот процесс складывания новых литературных языков и как следствие признание их Литературной академией продолжается. В наибольшей степени это относится к тем языкам, которые распространены в областях, входящих в «орбиту» хинди.

Выступая на церемонии вручения премий, президент Литературной академии, крупнейший индийский филолог Сунити Кумар Чаттерджи заявил, что признание академии получил, наконец, раджастхани — важнейший литературный язык хиндиязычного ареала.

Литературная традиция на раджастхани восходит к XII в. В середине века на раджастхани слагались главным образом лиро-эпические сказания — былины, так называемые «расо». В XIX в. основным языком литературы в Раджастхане (поэзии — преимущественно, прозы — исключительно) становится хинди. С началом освободительного движения в стране интерес к раджастхани повышается. Интеллигенция Раджастхана активно участвует в «джанапада - андолан» («движении за народный язык»), которое развернулось в хиндиязычном ареале с середины 30-х годов. В независимой Индии значительная часть интеллигенции Раджастхана в качестве средства литературного выражения предпочитает использовать свой родной язык: на раджастхани слагаются стихи и поэмы, пишутся рассказы, созданы первые романы. В 1958 г. в Удайпуре основана «Раджастхан сахитья академи» («Литературная академия Раджастхана»), ежегодно присуждающая премии за лучшие произведения на раджастхани. Наряду с ней во многих городах Раджастхана действуют литературные организации, которые собирают фольклор, изучают наследие прошлого, издают произведения современных авторов.

Требование официального признания раджастхани неоднократно выдвигалось перед правительством Индии. Это требование, в частности, было записано в резолюции II конференции писателей Раджастхана, состоявшейся в 1970 г.

Признание раджастхани Литературной академией является частичным удовлетворением этого требования: ни в коей мере не меняя, более того — даже не затрагивая существа национально-языковой проблемы в Раджастхане, такое признание означает лишь возможность для отдельных выдающихся раджастханских писателей и поэтов получить премию Литературной академии Индии.

Вторым языком, признанным Литературной академией, С. К. Чаттерджи назвал манипури — один из языков восточной Индии, относящихся к тибето-бирманской группе.

«СНОВА В РОССИИ»

«Снова в России» — это рассказ о том, что увидел и услышал, о чем думал во время недавнего визита в советскую страну автор этой книги К. П. С. Менон, бывший посол Индии в СССР, ныне известный общественный деятель. Выпущенная издательством «Викас пабликейшн», это его пятая, заключительная книга из серии о Советском Союзе.

Рецензент журнала «Линк» А. Чари называет особенно значительными главы о советской помощи Индии, об университете им. Лумумбы — «самом интернациональном университете из всех, которые основаны до сих пор», о международном семинаре, посвященном столетию со дня рождения В. И. Ленина.

Рассказывая о крупнейших вехах программы советской помощи — сталелитейных гигантах Бхилаи, Дургапура и других, строительстве 65 промышленных предприятий, из которых 30 уже вошли в строй и дают продукцию, создании государственного хозяйства в Суратгархе, закладке предприятий фармацевтической промышленности и многом другом, автор подчеркивает огромное значение вклада советских людей в дело развития Индии по пути независимости и прогресса.

ИСПАНИЯ

ЗАПРЕЩЕН ПРОГРЕССИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

По сообщениям корреспондента агентства Франс Пресс из Мадрида, испанские власти запретили после второго представления показ спектакля «Алтарь флейтиста» на сцене мадридского театра «Рейна Мария Виктория». В основу запрещенного спектакля положена инсценировка старинной немецкой сказки о волшебном флейтисте, который спас город от нашествия крыс. Автор инсценировки — известный каталонский писатель Хорди Тексидор.

Спектакль, поставленный труппой «Табано», вызвал повышенный интерес столичной публики и печати, так как критиковал существующие порядки в современной Испании. В циркуляре управления зрелищных мероприятий министерства информации Испании, которым запрещается показ спектакля, указывается, что в нем содержатся «грубые выпады в адрес церкви, полиции и представителей администрации».

«Формально действие спектакля происходит шесть веков назад в маленьком немецком городке, — пишет корреспондент агентства Франс Пресс. — Однако ассоциации с современной обстановкой в Испании совершенно очевидны». Корреспондент отмечает, что «пье-

са разоблачает позицию представителей гражданских, церковных и военных властей в отношении новых веяний в стране».

Запрет прогрессивного спектакля вызвал протест общественности испанской столицы. Артисты драматической труппы «Табано» в заявлении для печати указывали, что этот акт властей является «дискриминационной мерой», вызывающей озабоченность в театральных кругах Мадрида.

ИТАЛИЯ

АПОЛОГ ОБ АМЕРИКЕ

Режиссер Этторе Скола — известный мастер сатирической кинокомедии — ставит новый фильм, называющийся «Позвольте представиться — Рокко Папалео». В главной роли — Марчелло Мастроянни. Скола называет свой фильм апологом, посвященным современной Америке с ее жестокостью, насилием, репрессиями, коррупцией и расизмом.

«Если бы я жил там,— говорит Скола,— я бы боялся за своих детей из-за того психологического насилия, которому там постоянно подвергается молодежь (да и не только молодежь)». Герой фильма — итальянский эмигрант, бывший боксер, который работает на шахте в Канаде. Однажды он решает отправиться в Чикаго посмотреть какой-то матч. Вместо нескольких часов, которые он предполагал там провести, Папалео надолго застревает в Чикаго. В фильме этот город—символ всего того отрицательного, что характерно для «американского образа жизни». Папалео не наивен, он просто плохо информирован об американской действительности, и поэтому она его так поражает. У него происходит несколько случайных встреч с представителями разных слоев населения. Его добродушие, доверие к людям, скромность наталкиваются на жестокость, бесчеловечность. Только с отверженными он находит общий язык, завязывает дружбу с бродягой, а после его гибели наследует его ненависть к несправедливому обществу и наконец-то обретает решимость и настойчивость в борьбе. Характер Папалео резко меняется — теперь он научился ненавидеть...

НОВЫЙ ПЕРЕВОД «ФАУСТА»

Итальянская критика обычно уделяет мало внимания работе мастеров перевода художественной литературы. Поэтому особенно заметной явилась обширная рецензия в газете «Унита», посвященная новому переводу «Фауста» Гёте, который выполнен поэтом Франко Фортини. Получили большую известность его переводы стихов Элюара, а также работа над произведениями Брехта и многочисленные литературоведческие труды. И на этот раз Фортини выступает не только как автор нового, современного, строго научного и вместе с тем глубоко поэтического перевода, но и как автор вступительной статьи к «Фаусту», представляющей собой серьезное литературоведческое исследование. Критик «Унита» Микеле Раго пишет в своей рецензии, что новый вариант перевода «Фауста» — плод долголетнего труда Фортини и «тщательной выработки им своего собственного метода научного истолкования оригинала».

Марчелло Мастроянни в фильме «Позвольте представиться — Рокко Папалео».

(Газета «Унита»)

Ю. ЙЕМЕН

«ЧТОБЫ ВЗОШЛА ЗАРЯ»

Рецензент журнала «Аль-Адиб» сообщает, что в Бейруте вышел новый сборник стихов известного южнойеменского поэта доктора Мухаммеда Абдо Ганема «Чтобы взошла заря». В стихотворениях сборника отражена новая жизнь южнойеменского народа, освободившегося от колониальной зависимости.

Кроме этого сборника М. А. Ганему принадлежат книги стихов «На заколдованном берегу» (1945) и «Волна и скала» (1962). Поэт является также автором пьесы в стихах «Сейф Ибн Зу-Йазан» (1964), в основу которой положен популярный в Йемене народный роман о подвигах и странстви-

ях хымьяритского (древнейеменского) вождя Ибн Зу-Йазана, жившего в VI веке н. э., когда Йемен вел войны с Эфиопией, пытавшейся его покорить.

Мухаммед Абдо Ганем известен также как лингвист и литературовед. Ему принадлежит книжка о разговорном диалекте Адена, откуда этот поэт родом. В печати находится его докторская диссертация «Санаанские мелодии», представляющая собой исследование народной йеменской поэзии и песни.

ПЕРУ

КОНГРЕСС ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В Лиме состоялся XV Международный конгресс латиноамериканской литературы, на котором присутствовали крупнейшие деятели культуры, представители всех стран Латинской Америки.

Цель подобных конгрессов, проводимых раз в два года по инициативе Института иберо-американской литературы, — способствовать контактам, обмену опытом и мнениями между писателями, критиками и преподавателями континента. Большое внимание уделяется также пропаганде и распространению лучших национальных произведений, улучшению преподавания латиноамериканской литературы.

Последний конгресс, как отмечает обозреватель, не носил чисто академического характера. Само название основной темы конгресса — «Литература освобождения» — свидетельствует о его ярко выраженном политическом характере. Об этом говорил в своей речи ректор университета Сан-Маркос, в стенах которого проходил конгресс. Министр просвещения Перу подчеркнул, что все значительные писатели континента в свое время боролись против испанского колониализма, а ныне борются против империализма США.

Представитель Кубы, известный критик доктор Хосе Антонио Портуондо, сказал, что литература борьбы завещана писателям Латинской Америки Андресом Бельо и Хосе Марти. Указывая на огромную ответственность писателей перед народами, он процитировал слова Че Гевары: «Долг писателя в обществе заключается в том, чтобы участвовать в созидании нового человека».

В заключительной декларации конгресса говорится, что латиноамериканские литераторы, которые всегда мечтали о лучшем будущем для своих народов, должны осознать, что в настоящее время нельзя уклоняться от социальной борьбы. Интеллигенция должна проникнуться сознанием ответственности за судьбы своих народов и активно включиться в революционный процесс.

Следующий конгресс иберо-латиноамериканской литературы состоится в Чили.

ПОЛЬША

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ-ВРАЧЕЙ

В течение четырех лет в Польше существует Союз польских писателей-врачей. О его деятельности на страницах еженедельника «Польское обозрение» рассказал представитель Союза доктор Ежи Лютовский.

— Связи между литературой и медициной существуют с давних времен, и ныне эти традиции развиваются во всем мире. Вероятно, далеко не все знают, — сказал доктор Лютовский, — что такие известные, хотя и разные по значению писатели, как Франсуа Рабле, Фридрих Шиллер, Антон Чехов, Сомерсет Моэм, Жюль Ромен, Конан-Дойль, и многие другие были врачами. Из польских врачей самыми известными писателями были Енджей Снядецкий, Тадеуш Бой-Желенский и Януш Корчак...

Союз польских писателей-врачей возник в 1967 году; в него входят не только писатели-врачи, но также писатели из других областей медицины, например, фармацевты. Над нашим Союзом шефствует главное правление профсоюза работников здравоохранения. В Союз входит 61 человек; среди них Станислав Лем — писатель-фантаст, Ежи Помяновский — романист, эссеист, переводчик русской литературы и другие.

Недавно представители Союза участвовали в работе IV конгресса Международного союза писателей-врачей, на котором были представлены многие страны. Конгресс был посвящен чисто литературной теме: пространство в поэзии, — продолжал Ежи Лютовский. — Члены польской делегации выступили с тремя докладами, один из них был программный. Мы выдвинули требование более точно определить главные цели Союза и усилить международную деятельность, достойную писателей и врачей. Мы предложили также, чтобы Союз стал членом ЮНЕСКО. Все наши предложения были приняты конгрессом, и для их осуществления создана специальная комиссия, в которую вошли представители Франции, ФРГ, Швейцарии, Италии и Польши.

На состоявшемся в октябре II съезде Союза польских писателей-врачей была учреждена премия им. Тадеуша Бой-Желенского за лучшую книгу или пьесу; премия будет присуждаться ежегодно.

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Под таким заголовком в еженедельнике «Экран» опубликована статья Януша Газды, в которой, в частности, говорится:

«В этом году смотр польских кинофильмов, известный также под названием «Любушское кинолето», проходил в знаменательный период: закончился определенный этап в развитии польской кинематографии. С нового года в ней произойдут некоторые принципиальные изменения. Вероятно, будет проведена реорганизация творческих

объединений, которым одновременно будет представлена большая, чем до сих пор, самостоятельность в области творчества и производства. Все указывает на то, что в недалеком будущем возрастет роль и ответственность работников кино.

Последний год прошел под знаком жарких споров о польской кинематографии на страницах печати. Отмечались главным образом ее недостатки, обсуждались также возможности и условия улучшения существующего положения. В печати выступали не только кинокритики, но и работники кинематографии, в первую очередь режиссеры. Это имеет существенное значение: сами работники кино сумели правильно оценить сложившееся положение и выступить с конкретной, положительной программой на будущее.

«Фундаментальным законом, которым должно руководствоваться социалистическое киноискусство,— писал режиссер Казимеж Куц,— является закон нерушимого единства программирования и производства. Это должно стать привилегией творческих работников. Будем надеяться,— продолжал Януш Газда,— что именно по этой линии в ближайшее время пойдут все изменения: творческие работники возьмут на себя главные функции — программирования и производства. Именно в этом заключается смысл самостоятельности творческих объединений».

«ПИСАТЕЛЬ ИСТИННО РУССКИЙ»

Так названо выступление на страницах еженедельника «Политика» польского писателя Павла Гертца, посвященное юбилею Ф. М. Достоевского. Еженедельник предоставил страницы для высказываний на эту тему писателям Ежи Брошкевичу и Антони Слонимскому, философу Анджею Валицкому и критику Рышарду Пшибыльскому, режиссеру и драматургу Янушу Варминскому, поставившему «Бесов» в театре «Атенеум», и актеру Игнацию Гоголевскому, который играл ведущие роли в инсценировках «Братьев Карамазовых», «Белых ночей», «Преступления и наказания» и т. д.

Во всех выступлениях подчеркивается выдающееся значение творчества Ф. М. Достоевского для русской, польской и мировой культуры.

Ранее еженедельник опубликовал высказывания русских и советских писателей о Ф. М. Достоевском.

США

ЛЕРОЙ ДЖОНС: «РАЗРУШАТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ АМЕРИКУ»

Недавно в США вышел сборник эссе известного американского негритянского писателя Лероя Джонса «Поднимайся, народ, сметая все на своем пути», в который вошли работы, написанные автором после 1965 г. Негр, его положение в современном американском обществе всегда были главной темой творчества Лероя Джонса, который выступает теперь под новым именем — Имаму Барака. Этой же теме посвящен и новый сборник его эссе. Первый очерк в нем называется «Городские низы. Черные обвиняемые и белые обвинители». Это зарисовки, сделанные во время заседаний городского суда в Ньюарке. «Все происходит так быстро,— пишет рецензент американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» М. Уоткинс,— что просто не верится, что чья-то жизнь трагически изменилась в считанные минуты. Перед читателем проходят разные люди с разными судьбами. Писатель изображает равнодушие и презрение судей, бесконечное терпение и ненависть подсудимых...»

Другие эссе сборника посвящены негритянским бунтам в Ньюарке. Здесь, по мнению рецензента, берет верх талант Джонса-драматурга: «Действующие лица мелькают словно в куколь-

Польскую танцевальную пару — супругов Божену и Рудольфа Чаудерны — знают во многих странах мира. На снимке: акробатический танец «Кобра».

(Фото ЦАФ)

«Иностранная литература» уже сообщала (см. № 11, 1971) о том, что в местечке Монро (штат Нью-Йорк) создан международный парк культуры, где установлены памятники А. С. Пушкину и Т. Г. Шевченко. 5 сентября 1971 г. там же был установлен бронзовый бюст великого поэта Америки Уолта Уитмена скульптора Бруно Луккези.

(Газета «Дейли уорлд»)

ном театре Образцова,— пишет он,— порой это только лицо или имя, но со страниц книги рвется жизнь, участниками этой кровавой драмы становятся целые этнические группы, классы и орудия их подавления — полиция, национальная гвардия. Бунты описаны столь ярко, что вы не просто верите в существование опасности, но физически ощущаете ее».

Эссе «Поэзия и судьба» посвящено проблемам негритянского искусства. Писатель повторяет в нем свое прежнее утверждение о том, что роль американского художника состоит в разрушении существующей Америки. Однако Л. Джонс отмечает здесь, что перед художником-негром на этом пути стоят и свои специфические задачи. Современное искусство американских негров, по его мнению, должно строиться на основе африканской, а не общеевропейской культурной традиции. И любые эстетические теории должны прежде всего способствовать решению конкретных социальных и исторических задач, стоящих перед негритянским населением США. Негритянский художник в США должен отказаться от своего личного «я» и мыслить себя как «мы», часть целого, вносящая свой вклад в общее дело. Литературная жизнь Америки, пишет Джонс, «нездорова». И писатели-негры не должны решать свои проблемы внутри этой литературы, как это делают другие угнетенные группы населения. Если мы намерены создавать новое искусство своего народа, мы должны быть политически активны, говорит Л. Джонс.

ТАНЗАНИЯ

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ НА СТЕНАХ

Небольшую танзанийскую деревушку Кигомбе называют «разрисованной деревней». В ней до недавнего времени жили братья Али и Майя Панга. Как рассказывал потом Майя, «движимые интересом к окружающей жизни и своим воображением», они увлеклись рисованием. В условиях колониального режима ни о какой профессиональной подготовке художники-самоучки не могли и мечтать. С разрешения местных властей братья Панга принялись разрисовывать стены домов в своей деревне. Рисовали все, что видели и знали с детства. В результате на стенах возникали сцены охоты и рыбной ловли, труда на плантациях и ритуальных танцев. Одаренные художники рисовали львов, антилоп, жирафов и других зверей и птиц, населяющих окружающие леса.

В 1961 г. Танзания вступила в новую жизнь. Это дало художникам стимул для создания картин с новым содержанием. На домах деревни появились произведения, отражающие новое в общественной и политической жизни страны. На одной из стен — собрание крестьян, на котором выступает президент Танзании Джулиус Ньерере, на другой — солдаты республики на марше...

Али и Майя Панга уже несколько лет не живут в родной деревне, но время от времени наведываются туда, чтобы подновить свои «полотна». Недавно в местной печати появилось обращение к общественности

Танзании принять необходимые меры для сохранения «настенной картинной галереи» в деревне Кигомбе.

ТУРЦИЯ

ФЮРЮЗАН — НОВОЕ ИМЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

В последние годы в турецкую литературу пришло несколько молодых женщин-писательниц, довольно быстро завоевавших известность благодаря своим стихам, рассказам, газетным очеркам и репортажам.

Недавно вышел сборник рассказов молодой писательницы Фюрюзан «Бесплатный ночлег», обративший на себя внимание критики. Рецензент Рауф Мутлуай написал в газете «Джумхуриет», что для произведений Фюрюзан характерно острое социальное содержание. В рассказе «Охват», например, раскрывается серия человеческих судеб квартала Касымпаша в Стамбуле: беспроглядная нищета, безысходность положения молодых женщин, почти девочек, попадающих в сети мадам Сары и старого развратника Халюкбея; темные дела разного рода дельцов и сутенеров из квартала Бейоглу, которые эксплуатируют бедных обитателей меблированных комнат в Касымпаша. Все это, по словам Р. Мутлуая, молодая писательница изображает с силой настоящего, зрелого таланта. Она чутко подмечает малейшие признаки, вскрывающие причинные и следственные связи: вместе со своей героиней, маленькой продавщицей Назан, наблюдает и переживает судьбы этих людей, их попытки отстоять свое человеческое достоинство и вырваться из тисков такой жизни. Маленькая Назан, пишет рецензент, не только будит в читателе сочувствие, но заставляет его задумываться над сутью социальных явлений. По мнению критика, произведения Фюрюзан принадлежат к передовой демократической литературе Турции.

ФРАНЦИЯ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ВИКТОРА ГЮГО

Клуб французской книги выпустил полное собрание сочинений Виктора Гюго в восемнадцати томах. Каждый том состоит из двух частей. В первой — тексты Гюго разных периодов, во второй — «портфель» Гюго и его «досье». В «портфеле» — планы, наброски, неиспользованные фрагменты, в «досье» — пояснения к происхождению и судьбе того или иного произведения, иконография, записные книжки и альбомы писателя, его корреспонденция, критические статьи и в заключение исторический комментарий Жана Брюа, снабженный точной и подробной хронологией.

Кроме того, в каждый том входит критическое исследование одной из проблем творчества Гюго. Таким образом, новое собрание сочинений представляет собой также и антологию работ, посвященных изучению наследия Гюго. В ней приняли участие три поколения литературоведов, представляющих основные направления французской литературной критики, среди них — Пьер Моро, Анри Гильемен, Шарль Морон (недавно умерший).

Рецензент газеты «Монд» пишет, что благодаря этому изданию, осуществленному Жаном Массеном, читатель сможет убедиться в необычайной актуальности творчества Виктора Гюго.

ЧИЛИ

«ШАКАЛ ИЗ НАУЭЛЬТОРО»

Внимание зрителей и критики привлек фильм молодого чилийского кинорежиссера Мигеля Литтина «Шакал из Науэльторо».

Мигель Литтин изучал театральное искусство на вечернем факультете Чилийского университета. Он — автор нескольких короткометражных лент, созданных для телевидения, среди которых высокую оценку получила картина «Чужая земля».

«В основе моего нового фильма,— рассказал Мигель Литтин в интервью корреспенденту кубинского журнала «Сине кубано»,— лежит уголовное дело, потрясшее несколько лет назад чилийскую общественность. Речь идет о безработном по имени Валенсуэла, доведенном до отчаяния голодом и невзгодами, который, находясь на грани безумия, убивает нескольких человек... История эта легла в основу сценария моего фильма. Отталкиваясь от реального факта, мы попытались представить дело в более широком социальном аспекте: здесь и проблема чилийского крестьянства, стонущего под гнетом латифундистов, и его взаимоотношения с правосудием, и классовость правосудия».

Фильм создавался на основе бесед с очевидцами событий, судебных отчетов, магнитофонных записей, сделанных журналистами во время процесса.

Этот фильм, рассказывающий о вчерашнем дне Чили, по словам режиссера, рассчитан на зрителя из народа. «А именно такова наша цель: мы хотим делать фильмы, которые доходили бы до самого широкого зрителя,— сказал Мигель Литтин.— Такие фильмы невозможно создавать, сидя за столом, в отрыве от действительности. Нужно изучать эту действительность. Нужно превратить кинематограф в инструмент, который бы отражал чаяния простых людей.

Мы, латиноамериканские кинематографисты, должны стремиться к созданию национальной культуры, понимая под таковой культуру революционную. Кино должно содержать критику: оно должно не только обличать зло, но и указывать его виновников, направлять стихийный протест народа в нужное русло».

Авторы этого номера

САВАКО АРИЁСИ (род. в 1931 г.).

Японская писательница. Известность в стране получил ее роман «Нет цветных» (1963), посвященный проблемам расовой дискриминации в Америке. В 1968 г. вышел роман «Море ропщет» — о судьбе маленького японского острова, который власти намерены отдать под полигон американских войск. К произведениям, написанным Савако Ариёси на историческую тему, относится роман «Жена Канаока Сэйсю» (1965) и последний роман «О-Куни из Идзумо», рассказывающий о японской танцовщице, которая принадлежит к числу основателей театра Кабуки.

С творчеством Савако Ариёси мы знакомим советских читателей впервые. Повесть «Дважды рожденный», публикуемая в этом номере, была напечатана в 1969 г. в японском журнале «Бунгэй сюндзю».

■

АНТОНИЕ ИСАКОВИЧ (род. в 1923 г.).

Югославский, сербский, писатель, общественный деятель. Участник национально-освободительной борьбы, ставшей одной из основных тем в его творчестве. Перу А. Исаковича принадлежат сборники рассказов «Большие дети» (1953), «Папоротник и огонь» (1962), отмеченные литературными премиями Югославии. Многие его новеллы переведены на иностранные языки и вошли в антологии лучших рассказов на военную тему. Некоторые из них были экранизированы.

Советские читатели знакомы с творчеством Антоние Исаковича по сборнику рассказов «Папоротник и огонь», вышедшему в русском переводе, и по рассказам, печатавшимся в «Иностранной литературе» («Ложка» № 5, 1958, «Человек и дерево» № 7, 1966).

Рассказы «Наш Лисенок» и «Вверх и вниз» взяты из книги «Пустынные холмы» (1969), получившей Октябрьскую премию гор. Белграда.

■

ВЬЕКОСЛАВ КАЛЕБ — VJEKOSLAV KALEB (род. в 1905 г.).

Югославский, хорватский, писатель, действительный член Югославянской Академии наук и искусств в Загребе. Автор романов «Униженная улица» («Ponižene ulice», 1950), «Белый камень» («Bijeli kamen», 1956) и многочисленных рассказов, вошедших в сборники «На камне» («Na kamenju», 1940), «Бригада» («Brigada», 1945), «Смертельные звуки» («Smrtni zvuci», 1957) и др.

Роман В. Калеба «Прелесть пыли» вышел в русском переводе в 1962 г. (см. статью об этом издании в № 5 за 1963 г. нашего журнала).

Рассказ «Трость на прогулке» был напечатан в сборнике «Зеркало» («Огледало», 1962).

■

ДАНИЛО КИШ (род. в 1935 г.).

Югославский, сербский, писатель и переводчик. Автор романов «Мансарда, Псалом 44» (1963), «Сад, пепел» (1965), а также рассказов, публиковавшихся в периодической печати.

Переводил произведения П. Корнеля, Эндре Ади и др.

Рассказ «Собака и мальчик» был опубликован в альманахе «Зора» в 1968 г.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1971 ГОД (№№ 1—12)

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Абреу, Хосе Висенте — Четыре буквы (Роман. Предисловие Юрия Дашкевича), №№ 2—3.

Ариёси, Савако — Дважды рожденный (Повесть), № 12.

Болдуин, Джеймс — Рассказы, № 4.

Василикос, Василис — Растение (Повесть. Послесловие В. Лакшина), № 5.

Вирк, Кулвант Сингх — Рассказы, № 11.

Войкулеску, Василе — Монастырские утехи (Рассказ. Предисловие Ю. Кожевникова), № 4.

Вулф, Томас — Паутина земли. Смерть — гордая сестра (Повести. Послесловие Д. Урнова), № 7.

Галабарди, Золтан — Так устроен мир (Повесть), № 7.

Галгоци, Эржебет — Рассказы, № 3.

Ийеш, Дюла — Обед в замке (Повесть), № 9.

ИЗ ЮГОСЛАВСКОЙ ПРОЗЫ, № 12.

Исакович, Антоние — Наш Лисенок. Вверх и вниз (Рассказы), № 12.

Калеб, Вьекослав — Трость на прогулке (Рассказ), № 12.

Калчев, Камен — В поисках будущего, № 5.

Киш, Данило — Собака и мальчик (Рассказ) № 12.

Кокто, Жан — Человеческий голос (Пьеса), № 6.

Леанте, Сесар — Человек и гора (Рассказ), № 3.

Ленц, Зигфрид — Урок немецкого (Роман), №№ 5—7.

Медио, Долорес — Сеньор Гарсиа (Повесть), № 9.

Мина, Ханна — Парус и буря (Роман), №№ 4—5.

Моравиа, Альберто — Из сборника «Рай» (Рассказы. Послесловие Н. Томашевского), № 8.

Моэм, Уильям Сомерсет — Рассказы, № 2.

Нгуен Тхи — Мамы нет дома (Рассказ), № 10.

Нгуен Шанг — Зунг (Рассказ), № 10.

Прада Оропеса, Ренато — Зажигающие зарю (Роман. Послесловие Юрия Дашкевича), № 11.

Причард, Катарина Сусанна — Потаенный огонь (Роман), №№ 3—4.

РАССКАЗЫ ВЬЕТНАМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 10.

Ремарк, Эрих Мария — Тени в раю (Роман. Послесловие Е. Книпович), №№ 10—12.

Рибейро, Хулио Рамон — Два рассказа (Вступление Ю. Павлова), № 10.

Садеки, Джамал Мир — Рассказы (Вступление В. Кляшториной), № 8.

Станку, Захария — Как я тебя любил (Повесть. Предисловие Леонида Леонова), №№ 1—2.

Фаик, Саид — Рассказы (Вступление М. Малышева), № 6.

Хейли, Артур — Аэропорт (Роман. Послесловие О. Васильева), №№ 8—10.

Хемингуэй, Эрнест — Острова в океане (Роман. Окончание), № 1.

Шикула, Винцент — Рассказы (Предисловие Н. Шульгиной), № 11.

Штриттматтер, Эрвин — Маленькие истории, № 6.

СТИХИ

Агьейя — Отплывшая лодка и др. стихи, № 12.

Алонсо, Дамасо — Жизнь. Стихии. № 2.

Альберти, Рафаэль — Из книги «Моряк на суше». Из Гаваны прибыл корабль и др. стихи, № 2.

Анагностакис, Манолис — Сентиментальный рассказ и др. стихи, № 11.

Антиас, Тевкрос — Я не смыкаю глаз..., № 3.

Барраль, Карлос — Из цикла «Человек в море», № 2.

Ваджпейи, Кайлаш — Там, где дети, крича, гнездятся..., № 12.

Варела, Альфредо — Я — коммунист (Вступление Риммы Казаковой), № 3.

Варма, Шрикант — Лихорадочная поэма и др. стихи, № 12.
Галчинский, Константы Ильдефонс — Ниобея (Вступление Арсения Тарковского), № 7.
Далчев, Атанас — Поэт. Ручей и др. стихи (Вступление А. Опульского), № 6.
Джагаров, Георгий — Тырновград и др. стихи, № 11.
Диавара, Гаусу — Поэма Ленину, № 4.
Диего, Элисео — Из «Книги чудес дона Хосе Северино Болоньи» (Вступление Павла Грушко), № 1.
Завада, Вилем — Знаменье весны. Воскресная прогулка и др. стихи, № 4.
Зимбулакис, Стефанос — Должны ли плакать мы о пламенном песке... и др. стихи, № 5.
ИЗ ИСПАНСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Н. Томашевского), № 2.
ИЗ КНИГИ «ВОСЕМНАДЦАТЬ ТЕКСТОВ (1970)». Стихи греческих поэтов. (Вступление С. С. Смирнова), № 11.
ИЗ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Евг. Долматовского), № 4.
Клеман, Жан-Батист — Время вишен (Песня), № 3.
Ламеда, Али — Вьетнамские сонеты, № 1.
Мачадо, Мануэль — Кастилия. Песни, № 2.
Надь, Ласло — Звезды с лица своего смету и др. стихи (Вступление Е. Малыхиной), № 6.
Неруда, Пабло — Руки поэта (Фрагменты поэмы), № 4.
«НОВАЯ ПОЭЗИЯ» ХИНДИ (Вступление М. Салганик), № 12.
Нямаа, Долгорын — Ходы сообщения, щели... и др. стихи, № 5.
Пасиардис, Михалис — Поэт-борец. Лорке, № 3.
Пеониду, Элли — Гекуба, № 3.
Пилиотис, Ахиллсас — Путь вечный. Для Патриса, № 3.
Пиньотти, Ламберто — Разобщенные миры и др. стихи, № 10.
ПОЭТЫ КИПРА (Вступление С. Ильинской), № 3.
Радевский, Христо — Мир помнит тот восторг и изумленье... и др. стихи, № 1.
Райт, Джудит — Поезда и др. стихи (Вступление Андрея Сергеева), № 9.
Роверси, Роберто — Девятнадцатое описание в действии и др. стихи, № 10.
Саксена, Сарвешвар Даял — С тобой немало дней прожив..., № 12.
Сахай, Рагхувир — Женщина, № 12.
Сефернс, Георгос — Кошки святого Николая, № 11.
Синопулос, Такис — Ночи, № 11.
Скала, Иван — Дерево. Я спрашиваю. Дома, № 4.
Смит, Уильям Джей — Поезд (Вступление Андрея Вознесенского), № 1.
Стилиану, Теодорос — Ничего не хочу я вычеркивать... С усталыми, № 3.
Тардье, Жан — Могила Мосье Мосье и др. стихи (Вступление Самария Великовского), № 12.
Уильямс, Уильям Карлос — Апология. Классическая сцена и др. стихи (Вступление А. Зверева), № 8.
Фелипе, Леон — Разберите стихи на слова... и др. стихи, № 2.
Фелпс, Антони — Письмо моему товарищу Раймону Жан-Франсуа... (Вступление Е. Гальпериной), № 9.
Фернандес Ретамар, Роберто—Обязанность и право писать обо всем и др. стихи (Вступление Павла Грушко), № 8.
Хименес, Лилиам — Из книги «Сердце мечты» (Вступление Инны Чежеговой), № 5.
Эро, Хавьер — Хвала дню (Вступление Н. Булгаковой), № 2.
Юхас, Ференц — Ночные виденья (Вступление Юрия Левитанского), № 10.
Явуухулан, Бэгзийн — Не напрасно я родился в мире пестром... (Вступление Риммы Казаковой), № 7.
Яструн, Мечислав — Посвящение, № 4.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

ИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ. Роберто Роверси. Ламберто Пиньотти (Вступление Евгения Солоновича), № 10.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Бодлер, Шарль — Стихи и статьи (К 150-летию со дня рождения. Вступление В. Левика), № 6.
Кастру, Алвес — Сумерки в сертанах. Пророк (Стихи. К 100-летию со дня смерти), № 10.
РАМАЯНА. Фрагменты (Вступление Веры Потаповой), № 9.
Хайям, Омар — Рубаийят (Вступление М. Занда), № 2.

КРИТИКА

Архипов, Ю.— Истории об истории (Заметки о современном австрийском романе), № 8.
Вагапова, Н.— В поисках героя (Заметки о современной югославской драматургии), № 6.
Григорьева, Т.— Читая Кавабата Ясунари, № 8.
Днепров, В.— Достоевский как писатель двадцатого века (К 150-летию со дня рождения), № 11.
Жданов, В.— Некрасов и зарубежная литература (К 150-летию со дня рождения Н. А. Некрасова), № 12.
Зорина, И.— Книги и встречи, № 7.
Ивашева, В.— Три новых имени (Движение молодых и английская литература 60-х годов), № 7.
Книпович, Е.— Ответственность за будущее, № 4.
Ковальджи, Кирилл — Обновление и поиски (Заметки о молодой румынской поэзии), № 3.
Ландор, М.— Томас Вулф, № 10.
Мачве, Прабхакар — Современность и поэзия хинди, № 11.
Млечина, И.— Нова ли «новая литература»?, № 5.
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЛИТЕРАТУРЫ («Круглый стол» журнала «Иностранная литература». Эктор Агости, Жоржи Амаду, Ахмад Сулейман аль-Ахмад, Джован-

ни Арпино, Генрих Бёль, Михай Бенюк, Арт Бухвальд, Мартин Вальзер, Эрико Вериссимо, Мартин Викрамасингге, Чедо Вукович, Пьер Гамарра, Ив Гандон, Габор Гараи, Кристиаи Гейслер, Антал Гидаш, Николас Гильеи, Макс фон дер Грюн, Владимнр Достал, Радован Зогович, Юлиан Кавалец, Камен Калчев, Герман Кант, Эрскин Колдуэлл, Алекс Ла Гума, Михаило Лалич, Мартти Ларии, Зигфрид Ленц, Ивар Лу-Юхаиссон, Николае Манолеску, Ана Мария Матуте, Норман Мейлер, Владимир Минач, Хироси Нома, Гоффредо Паризе, Пааво Ринтала, Габриэль Селайя, Алаи Силлитоу, Жорж Сименон, Иваи Скала, Никита Стэнеску, Лодонгийн Тудэв, Фаиз Ахмад Фаиз, Франц Фюман, Николай Хайтов, Тауфик аль-Хаким, Лилиан Хеллман, Стефан Хермлин, Джои Чивер, Роже Шатонё, Иштван Шимои), №№ 1—4.

ПОЭЗИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ МОЗАМБИКА, № 9.

Россиянов, О.— «Мир выстроится вновь» (О сопротивлении фашизму в венгерской поэзии), № 1.

Старцев, А.— Скотт Фицджеральд и «очень богатые люди», № 5.

Тертерян, И.— Смена стиля — смена ориентиров?, № 10.

Федоренко, Н.— Мастерство писателя и его интерпретация (К 90-летию со дня рождения Лу Синя), № 9.

Фрадкин, И.— «Дранг нах остен» в новом издании (Заметки о неофашистской литературе в ФРГ), № 2.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ — ПИСАТЬ ХОРОШО» (Габриэль Гарсиа Маркес о своем творчестве и о себе), № 6.

ТОЧКА ОПОРЫ (Болгарские писатели о рабочей теме в литературе), № 11.

«Я РОМАНИСТ, А НЕ ПИСАТЕЛЬ ВООБЩЕ...» (Иитервью Жоржа Сименона), № 10.

ОБСУЖДАЯ НАПЕЧАТАННОЕ

Старцев, А.— В студии умершего мастера (Об «Островах в океане» Хемингуэя), № 9.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Анастасьев, Н.— Обыденная Америка, № 4.

Бакланов, Григорий — Слово об однополчанине, № 5.

Бочкарева, И.— Песнь о женщине, № 2.

Вагапова, Н.— В борьбе за человека, № 3.

Востокова, С.— «Дом в тысячу этажей» и его автор, № 9.

Герасимов, Сергей — На параллельном движении жизни, № 10.

Гончарова, Т.— Первые годы свободной Кубы, № 1.

Громковская, Л.— В трудном пути, № 8.

Дейч, Александр — Голоса вагантов, № 7.

Евнина, Е.— Голоса Франции, № 6.

Исбах, Александр — В труде и бою, № 12.

Кагарлицкий, Ю.— В преддверии нового, № 1.

Калезич, Василие — О войне правдиво и сильно, № 2.

Левик, В.— Новый Рильке, № 11.

Лисевич, И.— «Пестрая смесь» жизни, № 2.

Мазур, Ю.— Сквозь семнадцать столетий, № 6.

Макаренко, В.— Суд совести, № 12.

Наркирьер, Ф.— Последний роман Франсуа Мориака, № 4.

Пальцев, Николай — Хрупкое маленькое счастье, № 11.

Полищук, А.— Нелегкое дело Обри Качингве, № 5.

Пронин, В.— Метаморфозы Мефистофеля, № 6.

Рытхэу, Юрий — Словно в капле воды..., № 8.

Северцев, С.— Две встречи с непальской поэзией, № 10.

Слуцкий, Борис — Книга Брехта-поэта, № 3.

Слуцкий, Борис — Поэзия венгерского Марта, № 7.

Слуцкий, Борис — Русское «Романсеро», № 9.

Стеженский, В.— Дружеские связи, № 5.

Стефанчук, Л.— Мастер арабской новеллы, № 6.

Тишков, А.— Рассказы о лисьих чарах и других вещах необычайных, № 1.

Тишков, А.— Страницы истории, № 3.

Харитонов, М.— Новеллы Рикарды Хух, № 8.

Чугунов, К.— Рассвет настанет, № 3.

Издано за рубежом

Александропулос, М.— «Важно, что говоришь сейчас», № 3.

Анджапаридзе, Г.— Об африканском золоте и бремени белого человека, № 10.

Архипов, Ю.— Без божества, без вдохновенья.., № 4.

Барабаш, Ю.— Героика: традиции, поиски, споры, № 9.

Брейтбурд, Г.— «Одномерный» Мармеладов, № 2.

Брейтбурд, Г.— Побег в ничто, № 10.

Варас, Хосе Мигель — Урок Мадрида, № 8.

Гениева, Е.— Слова, слова, слова..., № 7.

Гинзбург, Лев — По мандату долга, № 9.

Гордышевская, М.— Гейши, солдаты и американская демократия, № 5.

Зонина, Л.— Этюд в кровавых тонах. Тема и вариации, № 11.

Ивашева, В.— К большему небу, № 1.

Ильинская, С.— «Там мои идеи...», № 2.

Ильинская, С.— «Пусть наша память правильно живет...», № 12.

Калезич, Василие — Роман о предательстве, № 8.

Константиновский, Илья — Сложный, разнообразный мир, № 5.

Лайне, С.— Мыслить и действовать, № 11.

Мотылева, Т.— Первые шаги, № 6.

Наркирьер, Ф.— Воспоминания Андре Моруа, № 12.

Пресс, Виктор — Гордость демократической культуры США. № 4.

Прожогина, С.— Шаг падежды, № 7.

Прожогина, С.— Ожидание, № 9.

Прожогина, С.— Новая жизнь Си Моханда, № 1.

Проскурникова, Т.— Америка рассерженных, № 1.

Радволина, Ида — Горькое право не спать, № 1.

Ратгауз, Г.— Антология новой немецкой прозы, № 3.
Россиянов, О.— Новый Ишток-дурачок, № 2.
Солонович, Евг.— Радиопоэма Данило Дольчи, № 3.
Спиваковский, Е.— Поэзия борьбы и революционной дружбы, № 3.
Тынянова, Инна — Вьетнаму!, № 3.
Умнякова, Е.— Испытание правдой, № 12.
Шагаль, Владимир — Время бегства на север, № 7.
Шарбатов, Г.— Арабская поэма о Ленине, № 4.
Шерлаимова, С.— Первый пролетарский поэт Словакии, № 11.
Шерлаимова, С.— Подведение итогов, № 6.
Эрдэнэ, Сенгийн — Этапы революции — рубежи в творчестве, № 8.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Александрова, В.— Эрнесто Карденаль: революция, поэзия, № 10.
Араб-Оглы, Э.— «Всемирная деревня» в океане информации, № 8.
Божович, В.— Кино, левый экстремизм и судьбы искусства, № 6.
Вадимов, С.— Идеи, обогащающие искусство, № 4.
Гривнин, В.— Путь самурая, № 3.
Громова, Ариадна и Нудельман, Рафаил — К спорам о фантастике, № 4.
Гусев, Вл.— Живой «покойник» роман, № 1.
Гусев, Вл.— Шаг за «ничто», № 7.
Давыдов, Ю. и Гайденко, В.— Культура и Бунт, № 3.
Давыдов, Ю.— Конец письменной литературы?, № 10.
Джинджихашвили, Нодар — Как спасать цивилизацию?, № 2.
Джинджихашвили, Нодар — Кризис книги или кризис общества?, № 12.
Зверев, А.— Писатели на подмостках, № 2.
Зонина, Л.— Неистовые ревнители «новых практик», № 8.
Кожинов, В.— Современное и национальное, № 6.
Лакшин, В.— Герберт Маркузе на карнавале, № 9.
Майзельс, С.— Что такое «общество вседозволенности»?, № 11.
Мамонтов, С.— «Литература должна стать частью нашей революции...», № 7.
«МЕРКНЕТ СОЗНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ...», № 11.
Мойкин, Н.— Перевал грязных ветров, № 11.
Мяло, К.— Судьбы «негритюда» и историческая реальность, № 12.
Новиков, Н.— «Революция» с помощью сознания, № 9.
НОВЫЙ УТОПИЗМ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. № 9.
Нуйкин, Андрей — В поисках автономной территории, № 8.
Орлова, Р.— Трудное испытание Хемингуэя, № 5.
Пархомовская, С.— «Быть верным жизни», № 5.
Романова, Ел.— О тех, кому есть что сказать..., № 6.
Ротенберг, Т.— Американский романист как «энтрополог», № 6.
Соколов, В.— Об авторитете литературной критики, № 3.
Феонова, В.— «Друзья народа» бросают вызов, № 1.
Харитонов, М.— Парадоксы и закономерности «новейшего направления», № 2.
Харитонов, М.— «Свободные писатели», «надомники» или..., № 7.

ПУБЛИЦИСТИКА

Великовский, Самарий — Бастующая интеллигенция, № 7.
Гиленсон, Б.— Социальная сила, преобразующая мир (К 100-летию со дня рождения Теодора Драйзера), № 8.
Гранин, Даниил — Из книги «Сад камней», № 6.
Карцева, Е.— Три лица имиджа, или Кое-что об искусстве внушения, № 9.
Кеменов, В.— Заметки об ЭКСПО-70, № 2.
Лабарка Годдард, Эдуардо — Чили в огне событий (Репортаж о рождающейся революции), № 11.
Левада, Ю.— Странный мир массовой культуры, № 11.
Лоусон, Джон Говард — Ленин, СССР, американская культура, № 3.
Мейлер, Норман — Майами и осада Чикаго (Отрывки из книги. Вступление и послесловие С. Вишневского), №№ 1—2.
Олдридж, Джеймс — Ответственность художника, № 6.
Пара, Эдуард и Направа, Людвик — Михал Панек свидетельствует... (Главы из книги), № 12.
Питер, Лоуренс Дж. и Халл, Реймонд — Принцип Питера (Главы из книги. Послесловие Е. Амбарцумова), № 8.
Экелёф, Майя — Записки уборщицы (Отрывки из книги), № 11.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Федоренко, Николай Т.— Из зарубежных встреч (Глава из книги), № 4.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Книпович, Е.— Генрих Манн и Советский Союз, № 7.
Кузьменко, Ю.— Оружие единства (К итогам IV конференции писателей стран Азии и Африки), № 4.
Стояновская, Е.— «Сообразно нуждам эпохи...» (Репортаж о московской встрече главных редакторов литературных журналов социалистических стран), № 2.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Матуте, Ана Мария — Новеллисты в Испании, № 6.
Нгуен Ван Бонг — Голос борьбы и победы, № 11.

РЕПОРТАЖИ

НАША ЖИЗНЬ В ЗЕРКАЛЕ (Вступление Е. Бочарниковой), № 5.

ОЧЕРКИ

Робинсон, Роланд — Аборигены сегодня, № 8.

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Галанов, Борис — Герои и антигерои (Заметки о современном западном кино), № 12.

Юткевич, Сергей — В окрестностях Шекспира, № 9.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Блок, Жан-Ришар — Некоторые особенности советской литературы, № 3.

ГЕНРИХ МАНН В ПЕРЕПИСКЕ СО СВОИМ БРАТОМ (К столетию со дня рождения. Предисловие Т. Мотылевой), № 4.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА (Из архива семьи Виардо), № 1.

Папоров, Ю. — Неизвестные фотографии Хемингуэя, № 6.

НАШИ ГОСТИ

Брейтбурд, Г. — Диалог о языке искусства (В гостях у «Иностранной литературы» — Ламберто Пиньотти), № 3.

Дашкевич, Юрий — Рауль Гонсалес Туньон: на службе своего времени, № 12.

ИНТЕРВЬЮ С ИВОМ ГАНДОНОМ, № 9.

Кацева, Е. — После переоценки ценностей (Гость редакции — Гюнтер де Бройн), № 12.

Пархомовская, С. — Книга о войне и дружбе (Гость редакции — Мирослава Томанова), № 6.

Салганик, М. — «Театр — моя жизнь» (Бадул Сиркар в «Иностранной литературе»), № 4.

Сергеев, Андрей — Поэт читает свои стихи (Уильям Джей Смит в «Иностранной литературе»), № 6.

Ткачев, Мариан — Встреча с поэтами Вьетнама (Суан Миен, Ань Тхо, Нонг Куок Тян в «Иностранной литературе»), № 1.

Фиш, Радий — Чашка кофе со старым другом (Суад Дервиш в «Иностранной литературе»), № 3.

Фридман, М. — Дыхание жизни (Захария Станку и Александру Ивасюк в «Иностранной литературе»), 7.

Харлап, Л. — Писатель «непотерянного поколения» (Макс Вальтер Шульц в «Иностранной литературе»), № 8.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Тонкин, Раймонда — Коммуна в театре (К 100-летию Парижской коммуны), № 3.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Виноградова, Елена — Иржи Трнка — художник-поэт, № 1.

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО АЗИИ И АФРИКИ (Цветная вклейка), № 9.

ИЗ АЛЬБОМА ПАРТИЗАНСКОЙ ГРАФИКИ СЛОВЕНИИ, № 11.

ИЗ ЭКСПОНАТОВ МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ МОНГОЛИИ В УЛАН-БАТОРЕ, № 7.

Кулаков, В. — Встреча с Ван Гогом, № 10.

Прожогин, Н. — Политические рисунки Ренато Гуттузо, № 3.

Прокофьева, Н. — Роже Сомвиль, № 5.

Соколова, Наталья и Безрукова, Мирослава — «Орфей и Эвридика» Палле Нильсена, № 9.

Турчин, В. — Отто Дикс, № 6.

Юрьев, Д. — Габриэль Брачо — художник-борец, № 4.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника), №№ 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, №№ 1—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

А 13451. Сдано в набор 7/X-71 г. Подписано к печати 29/X-71 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2). Уч.-изд. л. 27,29. Зак. 3364.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394